



**Дружба
народов**

11/2020



В номере:

По традиции ноябрьский номер — «Дружба на вырост».

«Только детские книги читать...»

В 2015 году «ДН» впервые предложила своим авторам вспомнить КНИГУ их детства. Теперь в нашей копилке уже больше сотни историй: о границах между вымыслом и реальностью, о мираже и соблазне, о «кроличьих норах» сказочного пространства, о плотности слов, падающих на книжную страницу, о детском взгляде на взрослый мир и во взрослом отношении к детству...

Возвращение к себе

«Одиннадцатилетнему Мишке Соловьеву начавшаяся война была по душе. На улицах города стало шумно, весело и бестолково. Страшное — а оно нарастало вместе с праздничным — еще не осознавалось Мишкой вполне. Впрочем, так можно было сказать не только о детях. Многие взрослые как бы колебались между ощущениями ужаса и праздника в те дни...»

Москва и москвичи — эта известная формула точно описывает линии напряжения и связи в романе Бориса МИНАЕВА «Площадь Борьбы», в центре которого — образ военной Москвы, судьбы ее взрослых и юных жителей, переплетение личной истории с историей России XX века.

Обнуленное пространство

«Грядущее закуплено в кредит,/ будильник заведён, как автомат, —/ мы научились в космос выходить,/ но разучились сказки понимать...»
Лирике будней и быта Ганны ШЕВЧЕНКО, которая внимательно вслушивается, как, «приукрасив себя незабудками, моментальное время течёт», созвучны стихии дебютанта «ДН» Александра ФРАНЦЕВА. В дебютной поэтической подборке Карена ТАРАЯНА — размышления о чуде бытия, о небесном Иерусалиме, где «бог достаёт из большой корзины души как спелые апельсины». О «знаках звука» пишет Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ, а Александр АМЧИСЛАВСКИЙ — о любви, от которой все мы «светлеем лицом».

Есенин 125+

«"Сергей Есенин" — неизменный ответ отечественного коллективного бессознательного на запрос "русский поэт"...» — «Всенародная любовь к Есенину столь же обширна, сколь и поверхностна...» — «Запредельно популярен в интернете...» В «юбилейном» заочном «круглом столе» принимают участие поэты Иван ВОЛОСЮК, Надя ДЕЛАЛАНД, Бахыт КЕНЖЕЕВ, Константин КОМАРОВ, Марина КУДИМОВА, Анна МАРКИНА, Роман РУБАНОВ.

Задание на дом

«В условиях "повышенной готовности" многие учреждения вывесили таблички: "Работаем только на вынос". На школах я подобных объявлений не встречал. Но суть от этого не меняется. Продукт, который раньше был предназначен для совместного употребления в школьных стенах, теперь предлагают с доставкой на дом». Директор Инновационного центра «Технологии современного образования» Дмитрий РУБАШКИН размышляет о плюсах и минусах дистанционного обучения.

Лицом к жизни

Российская сельская школа, ее проблемы и перспективы развития — сквозная тема интервью академика РАО, доктора педагогических наук, писателя Анатолия ЦИРУЛЬНИКОВА.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

11'2020

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.09.2020.
Подписано в печать 28.10.2020.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 5731. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕК

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

«Только детские книги читать...» Заочный «круглый стол»	3
---	---

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ганна ШЕВЧЕНКО. Осень — колотая рана. Стихи	35
Борис МИНАЕВ. Площадь Борьбы. Роман	39
Карен ТАРАЯН. Кочегары страны Аид. Стихи	106
Алексей САЛЬНИКОВ. Буллинг животворящий. Рассказ	108
Владимир ШПАКОВ. Люда. Рассказ	113
Ирина БОГАТЫРЁВА. Дядьмороз. Рассказ	134
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. Знаки звука. Стихи	142
Валерия КРУТОВА. Дазайн. Рассказы	145
Борис ВЕТРОВ. «Чайка» для Лазаря. Рассказ	160
Алан ЦХУРБАЕВ. Бледные пятна. Рассказ	169
Александр ФРАНЦЕВ. Над равнодушной державой. Стихи	180
Наталья ЯВЛЮХИНА. Точка невозврата. Рассказы	183
Сергей МУРАТОВ. Два рассказа	197
Ирина КОСТАРЕВА. Волосы. Рассказ	206
Александр АМЧИСЛАВСКИЙ. Мы жили там. Стихи	215

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ЕСЕНИН 125+

«Песни, песни, о чём вы кричите?...» Сергей Есенин в эпоху новой политкорректности, аватарок и эмодзи. В обсуждении принимают участие: Иван ВОЛОСЮК, Надя ДЕЛАЛАНД, Бахыт КЕНЖЕЕВ, Константин КОМАРОВ, Марина КУДИМОВА, Анна МАРКИНА, Роман РУБАНОВ	218
---	-----

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ

Дмитрий РУБАШКИН. Школа — второй дом. Дом — вторая школа	228
Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Образование на краю Ойкумены. Беседу ведет Антон Зверев	233

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

Владимир СМИРНОВ. Воспитание будущего	241
---	-----

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«В тех местах тогда не было Бога...» О романе Леонида Тишкова «Взгляни на дом свой» размышляют Ольга БУГОСЛАВСКАЯ и Наталья ИГРУНОВА	255
--	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Сны месяца тишрея (Керен Климовски. «Время говорить»)	265
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Театр Саши	269
--------------------------------	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Леонид ТИШКОВ. «Взгляни на дом свой»	
--------------------------------------	--

«Только детские книги читать...»

В заочном «круглом столе» принимают участие:

*Акрам АЙЛИСЛИ, Евгений АЛЁХИН, Дмитрий АРТИС,
Полина БАРСКОВА, Ирина БОГАТЫРЁВА, Александр БУШКОВСКИЙ,
Алексей ВАРЛАМОВ, Андрей ГЕЛАСИМОВ, Юлий ГУГОЛЕВ,
Максим ГУРЕЕВ, Ксения ДРАГУНСКАЯ, Олег ЕРМАКОВ,
Дмитрий ЗАХАРОВ, Александр ИЛИЧЕВСКИЙ, Михаил КУРАЕВ,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Ольга ПОГОДИНА-КУЗМИНА,
Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, Ольга СЛАВНИКОВА*

В 2015 году «ДН» впервые предложила своим авторам — писателям из «ближнего» и «дальнего» зарубежья вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о том, что любят (и любят ли) читать их дети и внуки.

В этом номере — новые авторы и новые книги.

Теперь в нашей копилке уже больше сотни историй.

*Акрам Айлисли, прозаик, сценарист, переводчик
(г.Баку, Республика Азербайджан)*

«Все прочитанное мной в книгах я воочию увидел когда-то в Айлисе»

В детстве я читал только на азербайджанском по самой простой причине: знал я только азербайджанский язык, ведь я рос в деревне. Помню героический эпос «Кероглу» и книгу Сулеймана Сани Ахундова «Страшные сказки». Сказки я полюбил, вероятно, потому, что в них было то, чего не было в жизни. Их рассказывала всегда на ночь моя мама. (Отец погиб на фронте, когда мне не было и пяти лет.) Только позже я понял, почему она их так часто рассказывала. Видимо, хотела отвлечь меня, голодного, от постоянного желания есть. Даже и после войны, до самой середины 50-х, основная масса людей нуждалась в хлебе.

И вообще, не сказка ли вся художественная литература? Разве не сказки «Мастер и Маргарита», «Мёртвые души», «Дон Кихот», «Гроздь гнева»?.. Могу удивить вас еще больше: до сих пор я почти уверен, что все прочитанное и читаемое мной в книгах я воочию увидел когда-то в Айлисе — и вот вам еще одна страшная сказка!

А эпос? В эпосе есть простое, очень понятное и чувственное противостояние добра и зла. Борьба за справедливость, которую легко воспринимает детская душа.

В раннем юношестве поразил меня А.М.Горький своими рассказами и трилогией «Детство», «В людях», «Мои университеты». Ранний Горький, по-моему, очень хороший сказочник. Скучная безрадостная жизнь — и маленький человек, мечтающий выбраться на свет Божий. А я был и навсегда остался в душе этим маленьким человеком. Вот что связывает меня с ранним Горьким.

Два года я учился в Баку. А потом — Литинститут, который очень быстро преобразил меня. У меня был отдельный учитель по русскому языку: очень простой и добрый старичок. Помню, как по-детски весело радовался он моим успехам. В студенческие годы я увлеченно читал Генриха Бёлля. Затем перевел на азербайджанский язык его повесть «Хлеб ранних лет». Выпущенная большим тиражом, она разошлась мгновенно.

На сегодняшний день мои самые любимые писатели Джон Стейнбек и Иван Бунин.

А любимой книгой моего старшего сына Ильясa была «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Младшего, Наджафа — «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова.

У внучек свои предпочтения: старшая, Айлин, больше всего любит «Зверинец Джебраила» Кэрол Берч, а младшая, Сезен — «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт.

Евгений Алёхин, прозаик, музыкант, издатель (г. Санкт-Петербург)

Первая книга

Моя любимая книга из детства «Сказка с подробностями» Григория Остера. Ее перечитывал два года назад, и магии не стало меньше. Получил такое же удовольствие.

Я долго не мог научиться читать по-русски, потому что не понимал, зачем это мне. Немного читал по-английски, потому что в мои шесть лет сводный брат обучил меня программированию. Потом пошел в школу и освоил родную азбуку, когда появился соревновательный инстинкт. Но там нужно было просто быстро оттараторить и получить оценку. В первом классе случайно так стал читать быстрее всех, а потом, когда научился внятно пересказать прочитанное, стал получать оценки ни за что. Но само чтение не увлекало. Помню: откроешь книгу якобы для твоего возраста — и сразу чувство, что с тобой сюсюкаются. Почти все книги, что мне давали взрослые, были скучные или лицемерные, как улыбка взрослого, вызванная тем, что я блондинчик. Они думают, что улыбаются искренне, — но ты, ребенок, видишь оскал сатаниста. Все же я очень любил, когда отец читал мне вслух — греческие мифы, например. Сложно было читать самому, но он делал их понятными. Конечно, отец их купировал, не рассказывал мне про сексуальные связи богов с людьми, животными, предметами... Мать же читала мне Библию, и это было страшно. Я плакал и думал, что я и есть Каин. От этого не оправился до конца до сих пор, библейские сюжеты часто путаются с воспоминаниями о собственной жизни, и это страшная путаница. Когда мать развелась с отцом, она меня крестила и научила крепко бояться бога. Чтение отца приносило кайф и успокаивало. Помню «Денискины рассказы», у меня даже были любимые тексты в этой книге, озвученной отцовским баритоном (почти басом). Но даже в них

был какой-то кукиш, подвох, неправда. Гнильца, что ли, в общем, что-то с ними было не так. Тайное не становится явным, иначе бы я умер в семь лет, когда бы мои мама и сестра узнали, что я подглядывал за ними в душе. Автор явно морализаторствовал, я не хотел этого от книги, этого хватало от тупых взрослых. Чему пытался обучить меня В.Драгунский? Есть манную кашу через силу? Нет, спасибо, но я после его рассказа понял, как действовать. Родителю надоест смотреть за тобой, и он выйдет в комнату, а тебе надо взять тарелку с ненавистной едой, тихонько пройти в туалет, скинуть еду в унитаз, но не смывать. Нужно поставить тарелку в раковину или помыть самому, а потом сделать вид, что идешь в туалет, там уже и смыть ненавистный борщ с мясом, которое не нужно организму. Помню, как плевался от «Золотых слов» Зоценко, — нет, взрослые это не взрослые, а дети это не дети. Но в «Сказке с подробностями» ничего такого не было, этот человек (автор) понимал, что дети не идиоты, он уважал нас. Я засыпал и просыпался с этой книгой, прочитал ее раз пятнадцать. Автор рассказал мне, что важна не столько сама формальная часть истории, сколько ее уникальные подробности. Лошадки стали для меня семьей, директор карусели стал старшим братом. Спасибо вам, Григорий, надеюсь, Вы здоровы и до сих пор пишете. Думаю, что я прочитаю эту книгу своим детям: дочери России и сыну Антимиру. Может быть, даже запишу для них в аудиоформате. Подробности живут лучше основной линии, развиваются по своим законам. Мир — в этих полуслучайных подробностях. Для меня до сих пор так.

Дмитрий Артис, поэт (г.Москва)

ФИЛИППОК

В нашем городке открыли первую школу с углубленным изучением английского языка. «Английская школа» — так во дворе называли ее. Набор с шести лет, а со второго класса — с семи лет — начинали учить языку. В далеком 1979 году простые советские дети, а так же их родители, о таком даже не мечтали. Это было что-то из разряда фантастики, будто кто-то щелкнул пальцами или взмахнул волшебной палочкой и в одно мгновение наш городок оказался в будущем.

Мне как раз исполнилось шесть лет, я уже неплохо читал, писал и считал, поэтому в один из летних понедельников мама нарядила меня в одежды послушного сына (белая рубашка, темные шортики, гольфы, сандалики, не помню, была ли бабочка, туго обхватывающая горло, но пусть будет — для полной картинки), в общем, нарядила и повела в школу на так называемое «прослушивание», по результатам которого принималось решение о зачислении в новую модную школу.

Путь неблизкий. Мы жили в центре старого города, отстроенного сразу после войны (кирпичные пятиэтажные дома, квартиры с высокими потолками и деревянными полами), а школа находилась в новом районе, где с начала семидесятых уже царствовали высокие панельки, поддерживающие небо (низкие потолки и бетонные полы, которые застилались вечно вздыбливающимся линолеумом).

Чтобы добраться до школы, нам нужно было сесть на автобус у центральной площади с фонтаном и проехать с десятков остановок. Пока ехали, мама продолжала готовить меня к прослушиванию, в который раз задавая одни и те же вопросы:

- Как тебя зовут? — имитируя строгий голос учительницы, спрашивала она.
- Дима...
- Отвечай «Дмитрий»!

- Дмитрий.
- А как зовут маму?
- Света... Светлана!
- А где ты живешь?
- Улица Те... ле... теле... телес...
- Ну, Дима! Ты же знаешь!

От волнения забыл, как произносятся буквы «р» и «ш». Покраснел, на глазах набухли слезы. Задрожали губы, подбородок. Вот-вот разревусь.

- Назови адрес! Адрес!

Я посмотрел на маму, и она представилась мне огромным стражником башни из фильма-сказки «Королевство кривых зеркал». Этот стражник у любого, кто подходил к воротам, громовым голосом требовал показать ключ:

- Ключ?! — требовал стражник.
- Адрес?! — требовала мама.

Потом я представил маму в образе фанатичного поклонника Миледи из фильма про трех мушкетеров, который просил назвать имя:

— Назовите его имя, Миледи! Имя! — требовал он, округляя до пятикопеечной монеты глаза.

- Адрес! — требовала мама.
- Улица Телесковой, дом сетыле, — наконец-то произнес я.
- Не Телесковой, а Терешковой! Улица Терешковой, дом четыре.
- Телесковой-сетыле, — повторил и разрыдался.

Мама посмотрела на меня, покачала головой и дальше мы всю дорогу ехали молча. В автобусе только и были слышны мои протяжные детские всхлипы.

Когда подошли к школе, я уже успокоился и почти забыл о своей первой неудаче. Светило ласковое подмосковное солнце. Август. Не жарко, а вот именно — тепло. Птицы, редкие машины, аккуратные люди, памятник академику Королеву, зелень, цветы на клумбах, школа... Первая английская школа в нашем городе, и я там буду учиться! Посмотрел на небо, потом на маму и громко сказал:

- Улица Терешковой, дом четыре, квартира двадцать девять!
- Молодец, Дима...
- Дмитрий! Мама, говори «Дмитрий»! — перебил.
- Хорошо, Дмитрий!

Прослушивание проходило хорошо. Учителя, которые проводили тестирование, оказались не такими уж и страшными. Спрашивали, я отвечал, снова спрашивали и я снова отвечал. Называл свое имя, адрес, имена родителей, проводил простые арифметические действия — складывал, вычитал, наизусть по порядку называл буквы алфавита, в общем, был на удивление прекрасен и даже нравился сам себе.

Гольфы немного сползли, поэтому, сидя на стуле, неловко задрал ноги, чтобы подтянуть их. Уж больно хотелось не только чувствовать себя на высоте, но и выглядеть так же. Сидящие напротив меня учителя не оценили этого поступка. Не понравились им чуть ли не выше стола задранные ноги в сандаликах.

Одна из учительниц, та, что была старше всех, худощавая, с острым английским лицом и тонкой шеей, от удивления открыла рот и откинулась на спинку стула. Я тут же почувствовал резкую перемену отношения к себе. Воздух в классе потяжелел. Чтобы вдохнуть его, необходимо было приложить огромные усилия. Казалось, что я сейчас задохнусь. Опять затряслись губы и подбородок.

Учительница с английским лицом посмотрела на мою маму. После некоторой паузы она взяла со стола книжку и протянула мне:

- Почитаешь нам?
- Да, — еле слышно ответил.

Это была тонкая детская книжка. На обложке был нарисован мальчик в огромной шапке-ушанке, в полушубке и в валенках. В руках у мальчика была «Азбука». Я взял книжку, положил перед собой и вслух прочитал:

— Эл, Эн, Тол-с-той, Фи-ли-п-пок.

— Открывай, читай, — с нескрываемой серьезностью (почти с отвращением глядя на меня) сказала английская учительница.

Я открыл книжку и начал читать. Буквы поплыли. Маленькие непохожие друг на друга кораблики сталкивались, набегали друг на друга, путались и снова разбегались в разные стороны. Слова распадались и мои глаза никак не могли собрать их в единое целое, а строчки все накатывали, как волны, и накатывали. В тот момент мне совершенно не хотелось быть «Дмитрием». Я чувствовал себя маленьким, никому не нужным человечком, который только и хотел, чтобы хоть кто-то прижал его к себе, успокоил, погладил по голове и назвал каким-нибудь нежным словом, воробышком, например, или даже воробышкой.

Чтение вслух никак не давалось, язык не слушался, зубы мешали, щеки то надувались, то, напротив, втягивались. Пыхтел, кряхтел, шепелявил, картавил, покрывался испариной. Гольфы опять сползли, но мне уже было все равно, не до них. Лишь бы скорее все это закончилось.

Английская учительница наконец-то произнесла:

— Спасибо, Дмитрий, хватит, — посмотрела на мою маму, — сами понимаете, рано...

— Да, — согласилась мама.

Я закрыл книжку, встал со стула и самостоятельно, без чьего-либо разрешения направился к дверям, на выход. Больше не мог находиться в том помещении ни секунды. Мама оторопела. Учительница тоже.

— Дима, а до свидания сказать? — крикнула мне вдогонку, но я уже выскочил за дверь в коридор. Дошел до стены, прислонился к ней спиной и сполз на корточки.

Через пару минут мама вышла. В руках у нее была та самая книжка:

— Не взяли, — вздохнула, — вот, книжку тебе подарили. Хоть не зря съездили.

— Ага...

До дома доехали быстро, без особых приключений, пообедали, я отпросился на улицу. Взял книжку, вышел во двор, уселся на лавочку и начал читать, водя указательным пальцем по строчкам. В книжке рассказывалось о мальчике по имени Филиппок, который так сильно хотел учиться, что сам пошел в школу, а когда пришел, учитель оставил его, несмотря на то, что Филиппок был еще совсем маленький. Прочитал, закрыл, положил на лавочку и пошел домой. В голове крутилась одна фраза: «Неправда какая-то».

Книжка так и осталась там лежать на лавочке, а я еще долго думал о том, что писать такие неправдоподобные истории, обманывать читателя, особенно такого, как я, нехорошо. Не могли взять Филиппка в школу, даже если он сильно-сильно хотел учиться. Меня же не взяли, а я уж в своем желании никак не уступал этому мальчику.

Полина Барскова, поэт (г.Амхерст, США)

**«Этот мир боится не пиратов,
он боится скуки»**

Всерьез задавшись вопросом, что же так привлекает меня в «Острове Сокровищ», я постепенно понимаю, что это не азартный хруст костей на пиратском флаге, не соленый, жаркий, обжигающий воздух странствий, не переливающиеся, недоступные и невозможные драгоценности: скорее, это ощущение тревоги, очень мне понятной и тридцать лет назад, да и сейчас.

Читателем этой книги овладевает тревога, главная эмоция, главная нота подростковости: ожидание, страх, незнание, желание — и метафоры, в которые все это воплотилось: океан и коварный предатель-пират, шармер-повар, он же лучший друг, надежда и опора юнги Джима.

Столько раз я перечитывала и пересматривала эту историю, что сюжет в моей голове совершенно изменил форму (лукавы законы перечитывания). Этим и сложен, интересен вопрос о любимой книге детства, которая идет с тобой, живет с тобой всю жизнь, меняясь, как и ты, подлаживаясь к твоим переменам. Думая об этой книге, закрывая глаза, я вижу, как из тумана неведения, невинности, выплывает шхуна и овладевает нашим героем, чтобы в конце уже он овладел ей и привел роман к развязке. Меня всегда поражало, что по-английски корабль это «она», самоуверенная, дерзкая «Испаньола», несущая героев к испытанию их на прочность.

Туман, который окутывает мир Джима в начале, исчезает, так открываются глаза у котят и щенков, так со временем узнаешь, что враг познается в беде, и учишься его ценить.

Автор романа — существо прихотливое: создатель одного из первых текстов о двойственности, о перетекании друг в друга Джекила и Хайда, о том, как трудно бывает различить Добро и Зло. Так же и «Остров сокровищ», роман о вхождении во взрослый мир, где все двойственно, мерцает, лукавит, может оказаться не тем, чем кажется, чем хочется: и сокровища, и наставники, и карта острова; роман о несоразмерности, о взрослении, о соотношении маленького и большого. Юнга Джим, кого сначала замечают не более, чем пиратского попугая, из наблюдателя, которого носит вдоль событий, как перекасти-море, становится автором событий, их первопричиной.

При этом роман Стивенсона также трогателен: он изобилует эпитетами «ужасный», «невероятный», «таинственный»: этот мир, в первую очередь, боится не пиратов, он боится скуки. Вернемся к туману на побережье, куда Джим поначалу ходит с матушкой: именно от этого серого, вязкого тумана обыденности желает нас спасти Стивенсон, задумывая всю эту пронзительную вампуку.

Еще одна сильная нота здесь: память. Пираты все время вспоминают о своем ослепительном и отвратительном прошлом, здесь все, включая неотразимую черную метку, происходит из прошлого, возвращается. Из прошлого возникает и главный текст этого текста: карта острова, главное сокровище — это то, что можно читать, чтить, как реликвию, чему и за чем можно следовать на край света.

Это впечатление: когда нацарапанная нетвердой рукой, теперь уже ветхая, карта становится островом, оборачивается реальностью, — один из главных уколов этой книги.

«Остров сокровищ» — книга о мираже и соблазне, но Сильвер не только мерзкий подлец, все гораздо опаснее: он настоящий соблазнитель, как аббат Фариа у Дюма (еще одна неотразимая для меня история), он вводит юнгу Джима в соблазн пиратской вольницы, откуда вернуться почти невозможно. Любопытно, что именно одноногий Сильвер является главной фигурой притяжения в этой книге, а не очаровательные друзья Джима: безукоризненно мрачный капитан Смоллетт, безукоризненно безукоризненный доктор Ливси и безукоризненно легкомысленный сквайр Трелони (мой любимец, предшественник грядущих литератур катастроф обаяния, ненадежности и хвастовства, как, скажем, Карлсон). Джим и Сильвер нужны друг другу: Сильверу нужно ослеплять и покорять, Джиму нужно преодолевать, перерастать, оставлять за кормой.

С детства меня преследует проклятие Сильвера: завтра «те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!» — завтра, всегда думаю я, вспоминая эту книгу, все повторится, живые смешаются с мертвыми, корабль-призрак отправится искать сокровище смысла, сокровище судьбы, маленький Джим отправится искать себя, а читатель отправится искать (и каждый раз находить) наслаждение от игры в пиратов и игры во взрослых.

Ирина Богатырёва, прозаик (г.Люберцы, Московская область)

Серёжкины рассказы

Что такое литература и в чем ее отличие от невыдуманной истории, я не очень в детстве понимала. Граница была проницаема — где книжка, а где жизнь, где выдуманно, а где прожито. Да какая, собственно, разница? Не уверена, что для меня и сейчас-то эта граница является такой уж принципиальной, а тогда и подавно.

И все благодаря моему папе.

Дело в том, что мой папа — вдохновенный рассказчик. Яркий, увлекающийся, он с первых слов завладевал вниманием публики в моем лице и так выстраивал нарратив, так погружал в сюжет, что публика сперва немела, раскрыв рот, а потом требовала повторений.

— Про телегу! Про быка! Про то, как на тебя тетя упала! — командовала я, и папа в сотый раз рассказывал истории из своего деревенского детства.

Как по улице четыре мужика вели на цепях огромного колхозного быка, а тот вдруг вырвался и погнался за глазевшими пацанами. Пацаны врассыпную, мой маленький папа остался один, но не испугался, а смело залез на забор. Бык — бамц! — рогами, но сбить не может. Бамц опять — и застрял! Тут подбежали мужики, быка схватили за цепи и дальше повели.

Или вот про то, как папу-младенца носили мыть в общественную баню, и там огромная тетища, сто кило, упала на него с верхней полки! Рухнула — и ревет, и бабушка, папина мама, ревет, и все в бане ревет — решили, что папу раздавило, что от него мокрое место осталось. А папа ревет тоже, но не потому, что раздавленный, а потому что отскочил и о стенку ударился. Просто он весь намыленный был и из-под тетищи, как обмылок, выскочил.

Но моя любимая история была про то, как папа с большими мальчишками воду с реки на телеге возил. Они вкатывали бочку в телегу по доске, а потом перекидывали эту доску через ту же бочку и, пока кобыла волокла телегу в горку с речки, катались там, как на качелях. Но папа маленький, легкий, он как сел — так и навернулся с этой доски, и прямо под колеса телеги! А она ему по голове проехала. Мальчишки перепугались — отрезало голову-то! — кобылу хлестать, и погнали в деревню. А папа поднялся, что такое — темно, ничего не видит. Кое-как домой бредет, а в деревне все бегают орут: отрезало, мальчонке голову отрезало!

Просто дорога была очень грязная, голова целиком в грязи утонула, вот папа и выжил.

Но были у него и другие истории, из городского детства — их семья много переезжала, и папа везде успел пожить. В этих историях все было не так рискованно, но тоже интересно. Там папа манную кашу из окна выбрасывал, светлячка в коробочке держал, в цирк ходил со своим другом Мишкой... Этих историй было очень много, поэтому папа читал их по книжке. С не меньшей выразительностью и вдохновением. Записал эти папины истории писатель Виктор Драгунский. Я их ужасно любила, не меньше, чем деревенские.

Правда, кое-что меня все же смущало.

— Папа, а почему тебя в книжке зовут Денис?

Ответ на этот вопрос менялся по мере моего взросления:

— А это потому, что я, когда был маленьким, был Денисом, а потом вырос и имя поменял. — Или позже: — Это потому, что писатели всегда своим героям другие имена дают, не как в жизни. Чтобы они хоть немного, но отличались.

— А Мишке почему не поменял? — не унималась я (лучшего друга моего папы, соратника во всех его приключениях действительно звали Мишкой).

— Потому что он персонаж второстепенный, не так важно.

— А откуда писатель вообще все это про тебя узнал?

Не помню, что отвечал на это папа, видимо, мне это было не так-то важно. Гордость за то, что про папу написали целую книжку, была важнее. И, приходя в сад, распираемая этой гордостью, я собирала вокруг себя группу, и начинались бесконечные пересказы папиных историй: про быка и отрезанную голову, про манную кашу и «расскажите мне про Сингапур», про тетку в бане и как Мишка с Денисом — который на самом деле не Денис, а Сережа, но мы-то об этом никому не скажем — выкрасили сестру краской из шланга.

Группа слушала, разинув рты. Меня уважали. Это был мой проверенный способ поддерживать в саду авторитет.

Все кончилось как-то разом. Не помню, кто мне открыл глаза, наверное, воспитательница: «Это не про твоего папу, это у писателя Драгунского есть сын Денис, вот про него он и писал рассказы».

Почему-то я поверила ей тут же. Сработала магия имени: если есть Денис, который и на самом деле Денис, значит, это и правда не про папу Сережу.

И значит, папа мне врал.

Мой лучший на свете папа...

— Это неправда! Это все не про тебя! — ревела я вечером дома.

— Ну, кролик, это же и про меня тоже, про наше поколение, про всех нас...

— Неправда! Это не про тебя, не про тебя, не про тебя! Ты не Денис!

Я была безутешна. У меня рухнул мир, а вы мне про тонкости литературы.

Наконец, проревевшись, проплакавшись, я затихла в своей комнате — и до меня стал долетать разговор родителей на кухне.

— Но я думал, она понимает! — говорил папа в отчаянии. Я впервые слышала у него такой потерянный голос.

— Понимает что?! — изумлялась мама. — Что это не про тебя?

— Нет, про меня! И не про меня... Но это же все условности!

— Шестилетний ребенок? Сереж! Ты меня удивляешь!

И тут у меня в голове что-то сработало. Нет, он меня не обманывал — он просто меня переоценил. Считал меня умнее и догадливее. Думал, что я соображу. Про границу между вымыслом и реальностью, повседневностью и литературой, про тот волшебный момент, когда жизнь переходит в текст, а текст становится частью жизни. Важной, неотъемлемой частью. И папа делал это для меня: рассказывая свои — не свои истории, делясь со мной своим — не своим детством, он позволял мне преодолевать с ним эту границу условности.

Я это, конечно, все только потом до конца поняла. Как и другое — про общее детство, не личное, а поколенческое. И про магию текста, которая позволяет ему выходить за пределы личного опыта автора, вербализовать чей-то чужой опыт, говорить от чужого лица, — много позже поняла.

Но тогда мне удалось сообразить главное: что папа меня не обманывал. Он просто относился ко мне по-взрослому.

Папа еще долго формировал мой круг чтения. И читал мне вслух, я это очень любила: Дюма и Стругацких, Кира Булычёва и Джека Лондона... Теперь же в качестве алаверды новые книги подкидываю ему я.

А «Денискины рассказы» я перечитала несколько лет назад. Глупости сказала та воспиталка: это все и правда про моего папу.

Александр Бушковский, прозаик (г.Петрозаводск)

Феномен зла и настоящей жизни

«Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об Острове Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли. И вот в нынешнем, 17... году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир “Адмирал Бенбоу” и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке...»

Ну? Как вам начало? По-моему, лучше не придумашь. Идеальное начало идеального романа. Не какое-нибудь там унылое: «Смеркалось. Владимир вышел на крыльцо и посмотрел в синюющую даль» или псевдооригинальная замануха типа: «...И во-вторых!», а четкое и конкретное вступление к в высшей степени интересному историческому документу, не вызывающему к тому же никаких сомнений в своей правдивости и, я бы даже сказал, подлинности. Долгие годы я был уверен на все сто, что Стивенсон рассказывает о своем собственном отрочестве, и неважно, что Джим Хокинс жил лет за сто пятьдесят до Роберта Луиса. Именно Луиса, а не Льюиса, как пишут в некоторых изданиях. Но не в этом дело. Скажите, кто-нибудь сомневается в том, что Джим Хокинс, доктор Ливси, сквайр Трелони, а также все остальные участники этой приключенческой драмы, особенно Долговязый Джон Сильвер, действительно жили в восемнадцатом веке и пытались убить друг друга (и часто убивали) в поисках сокровищ на мрачном необитаемом острове, а не были выписаны на бумаге задумчивым человеком средних лет со слабым здоровьем?

Вступление это теперь вызывает во мне зависть, как раньше вызывало восторг. Здесь столько раздражающих воображение слов, фактов и смыслов, что хватит не на один роман. И Стивенсон еще пощадил нас, написав только один такой. А может, просто не успел сочинить продолжение о том, как сложились судьбы героев романа, оставшихся в живых, умер в сорок четыре года. Оставив нам сорок томов своего литературного наследия: романов, рассказов, статей, стихов, очерков и путевых заметок. И всего только одну небольшую книжечку о приключениях простого паренька на пиратском острове!

После первого абзаца я уже там, в 17... году, в старой Англии, королеве морей. Это мне, именно мне, а не сквайру Трелони, доктору Ливси и другим джентльменам хочется узнать все подробности этой истории, с самого начала и до конца, и на последней строчке с испугом услышать, как попугай Сильвера хриплым голосом кричит: «Пиастры!» «Остров сокровищ» — роман ясный, простой и по замыслу, и по выполнению, — пишет в послесловии к изданию 1985 года Иван Кашкин, переводчик другого стивенсоновского романа. Точно, Иван Александрович! — восклицаю я. — Простой и ясный! Особенно для меня, деревенского паренька времен заката социализма, когда в разных источниках «сквайр» переводился то как «помещик», то как «дворянский титул в Англии»; «джентльмен» вообще имел кучу значений — от хорошо воспитанного мужчины благородного сословия до человека, имеющего право носить оружие, а «трактир» отличался от «таверны» лишь красотой звучания. Все это ясно и просто, короче, понять можно, когда так интересно! Так и представишь себе вымбовку, гандшпуг, крьюйс-марс и фок-зейл. И то, что повествование сначала ведется от лица мальчишки, только начинающего жить и уже попавшего в жестокую переделку, после переходит к взрослому мужчине, доктору, джентльмену и ветерану, и потом возвращается

обратно, конечно, тоже не представляет сложностей автору, а мне, читателю возраста Джима, просто облегчает понимание и расширяет горизонты. Ну да ладно! Зато ясно, как день, что остров есть.

Остров точно есть (хоть и жаль, что без координат), и есть сокровища, еще даже не вывезенные оттуда, и уже появился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке! Скорее дальше! Загорелый — значит ходил по южным морям. Вы заметили, я говорю «ходил», а не «плавал», я уже кое-что смыслю в морях. Сабельный шрам — это не какой-нибудь там синяк от хулиганского кулака или царапина от гвоздя в заборе. Шрам свидетельствует о том, что старый моряк дрался не на жизнь, а на смерть, участвовал в морских сражениях, где или побеждаешь, или отправляешься рыбам на закуску, ветошью прикинуться не выйдет! Да-а! Вот это я называю настоящей книгой! О настоящей жизни, полной опасностей и приключений!

Погодите, это только начало. Через несколько страниц окажется, что наличие шрама — не главное в мужчине, так же как и умение постоянно пить ром (что такое этот ром, он, наверное, очень вкусный?), как пугающее сквернословие и леденящие душу рассказы о виселицах, штормах и смертельной лихорадке Жёлтый Джек. Настоящий мужчина — джентльмен без сомнительной приставки «удачи», а джентльмена отличает скромность, твердость характера и верность своему слову и долгу. В ответ на грубость и наглость джентльмен отвечает: «Если вы не перестанете пьянствовать, вы скоро избавите мир от одного из самых гнусных мерзавцев!» А на угрозу матросским ножом «Доктор (*Ливси*) даже не шевельнулся. Он продолжал говорить с ним, не оборачиваясь, через плечо, тем же голосом — может быть, только немного громче, чтобы все могли слышать. Спокойно и твердо он произнес: — Если вы сейчас же не спрячете этот нож в карман, клянусь вам честью, что вы будете болтаться на виселице после первой же сессии нашего разъездного суда». Вот так джентльмены, люди образованные, свободные и благородные, осаживают негодяев и грубиянов, исповедующих хамство, религию рабов.

Или вот как отвечает на ультиматум врага капитан Смоллетт, с горсткой товарищей окруженный в деревянном домишке троекратно превосходящей по численности бандой пиратов. На ультиматум, который безжалостный Сильвер заканчивает словами: «Если вы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья. <...> А те из вас, кто останется в живых, позавидует мертвым». «Отлично, — сказал капитан. — А теперь послушайте меня. Если вы все придете ко мне сюда безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, отвезти в Англию и предать справедливому суду. Но если вы не явитесь, то помните, что зовут меня Александр Смоллетт, что я стою под этим флагом и что я всех отправлю к дьяволу».

В общем, храбрость и честь сильнее подлости и жажды наживы. Из книжки Стивенсона это и дураку станет ясно. Остается только одна загадочная фигура — корабельный кок и глава заговорщиков Джон Сильвер. Вот уж феномен так феномен! Вообще, почти в каждом романе Стивенсона есть обаятельный злодей, но тут он выписан особенно выпукло. Кулинар и убийца, весельчак и лжец, смельчак и предатель. Не только автора, но и многих из нас занимает природа зла, его суть и нутро. Почему иногда (изредка, давно, в молодости) во мне просыпалось желание запустить обломком кирпича в зеркальную витрину магазина или в огромное оконное стекло банка? А уж вынести под шумок миллион из этого банка кто из мужчин не мечтал? В мелких и средних купюрах, с разными сериями и номерами. Да и некоторым девушкам часто больше нравятся brutальные негодяи, чем страдающие и переживающие за правое дело положительные герои, пусть и романтики. Отчего? Оттого, что натура человеческая склонна ко греху? Хорошее объяснение, но не очень убедительное. Какое-то умозрительное...

Джон Сильвер не brutalен и не романтичен. Он прагматичен. При всех его достоинствах он циник и подлец. И все же мне не хочется, чтобы честный и

благородный капитан Смоллетт всадил ему пулю в спину, как обещал, или недовольные его руководством пираты низложили его черной меткой и подняли на свои ножи, и тем более я против того, чтобы он болтался на виселице где-нибудь в Бристоле, звеня железными оковами, и над ним кружили вороны, и моряки показывали на него пальцем, говоря один другому: «Это Джон Сильвер. Я хорошо его знал». И я знаю, почему я против этого. Из всей совокупности плохих и не очень плохих черт, составляющих личность Сильвера, выделяется одна, ради которой я с радостью прошу ему его измену. Это чувство юмора.

Юмор Сильвера — это юмор самого Стивенсона, вложенный в уста его едва ли не главного персонажа (две части романа из шести названы автором в его честь — «Судовой повар» и «Капитан Сильвер»). Это озарение посетило меня, только когда я раз сорок за двадцать лет перечитал роман и уже знал наизусть многие сцены и диалоги. Во время одного из таких перечитываний я вдруг заметил, что смеюсь над ремаркой автора, не относящейся к Долговязому Джону. Прошу извинить меня за короткий и бледный пересказ захватывающего авторского текста.

Оставшиеся в живых пираты, больные и измученные, обретя вождя, идут на поиски сокровищ и вдруг слышат в лесу жуткий голос, который выкрикивает предсмертные слова Флинта, их бывшего капитана, жестокого убийцы, умершего много лет назад в страшных мучениях. Все, включая Сильвера, дико пугаются и теряют волю и мужество продолжить начатое дело. Но Сильвер быстрее других берет себя в руки и доказывает всем, что голос этот не голос привидения (поскольку у него есть эхо) и не голос Флинта, а похож? скорее... да! Это голос Бена Ганна, бестолкового и безобидного матроса, никем не воспринимаемого всерьез. Пираты быстро приходят в себя, и только молодой Дик сомневается:

«— А велика ли разница? <...> Бен Ганн покойник, и Флинт покойник.

Но матросы постарше презрительно отнеслись к его замечанию.

— Плевать на Бена Ганна! — крикнул Мерри. — Живой он или мертвый, не все ли равно? <...>

Он сказал правду: жив ли Бен Ганн или мертв, его не боялся никто».

Конечно, многим это не покажется смешным, но я почему-то смеялся.

Чувство же юмора самого Сильвера требует отдельного акцента. В той же сцене поиска сокровищ пираты сначала находят скелет человека в лохмотьях истлевшей одежды, опять же поначалу пугаются, но потом внимательно разглядывают его.

«— Это моряк, — сказал Джордж Мерри. <...> — Одежда у него была морская.

— Конечно, моряк, — сказал Сильвер. — Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа?»

Начав просматривать в тексте монологи Джона Сильвера, я с дурацкой улыбкой опять залип в книжку и вдруг подумал, что из моего сумбурного сочинения не ясно, почему же пираты выбрали себе капитаном пожилого одноногого повара. В прекрасном переводе Н. Чуковского Сильвер сам говорит, что он не был капитаном, капитаном был Флинт, а он был у Флинта квартирмейстером, то есть заведующим продовольствием, и «старые пираты Флинта слушались его, как овечки». Квартирмейстер меня не устраивал, поскольку я сумел узнать об этой должности только то, что она сугубо хозяйственная. Но тут я увидел по телевизору выступление замечательного писателя Михаила Веллера, который, как оказалось, уважает Стивенсона не меньше моего. Михаил с присущими ему жаром и эмоциональностью объяснил, что термин «квартирмейстер» происходит не от квартиры, а от английского морского термина «квартердек», обозначающего верхнюю часть палубы корабля, с которой первой идет в бой на вражеский корабль абордажная команда, и звучит он, скорее, как «квартермастер», то есть повелитель этой отчаянной орды. Квартермастер — второе лицо на корабле после капитана. Все стало на свои места — попробуй-ка

не послушайся капитана второго ранга и командира корабельного спецназа, можно сказать, морской пехоты.

О! Вот еще пара фраз Сильвера на закуску, и надо закругляться. «Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы», — говорит Сильвер, имея в виду глаза своего соратника Пью. Не знаю, называли ли в то время корабельные оконца иллюминаторами, но дело не в этом, а в том, что, несмотря на всю черноту этой шутки, мне снова смешно. Или в том же духе (обращаясь к своим товарищам): «Если бы вы умели взять правильный курс и держаться его, вы все давно катались бы в каретах. Но куда вам! Знаю я вашего брата. Налакаетесь рому — и на виселицу». Нет, простите, не могу пройти мимо еще одного перла корабельного кока и по совместительству главаря заговорщиков: «Долг прежде всего, ребята. И я голосую — убить (*это он о противниках, которых предполагается взять в плен*). Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в золоченой карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих тонконогих стрекулистов».

Прошу простить меня за то, что мне нравятся эти грубые шутки, но именно благодаря им мне так и не удалось возненавидеть Сильвера и начать его презирать. Фигура главного злодея стоит особняком от остальных пиратов и остается таковой до самого конца романа. Словно Стивенсон хочет признаться мне, что аксиома «добро побеждает зло» неочевидна и все же требует доказательств. Потому и ускользает «одноногий дьявол» от справедливой кары, да еще и с помощью смешного недотепы Бена Ганна, главного виновника его фиаско, который так боится Сильвера, что сам помогает ему сесть в лодку и скрыться с мешочком золотых монет. Они, «несомненно, пригодятся ему в дальнейших скитаниях».

Пожалуй, все, о чем я говорил, — только малая часть тех впечатлений от любимой книжки моего детства, какими я мечтал бы поделиться. Однако, чтобы поделиться остальными, пришлось бы процитировать ее всю и всю прокомментировать. Ну, может, кроме первого абзаца.

P.S. «— Что же делать с этой черной меткой, приятели? Теперь она как будто ни к чему. Дик загубил свою душу, изгадил свою Библию, и все понапрасну.

— А может быть, она еще годится для присяги? — спросил Дик, которого, видимо, сильно тревожило совершенное им кощунство.

— Библия с отрезанной страницей! — ужаснулся Сильвер. — Ни за что! В ней не больше святости, чем в песеннике...»

Алексей Варламов, прозаик (г.Москва)

«Мальчик по-прежнему обещает не плакать...»

Одним из самых загадочных персонажей моего детства был родной брат моей бабушки Георгий Анемподистович Посельский — дядя Юра, как я его звал. Это был высокий, прямой, суховатый старик, инженер, прошедший всю войну и поднимавший потом нашу промышленность, но при этом человек в отличие от бабушки глубоко несоветский, одинокий, очень сдержанный — в общем, настоящий русский дворянин, осколок другой, неведомой мне дореволюционной России. Он иногда гостил у нас на даче в Купавне, разговаривал с бабушкой по-французски о политике, чтобы мы не могли понять его возмущенных речей и ссылок на «Би-би-си» или «Голос Америки». У самого у него внуков не было, и на нас, галдящих, невоспитанных, чумазных, вечно

утаскивающих с кухни куски хлеба или играющих перед домом в игру с неприличным названием «жопки», он смотрел, по-моему, с таким же ужасом, как и на все советское царство-государство. Однако ж на дни рождения дарил всякий раз мне книги. Нет, это была никакая не антисоветская детская литература, если только такая бывает, ни даже почтенная русская классика, но какие-то сочинения, которые мне навсегда запомнились, и больше всего — одно из них.

Эта книга называлась «Сага о малыше Хьялти» и была написана исландским писателем Стефаном Йоунссоном — такой своего рода роман воспитания, взросления, история человеческой души. Я прочитал ее не один раз, я с этой книгой жил, полюбил ее главного героя и чувствовал его как себя, хотя что общего было у обыкновенного советского школьника из Пролетарского района города Москвы застойных лет и исландского мальчика начала двадцатого века, выросшего на маленьком хуторе Лейгамири в центральной части далекого острова в северной части Атлантического океана? Мальчика, который и в школу-то не ходил, потому что его отец умер, мама живет с маленькой сестрой на другом хуторе, а он должен работать за кусок хлеба, да еще унижаться и благодарить своих надменных хозяев, разбираться в их сложных взаимоотношениях и быть, по сути, их заложником. Что было мне до него и этих запутанных обстоятельств? Однако что-то было, и до сих пор для меня это и есть великая тайна литературы, которая прорывает границы времени и пространства, взламывает политические системы, сближает далекое и разделяет близкое. К тому же сага была удивительно проиллюстрирована Орестом Верейским, и текст, в котором герои и без того были как живые — тут, наверное, сказался отменный перевод, — и рисунки, где ты видел этих людей: самого малыша Хьялти, его подружку Хельгу, строгую хозяйку Сольвейг, ее малахольного мужа, красавицу Сигту, в которую девятилетний Хьялти влюблен и хочет на ней жениться, мальчишек с соседнего хутора, — так вот слово и картинка соединялись таким образом, что я уносился из своего заводского района, от грязных улиц, дворовой шпаны, от своей замечательной английской спецшколы с ее тошнотворными педагогическими нравами на дальнюю прекрасную землю к мальчику, старающемуся никогда не заплакать. Даже тогда, когда пропала в снежном бурене подаренная ему на день рождения овечка — единственное богатство маленького батрака. Упорный, целеустремленный, очень живой, искренний, но при этом ни капли не заносчивый — он мне был страшно симпатичен и сделался кем-то вроде брата, которого у меня не было.

«Сага о малыше Хьялти» — книга очень печальная и очень смешная, трогательная и ироничная, снисходительная и беспощадная. Богатая положениями, характерами и лицами, детским взглядом на взрослый мир и взрослым отношением к детству, и мне очень жаль, что она мало кому в нашей стране известна и с тех пор ни разу не переиздавалась. О ее авторе в русском интернете нет ничего, да и в английском тоже лишь общие сведения. Когда родился, где учился, что написал и когда умер. Правда, в предисловии было сказано, что Стефан Йоунссон всю жизнь проработал учителем в школе и был большим другом Советского Союза. Может и так, тогда в друзья СССР кого только не записывали, но мне кажется, что этот человек по своему характеру просто не мог быть ничьим врагом, и я бы очень хотел с ним встретиться и поговорить. И страна Исландия, где я никогда не был и которую видел лишь с высоты самолета по пути в Америку, так и осталась для меня страной хуторов, патриархальных отношений, овечьих стад, загонов, снежных бурь, быстрых ручьев и холмов, среди которых ищет свою пропавшую овечку веснушчатый мальчик, нарисованный Орестом Верейским.

Я всегда о нем помнил и всем, кому мог, про эту удивительную книгу своего детства рассказывал, но долгое время я не решался ее перечитывать, боясь разрушить очарование детского восприятия, и сделал это лишь нынешним безумным летом, в пресловутой самоизоляции, когда от обалдения чем только не займешься. Открыл,

начал читать как в первый раз, но постепенно возвращаясь в далекие годы, узнавая, вспоминая, открывая новые смыслы и понимая, что не ошибся. Это действительно выдающееся творение, в равной степени захватывающее и ребенка, и взрослого человека, когда на глаза и у того, и у другого наворачиваются слезы. Умиления, сочувствия, восторга — чудная, чудная книга. Да, дядюшка мой обладал отменным чутьем русского инженера, и давно нет в живых ни его, ни Стефана Йоунссона, а мальчик Хьялти по-прежнему обещает не плакать, но не выдерживает и плачет о том, что никто не придет назад...

Андрей Геласимов, прозаик (г.Москва)

«Провинившиеся книги помещались под арест»

Как-то раз я вернулся из школы и увидел свой книжный шкаф пустым. Чувство сиротства такой же остроты я переживал потом не более трех раз. Мама сказала, что выбросила мои книги. Я нагрубил ей, о чем жалею вот уже более сорока лет, и тогда она открыла дверь в кладовку. Все книги аккуратными стопками лежали там на полу. Шкаф с ними был слишком тяжелым, а его требовалось передвинуть. Но вообще в семье практиковались наказания в виде запрета книг. Родители быстро нащупали мое уязвимое место. Томик перемещался с моего стола на телевизор, откуда взять его разрешалось только после амнистии. Впрочем, не уверен, что эта штрафная система не выдумана мною позже. Надо уточнить у мамы. Так или иначе, книги моего детства оказались основательным рычагом, чтобы раскатать мои отношения с внешним миром. Учителя выгоняли из класса за то, что читал под партой. В начале семидесятых годов прошлого века эти смешные столы были очень удобны для подобной цели — приподнимаешь зеленую крышку и потягиваешь контрабандой из полутьмы то Урфина Джюса, то Капитана Немо. Тогда эти имена звучали для меня мощнее, чем сейчас любимые названия односолодовых напитков. Провинившиеся книги изымались и помещались под арест. Чтобы выручить друга, приходилось вести в школу маму. И это, в свою очередь, подрывало кредит доверия к литературе в семье. Мы были в какой-то степени изгоями — я и те книги. Подозрительными лицами, с которыми уху надо держать остро. Если честно, мне и сейчас иногда кажется, что подозрения далеко не сняты.

Юлий Гуголев, поэт (г.Москва)

По стопам беспутного героя

Прямо скажем, книжки любил, но не очень. Во всяком случае, книжки без картинок. А любил — ходить в кино, а после — есть мороженое... вообще, любил *есть на улице*. Но на все это требовалось разрешение взрослых. И деньги.

Да! Деньги тоже очень любил. Помню, как сейчас: мне лет шесть, под новогодней елкой нахожу подаренный мне железный рубль с Лениным. О, как был прекрасен мой первый Ильич! Я любил его больше книг. Вскоре, кстати, он был конфискован

в семейный бюджет кем-то из близких родственников. Да, деньги и только деньги могли дать свободу и утолить дикие прихоти детства, как правило, сводившиеся к количеству порций и сочетанию различных сортов продукции Хладокомбината № 8. О миражах шашлыков и чебуреков в Сокольниках тоже грех не вспомнить, но речь сейчас не о них. Когда б я был, как Монте-Кристо! Я бы купил все и даже угостил товарищей. Но мне было слишком ясно, что дивный отсвет сокровищ Борджиа никогда не озарит бесправную тьму моего детства. А потому, что проку перечитывать Дюма и впустую дразнить свою алчность и свободолюбие. Нет, я читал, читал и перечитывал Джеймса Гринвуда. «Маленький оборвыш». Джим Бализет скитался по улицам Лондона, удачно запуская руки в чужие карманы, после подсчитывал криминальные барыши: пенсы, шиллинги, соверены, гинеи... У меня дух захватывало от этих названий. И я никак не мог понять, а сколько же это будет в моих железных, новогодних Ильичах? Сколько стаканчиков по 19 коп. можно купить на одну гинею? Останется ли еще сдача, чтобы в незнамо какой раз сходить на «Золото Маккены», все из-за той, со шрамом, индианки? Правда, на украденные деньги покупал мой герой совсем не мороженое, а какие-то, в то время трудно представляемые мной, пудинги — то гороховый, то мясной. Нет, я знал, что такое пудинг, но все известные мне пудинги всегда были десертами. Так что за Джима в этом смысле я мог не волноваться. И спать его в девять вечера никто не загонял. Вот она — свобода! — финансовая, гастрономическая и свобода передвижения!

Да, я увлекся, поверил и пошел по стопам своего беспутного героя. Я стал приворовывать в гардеробе музыкальной школы. Я помню тяжелый плеск мелочи на дне иного кармана, горечь разочарования, если карман пуст, боязнь разоблачения и удивительное отсутствие стыда. Джим Бализет вел меня. Сначала в гардероб, потом в галантерею, где был куплен и подарен маме на 8 марта паучок из поддельного янтаря, а также один, нет, два перочинных ножичка. Сколько фильмов мы посмотрели вместе с Джимом, сколько гороховых лакомок и мясных эскимо умяли на грани ангины! Но не все было потрачено впустую. Что-то было отложено про черный день. Думаю, рублей пять или семь: трояк, а остальное мелочью. Поддельной кожи кошелек, купленный все в той же галантерее на Кутузовском, принял мои богатства. Кошелек был упрятан в старый, одинокий вязаный носок, а тот, в коробке из под настольного хоккея, отправлен под книжный шкаф. Борджиа бы до такого не додумался. Но однажды, во время уборки, моя мама обнаружила всю эту матрешку (яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке), вытащила коробку из-под шкафа, а меня — на чистую воду. Я сразу начал кричать: «Я не крал! Я не крал! Я нашел!» — чем, кажется, выдал себя с потрохами. Значит так, сказала мама, если эти находки не прекратятся... Договаривать фразу до конца нужды не было. Мне оставалось только утешаться тем, что и Джим Бализет запорол свою карьеру карманника и перестал промышлять в Ковентгардене.

С тех пор и я больше не воровал. Нет, однажды, в Лос-Анджелесе, я как-то по пьяной лавочке решил стянуть в супермаркете упаковку нарезанной ветчины за два тридцать пять (обычно-то я покупал за 99 центов). Слава богу, меня не застукали. Я пришел в свою нору, я сел перед телевизором, хлебнул пивка и стал закусывать краденой убоиной. И вот почему-то в этот момент вспомнил о своих воровских похождениях. И заплакал. «...и, плача, вспомнил про Стоушера — Билла, вспомнил, как отделал его в тот давно прошедший вечер. Бедный, старый Стоушер Билл! Теперь Кинг хорошо понимал, почему Билл плакал в раздевалке».

Но это, как вы сами понимаете, уже совсем другая история.

Максим Гуреев, прозаик (г. Москва)

Времена чтения

Мать говорила ему — тогдашнему мне: не вздумай расчесывать волдыри, а то на всю жизнь останутся шрамы.

Волдыри чесались страшно, конечно, зудели, но он старался не прикасаться к ним и не думать о них. Только и оставалось, что смотреть на свои руки, размеченные зеленкой словно местность на контурной карте, да вставлять пальцы как закладки между страниц лежавшей перед ним на одеяле книги.

Это были «Мёртвые души», которые он про себя называл «МД», потому что боялся слова «мертвые», а значения слова «души» не понимал.

Читать поэму Гоголя задали на зимние каникулы, но после Нового года заболел ветрянкой, несколько дней пролежал с температурой сорок, потом в ход пошла зеленка, и по ночам, когда никто не видел, все-таки эти самые волдыри расчесывал, потому что они высверливали кожу откуда-то изнутри, пузырились и лопались, исходя горчишной жижей.

Дул на болячки, веял на них холодком.

Дул на страницы и тем самым их перелистывал.

Никогда не думал, что прочитанное в болезненном состоянии будет таким объемным, ярким, переливающимся, как осколки цветных стекол в трубе калейдоскопа. Почему-то воображал себе, будто бы человек в колпаке и грязном салопе, чесался так же, как и он, шепелявил беззубым ртом, называл себя то ли Стефаном, то ли Степаном Петровичем, вариант, Кузьмичом, имел фамилию Плюшка, вонял какой-то дрянью, серебрился щетиной, как выгоревшей на солнце травой, подводил глаза сурьмой, кряхтел, пускал ветры.

Странно, но почему-то именно этого персонажа вспоминал в первую очередь, хотя знал наверняка, что в книге были и другие. Вполне себе благообразные и даже симпатичные — Заманилов, например, или Ноздрин.

Примеривал Плюшку на себя при чтении.

Вот, например, чтобы почесать спину, Степан то ли Петрович, то ли Кузьмич, использовал специально для того случая изготовленную трость с притороченной на конце гребенкой. Ёжился, воображая себе, как это должно быть удобно забираться туда, куда дотянуться руками уже невозможно, мечтал о таком приспособлении, посматривая в сторону стоящих у двери лыжных палок.

Утром приходила мать и смазывала лопнувшие болячки, снова говорила про «не вздумывать расчесывать волдыри» и про шрамы на всю жизнь и уходила на кухню.

А он лежал какое-то время неподвижно, ждал, когда высохнет зеленка, и представлял себе точно такого же неподвижного, словно окаменевшего помещика Михаила Семеновича Собакина, хотя точнее было бы его поименовать Медведевичем или Топтыгиным. Дотягивался подбородком до края одеяла и словно бы упирался в стоящий колом, отороченный бархатом ворот сюртука. Лицо при этом получало выражение угрюмое и недоверчивое, потому что нижняя губа выступала вперед, отключивалась и стремилась достичь кончика носа.

«Вылитый Медведевич, — мыслилось, — вылитый Топтыгин».

Потом оживал и начинал шевелиться в кровати.

Брал книгу, вставлял в нее пальцы-закладки, считал до десяти и наугад открывал МД на безымянном пальце.

И тут же в комнату входил мальчик по имени Прохор, лет тринадцати, не более, в огромных, как перевернутые самоварные трубы, сапогах, скорее всего, общего

пользования, то есть носить их могли все люди помещика Плюшки вне зависимости от пола и возраста.

Спотыкался, но ухитрялся при этом удерживать равновесие.

Ставил на табуретку рядом с кроватью стакан горячего чая с лимоном, а рядом клал бутерброд с колбасой.

— Максим, надо обязательно съесть бутерброд и выпить чай, — доносился с кухни голос матери, и Прохор тут же исчезал вместе со своими сапогами, гремел ими уже где-то на лестничной площадке, а им вторил мусоропровод, скорее всего, это соседи сверху выбрасывали пустые бутылки, потому что носить их сдавать в пункт приема стеклотары считали ниже собственного достоинства.

А Чичиков все куда-то ехал и ехал, бранил кучера Селифана, натирал щеки губкой, благоухал.

Когда он читал об этом бесконечном путешествии героя, то выбирался из-под одеяла, подкладывал подушку под спину и тут же переставал быть Собакиным. Следовал за Павлом Ивановичем неотступно и мог видеть лишь его спину в ладно пригнанном по фигуре жакете, лица же его при этом было не разобрать, следовательно, и Чичиков не имел возможности видеть перемазанного зеленкой мальчика, потому что предпочитал не оглядываться.

Впрочем, это было и к лучшему, ведь Павел Иванович мог подумать, что болеющий ветрянкой и есть одна из тех самых «мертвых душ», которой он не досчитался, подводя итог заключенной с помещиками сделке, или же имеет отношение к племени древних аравитян, историю которых он вслед за Николаем Васильевичем знал преизрядным образом.

Время пролетало незаметно, и мать приходила ставить ему градусник под левую руку. Книгу при этом он откладывал, вынимая из нее пальцы-закладки, а бричка продолжала перекатываться через овраги, оставшиеся в виде разводов бриллиантовой зелени на серовой, пахнувшей типографской краской бумаге купленного отцом на макулатурный абонемент издания.

Когда выздоровел и вернулся в школу, то выяснилось, что «Мёртвые души» уже прошли и читали что-то другое. Поверить в это было трудно, потому что для него поэма все не кончалась и не кончалась, а бричка Чичикова то исчезала за последним поворотом кривой разбитой дороги, то вновь появлялась на горизонте.

Понуро, словно в тумане, плелся по коридору, перебираясь из одного класса в другой, воображал себе, что преодолевает анфиладу комнат в доме помещика Заманилова, того самого, что виделся ему человеком вполне благообразным и симпатичным, затем спускался в гардероб, где среди сваленных в кучу мешков со сменной обувью обнаруживал огромные безразмерные сапоги, неведомо кому принадлежавшие. Оглядывался по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, влезал в них, сразу проваливаясь по колени.

«А ведь эти сапоги вполне могли принадлежать помещику Топтыгину и были бы ему, скорее всего, даже несколько маловаты, — строил гипотезы, — или дюжему военруку Кифе Мокиевичу, в которых он маршировал на школьном плацу после уроков».

Затем передевался, привязывал мешок со сменной обувью к портфелю и брел домой. Там запирался в ванной, пускал воду из крана, брал губку и начинал ей тереть себе щеки и лоб, на которых еще со времен чтения сохранились следы зеленки.

Ксения Драгунская, прозаик, драматург (г.Москва)

«Я читала книги о прошлом»

Когда я была маленькая, дома у нас, в квартире на Каретном, довольно часто был беспорядок, особенно на кухне. На обеденном столе валялось все что угодно — и, конечно, книги. Придя из школы, принявшись за куриный бульон или грибной супчик, я утыкалась в первую попавшуюся книжку. (Привычку читать за едой переняла у брата.) Хорошо шел за обедом «Справочник Союза писателей СССР» за 1961 год! Много смешных фамилий. Или брошюра с диалогами про самочувствие на английском языке (мама преподавала инглиш в медучилище). В доме было много книг неизвестных писателей, подаренных авторами моему отцу. Помню книжку «Никогда не угаснет», киевской писательницы, увы, фамилию не помню, про пионеров и беспризорников в Киеве 20-х годов. Зачитывалась! Была книжка писателя Аронова «Цирк приехал!», тоже про 20-е годы. Василенко, таганрогский писатель, «Приключения заморыша», Лидия Будогоская — «Повесть о рыжей девочке», А.И.Пантелеев — «Лёнька Пантелеев» — не оторваться!!! (Повзрослев, я поняла, что все эти захватывающие приключения питерского мальчика, потерявшегося во время Гражданской войны и ставшего беспризорником, — адский ад, страшно-то, больно-то как...) «Детство Никиты» — там так уютно...

Из зарубежных любила «Без семьи» Мало и английского «Маленького оборвыша».

А, вот! «Судьбой барабанщика» Гайдара была очарована. В студенчестве хотела экранизировать. Ох и летели же мы с режиссером куда подальше со студии Горького!.. (Были у нас там кое-какие задумки про папу главного героя и про старика Якова...)

Я читала книги о прошлом. Современная советская детская литература казалась мне фальшивой, назидательной, делящей персонажей на «положительных» и «отрицательных». Хотя с теплом вспоминаю книжки «Золотые яблоки Гесперид» питерского автора <Валентин Тублин. — *Прим. ред.*>, книжку «Чуть-чуть считается», автора не помню <Константин Курбатов. — *Прим. ред.*>.

Не знаю, какая книга на меня повлияла. Наверное, все разом...

Рассказы и повести отца я читать не могла физически, хоть и пыталась, уединившись. Мигом — рыдания. Честно, я прочла эти рассказы, когда уже сын был у меня. И поняла, что на самом-то деле они очень, очень грустные...

Олег Ермаков, прозаик (г.Смоленск)

Рапсод, или Книга на устах брата моего

Моя ранняя и самая интересная в жизни книга была устной. Первые ее главы я услышал в месте странноватом, на окраине Смоленска, во дворе перед одноэтажными шлакобетонными домами на четыре семьи обочь забора с колючей проволокой, на углу которого стояла вышка с вооруженным часовым. На запад простиралась пустошь, казавшаяся, конечно, огромной степью или прерией. Пустошь обрывалась в овраг. А за оврагом темно краснели стены и башни крепости. И еще дальше, за крепостью золотились луковки куполов собора. Крепость была Годуновской, собор тоже почтенного возраста, за колючей проволокой находилась зона, ИТЛ № 7, прозванная в народе

кроватьной фабрикой, может, там действительно делали что-то вроде кроватей, но тогда я еще всего этого не ведал. Вышка и забор с колючей проволокой и бараками за нею были частью пейзажа, совершенно неинтересной. А вот манили — стены и башни. Я это прекрасно помню. Но по малолетству не мог преодолеть все эти преграды: пустошь, овраг, и, главное, пригляд бабы Веры. Хотя однажды все-таки убежал, но слева увидел яблони и смалодушничал, свернул к ним и оказался в питомнике. Там и был настигнут погоней.

А вот брат Игорь оказался удачливее.

Он старше на пять лет. Вместе с другом по кличке Кит — из-за крупности — они побывали в крепости и потом рассказывали нам, мелюзге, об этом походе. В овраге их преследовали бродячие собаки. На подступах к стене путь им заступила тамошняя шпана, но Кит *дал им на орехи*. По темному ходу в башне Игорь с Китом взойшли на крепость. Оттуда, с верхотуры они увидели всё. Увидели наши серые шлакобетонные домики, сарай, вышку, бараки, увидели по другую сторону стены дома уже преимущественно деревянные, сады, зеленые овраги, церкви, собор на холме, а еще дальше — пятиэтажки, парки, трамваи, автомобили, автобусы и улицы с прохожими и велосипедистами и кинотеатрами. Они даже увидели попов в черных рясах возле собора. А потом, когда спускались по тому ходу в башне, из темноты выплыл огонек. Они замерли с Китом, затаили дыхание. И вот на стенке показалась тень. И это была тень рыцаря! У нее, у тени той, была круглая голова с хвостом, то есть — перьями на шлеме, в руке копье. Правда, Кит, по-моему, перечил в этом месте Игорю, считая, что это была тень просто ведьмы, и хвост — не перья на шлеме, а ее волосы, и в руке — клюка. А может, это уже был другой вариант рассказа самого Игоря. Он не раз возвращался к этому походу, расцветивая повествование все новыми подробностями. И когда всем остальным уже надоели эти рассказы, у Игоря оставался один верный и жадный слушатель.

Потом мы переехали в город, и я со своими уже друзьями сам побывал на крепости. Ни рыцаря, ни тени злобной старухи не видел, но помнил о них. И когда случилась и стычка с местными, подумал, что рассказ Игоря был все-таки достоверным, только вот не все мне довелось самому увидеть. Да, ни рыцарей, ни старух, ни попов...

Но эту лаку в действительности с лихвой восполняли другие истории старшего брата Игоря. Он, разумеется, обгонял меня, а тем более младшего нашего брата в чтении и просмотрении всяких фильмов, как то: «Крестоносцы», «Последняя реликвия», «Вий», «Спартак», «Даки», «Подвиги Геракла», книги Яна, Сенкевича, Жюль Верна, Рафаэля Сабатини, Вальтера Скотта, Фенимора Купера и Стивенсона. И когда мы все ложились спать в нашей комнате, выходявшей окном на улицу с гремющей трамвайной линией, Игорь после обязательных просьб с перечислением всех его достоинств — ну, там, большого ума, великой силы, исключительного рыцарства, индейской ловкости, ковбойской меткости — приступал к очередному рассказу или продолжению предыдущей истории. Это были захватывающие рассказы о рыцарях, неприступных замках с томящимися в подземельях узниками и узницами, о грандиозных сражениях с треском копий, звоном мечей, лошадиным ржанием и воплями и молением о пощаде умирающих; рассказы о мертвецах и блужданиях в душных индийских лесах; рассказы о ковбоях и гунонах с апачами; рассказы о сокровищах и пиратах.

...Нет! Мне не удастся передать и толику очарования этих вечеров. Для этого надо нырнуть на полувековую глубину, погасить свет, приступить с просьбами и, наконец, услышать спокойный и, когда надо, зловещий или совсем тихий голос старшего брата. Отлично помню, что зачастую мы с младшим тряслись от страха, покрываясь холодным потом, и конечности у нас леденели от ужаса. Истины ради надо признаться, что порой и засыпали под говор Игоря, и тогда следующий вечер был для нас потерян. Игорь вводил санкции. Правда, сам же и нарушал их, разыгрывая те же истории с пластилиновыми рыцарями в серебристых обертках от конфет, со щитами, вырезанными

из крышек от консервных банок, с копиями, на которых развевались разноцветные флажки, верхом на лошадях, задрапированных в лоскуты материи, позаимствованной в коробке со всяким рукоделием у матери; или с ковбоями в шляпах, цветастых рубашках, с кольтами на боку; с краснокожими в оперении из настоящих перьев, выданных из подушек; с пиратами на фрегатах из картона, оснащенных пушками из гильз от малокалиберной винтовки, — они начинались серой, забивались ядром из ваты — и стреляли, когда *капитан Блад* подносил спичку, — ватное ядро даже долетало до испанского галеона, и однажды этот галеон загорелся, да, вспыхнули его бумажные паруса! Рыцари тоже были не бездомные, Игорь возвел для них неприступный замок с башнями, стенами, рвом и подъемным мостом на цепочке от... ну, в общем, были такие цепочки раньше. А у ковбоев был настоящий таун с надписью «Welcome to town» на плакатике, растянутом между двумя пальмами с зеленой листвой, над посыпанной настоящим песком, набранным в детской песочнице, дорожкой, уводящей в глубь городка, к картонным домам и бару, открытому в любое время суток настезь и завлекающему всякого пестрыми бутылочками из разноцветного пластилина на полках. Неподалеку от города находилась железная дорога с рельсами из фольги и деревянными шпалами, обставленная синими скалами — кусками глыбистого стекла, собранными возле лампового завода. И по дороге этой влекся рукой Игоря картонный паровоз с трубой и вагоном, в котором за матерчатыми занавесками сидели покорители дикого Запада. Из-за скал на них и вылетали на своих мустангах индейцы с воплями и свистом. И начиналась самая горячая погоня. Мы с младшим лежали на кровати и сверху во все глаза смотрели на разворачивающийся спектакль. Как будто вечерние рассказы переводились в иной регистр или формат, точнее. Все герои вечерних историй оплотнялись. Разве это не было магией? Самая настоящая магия. И брат наш Игорь был ее творцом. Отлично помню один случай. Луки у индейцев были маленькие, но настоящие, Игорь аккуратно принимал у того или иного краснокожего воина крошечный лук, натягивал тетиву и пускал стрелу с наконечником из жести. И вот как-то стрела вонзилась в одного ковбоя на лошади. И что же? По его жилетке побежала кровь, закапала с седла, пачкая копыта... Мы ахнули. Это была кульминация магического. Наверное, Игорь упаковал в того ковбоя разведенную акварельную краску. Но как ловко он пустил стрелу! Точнее, не он, а тот индеец в живом оперении. И остальные индейцы громко заголосили: «Уууу!»

А мы выдохнули: ух ты!..

Когда санкции ослабевали, поздним вечером, перед сном мы вновь с наслаждением и трепетом внимали голосу брата, совершенно не подозревая, что становимся участниками древней традиции слушания великой устной книги всех времен и народов. Именно так и происходило все где-нибудь в отрогах Гималаев, когда рассказчик-певец увлекал своих слушателей гимнами «Ригведы» и величественными деяниями героев и богов «Махабхараты». Но первыми, наверное, начали все же жители междуречья на берегах Тигра и Евфрата. И самым древним героем устного творчества был Гильгамеш. А потом уже явились остальные: Кришна, Арджуна, Моисей, Заратуштра, первый человек на земле Пань-гу и другой первопредок Фуси с супругой-землей Нюйвой, катавшейся на черепахе, Одиссей... Вряд ли и сам Игорь это сознавал, ну, то, что он сказитель, рапсод, и то, что у него была предшественница в нашем роду — сказочница баба Марья из деревни Горбуны на озере Каспля, что раскинулось на пути из варяг в греки. Об этом я сам узнал много позже, когда бабы Марьи давно уже не было в живых.

Да, кстати, о черепахе. В доме то и дело появлялись эти персонажи детского мира: черепаха, хомяк, кролик, щенок, попугай. И однажды я обнаружил черепаху, уже проползшей под вывеской тауна; загребая своими когтистыми лапами песок, она направлялась явно к бару. Это уже был сюрреализм высшей пробы. А точнее, некая — китайская, наверное, — ипостась Кинг-Конга.

А бумажная любимая книга детства по случайному совпадению называется «Терновая крепость», ее сочинил венгерский писатель Иштван Фекете. Подарила ее мне на день рождения тетя Люба. Эта книга мой первый запой. В ней рассказывается про двух друзей, отправившихся на лето к дяде на озеро, исполненное птиц, рыб и зверей в камышах и тростниках и, разумеется, тайн в развалинах на острове.

Но мне кажется, что и эту книгу читал вслух мой брат.

Игорь не стал профессиональным рассказчиком или, например, режиссером, закончил пединститут, преподавал историю в школе, а, побывав на море, в Крыму, однажды вернулся туда навсегда, чтобы, видимо, внимать вечной одиссее морских волн и ловить древние ветры, предаваясь буддистской медитации и забыв всех нас. И я не знаю, какие новые истории восходили и восходят все это время в его сознании и кому он их рассказывает. Но испытываю всегда восхищение, вспоминая те дни и вечера Устной книги, и говорю в себе: спасибо, брат.

Дмитрий Захаров, прозаик (г.Москва)

Порошок «Не уходи»

Мне пять лет, и я еще только учусь читать. Медленно, бесконечно медленно пережевываю слоги, водя пальцем по странице — пробуя слова еще и на ощупь. Любимую книжку про волшебника Изумрудного города родители проходили со мной (от карты сказочной страны на первом форзаце до карты на последнем) уже дважды. Но мне нужно больше, а времени ждать милости от природы нет. В издавшем виды серо-коричневом издании мне уже принадлежат картинки Леонида Владимировского — я могу каждую из них нарисовать по памяти, и плевать на результат. Скоро и эти издательские буквы тоже станут моими. «Я тебя съем, и ты будешь у меня в животе», — как говорил Медвежонок в мультфильме, который я только что смотрел.

Вот именно.

Моим планам может помешать только чудо. Только катастрофа. Только катастрофическое чудо, которое, естественно, и происходит. Вернувшаяся с работы мама приносит нечто невиданное.

Мне говорили, что у «Волшебника» есть продолжение, и я его уже не раз просил. Но в книжных маленького закрытого города, где я родился, такого никогда не бывает, а библиотечный экземпляр расписан на много месяцев вперед.

И все же мама достала продолжение. Синий фолиант, с которого недобро смотрят два деревянных солдата, вооруженных сучковатыми дубинами, и хмурый столяр Урфин Джюс — «владыка, сапоги которого попирают Вселенную».

Я проваливаюсь в эту книгу, как Алиса (про которую я прочитаю позже) в кроличью нору, раз и навсегда. И в этой норе я могу отыскать все. Историю про мегаломана, которому судьба бросила в руки целую чудесную страну. Повесть про демиурга и мытарства вылепленных (то есть выструганных) им тварей. Эпопею об амбициях, предательстве, диктатуре армии и тайной полиции, революции и «перековке» прежнего мира.

Я рисую и раскрашиваю деревянных солдат. Стараюсь четко выговаривать «Гуамоколатокинт» (сварливый филин не любит, когда коверкают его имя). Пробую набивать опилками лежащую у деда в коридоре медвежью шкуру — чтобы у меня был свой Топотун.

Ни один из следующих томов Александра Волкова не произведет в моей жизни

такого объемного взрыва, как этот, не станет облаком оживляющего все вокруг волшебного порошка. Вторую часть истории про Урфина — «Огненного бога марранов» — я прочитаю только через несколько лет (до этого возможности взять хоть где-нибудь книгу не будет).

«Деревянные солдаты» останутся вершиной серии. Да что там серии...

Уже в шесть лет я попробую написать к ним (иллюстрированное) продолжение. Это будет моей первой попыткой сочинить свои собственные слова, составленные в предложения на бумаге. И с того момента, как это произойдет, все неостановимо покатится — прямо сюда, вот к этому самому воспоминанию.

Раздумывая над ним, я внезапно сообразил, что, быть может, «Урфин Джюс» направляет меня куда сильнее, чем я привык думать (а точнее, не думать). Недаром медвежья морда выглядывает едва ли не из каждого моего текста. А сюжет об оживленных игрушках — кровь и плоть романа «Кластер».

Я начинаю с удивлением оглядываться по сторонам: гуамоко, старина, скажешь, и ты тут? Гуамоколотокинт?!

Фигурка филина скептически смотрит в ответ из-под монитора.

Александр Иличевский, прозаик, поэт (г.Иерусалим, Израиль)

Три книги детства

1. Константин Сергиенко. «Кеес Адмирал Тюльпанов».

Когда я впервые увидел картины Брейгеля, они поразили прежде всего узнаванием: это были иллюстрации к «Адмиралу Тюльпанов», к книге, в которую я однажды в детстве провалился, как Алиса в кроличью нору. Лоскутные одеяла польдеров, дамбы, мельницы, каналы этой плоской страны, на которых зимой звенят коньки; дерзкий Кеес, сакральный тюльпан, единственный из цветов, в который можно и увлекательно глубоко заглянуть, осада Лейдена, восстание гезов, горбун Караколь с накладным горбом (потом мне казалось, что все горбуны прячут в горбах некие сокровища, тайну) — все это навсегда со мной, никакая реальность не сравнится с этой повестью по достоверности. Месяц назад я был поражен, узнав, что автор у этой книги действительно существовал и есть в Москве люди, которые его помнят. Оказывается, им написаны еще две повести. Расспрошу букинистов.

2. Ян Ларри. «Необыкновенные приключения Карики и Вали».

Хорошие книги всегда умножают воображение, а есть такие, что усиливают еще и зрение, делая его инструментом воображения. Благодаря Карику и Вале, спасшимся от шершня, стрекозы, муравьиного льва, паука-серебрянки и чудовищной медведки, я научился впоследствии никогда не забывать о том, что человеческая цивилизация не одинока во Вселенной. Мысль о том, что еще сорок миллионов лет назад пчелы, разговаривающие друг с другом при помощи запахов и танцев (Карл фон Фриш, Нобелевская премия, 1973 год), достигли воплощения коммунистической идеи, и что пользы от этого — всего-то бочки с медом и апитерапия, что муравьи, владея арифметикой, в захватнических войнах изощренней любых нацистов, — всегда отрезвляет от социальных фантазий. Замечал ли кто-нибудь, что «ламборджини», буравящая, как почву плотный от скорости воздух, своей формой напоминает медведку, с ее приземистостью, мощностью сведенных передних лап? С другой же стороны, есть совсем немного естественных способов визионерства, и пристальное внимание к «микромиру» — один из них. Мир солнечных прозрачных пчел и

хтоническое царство термитов — отличная натура для широкого спектра литературных ландшафтов — от фантастов до Юнгера.

3. Юрий Олеша. «Зависть».

Единственный роман, который на самом деле не роман и тем более не поэма, а стихотворение. Он столь же легко разбирается на строфы, сколь и невозможно выявить рецепт, согласно которому он из них составлен. «Зависть» написана солнечными зайчиками по теплым камням и стеклам окон старой и новой жизни. В романе прорва радостной телесности и пения, физического ощущения посеребренных капель на бархатистых стеблях вынутых из кувшина фиалок. И то, о чем он написан, — никогда не ясно, что только подстегивает к перечитыванию; так всегда происходит с хорошим стихотворением.

Михаил Кураев, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Книга. Огурец. Гильгамеш

Умные люди говорят: то, что нельзя исправить, надо забыть. Да вот почему-то не получается. Впрочем, сам я этого запомнить и не смог бы, все-таки было человеку четыре года, не дала забыть мама. Ей показалась история смешной, даже умильной. Но это, надо думать, если со стороны посмотреть.

А со стороны это выглядело так.

Представьте себе улицу Социалистическую, где-то неподалеку от дома № 128. На улице — 1943 год. Город Череповец. Лето. Вторая половина.

В двухэтажном деревянном доме № 128 на первом этаже в комнате метров пятнадцать, а может быть, и четырнадцать, мамина сестра дала приют чудом вырвавшимся из Ленинграда мне, моему старшему брату и нашей маме. Кроме нас, троих эвакуированных, на момент нашего неожиданного вторжения зимой сорок второго года в этой комнате обитало ровно шесть человек: сама тетя Люся, ее муж дядя Коля, две дочери и два сына. Старшего Юру вскоре призвали в армию, стало чуть просторней. Олег, пятиклассник, младший сын тети Люси спал на сдвинутых стульях или на столе. Что делали тетя Люся и дядя Коля в Череповце? Да в ссылке жили. Хотя дядю Колю как участника Кронштадтского мятежа реабилитировали, но вернуться в Ленинград не позволили. Вот такое везенье! Ни до какого Барнаула, куда нам нужно было прибыть по эвакуационному предписанию, мы бы, конечно, не доехали, как и многие из нашего эшелона. Вот мама и решила сойти в Череповец.

При чем здесь книги? Да здесь в Череповце все и началось. То, что помню сам, так это журнал, как потом выяснилось — «Новый мир» времен советско-финской войны. Там даже рисованные картинки сопровождали в конце журнала остроумные стихи про Васю Тёркина, начавшего свою военную биографию как раз на финской войне. Читать не умел, но стихи запомнил: «Вид заманчивый трамплина привлекает белофинна...» Вася Тёркин на снежном склоне замаскировался под трамплин, вот белофинн и соблазнился не просто съехать с горки, а еще и подпрыгнуть. И только он на этот «трамплин» наехал, как Вася Тёркин вскочил и взял его в плен. Правда, здорово?! Такое не забудешь. Все остальное в этом журнале мама мне не читала. Читали то, что присылала сестра отца, оставшаяся в Ленинграде.

В Ленинграде во время блокады выходили детские книги!

Можно подумать, что это были такие демонстрационные акции вроде футбольного матча в осажденном городе. Это не так, если вспомнить, что в блокадном Ленинграде

защищали диссертации, проводили научные конференции, к примеру, в связи с пятисотлетним юбилеем Алишера Навои. В декабре сорок первого в лекционном зале Эрмитажа на торжественном заседании были прочитаны доклад «Мотивы древних восточных мифов в произведениях Навои» и новые переводы из Навои. Пораженного дистрофией переводчика в зал внесли на руках. Начавшийся артобстрел не прервал заседания.

Летом сорок третьего в Череповце была получена бандероль из Ленинграда с содой для мамы и великолепной раскладной книгой «Терем-теремок».

А дальше уже со слов мамы.

«Смотрю, во двор с улицы идет Михаил. Сияет. В руках — огурец. Большой, с ржавыми боками, семенник перезрелый... Мишенька, откуда это у тебя? Гордо объявляет: Выменял! Спрашиваю: На что же ты это чудо выменял? Радостно сообщает: На книгу!»

«Терем-теремок» в день его появления на Социалистической, 128 был мною выменян на большой огурец!

Натуральный обмен был стихией военного времени. Мама ходила в дальние деревни, чтобы что-то выменять на картошку, лук, репу, бутылку молока... Ближние деревни были избалованы «выковырянными».

Мое желание поддержать семью продовольствием никто не осудил, но коммерческие способности были высмеяны. Огурец оказался практически несъедобным. Да, не дал Бог счастья стать коммерсантом...

Зато следующую книгу, опять же присланную из Ленинграда в Череповец, и не раз прочитанную мне мамой, я не только выучил чуть не всю наизусть, но и хранил потом, как верующие хранят Библию. В блокированном городе не был убит дух интеллигентности. А это значит — люди не выживали, а жили. А жить — значит, думать о тех, кому еще предстоит стать ленинградцами. Книга Самуила Яковлевича Маршака «Сказки. Песни. Загадки» — художественная хрестоматия для детей, детей войны. Открывалась она маленькой поэмой «Почта военная». Пишу, как запомнил:

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Это он, это он,
Ленинградский почтальон!
С ним мы встретились по-братски,
И узнал я с первых слов,
Что земляк мой ленинградский
Снова весел и здоров!
Уцелел со всем семейством,
Голод нынче позади,
И медаль с Адмиралтейством
На его горит груди...

У меня была мечта — собственно, почему была? — я мечтаю, чтобы первоклашкам в нашем многострадальном городе 1 сентября вручали именно эту книгу, переизданную буква в букву, в зеленой, как солдатская гимнастерка, обложке с чудесными картинками Конашевича, Пахомова, Лебедева. И нынче власти города готовы были осуществить эту идею, но, увы, юристы, опекающие наследство Маршака, зарубили затею на корню, что-то там посчитали, умножили, разделили, накричали на меня и наложили запрет.

Только со временем я оценил одну подробность в книге, вышедшей в Ленинграде во время блокады. Треть стихов о войне, все еще идущей, но ни одного упоминания ковавшего все победы генералиссимуса.

Это потом, в первом издании «Сына полка» в самом конце любимой с детства повести во сне Вани Солнцева появится Сталин, «осененный знаменами четырех

победоносных войн». Впрочем, генералиссимусу Суворову стишок и рисунок посвящены: «Бьёмся мы здорово, рубим отчаянно, Внуки Суворова, дети Чапаева!» А стихи о войне прекрасны! Я их читал по памяти год назад в Польше на встрече со школьниками. Полный успех. «Резвится молодой мороз —/ Морозец пятиградусный./ А на снегу, повесив нос,/ Стоит фашист безрадостный./ Трещат сороки. Снег пушист/ В лесу и на прогалинке./ — О чём задумался, фашист? —/ Спросил морозец маленький». А ещё «Баллада о пятнадцати»: «Конечно, Пятнадцать — Число небольшое,/ Но если пятнадцать ребят умеют сражаться,/ Как эти герои,/ Врагу они путь преградят». И про смоленскую школу: «Мне рассказывал смоленский/ Паренёк:/ — В нашей школе деревенской/ Шёл урок./ Проходили мы частицы/ "Не" и "ни". А в селе стояли фрицы/ В эти дни». Кроме прекрасных, на мой вкус, стихов о войне была поэма и о пожарнике Кузьме, «Теремок», «О неизвестном герое», «Дрался Гришка с Мишкой»... «Мельник, мальчик и осёл», «Собирались лодыри/ На урок,/ А попали лодыри/ На каток». А ещё английские, шотландские сказки и баллады... Остановлюсь! И Самуилу Яковлевичу, и всем, кто эту книгу дал нам, когда и хлеба не хватало, низкий поклон.

В сорок четвертом году отец приехал из прифронтовой Кандалакши в Череповец по временной ветке через Обозерскую, огибавшей занятый немцами Петрозаводск, и увез нас с собой.

Мы поселились в какой-то брошенной избушке на узком пространстве между забором завода № 310 и лесобиржей на берегу Кандалакшского залива. Мебели не помню, но «сервиз» из хорошо обстуканных, чтобы не порезаться, консервных банок помню. И чайный, и столовый. К кухне примыкала узкая холодная комнатка, чулан с оконцем. Там стоял большущий фанерный ящик, пустой. Пустая комнатка, пустой ящик. Это была моя единственная игрушка, если не считать плюшевого Мишку, вывезенного мамой из блокадного города вместе с нами. В хорошем ящике, даже пустом, можно без скуки провести час-другой, пока отец на работе, мама в магазинном промысле, а старший брат, важный, как академик, в первом классе. Если бы умел к тому времени писать, я бы мог написать инструкцию, как превратить ящик в грозный блиндаж, надежное бомбоубежище, танк, паровоз и даже бомбардировщик, если ваши руки так же похожи на крылья, как и мои, а вместо сердца, естественно, пламенный мотор. И вдруг я нашел книгу. Справочник «Hutte», это размером с полбуханки хлеба в зеленой обложке подручная энциклопедия инженера с бесчисленными логарифмическими таблицами, разделами по сопротивлению материалов, пособие по расчету конструкций и все в таком духе. Чудесная книга! Читать ее нужно только в фанерном ящике, и когда никого нет дома. Дело интимное. Чтение состояло из перелистывания страниц в сопровождении какой-то моей тарабарщины. Никаких толковых сюжетов за цифрами, формулами и логарифмами не просматривалось. Книгу отец вскоре унес, на работе была, надо думать, нужней. Но тут же появилась новая книга, не совсем новая, но для меня новая: «История Древнего Востока» проф. Струве, как было обозначено на обложке цвета, надо думать, песков египетской пустыни. Книга вышла в тридцать девятом году, так что мы в каком-то смысле даже ровесники. Нет, это вам не логарифмическая заумь, где цифр больше, чем букв. Здесь были даже картинки. И пирамиды, и долины, и разные фигуры плоских египтян, словно они маршируют, выйдя из-под утюга. С этой публикой уже можно было разговаривать! «Куда идёте, беспорочные?» И через десяток страниц можно было узнать, куда они шли, выпростав перед собой руки с цветком или жезлом. Книга толстая, картинок много. Но вдруг я напарываюсь на стихи, недлинным столбиком разрывающие сплошной текст страницы. Я смотрю на первую строчку и понимаю, что там написано: «Скажи мне, друг мой,/ Скажи мне закон земли, который ты знаешь...» Я даже не понял — я читаю! Читаю! Наверное, такое же чувство испытывает птенец, вывалившийся из гнезда, но не шмякнувшийся о землю, а раскинувшийся от страха

крылышки... и полетевший! Я — читаю! Да. Это был первый самостоятельный вылет, без инструктора и парашюта! И куда я залетел? В эпос о Гильгамеше. Для начала неплохо. Лечу дальше: «Не скажу я тебе, друг мой, не скажу! Что же? Пусть же сяду я и заплачу! Скажи мне закон земли, который ты знаешь...». Запомнил от удивления сразу и на всю жизнь, не только это, но и дальше. Избыток нового знания не умещался во мне, распирал, рвался наружу. От нетерпения я вышел встречать своего брата-академика, возвращавшегося из школы № 1, служившей с сорок первого года до лета сорок четвертого военным госпиталем. Брат, переполненный преумноженными в этот день знаниями и важностью своего старшинства, не придал значения моему появлению на тропинке у заводского забора. Но я встал перед ним, преградив дорогу, встал, как настоящий египтянин, только что в пальто и зимней шапке, выкинул вперед руку с вывернутой вверх ладонью, как у нас в Египте полагается, и обратился к преуспевшему в науках и самоуважении брату: «Скажи мне, друг мой, скажи мне закон земли, который ты знаешь!..» Похоже, что классная руководительница первоклашек учительница Жарова, средоточие всей земной мудрости, еще не посвятила своих подопечных в «закон земли», который она, конечно, знала. Брат не промах, когда он не знает ответа, он умеет опрокинуть собеседника встречным вопросом: «А ты че, сам-то знаешь? Вот и скажи». Но ответ у меня был готов: «Не скажу я тебе, друг мой, не скажу я закон земли, который я знаю, а то сядешь ты и заплачешь...» «Где это ты наблатыкался?» — строго поинтересовался брат. «Академик Струве», — скромно признался я, повысив своего нового знакомого из «проф.», указанного на обложке, до академика, наверное, чтобы подравнять к старшему брату.

Проф. Струве стал близким мне человеком, скрашивавшим мой вынужденный досуг. Я начал читать подписи под картинками, а потом и синий штамп на шмуцтитуле книги: «Парткабинет Кандалакшского Горкома ВКП(б)».

Но вот во всю оставшуюся жизнь я так и не удосужился спросить у отца, зачем это ему осенью сорок четвертого года, когда готовился Десятый удар, освободивший Заполярье, последний Удар, из выбивших немецко-фашистских захватчиков с советской земли, зачем ему в пору напряжения и горячки на транспорте, за который он отвечал, понадобилась «История Древнего Востока».

А цинично, по-торгашески, мелкобуржуазно преданный «Терем-теремок», непрочитанным уплывший в чужие руки, ты уж меня прости неразумного, но бывшее, как сказано в одной мудрой книге, даже богам не дано сделать не бывшим.

Владимир Медведев, прозаик, публицист (г.Москва)

Зов с Востока

Мне было четыре года, когда произошли два события. Во-первых, мои родители с озера Кенон в Забайкалье, где они работали на радиостанции и где я родился, переехали в Таджикистан, на радиостанцию в городе Сталинабаде, ныне Душанбе. Во-вторых, мама начала учить меня читать. Оба эти внешние события сформировали меня таким, каков я есть, и проложили русло, по которому шла и по сей день идет моя жизнь.

При первой встрече с Таджикистаном на меня обрушился мощный сенсорный шквал. Двухнедельное путешествие на поезде — от Читы до Москвы, а затем от Москвы до Сталинабада — отчасти приучило к смене впечатлений, но здесь, в конечном пункте, все было абсолютно новым и непривычным. Воздух, особое тепло, запахи, вкусы, звуки, ощущения...

Помню первое утро на новом месте. В окно бьет непривычно яркое солнце, из радиоточки в соседней комнате доносятся странные, неблагозвучные ритмы, мало похожие на музыку, а визгливая певица выводит на непонятном языке совершенно несуразную, по тогдашнему моему понятию, мелодию (в детстве мы пренебрежительно называли таджикские народные песни «тум-балаки-тум», лишь позже я понял, оценил и полюбил их).

А затем что ни день, то новые открытия: непередаваемый вкус винограда; журчание воды в арыке, пересекающем двор двухэтажного дома для спецов, в котором мы жили; незнакомая речь и крики бродячих точильщиков: «Ножи, ножницы то-о-о-о-чи-и-м!» и бродячих старьевщиков: «Стары вещи бере-е-е-м!»; теплая пыль, в которую ноги погружаются по щиколотку; бронзовые жуки, летающие в летних сумерках... Перечислять можно до бесконечности.

По вечерам открывался совсем иной мир. Наша семья собиралась вчетвером вокруг стола, родители читали нам с сестрой вслух. Вначале, конечно, сказки. Одну другой страшнее. Старик отрубил медведю ногу и принес ее домой. Медведь соорудил себе липовую ногу, а когда настала ночь, поковылял к обидчику, приговаривая: «Скирли-скирли, липовая нога... Старик варит мое мясо, старуха прядет мою шерсть». Чем закончилось, не помню. Не дослушал, сбежал... Очень уж жуткой была медвежья приговорка. Или еще: солдат просится к мужику на ночлег. И вот лежат они ночью на полатах, солдат будит мужика и спрашивает: «А знаешь, кто я?..» Он еще не закончил, но я уже заранее чувствую, что дело идет к чему-то нехорошему, встаю и начинаю медленно продвигаться к двери. Родители понимающе улыбаются — не в первый раз. Мне не до смеха. Признание солдата: «Я ведь медведь» — настигает меня на пороге. Жуть! Конца сказки не помню. Запоминается самое страшное, а ужасное перевоплощение — это кульминация, предел, страшнее уже быть не может...

Вслед за сказками пошла русская классика. Мама читала нам «Руслана и Людмилу», «Сказку о золотом петушке», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Конька-Горбунка»... Отец — «Генерала Топтыгина», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо»... Как теперь понимаю, родители исподволь воспитывали у нас чувство национальной идентичности. Не сознавая того, я всем существом впитывал из чистейших образцов русский язык, его дух, его богатство и своеобразие.

Примечательно, что сам язык при восприятии на слух как бы исчезал, растворялся, поскольку напрямую конвертировался в образы, возникавшие в моем воображении. Ощутимым он сделался, когда я начал учиться читать. Слова, попадая на книжную страницу, будто сгущались, становились плотными, приобретали дополнительные смыслы, и каждое из них вызывало особое, неповторимое, но неуловимое чувство, которое так же невозможно описать, как запах или вкус. В словах, казалось, проявлялись невидимые прежде измерения.

Как ни странно, совсем не помню первые книги, которые прочитал самостоятельно, за исключением «Что я видел» Бориса Житкова. Зато в память врезалось общее впечатление словесного великолепия, которое вызывали диктанты и упражнения по русскому языку в начальных классах. Что может быть неприятнее диктанта и скучнее домашнего задания! Но унылые мертвые страницы учебников нередко освещали живым светом короткие отрывки и отдельные фразы из книг Толстого, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Пушкина, Чехова... Сверкающие голографические осколки великорусского языка. А среднерусские пейзажи на обложках «Родной речи» ежедневно напоминали о далекой России, которая была для меня, скорее, идеальным образом, архетипом, нежели реально существующей землей, а оттого особенно притягательной.

В материальной же действительности Сталинабад со всех сторон окружали горные вершины; по городу проходили порой караваны верблюдов (последний я видел году в 60-м); на базаре можно было встретить дервиша с чашей для подаяния,

изготовленной из половинки кокоса; по мостовой, выложенной из булыжника, катили «файтуны» — конные пролетки, стоянка которых располагалась напротив универсама «Люкс» неподалеку от нашего дома; по улицам, хоть и редко, еще проходили, как черные безликие изваяния с холста Джорджо де Кирико, женщины в парандже и чачване — сетке из конского волоса, закрывающей лицо; еще можно было наблюдать буколическую картинку — деревенского старика, который присел по нужде на краю тротуара, накрывшись с головой полами халата... Словом, тысяча и одна ночь.

И потому, когда мой друг Рафик Матаев, который жил в глинобитном еврейском квартале рядом с нашим домом, рассказал, что побывал у разбойников, которые обитают в пещере с сокровищами, на берегу Дюшанбинки, я ему безоговорочно поверил. Он и меня обещал к ним сводить. Было не очень понятно, с какой стати разбойники привечают маленького мальчишку, но в том, что они живут совсем рядом, сомнений не имелось. Правда, когда мы пришли на речку, Рафик пещеру так и не нашел.

Виртуальная Россия и восточная сказка, окружавшая меня в реальности, существовали каждая сама не себе, никак не пересекаясь. Вместе с русской литературой, правда, с опозданием более чем на сто лет, я пережил увлечение романтизмом — Пушкиным, Гоголем, балладами в переводах Жуковского, затем Гофманом, позже настала очередь Вальтера Скотта, Майна Рида, Виктора Гюго и далее со всеми остановками. Однако западная литература не создала нового пространства, а лишь расширила область русского. Одновременно мои товарищи — таджики, узбеки, бухарские евреи — помогали лучше понять своеобразие местной жизни. Обе изолированные области постепенно расширялись.

Объединил их уже позже, несколько лет спустя, Редьярд Киплинг. Его стихи, баллады, «Простые рассказы с гор», роман «Ким» перетряхнули разрозненные части моей карты мира и уложили их в стройную картину. Есенинские березки перемешались с низкорослыми корявыми деревцами из знаменитой «березовой рощи» на горном озере Искандер-куль. Киплинг открыл мне и объяснил прежде скрытую, неосознаваемую мою любовь к Таджикистану. Его книги стали чем-то вроде азбуки, учившей сознательному усвоению чужой культуры.

Но знал ли сам Киплинг реальную, а не ту декоративную, почти оперную страну, которую живописал в своих сочинениях? Знакомиться с подлинной Индией по его книгам так же нелепо, как изучать животный мир тропического леса по «Книге джунглей». Секрет обаяния Киплинга в том, что он — писатель для юношества, для подростков, которых учит оставаться верными своей культуре, приобщаясь при этом к чужой. Вряд ли найдется другой литератор, который был бы так искренне влюблен в Азию и так ярко и заразительно выразил бы свое чувство, будучи британцем до мозга костей.

Не представляю, каким бы я стал, если б судьба в детстве забросила меня в иные края. Полюбил бы я Киплинга, живя в Прибалтике или Молдавии? Но мне повезло, и понимаю его с полуслова, пусть даже в несовершенном переводе:

В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков:
«Кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот зов».

Именно об этом рассказывает Редьярд Киплинг в каждой написанной им книге, — о Зове с Востока. Я полностью согласен с кредо, которое он формулирует в рассказе «Саис мисс Йол», когда говорит от имени рассказчика, то есть от себя лично: погружение в жизнь местных народов — самое увлекательное из всех занятий на свете, не исключая и любви.

Насчет любви он, возможно, погорячился, а все остальное абсолютно верно.

*Ольга Погодина-Кузмина, писатель, сценарист
(г. Санкт-Петербург)*

Другое измерение

В моей семье любили чтение, выписывали журналы и газеты, охотились за новинками. Мне повезло и в том, что моя родная тетя Галя работала заведующей районной библиотекой. Так что круг моего чтения был весьма прогрессивным для советского подростка 70-80 годов. Первой книгой, которую я прочла самостоятельно, без помощи взрослых, стала «Алиса в стране чудес». Помню, это была довольно большая красивая книжка, тетя принесла ее из библиотеки, и через две недели ее нужно было отдать обратно. Меня заинтересовали загадочные иллюстрации — кролик в цилиндре, птица Дронт, безумный Шляпник и странное чаепитие. Я приставала к взрослым с просьбой прочесть, рассказать мне, в чем же там дело. А мне ответили — ты же сама уже умеешь читать, вот и прочти. Для ребенка 6-7 лет самостоятельное чтение — труд, механическое усилие. «А-ли-са от-вори-ла двер-цу: там был вход в у-зень-кий коридор, чуть по-шире крыси-ного лаза. Она встала на колен-ки, заглянула в отверстие — и ахнула: коридор выходил в такой чудесный сад, каких вы, может быть, и не видывали». Я отчетливо помню, как взялась за книгу, водя линейкой по строчкам — и вдруг произошло чудо. Буквы начали складываться в слоги, слоги в слова, слова в предложения. А предложения начали оживать, обретать смысл и красоту. Английский пастор и философ Льюис Кэррол запустил в моей голове тот механизм удовольствия, которое доставляет нам работа воображения — и с этого момента я стала запойным читателем. Спасибо тете и библиотеке — ко мне попадали все новинки советского книгоиздательства. Эпопея Волкова «Волшебник изумрудного города», «Сказки дядюшки Римуса» Чандлера, история Муми-троллей Туве Янсен и «Пикник на обочине» Стругацких. Конечно, были у меня и собственные книги — я любила перечитывать прекрасно изданный сборник сказок Гауфа, классическое издание «Тысячи и одной ночи», и до сих пор заглядываю в желтый двухтомник Андерсена, подаренный бабушкой и дедушкой. Есть важная, мало исследованная тема для социологов, психологов и писателей, которые отчасти совмещают функции первых и вторых. Советский человек, формально живший за железным занавесом, на самом деле был глубоко погружен в контекст мировой культуры именно через книги. Вспомним замечательные переводы лучших американских, европейских, японских авторов; журналы «Дружба народов» и «Иностранная литература»; книжную серию «Сказки народов мира». В них публиковались с любовью подобранные и переведенные истории, раскрывающие характер, быт, образ жизни людей в других странах. Вспомним, какое внимание уделялось изданию национальных эпосов народов, населявших нашу огромную страну. «Нарты», «Калевала», «Шахнаме», античный цикл об аргонавтах... Благодаря книгам и советской школе с углубленным изучением английского языка я и сегодня в общении с европейцами нередко чувствую себя большим европейцем, чем они сами. Общаясь с коллегами в писательских резиденциях, понимаешь, что русский человек в среднем гораздо лучше образован, шире смотрит на многие вещи и куда лучше знаком с культурой других стран, чем это принято, например, в Западной Европе. Конечно, времена меняются. Увидев сегодняшнее книжное разнообразие, включая издания для подростков, человек из советского времени решил бы, что попал в другое измерение. Собственно, так и есть. Нынешние детские книги великолепно оформлены визуально, по страницам их бродят чуть ли не живые динозавры, средневековые рыцари и космические пришельцы. Но мне все же кажется, что «подпирая» текст эффектными картинками словно костылями, мы теряем основу

самой магии чтения. Эту важнейшую способность мозга конструировать воображаемую реальность из простых черных букв на белой странице. Литература, построенная на тысячелетнем фундаменте человеческого речи — уникальный феномен, проявление духа через усилие разума. Вначале было слово. Слово породило мысль. А мысль породила книгу.

*Николай Подосокорский, литературовед, медиаэксперт,
блогер (г. Великий Новгород)*

Юность Тэмуджина

В моем детстве, выпавшем на вторую половину восьмидесятых — девяностые годы и проведенном в небольшом рабочем поселке Новгородской области, я был ограничен в выборе книг для чтения. Сравнительно небольшая родительская библиотека состояла в значительной степени из случайно собранных книг и тех собраний сочинений, которые можно было достать по подписке в период дефицита, но кое-что интересное для меня в ней все же порой находилось. В частности, мне нравились советские исторические романы об отношениях Орды и Руси, особенно трилогия Василия Яна «Нашествие монголов», из которой ребенком я, правда, прочел лишь две последних части — «Батый» и «К последнему морю» — зато по многу раз. Первой же части (про Чингисхана), у нас не было, и так получилось, что ее мне заменил роман Исая Калашникова «Жестокий век».

Глядя на увесистый красный кирпич (из тиража 1991 года в 200 тысяч экземпляров, наверное, можно было бы сложить большой дом) с не самым располагающим названием и лишенный каких бы то ни было иллюстраций, я сперва не ожидал, что он может стать подходящей мне пищей для сердца и ума. Но стоило его однажды открыть и заглянуть в эту непривлекательную внешне книгу, как я уже не смог от нее оторваться и прочел более семисот страниц за несколько дней. Помню ощущение необычайной легкости, свободы и какого-то поистине степного простора от чтения про юность и становление Тэмуджина, больше известного как Чингисхан, создатель одного из крупнейших государств в истории человечества (на пике своего могущества Монгольская империя, как известно, уступала по территории лишь Британской).

Я бы не назвал Калашникова крупным писателем и тем более классиком, хотя в родной Бурятии его вроде бы ценят весьма высоко, но лично для меня эта книга стала одним из ключевых романов воспитания — тем, чем для следующего поколения, возможно, стал «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. Никакого колдовства и мистики в мире Калашникова, конечно, не было, но зато присутствовала особая магия человеческих отношений (дружба, перерастающая в непримиримую вражду, и, наоборот, вражда, оборачивающаяся в итоге крепкой дружбой), раскрывалось величие личности, преодолевающей самые трудные и невыносимые жизненные обстоятельства и способной объединить вокруг себя целые народы. Это сильно действовало на подростковое воображение.

Уже во взрослом возрасте я перечитал этот роман еще раз и с удивлением обнаружил почти тот же самый эффект, что и в детстве. Книга оказалась столь же близкой и вновь читалась на одном дыхании, но рассказать, в чем именно заключается ее прелесть, не так уж легко. Сюжет «Жестокое веко» не то чтобы очень уж оригинален, диалоги незамысловаты, да и написано это через несколько десятилетий после гораздо более известного романа того же Яна. А вместе с тем к Яну я больше

не возвращался, зато книга Калашникова и в детстве, и в юности, и позднее неизменно затрагивала какие-то потаенные струны моей души и упорно не давала себя забыть. Кстати, отчасти, возможно, благодаря ей я в студенчестве увлекся трудами Льва Николаевича Гумилева о Великой степи и азиатских кочевниках «с раскосыми и жадными очами». Среди историков довольно распространено презрительное отношение к его сочинениям, но для меня они стали своего рода продолжением исторической беллетристики Яна и Калашникова, точно так же показывающим пресловутых «татаро-монголов» с человеческой и даже симпатичной стороны.

Сейчас, когда моя домашняя библиотека насчитывает около двух с половиной тысяч томов (не считая терабайта электронных изданий), «Жестокий век» — одна из нескольких книг, которые я взял из родительского дома и сохранил как память о детстве.

Ольга Славникова, прозаик (г.Москва)

Гоголем по голове

Часто литературные воспоминания о детстве напоминают игру сорокалетней тетеньки-травести, изображающей на сцене ТЮЗа резвого пацана. Здесь я постараюсь быть предельно достоверной и честной. Речь пойдет о бабушкином книжном шкафе.

Он был, по моим тогдашним представлениям, огромен и напоминал сказочный дворец. Резные колонны, медальоны на дверцах, которые вернее было бы назвать воротами, могучий гребень на крыше, из которого, из самой гущи резных курчавин, на меня смотрела щекастая голова арапа — дразнила высунутым, покрытым пылью, языком.

Этот шкаф был целый мир. Внизу, за изукрашенными створами, имелся и мой угол — ряд книжек в полметра длиной. Там стояли приличествующие возрасту «Волшебник Изумрудного города», «Золотой ключик», «Русские народные сказки» с иллюстрациями в цветах веселенького ситчика. Остальное пространство глубоченных полок было занято неинтересным: много всего о вкусной и здоровой пище, стопки бархатных и кожаных фотоальбомов, связки журналов. А вот на верхних этажах, за играющими радугой фигурными стеклами, таились сокровища. Брать их не то чтобы запрещалось — все запреты моего детства были подразумеваемыми, — но негласно не одобрялось. Застекленные створы были заперты, что служило сигналом. Однако же ключ всегда свисал из скважины, будто папироса с губы. Это, собственно, решило дело.

Добывала я взрослые книги так. Взяла специальную высокую табуретку, на которой моя крошечная бабушка расчесывала свои огромные косы (волны седины доставали до пола, а тапочки не доставали). Затем взяла мухобойку с длинной ручкой. С первого раза расшатать тугие кирпичи не получилось. Потом они стали вываливаться блоками и падать на пол с грохотом и плеском. Пришлось принести подушки, на них долговязая табуретка гарцевала. В результате синенький, небольшой, но весомый томик Гоголя рассек мне углом переплета кожу на лбу.

Именно в этом томе оказалось главное, что я прочла во время тех упоительных книжных каникул между первым и вторым классом. Уже знакомая с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», я сперва подумала, что «Мертвые души» тоже про покойников. Как передать свое тогдашнее восприятие поэмы? Это была текучая алхимия, слово на моих глазах превращало одно в другое: нарядных дам — в сахар, фразных кавалеров — в мух. Тогда впервые возникло ощущение, что я откуда-то знаю, как это делается.

Ну и, конечно, профессор Челленджер у Конан-Дойля оказался куда круче Карабаса-Барабаса, а «Собор Парижской Богоматери» про красавицу и чудовище совершенно затмил «Аленький цветочек».

Помимо толщи текста, в томах обнаружились странные закладки. Мягкие бумаги, как бы тряпочные, как бы слегка промасленные, вертикальными кудрявыми узорами сходные со шкафом, в котором они таились. На них на всех было написано: «Государственный казначейский билет. Пять рублей». Но это были не пять рублей. На настоящих, голубых, горизонтальных, изображалась башня Кремля, такие держали в кошельках и платили ими в магазинах. И все-таки была в этих бумагах пугающая достоверность. Больше всего их обнаружилось в Мопассане, нашлись они и в Гоголе, и в мрамористом Толстом. Я так и не узнала, кто наплатил деньгами библиотеку и почему он ими не воспользовался. В истории всех семей много скрытого. Позже, в девяностые, когда российские деньги мутировали, как мухи-дрозофилы, у меня на руках тоже остались десятитысячные, маргариновой желтизной напоминающие советский рубль, он же «рванный».

Но вернемся к шкафу. Москва, наши дни. Мы с мужем, поэтом Виталием Пухановым, зашли в антикварный присмотреть люстру. Вдруг в глубине магазина, за углами и горбами заскорузлой мебели, я увидела родное. Это был он, шкаф. Шкаф был руиной. Дверцы шатались, резьба казалась обкусанной, и из него пахло погребом. Но мы его купили, конечно. Я даже представить не могла, что когда-нибудь мне выпадет такое счастье: вот он, книжный дворец, весь мой, я его заполню, чем захочу.

Теперь, отреставрированный, шкаф стоит в моем кабинете. Не тот же самый, не бабушкин, конечно, такое совпадение грешило бы против законов жизни и прозы. Мелкие отличия — более темный цвет панелей, простоватые шишки вместо медных кружевных ручек на ящиках — появились либо после хирургических восстановлений, либо вследствие аберрации памяти. Но главное вот что: шкаф оказался вовсе не громадным. Он не вместил и трети книг, которые я хотела бы в нем держать. Но тяжеленькие томики Гоголя (один во время переездов потерялся) — синеют на своем законном месте, на второй сверху полке, в первом ряду.

Ганна Шевченко

Осень — колотая рана

* * *

В краях, где не смеркается луна,
где водятся холмистые ландшафты,
я инженером горным создана,
чтоб воспевать убыточные шахты.

Я помню, как выюрок по вечерам
над дедушкиной хатой разрывался,
сиял сарай — величественный храм —
и слышалась любовь в курином глазе.

А до изобретения числа,
до спуска в человеческое тело,
драконом нарисованным была,
над кряжами донецкими летела.

Весенний свет — тюльпаны и ковыль —
осенний ветер — сломанный подсолнух —
я корабли сплетала из травы,
и отпускала плыть в радиоволнах.

Душа моя, большой метеорит,
видение в туманностях аргона,
лети на свет, пока ещё горит
звезда ночей во лбу у коногона.

Шевченко Ганна Александровна — поэт, прозаик. Родилась в городе Енакиеве (Украина). По образованию финансист. Автор трех сборников стихов, в том числе «Обитатель перекрёстка» (М., 2015), «Форточка, ветер» (М., 2017), и книг прозы «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018) и др. Лауреат Международного конкурса им. Фазиля Искандера (2017). Живет в Подмосковье.

* * *

В тупиковом проулке, за будками,
где кустарники наперечёт,
приукрасив себя незабудками,
моментальное время течёт.

Было, помнится: шум, революция,
веселились рабочих полки,
а сегодня свою Конституцию
исправляем движеньем руки.

И Земля, словно та каракатица,
утром с окриками петухов
уплывёт. Ничего не останется,
ни рассказов, ни пьес, ни стихов.

Вот уж облака, солнцем гружёного,
не замечен трагический сгиб,
только звёзды Андрея Платонова
светят так, что не видно ни зги.

* * *

Посмотреть на клён с балкона,
черепахе бросить корма
я спешу, минута — это
исчезающая форма.

Так вот встанешь в тихом доме
светом утренним залитом,
и поймёшь, что всё минуло,
что исчерпаны лимиты.

Пели иволги, а после
улетела в небо стая,
жил старик, но летом умер,
снег лежал, потом растаял.

Даже облако из пыли
постепенно стало солнцем —
всё когда-нибудь исчезнет,
всё когда-нибудь вернётся.

И костры средневековья,
и реформы вольтерьянства
растворились, время — это
обнулённое пространство.

* * *

Покуда солнце в форточке горит,
о чём молчать мечтательной натуре?
Я научилась с ветром говорить
о личности в большой литературе.

Откроешь лес — увидишь сериал,
и автора на ветке — паучиху,
Как тетерев Каренина сыграл!
Как Анна воплотилась в облепиху!

А ягоды трагических кустов!
А линия черёмух-королевен!
А яблони устойчивых сортов —
Улицкая, Сорокин и Пелевин!

Горчичный свет польётся с высоты,
деревья онемеют, станут голы,
и полетят, как жёлтые листья,
причастия, союзы и глаголы.

* * *

Дни не размножаются в неволе,
только лишь становятся сутулей,
а вчерашний день упал за поле,
словно сняли снайперскою пулей.

Утром за окном явился новый,
подвывая мусорной машиной,
томный, нерабочий, бестолковый,
с постной и подвыпившею миной.

Он такой же точно, как вчерашний,
будто нарисован под копирку —
будем на своей балконной башне
трепетать от птичьих перечирков.

Но уже, непасмурный и броский,
взят всевышним снайпером на мушку.
Посмотри, как в небе светит Бродский —
солнце в рыжеватых конопушках.

* * *

Весь этот шум — ненужная возня
в минуту выпадения росы,
однажды я услышу среди дня,
как шелестят песочные часы.

Грядущее закуплено в кредит,
будильник заведён, как автомат —
мы научились в космос выходить,
но разучились сказки понимать.

Когда-нибудь в журнале «Этажи»
напишет независимый эксперт,
что золотая рыбка — это жизнь,
а шапка-невидимка — это смерть.

И вот тогда я маятник качну
и приготовлюсь медленно ко сну,
и, шапку-невидимку натянув,
песочные часы переверну.

* * *

А соловьи стараются без толка —
весенний город, холоден и пуст,
закрыты заведения, и только
под сквозняками вздрагивает куст.

Идёт от солнца луч-гипотенуза
и вот уже он высветлить готов
конструкции Советского Союза
весёленьких собянинских цветов.

Вдоль трассы пять рабочих общежитий
рассветы держат шиферным хребтом.
На фоне исторических событий
я выгляжу беспомощным кустом.

Не хочешь, а проскакивают строфы,
материя цепляет, как репей —
в условиях глобальной катастрофы
что может быть никчемней и глупей.

Рождаешься прозрачной и безликой
и сочиняешь медленно потом
ту сказку, где была бы земляницей,
летающей птицей, розовым кустом.

Борис Минаев

Площадь Борьбы

Роман

На этих кладбищах было похоронено столько безывестных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь, на много саженей...

Константин Симонов

Зайтаг

Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь, перестала спать в 1930 году, в июне.

Это не было связано с ее личной жизнью, с жизнью страны, с каким-то особым событием или неприятным происшествием, или вообще с чем-то психиатрическим.

Как потом выяснилось, была у нее такая болезнь, воспаление нервных окончаний где-то в каком-то отделе ее головы, не ведущее ни к каким другим последствиям, кроме одного — у нее пропал сон.

Она пролежала ночь, думая о Лёшеньке, о его будущем и глядя в светлое июньское окно (ночи в это время в Москве очень короткие). Наверное, бессонница возникла в связи с его отъездом на дачу вместе с «группой». Такие «группы», поскольку детских садов не хватало, устраивали интеллигентные московские женщины, устраивали сами — и в городе, и летом за городом... Предполагалось, что их маленькая «группа» должна летом выехать и жить в поселке Кратово. Что-то вроде частного детского садика.

Совместно нанимали воспитательниц, желательно из «бывших» (Светлана Ивановна и сама могла бы стать такой воспитательницей, поскольку считала себя «бывшей», но тщательно это скрывала), то есть тех, которые могли учить французскому, например, или немецкому, прививать манеры, да и обладать неким общим пониманием, как жизнь устроена, — в этом смысле нянькам из деревни вполне довериться было нельзя.

Минаев Борис Дорианович — журналист, писатель, издатель. Родился в 1959 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ (1981). Автор книг прозы «Детство Лёвы» (2001), «Гений дзюдо» (2005), «Мужской день» (2009), «Мягкая ткань. Батист» (2015), «Мягкая ткань. Сукно» (2016), «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х» (2018). Живет в Москве.

В «ДН» ведет театральную рубрику «Правила игры».

Журнальный вариант.

И вот Светлана Ивановна всю ночь думала о том, не договориться ли ей и не поехать ли в Кратово вместе с Лёшенькой. Библиотека в июле закрывалась на несколько санитарных недель, все как-то удачно складывалось... И вот так она пролежала до утра, не смыкая глаз.

Встала разбитая, злясь на себя — ведь можно же было накапать капли или, в конце концов, попарить ноги, ну что-то такое, теперь весь день пойдет насмарку, но утром она как-то пришла в себя, сварила яйца и кашу, отвела Лёшеньку в ту самую «группу», в дом на Минаевском тупике, где проживала их бонна, Маргарита Васильевна Шнауп, у которой муж когда-то служил по жандармерии, но об этом все давно забыли, муж пропал, а она осталась, все уважали ее благородную внешность и умение одеваться, а самое главное — умение понимать жизнь; выезд в Кратово ее волновал так же, как и Светлану Ивановну, и всех других мам; Зайтаг долго стояла в прихожей, сняв с Лёшеньки пальто и держа его в руках, и долго с Маргаритой Васильевной говорила об этом — и то, что ночью ей виделось в каком-то тревожном, даже истерическом свете: вот Лёшенька один, в темной комнате, все его бросили, все ушли жрать и пить, а он один лежит больной, с температурой, и плачет — все это утром сразу стало смешным. Обсуждались со Шнауп и другими мамами очень важные, даже оптимистические, научно-гигиенические детали: как дети поздоровеют на деревенском молоке и твороге, будут *ходить босиком* (а это очень важно), что рацион их будет составлен по точным врачебным рекомендациям (бонна советовалась с педиатром)... Словом, Светлана Ивановна ушла от Шнауп успокоенная и медленно побрела в библиотеку, надеясь сегодня лечь пораньше и выспаться как следует.

Но выспаться ей не удалось.

Светлана Ивановна действительно легла пораньше, выпила горячего молока, начала считать верблюдов, но, досчитав до тысячи, легко встала и выглянула в окно.

Тихий рассеянный свет шел из июньского сада.

Она накинула шаль и, ощутив какую-то странную эйфорию, спустилась с крыльца в сад в ночной рубашке и в тапочках. В доме все, слава богу, спали, и она добрела до забора, посидела на скамейке, покурила. Летняя ночь была перед ней, и она подумала, что, может быть, и не стоит даже спать в такие ночи.

Открыла книгу, ей казалось, что она задремала, но около шести утра по улице прошли первые молочники, и она вдруг подхватила и принялась готовить завтрак.

Молочник Кузьма приходил всегда в семь, и вот она решила, что, когда он придет и принесет свежий творог и сметану, она уже попьет кофе, поджарит на сковородке горячий хлеб и будет опять читать книгу, ожидая его.

Примерно за пятнадцать минут до прихода Кузьмы Зайтаг почувствовала легкое покалывание в висках и раздражение, которое увеличивалось с каждой секундой. *Зачем* она встала так рано? Что она будет делать дальше, как ей усмирить свой организм?

Она буркнула Кузьме что-то невнятное, сунула ему деньги, он ушел, недоумевая, она же с отвращением разжевала ложку творога и расплакалась.

Болело все тело. Все валилось из рук, и уже следующую ночь Светлана Ивановна ждала с замиранием сердца.

Пролежав всю эту третью ночь в тоске и страхе, затравленно глядя в потолок и повторяя про себя, что она не боится, не боится, не боится, утром Светлана Ивановна поняла, что должна все же сходить к врачу. Потом она провела без сна еще одну ночь и наконец решилась.

Одного частного врача она хорошо знала лично. Это был женский врач Кауфман, он жил недалеко, на Площади Борьбы, в высоком кооперативном доме, который гордо возвышался над садом Туберкулезного института.

Рано утром она робко позвонила в дверь, и он принял ее.

Кауфмана она посещала к тому времени уже лет шесть и посещала регулярно, раз в полгода, испытывая зудящий страх перед женскими болезнями, но в любом случае общаться с доктором было всегда приятно — он обладал как будто бы *излучением*, то есть, не говоря ничего особенного, он вливал в Светлану Ивановну заряд покоя и даже радости, наверное, это было из-за его глаз, больших и темных, которые всегда смотрели с библейской мудростью и прямоотой, а вообще-то он был смешной, рассеянный, немного наивный, и она всегда приходила к нему без всякого страха, а наоборот, с надеждой. Он выслушал ее спокойно и сказал: дорогая Светлана Ивановна, это бывает, надо пить успокоительные капли, гулять, пить молоко с медом, нет, не пробовали?

Тогда она, пытаясь не рассердиться (в этот раз он впервые ее рассердил), сказала: она уже не девочка и прекрасно понимает, что такое бессонница, но это явно не бессонница — ей по-настоящему плохо; что ж, смутился он, давайте обратимся к невропатологу, и тут же набросал на клочке бумаги письмо, с которым она отправилась в городскую больницу под названием «Медсантруд», располагавшуюся на Яузской улице, недалеко от Таганки, куда ей пришлось долго добираться на трамвае.

Ее принял доктор Вишняк, зав. отделением, чем-то похожий на Кауфмана, но более рыжеватый и сухой и внимательно выслушал. (Голова у нее к концу пути совершенно разболелась.) Из коридора доносились какие-то крики, и тут она почувствовала себя еще хуже. Ей стало нехорошо.

Поймав ее взгляд, Вишняк сказал: ой, я вас умоляю, не обращайтесь внимания, у нас не психиатрия, ничего такого... тут молодой человек один, небольшое расстройство... а вы... скажите, Светлана Ивановна, вы сильно не простывали в последнее время?

Но нет, она не простывала, она не страдала тяжелыми инфекционными болезнями, у нее не было стрессов, крупных неприятностей, драм в личной жизни (нет-нет-нет), ни у каких родственников никогда не было ничего подобного — нет, она просто не может заснуть.

Хм, сказал Вишняк и подошел к окну.

Скажите, а когда ваш мальчик уезжает в это самое Кратово? — рассеянно спросил он, не отрывая взгляд от окна, и она вздрогнула, потому что не помнила, когда успела ему это рассказать, но, видимо, когда-то успела, боже ж мой, как все напутано у нее в голове, да-да, ответил он меланхолично, видимо, почти читая ход ее лихорадочных мыслей, вы мне об этом уже рассказали, так когда? — В эту среду. — Так, сказал он... ну, знаете что, вы уж как-то дотерпите до среды, отправляйте мальчика в надежные руки на природу, а потом соберите домашнюю одежду, ложку, зубную щетку и приходите ко мне на обследование, ляжете на несколько дней, отдохнете, может, сон и наладится.

Она так и сделала.

Сама больница, с ее запахом тоски и одиночества, сами эти голые белые стены и огромные потолки, невероятных размеров окна, впускавшие солнце через грязноватые стекла и побеленные рамы (больница располагалась в огромном бывшем поместье), и то, что здесь так рано вставали и так рано ложились, ее бесконечные, просто бесконечные прогулки в больничном саду (ну не сидеть же в палате с этими старухами), скудное, невкусное, но правильное питание, наконец, какие-то таблетки, которые она глотала горстями и которые действовали на нее отупляюще, снимали боль в висках (вообще она чувствовала себя здесь бесплотной, нереальной и невесомой) — все это *должно было* заставить ее заснуть, но она все равно никак не засыпала.

Нет. Она бродила по коридору и тихо скулила по ночам.

Потом выходила в больничный сад и думала: а может, уйти отсюда совсем?

Москва дышала рядом, шелестела редкими машинами, цокала копытами, перекликалась приглушенными голосами — там, за оградой. Она смотрела на освещенные

окна больничного флигеля, где жили врачи, и думала: как же им хорошо. Они не спят, потому что не хотят! Сами!

Хм, сказал Вишняк вторично, когда она пришла к нему после трех дней такой жизни. Еще через день ее повезли на каталке, раздев донага, под чистой, выглаженной, даже еще теплой белой простынею в какой-то далекий кабинет, где лаборант, краснея от застенчивости, прилаживал к ее голове контакты на липучках, потом плотно стягивал металлическое кольцо вокруг головы, потом включал аппарат, горели лампочки, аппарат гудел, а она от страха закрывала глаза и боялась описаться.

Хм, сказал Вишняк в третий раз, когда она опять пришла к нему рано утром, до завтрака (она всегда приходила до завтрака). По дороге она посмотрела в зеркало, лицо, ей показалось, было, как у ведьмы, немного синюшное и осунувшееся, торчали патлы, из домашнего халата высовывалась жилистая страшная шея, похожая на змею, может быть, лучше не жить, чем жить в таком виде, но она открыла дверь и спокойно вошла, хм, сказал Вишняк, держа перед глазами листки, *заполненные* старательным лаборантским почерком, знаете, а все оказалось сложнее, чем я думал, конечно, наука пока... не может ответить на все вопросы, но, судя по всему, это воспаление нервных окончаний, кора головного мозга... дальнейшее слилось в некое бу-бу-бу... которое я подозревал, к сожалению, подтвердилось. И что, задыхаясь от волнения, спросила она, какие последствия, вообще, сколько мне осталось жить? Вам? — расхохотался Вишняк, да вам еще жить и жить, нет, Светлана Ивановна, все не так ужасно, но *вот* спать... спать, наверное, вы все-таки будете плохо.

То есть как это — «плохо»? — холодея от неприятных предчувствий, спросила она; послушайте, развернулся Вишняк от окна и решительно сел напротив, не нужно бояться — дальше он долго излагал теорию сна, которая вкратце сводилась к тому, что совершенно непонятно, для чего и под влиянием чего человек спит, и что на самом деле с ним происходит во сне, возможно, в будущем люди смогут заполнить это совершенно пустое время чем-то другим, а возможно, бессвязные картинки, которые они сейчас видят во сне, будут воспроизводить какие-то приборы, то есть, грубо говоря, к голове человека будет подключаться какой-то экран, и он будет просто общаться с теми, кого хочет увидеть... господа, какой ужас, непроизвольно сказала Светлана Ивановна, и Вишняк так же непроизвольно рассмеялся, одним словом, Светлана Ивановна, завершил он уже другим голосом, тише и печальней, ситуация такая: я пропишу вам все необходимые лекарства, но если через неделю вы не заснете, я настоятельно рекомендую таблетки снять и жить, как вы жили и раньше, только... Что — «только», спросила она, говорите уже наконец. Только теперь ваша жизнь не будет так резко разделена на эти два промежутка, понимаете, вы будете как бы в одном состоянии, полусна-полуяви, но ничего страшного в этом нет, организм когда-то приспособится, и вы сами привыкнете, вам будет казаться, что вы заснули, или будет казаться, что вы проснулись, но не стоит на этом фиксироваться, углубляться в проблему, считайте, что вы такой человек, ну, скажем, не совсем обычный, вот и все, это редкая, да, но в целом заурядная болезнь, как я уже говорил, *вызванная* не тем, что вас кто-то за что-то наказал, что вы такая особенная, нет, вы не лунатик, не сомнамбула, не тень отца Гамлета, вы просто человек, который больше бодрствует, чем спит, понимаете?

— То есть я не буду ходить по крышам? — серьезно спросила она.

— Нет, — серьезно ответил он.

Чтобы ее утешить, в конце беседы Вишняк произнес несколько довольно загадочных, как ей показалось, фраз: он сказал, что, вероятно, она заснет однажды, без всяких усилий, сама, это произойдет под влиянием неведомых, недоступных пока науке закономерностей, накопится усталость или что-то там такое в голове... — он щелкнул пальцами, не в силах подобрать нужных слов, — и вы заснете, сами не понимая, как...

— Ну а если у вас будут вопросы... — сказал он уже обычным голосом и нервно оглянулся на дверь, в коридоре, наверное, давно скопилась к нему небольшая очередь, — ...приходите тогда ко мне.

Она сухо кивнула и вышла.

Постепенно Зайтаг поняла, что Вишняк ни в чем не ошибся, и записи, сделанные лаборантом, увы, отражали истинное положение дел.

Она научилась не спать.

Пожалуй, это само по себе было похоже на сон — сон без сна, где она была одновременно и субъективным «Я», и объективным «не-Я», сама для себя — героем и персонажем, который вел себя, откровенно говоря, по-разному, например, первое время она могла разрыдаться от напряжения, неожиданно, в любом месте, как если бы только что потеряла любимого человека: в булочной, в библиотеке, на своей службе (это чаще всего) или дома, сидя у окна, или на улице, в трамвае, или даже в театре, впрочем, всякого рода мероприятия, театры, концерты она посещать перестала — это было как бы чересчур, мир и так стал для нее киносеансом, она видела то, чего не видела раньше, например, глаза — глаза у людей стали более яркими и глубокими, всматриваясь (в ответ) в чей-то пристальный взгляд, она «застревала», настолько говорящими и порой страшными бывали эти взгляды — из глубины, такой глубины, о которой сами люди даже не подозревали; эти случайные взгляды ее затягивали, она поспешно отводила глаза, но и этих секунд было достаточно. Для нее изменились и звуки, какая там консерватория, какой «концерт для фортепьяно с оркестром»: трамвай грохотал над ней, как апокалипсис, птицы рассаживались прямо у нее в голове, чтобы поговорить о Библии или о «Капитале» Маркса, она слышала их реплики, и они ее иногда ужасали, а иногда смешили. Когда приходил вечер, а за ним ночь, она начинала слышать буквально все, что происходило не только в соседних комнатах, но и во всем доме, а ведь ее отделяли коридоры, стены и квадратные метры, и другие комнаты, и опять толстые стены, но она все равно слышала, как встает ночью с постели жена капитана Новикова, как она перебирает его вещи на столе (зачем?), прижимается к горячему телу мужа, огромному здоровому телу, и заставляет его перевернуться на бок, чтобы он не храпел. Пораженная этими яркими картинками, которые она не видела, но *слышала*, Светлана Ивановна вскакивала в страшном возбуждении и выходила в сад, потому что слышать весь дом было нестерпимо, — но она все равно слышала: и кашель, и стон, и сладостные муки любви, и чтобы не слышать — она стала покидать дом в ночное время.

Днем вокруг нее были хотя бы другие, *официальные* звуки. Они не позволяли ей так глубоко погружаться в мир человеческих отношений, а ночью этот мир открывался перед ней чересчур откровенно, и она его стеснялась и боялась, как боялась глаз прохожих и боялась теперь свинцового неба над площадью Борьбы, над садом туберкулезного института, и она накидывала пальто, надевала туфли и шла, и шла, и шла...

Впервые выйдя ночью к Самотечному бульвару через этот самый сад, она вдохнула свежий воздух с горьковатым привкусом (шел сентябрь) — здесь ей было лучше!

Она шла по аллее, в темноте чувствуя взглядом и хорошо слыша шуршание травы, удивленные взмахи веток, обходя кучи мусора, принимая на себя кошачьи взгляды (все-таки они были не такие тяжелые, как у людей, хотя и дико светящиеся в темноте), — и понимала, что теперь так будет всегда.

Под утро, когда посветлело небо и она нашла себя уже где-то в районе Старой Басманной, Зайтаг вдруг поняла, что так теперь действительно будет всегда, что она стала отдельным человеком, который видит и слышит не как все, чувствует иначе,

и у которого свое, отдельное пространство и время. Сделав это открытие, она почему-то засмеялась, но не истерически, а даже радостно, влажный холодный до озноба воздух сентябрьского раннего утра, облежавший ее фигуру, рассеивался на тонкие слои, это был слоистый, нецельный, состоящий из тонких пластин мир. Пластины были... розоватыми, наверное, да, скорее, розоватыми, не каким-то нездоровым, активным, слишком телесно-розовым цветом, но слегка приглушенным; а солнце, которое выплывало постепенно из-за края крыш, — было черноватым, и она могла раздвинуть этот мир рукой совершенно свободно, чтобы войти внутрь, где было прохладно и спокойно, но она не хотела ни в какую нишу, а просто шла дальше.

Да, мир, открывавшийся в эти первые недели, был ей незнаком, он был похожим на тот, ее прежний мир, но только отчасти. Плотность звуков в нем бывала невыносимой, так же как и невесомость вещей и предметов, и только одно помогло ей в нем удержаться и к нему привыкнуть — это был Лёшенька.

В начале августа он вернулся из Кратово (сама она с «группой», конечно, не поехала), и начались трудные, но важные дни привыкания — теперь каждый шаг давался ей с гораздо большим трудом.

Именно тогда, в августе 1930 года она ясно осознала, насколько тяжелее ей стало двигаться и делать самые простые вещи. Пол в комнатах она теперь мыла по два часа. К приготовлению борща готовилась задолго, медленно расставляя в голове привычные стадии готовки — сварить свеклу, очистить и порезать лук, поджарить, положить в кипящую воду. Она читала по тетради рецепты, чтобы не забыть ничего, — и плакала от бессилия. Но, слава богу, сын этого не замечал.

Наконец началась школа, и ей стало полегче.

Теперь она могла просто сидеть на работе и смотреть в стену.

Ей тогда исполнилось тридцать два года. Она родилась в 1898-м. Этот «хвостик» в два года, зацепившийся в прошлом веке, почему-то не давал ей покоя, он казался чем-то стыдным, компрометирующим, как будто этот хвостик в два года сообщал всем о ее непролетарском происхождении...

Ее отцу, прибалтийскому немцу по рождению, Ивану Зайтагу, принадлежало полдома в Вышеславцевом переулке, где они жили одни, хотя когда-то отец собирался сдавать комнаты на втором этаже, подселять жильцов, но ничего из этого не получилось — он не успел.

Отец имел маленький магазинчик на Мясницкой, вход через арку с улицы, табличка была мелкая, дешевая, отец вообще был скуповат, суховат, необщителен; в магазине, одна половина которого торговала фарфором и фаянсом, другая — кухонно-скобяными изделиями, торговля шла с переменным успехом, но магазин приносил доход, и возможно, именно благодаря скуповатости Ивана Зайтага коммерческая удача ему сопутствовала, наконец, в 1913 году, взяв банковскую ссуду, он купил эти полдома, и они переехали из далекого пригорода — Купавны — в Москву.

В сущности, в этом и состояла его главная мечта: чтобы дочь получила образование и познакомилась с приличными людьми. Дело в том, что, будучи прибалтийским немцем, сам Иван Иоганнович Зайтаг не имел никакого наследства вообще, никакой семейной собственности, никакого родительского капитала — в годы неурожая все забрали бароны, которых он вспоминал недобрым словом, а может быть, его родители вовсе и не были немцами, а он скрывал это от нее (зачем?), а были они, например, простыми латгальцами или чухонцами, кто их там разберет.

Мать Светланы Ивановны погибла от скоротечной болезни, братьев и сестер не было, другие родственники жили не здесь — словом, они с отцом были в этом мире одни. Поэтому переезд из маленького домика в Купавне во 2-й Вышеславцев переулочек стал самым главным событием первой половины ее юности. В 1913 году они переехали, и она пошла в частную женскую гимназию Алфёровых (на Плющихе) — отец сам возил

ее туда на извозчике. В доме появилась новая прислуга, стали приходить гости, она подружилась с девочками из гимназии и порой гостила у них — то в Москве, то за городом.

Это были счастливые месяцы, которые быстро кончились вместе с войной.

В сентябре 1914-го начались погромы немецких магазинов охотнорядцами и другими патриотически настроенными гражданами. Отец откровенно рассказал ей о своих страхах — больше было не с кем поделиться, хотя Светлана Ивановна была еще подростком. Табличку патриотически настроенные граждане сорвали и разбили. Разбили и витрину, хотя она тоже была дешевая. Возможно, все это провернули соседи-купцы, отцовские конкуренты, нанявшие кого-то для грязного дела. Лавку от страха отец тут же закрыл и сразу открыл другую небольшую торговлю на рынке у Арбатских ворот — уже без всякой вывески. Полицейстер потребовал от него встать на учет как немца, и отец беспрекословно встал.

Жизнь продолжалась, но из гимназии Зайтаг ушла — однажды, найдя в учебнике оскорбительную записку, тоже по поводу национальности, она попросила отца придумать что-то другое с образованием, и он с облегчением согласился: Алфёровская гимназия обходилась ему слишком дорого.

Не стало у них и прислуги. Светлана Ивановна сама стала больше времени уделять домашним делам. К ней приходили на дом учителя: студенты, многие из которых говорили ей отчаянные комплименты, но это ее почему-то оскорбляло, и она увольняла одних и нанимала других.

Все как-то скомкалось...

В 1913 году (или в 1914-м) в районе Александровской площади баронесса Корф построила на своем участке огромный и неказистый доходный дом (иногда его почему-то называли «кооперативным») в пять этажей. Дом как будто бы плыл над землей, немного странной формы, закругленный треугольник, отдаленно похожий на корабль, был виден отовсюду — соответственно, с его крыши тоже была видна, конечно же, «вся Москва»: старинный шпиль Сухаревой башни, красно-кирпичные водокачки у Крестовского моста, похожие на крепость, из тех, что рисуют в детских книжках, — ее дом утопал в саду, который примыкал к мрачному зданию Туберкулезного института, и осенью шум листвы и сухих веток становился таким огромным и многозначительным, что проходить мимо сада было как-то тревожно. А рядом с этим огромным садом, в маленьком особнячке с маленьким флигельком жила сама баронесса, которая редко, очень редко выезжала в экипаже в гости или по делам, вызывая всяческие кривотолки — о своих знатных родственниках, о большом наследстве, вложенном теперь в эту дорогую недвижимость, в «кооперативные квартиры», о своих далеких наследниках, ради которых, должно быть, все и было затеяно... Но вскоре все эти разговоры затихли, баронесса угасла, наследники потерялись, теперь это был просто один из новых московских домов, построенных аккуратно перед войной и населенный уверенными в себе людьми, твердо стоящими на ногах, — адвокатами, инженерами, преподавателями и докторами. Частично они выкупали квартиры, а другая часть жильцов платила арендную плату, только теперь все это было неважно — потому что именно тогда, в 1914 году, когда толпа патриотично настроенных горожан пошла громить немецкие заведения (а их было немало по всему городу), этот густонаселенный, свежий, яркий, даже горячий (как из печки) и очень обустроенный большой мир Москвы — дал огромную трещину. И быстро засох.

Александровскую площадь переименовали в Площадь Борьбы после октябрьских событий 1917 года, во время которых и погиб отец Светланы Ивановны.

Погиб он глупо, возвращаясь домой, — он спешил, поскольку волновался за дочь (возможно, задержись он по своим делам хоть на полчаса, остался бы жив), и не дойдя до дома несколько сот шагов; кооперативный дом находился от их полудомика

во 2-м Вышеславцевом переулке буквально в десяти минутах ходьбы, и она никак не могла понять, почему отец не взял извозчика, если было так опасно, почему прыгнул с конки именно здесь, где звучали выстрелы, — но да, он сорвался с места, помчался, прыгнул, а здесь пошел пешком — и тут же попал под обстрел.

Стреляли с двух сторон: рабочие отряды с окраинных заводов, повинаясь приказу Совета, пробивались через заставы в центр, а немногочисленные жандармские патрули и юнкера отбивались (никакой регулярной армии в городе не было) — и те и другие стреляли из легких пушек шрапнелью, а не снарядами, они палили из винтовок по головам и поверх голов, но и этого хватило — перестрелка в городе опасна именно тем, что здесь много каменных поверхностей. Александровская площадь была замощена брусчаткой, крупным булыжником, а возможно, что пуля отлетела от стены кооперативного дома, а возможно, отец просто попал под шальной выстрел — теперь уже было не важно.

Светлана Ивановна искала отца недолго, урядник и вахмистр, она не разбиралась в чинах всех этих людей, которых еще не перебили поодиночке рабочие и которые еще не прятались по углам, привезли его тело из морга в пролетке, найдя в кармане какие-то документы или опознав по фотографиям, которые имелись тогда в участках, и долго сидели над телом, объясняя ей, как теперь быть. Оба они были не в силах уйти, потому что вид ее, наверное, был совершенно ужасен — она сидела в пальто, поскольку прошедшие два дня просто ходила по улицам и искала его, ничего не ела, кашляла от усталости, ей не к кому было обратиться, ну не к репетиторам же, ей было девятнадцать лет, и два этих пожилых усатых дядьки, пропахших табаком, кожей и невыносимым казенным духом, в пыльных сапогах, при револьверах и шашках, испуганные не меньше, чем она, оказались теми единственными ангелами, прилетевшими на ее зов. И они быстро распорядились насчет священника, насчет похорон, и Зайтага похоронили бесплатно, *за счет города* — покойники в Москве в эти дни исчислялись сотнями — юнкеров, например, отпевали в большой красивой церкви в Брюсовом переулке, красногвардейцев — по большевистскому, еще только установившемуся обычаю, без священника — на Красной площади, всех потом свезли на Братское кладбище неподалеку от Всехсвятской церкви и положили буквально рядом, тех и этих, и Светлана Ивановна ходила всюду — и туда, и сюда, и к той церкви, и к этой, после Лазаревского кладбища, где отпевали ее отца, проклятого немца, она ехала на Братское, одно время она вообще пристрастилась к этому занятию, а ведь отпевали в том октябре, а потом в декабре, а потом весной 1918 года в Москве очень многих, отпевания шли подряд друг за другом, священники скорбно махали кадилом над бледными лицами и охапками цветов, поправляли вышитые полотенца, женщины плакали под полутемными сводами — плакали везде, в Новодевичьем монастыре и в Донском, на Ивановской горке и в Замоскворечье, в Зачатьевских переулках и на Пресне, ничего подобного раньше город не знал, церкви еще не были закрыты большевиками, и в них сплошным потоком шли траурные церемонии — хоронили погибших на фронте, хоронили жертв октябрьских событий, хоронили жертв террора, и белого, и красного, хоронили умерших от тифа, хоронили эсеров, анархистов и контрреволюционеров, словом, хоронили всех.

Постепенно Светлана Ивановна устала от этих отпеваний, они перестали приносить ей успокоение, и она стала разбираться с бумагами отца, надеясь найти в них какую-то новую правду. А может быть, и помощь. Помощи никакой от этих бумаг, конечно, не было, но открылось немало любопытного. Отец состоял членом бездонной прорвы различных обществ и организаций. Он как будто нарочно собирал коллекцию этих бесполезных свидетельств и подписных листов, чтобы теперь сводить ее с ума жуткими январскими ночами 1918 года — она перебирала их с ненавистью, но и с каким-то даже страстным любованием — боже мой, повторяла она про себя,

какой же непроходимый дурак: Иван Зайтаг был членом попечительского совета Александровского института благородных девиц, наверняка имея в виду, что когда-нибудь и она вольется в их ряды, этих самых благородных девиц, он был членом московского охотничьего и московского хорового общества, хотя не занимался в жизни ни тем, ни другим (или она чего-то не знала?), он был членом общества друзей московской консерватории и давал деньги на психиатрическую клинику, он покровительствовал обществу купеческих приказчиков в Старосадском переулке и ходил на заседания Московской городской думы в качестве ее *кандидата*, он занимался пожарной частью где-то в Лефортово и обустроивал кладбище Донского монастыря, хотя теперь был похоронен, как бездомный бедняк, и самое главное, хотя она не прочитала даже половины удостоверений, грамот и подписных листов, все это он делал совершенно зря.

Весь этот мир исчез в одно мгновение, без всякого следа.

Эта невероятно подробная, состоявшая из тысяч мелких деталей, цельная и могучая конструкция быстро рассыпалась — и хотя основное, так сказать, коренное население Москвы не верило в это, не желало верить и упорно цеплялось за прежнее, сама Светлана Ивановна поняла это раньше других, еще в тот момент, когда нашла у себя в учебнике записку с единственным словом «колбаса» (имелась в виду немецкая, конечно же, колбаса), когда услышала от отца, как два человека вошли в лавку и разбили *четыре английских сервиза*, взломали кассу и забрали все наличные деньги, выполняя свой патриотический долг, с тех пор как по отцовскому лицу, дорогому и теперь ненавистному (потому что бросил он ее так неожиданно) — пошла эта трещина в виде кривой улыбки — она поняла, что жизнь, какой она была раньше, больше не будет уже никогда. И что надеяться на это *не надо*.

Но, разбирая бумаги отца, найденные в его секретере, она обнаружила нечто интересное: еще один подписной лист на строительство какой-то больницы, в котором вдруг увидела знакомый адрес — один из подписантов жил на Александровской площади, в том самом доме баронессы Корф, мимо которого она часто ходила, и фамилия его была Терещенко. Он очень удивился, когда она робко позвонила в дверь, потом сказал, что с господином Зайтагом не был знаком, но глубоко сочувствует ее горю, и просто предложил ей чаю. Зайдя к Терещенко, она сразу поняла, что всегда хотела попасть в этот дом-корабль и выглянуть из его окна. Это был, как Светлана Ивановна поняла потом, не просто дом, а дом разбитых надежд, похожий на нее саму, на ее нелепую, так рано оборвавшуюся *первую судьбу*. Но ведь то же самое можно было сказать и обо всех остальных его жильцах, о том же Терещенко, с которым она вдруг подружилась и однажды осталась у него ночевать, поскольку ей вдруг стало страшно идти домой — одним словом, сбылась ее мечта посмотреть на «всю Москву» из высокого окна этого дома: дом, как океанский корабль, носом врезающийся в шумящий сад Туберкулезного института, возвышался не просто над Марьиной Рощей, Новосущевской улицей, Камер-Коллежским валом, Лазаревским кладбищем, над крестами церквей, которые почти достигали его высоты (а он был на холме и смотрел на них поэтому горделиво), нет, он возвышался и над ее судьбой — да и над судьбой любого человека, и это было странно — ведь это был всего лишь дом, но трепещущая зелень садов, бесконечно уходящих к Екатерининской и Самотеке, ее поразила...

Она сидела на коленях у экономиста Терещенко и целовала его в мягкие теплые губы, как будто делала это всегда.

Назавтра она принесла из дома постельное белье и ночную рубашку.

Так — на несколько лет — она стала жилицей и узнала о судьбе многих других жильцов.

Терещенко очень поначалу ее стеснялся.

То есть, да, конечно, он был очень рад и даже увлечен, но ночью, когда ему нужно было покурить или выйти по малой нужде, он, долго пыхтя, совершая нелепые медленные движения в темноте и опасаясь ее разбудить, опасаясь зажечь лампу или отдернуть штору, вдруг наталкивался на какой-нибудь стул, и все начинало грохотать, звенеть, и она окончательно просыпалась и, видя его уже в штанах и даже в накинута рубашке, при этом с босыми ногами, потому что тапочек в темноте он найти не мог, краснела от стеснения сама, его стеснение передавалось ей, она громко шептала, чтобы он включил свет и не мучился, но он упрямо отказывался, чтобы она его не увидела. Точно так же он упрямо отказывался сохранить свет, хотя бы от ночника, от хоть какой-нибудь завалящей лампочки, хотя бы от газового фонаря за окном, и ложился вместе с ней лишь в крошечной темноте, плотно задернув шторы, то есть опять стеснялся... Он как-то быстро ее раскусил, он понял, что ей просто в эти месяцы было *нужно куда-то ходить*, выходить из дома и приходить хоть куда-нибудь, он относился к этой ее острой потребности терпеливо, утром вежливо прощался, отбывая на службу (она еще была в постели), вечером вежливо здоровался, когда она звонила в дверь, не ругался, если она пропадала на несколько дней, ну и так далее, как выяснилось впоследствии, он был блестящий, крупный экономист, несмотря на свой молодой возраст, один из авторов денежной реформы 20-х годов, «соавтор золотого рубля», ну и так далее, что не помешало советской власти его расстрелять в 1930-м как соучастника так называемого «Дела Промпартии». Но когда она об этом узнала, ей уже было все равно, она, конечно, немного поплакала, передернула плечами и тут же начала думать о другом, впрочем, вся ее жизнь в том 1930-м году в связи с ее странной болезнью настолько перевернулась, что оправдание своему равнодушию Светлана Ивановна нашла легко, а тогда она и думать не думала, что Терещенко станет великим человеком и что стоит поразмыслить о том, чтобы остаться в этой квартире навсегда, — нет, у нее был свой дом, и она даже не предполагала такого развития событий, в ее памяти остался главным образом звук — звук его крупных (донельзя крупных) ступней, когда он вставал ночью и шлепал босыми ногами, и крупный, резкий звук, с которым он глотал воду, жадно глотал ее, отделившись от Зайтаг, которая испуганно замирала, пройдя сквозь череду судорог, не всегда понятных и ей самой, кадык у него был крупный, и этот странный звук ее донимал.

Так или иначе, она прожила в этом доме несколько лет, потеряла невинность (видимо, в этом и был смысл нелепого и горестного разбирания отцовских бумаг, в которых она нашла адрес Терещенко) и успела многое узнать о жильцах дома.

Состав жильцов, конечно, довольно быстро менялся в течение этих лет — в доме и раньше жили доктора, но в отдельных квартирах (как, например, доктор Иванов или доктор Вокач), с домочадцами и прислугой, занимая по четыре, по пять комнат; а сейчас частный доктор Кауфман — специалист по кожным и венерическим болезням — занимает с семьей лишь две комнаты из пяти, то есть жил в коммунальной квартире после уплотнения. В них он и принимал больных, и жил, это при том, что поселился он в бывшей квартире своего двоюродного дяди, коммерсанта и держателя акций Мееровича, который в 1920-м году выехал для поправления здоровья в Румынию. Остальные комнаты бывшей квартиры Мееровича занимали совсем другие люди: как родственники доктора Кауфмана, так и совершенно ему чужие.

Уплотнение происходило невероятно быстрыми темпами, причем в нем не было никакой системы — а только прихоть судьбы и роковая случайность. Впрочем, до середины тридцатых годов действовала система так называемого «добровольного» уплотнения — можно было прописать к себе в квартиру родственников, даже дальних.

Вообще же понять что-либо с этим уплотнением было невозможно.

Например, в квартире 23 по-прежнему жил инженер-архитектор Покровский —

тот самый, что когда-то построил этот дом по заказу баронессы Корф, — с выводком своих маленьких испуганных дочерей, а буквально напротив него, в одной из комнат огромной квартиры 24, жил Володька Безлесный — это был настоящий вор-аристократ, про которого все в доме знали, что он вор, почтительно здоровались и проходили мимо, внутренне поджавшись, а он был изысканно-вежлив и холодно-внимателен. Впрочем, далеко не все его боялись в бывшем доме баронессы Корф.

Не боялся его дворник Мустафа Обляков, который продолжал ходить в фартуке и со старорежимной царской бляхой, «осколок прежних времен», как презрительно называл его вор Безлесный. Мустафа вежливо (и низко) кланялся всем врачам (Кауфману, Вокачу, Иванову), архитектору Покровскому и его жене, экономисту Терещенко, юристу Дорошу и другим людям, в которых он признавал благородство происхождения, Мустафа снисходительно кивал нэпманам и прочей «новой знати», их он не признавал, даже если они выезжали на лакированных пролетках, носили дорогие костюмы и щеголяли новенькими карманными часами, на прежних жильцов из кооперативного дома они все равно не были похожи — и Мустафа справедливо считал их богатство и положение недолговечными, а спесь — излишней, но исправно кланялся, помогал этим новым господам по мелочи и охотно получал на чай, а вот к тем, кто заселился в доме совсем недавно, ко всем этим сторожам и фельдшерницам Туберкулезного института, сапожникам, ремесленникам, рабочим, людям неопределенного рода занятий, вечно пьяным и куролесящим в квартирах, их вечно беременным женам, то есть ко всем въехавшим в дом недавно — Мустафа относился по-другому, он ими брезговал, он равнодушно смотрел мимо и порой не здоровался... Они отвечали ему злой насмешкой, но он их не боялся.

Не боялся он их до такой степени, что когда вор Володька Безлесный нагло ограбил добрейшего доктора Кауфмана, забравшись к нему по карнизу (а перед этим сходяв к нему с визитом, как бы посоветоваться насчет подруги, а на самом деле — запомнить расположение мебели и присмотреть вещи), — Мустафа просто вскрыл дверь в его комнату, обнаружил вещи доктора и *заставил отдать*.

Это было немислимое событие, когда весь дом замер от ужаса, всем казалось, что вор зарежет дворника той же ночью, но все обошлось, Мустафа отдал вещи доктору, тот принял с благодарностью, а потом Безлесный сам зашел (во второй раз) в докторскую квартиру и принес извинения.

— Извините, Самуил Борисович, — ослепительно улыбаясь, сказал Володька, ероша жесткую шевелюру, — бес попутал. У своих не берем, но... Мать заболела, деньги нужны, вот я и...

— Может быть, вам дать взаймы? — спокойно спросил Кауфман, а Володька покраснел и ретировался.

В чем была сила Мустафы — понять было непросто.

Светлана Ивановна Зайтаг сильно интересовалась этим вопросом и не раз спрашивала мнения у сожителя Терещенко.

— Это же вопрос экономический, — меланхолично отвечал ей Терещенко, жуя за завтраком яичницу и подтверждая этим ответом, что специалист подобен флюсу. — Ну, вот представь, лапочка, этих новых жильцов, которых становится все больше и больше с каждым годом, они все стены исписали в подъезде похабными словами, выкидывают мусор на лестничной клетке, спасибо, что не срут там же, в 16-й квартире уже проживает десять человек вместо трех, в 18-й — двенадцать, в 24-й — восемнадцать; представь себе, что будет с домом, если не будет в нем Мустафы, — он сгорит, превратится в руины, а куда в таком случае денется сам Мустафа, ему просто некуда будет пойти, ведь кроме его каморки, у него другого жилья в Москве нет... Человек живет своими экономическими интересами. Мустафа не какой-нибудь там Геракл,

совершающий очередной, сто двадцать третий подвиг, он заботится лишь о себе... Понимаешь?

Но этот ответ, каждый раз повторяемый экономистом Терещенко на разные лады, Зайтаг совершенно не удовлетворял. Ей казалось, что в этой силе Мустафы есть что-то непостижимое.

...А вот в силе Марьи Семёновны из восьмой квартиры ничего загадочного и непостижимого, конечно, не было. Она, Марья Семёновна, была доносчицей, и ее боялся весь дом. (Весь, кроме Мустафы).

Марья Семёновна следила за всеми и обо всех все знала.

Когда Марья Семёновна слышала шум на лестнице, она просто выходила из своей квартиры, не заперев двери, и терпеливо ждала, пока этот человек не пройдет мимо нее, сопровождая его пристальным и даже пронзительным взглядом. Первой она никогда не заговаривала, как правило, смущенные жильцы делали это сами. Они — проходя два пролета по лестнице — успевали ей выложить буквально все: кто к кому и откуда приехал (а приезжали в Москву к родственникам многие и оставались надолго), кто чем заболел и чем лечился, что за шум был вчера (а шуму становилось все больше), почему куплен хлеб в магазине и какие праздники собираются отмечать.

Она состояла в коротких сношениях с домоуправлением (не имея при том никакой формальной должности в нем) и строго следила за пропиской и выпиской.

Когда сапожник Васильев запивал и начинал слишком бить жену (то есть он и так ее бил, и все это знали, но в особых случаях звуки битья становились настолько страшными, а вой побитой настолько утробным и громким, что спать и жить уже не было никакой возможности) — так вот, в этих случаях вызывали дворника Мустафу, он, грохоча сапогами, поднимался по лестнице, взламывал дверь стамеской или топориком, с трудом отрывал Васильева от жены и окатывал ведром холодной воды, при необходимости несильно давал в зубы — но иногда и это не помогало, и Васильев отпихивался и продолжал бушевать, и вот тогда из строя зевак выступала сама Марья Семёновна, зловеще шипя, произносила заветную фразу:

— Васильев, я тебя выселю, сука, учти!

И огромный страшный мужик вдруг обмякал. И Мустафа волочил его в свою каморку, чтобы проспался на холодке.

Словом, Мустафа и Марья Семёновна — это были сила старая и сила новая. Но почему-то обе эти силы друг с другом не враждовали. Хотя и не любили друг друга.

Зайтаг ловила момент, чтобы увидеть, как они здороваются, и наконец у нее это получилось — Мустафа, заметив выходящую из дома Марью Семёновну, бросил подметать и картинно уткнулся подбородком в свои кулаки, сжимавшие верхнюю часть метлы, она же, несколько подбоченясь, замедлила шаг:

— Куда идешь? — спросил Мустафа, пронзив взглядом новую силу. А новая сила ответила, кисло осклабясь, — силе старой:

— В домоуправление, передать чего от тебя?

— Я сам передам... — буркнул Мустафа и отвернулся.

Пораженная увиденной сценой, Светлана Ивановна долго размышляла над символическим значением этих простых слов, но потом ее отвлекли другие дела.

Сама она Марью Семёновну почти не боялась — но только лишь потому, что не считала себя полноправной жилищей. Ей нечего было терять, кроме своих цепей, как самому пролетариату. Когда они впервые столкнулись на лестнице (Марья Семёновна долго и терпеливо ждала, пока она дойдет до третьего этажа), — Зайтаг побледнела, опасаясь чего-то очень неприятного. Но, оглядев ее с головы до ног, Марья Семёновна просто и без выражения сказала:

— Вам нужно зарегистрироваться, женщина. Такой у нас порядок.

— Но я здесь не живу! — вспыхнула Зайтаг. — Я живу в другом месте.

Такого ответа Марья Семёновна почему-то не ожидала.

— И что же вы здесь делаете в таком случае? — немного покраснев, спросила она.

— Прихожу в гости...

Повисла пауза.

Марья Семёновна тяжело смотрела на новую жилищу, которая явно выскальзывала из сферы ее влияния с помощью какого-то глупого фокуса.

— Смотрите у меня, — сказала она наконец и отступила. — Не нарушайте порядок.

После этого разговора Терещенко (а был он далеко не таким равнодушным или рассеянным человеком, каким казался на первый взгляд, и, напротив, был порой весьма горяч) пошел жаловаться на Марию Семёновну в контору домоуправления.

Поскольку в его кармане было удостоверение важного учреждения, в котором он служил, держаться он решил нагло и напористо.

Описав ситуацию, Терещенко спросил у начальника:

— А кто она, собственно, такая?

Начальник покраснел и, отведя глаза, неохотно вымолвил:

— Да никто... Общественница, понимаете?

Терещенко не нашелся, что ответить по существу, пробурчал себе под нос насчет того, что пусть не лезет не в свое дело, и захлопнул за собой дверь, а начальник домоуправления тяжело вздохнул.

В доме было пятьдесят квартир.

Уплотнение часто происходило буквально на глазах у Светланы Ивановны Зайтаг. Практически раз в месяц, а то и чаще, в дом вселялись новые жильцы. Некоторые приходили сами, просто стучали в дверь и показывали свой ордер (как правило, прежние жильцы были заранее предупреждены). Иногда вместе с новыми жильцами приходил кто-то из домоуправления или даже милиционер. В Москве был широко известен мрачный апокриф или нехороший анекдот, который на самом деле имел место в жизни. Апокриф был такой. Семья рабочего-коммуниста вселилась в профессорскую квартиру и прожила в ней несколько месяцев или даже лет. В свою очередь, профессорская семья была столь угнетена этим новым соседством, непрерывным скандалом на кухонной почве, разнообразными унижениями со стороны семьи рабочего-коммуниста, его жены, детей, матери и тещи, что не выдержала и добилась от своего главы (то есть профессора), чтобы он пошел на «самый верх» и настоял на выселении рабочего. Профессор был видным ученым, в новой системе образования и культуры тоже занимал какой-то важный пост, и это ему невероятным образом удалось.

Но когда происходило выселение, сошедший с ума от ярости рабочий-коммунист, несмотря на присутствие милиционера, выхватил свой именной пролетарский пистолет времен Гражданской войны и убил профессора наповал выстрелом в голову.

Этот трагический, почти шекспировский случай облетел всю Москву, и Светлана Ивановна Зайтаг о нем тоже знала.

Однако процесс уплотнения — который она видела своими собственными глазами — далеко не всегда принимал столь эпические формы. Все происходило незаметно, естественно, мелкими, даже мельчайшими шагами. Уже буквально через несколько месяцев после октябрьских событий 1917 года, в результате которых она (Светлана Ивановна) осталась сиротой, — стало очевидно, что все эти прекрасные огромные комнаты, прихожие, спальни, столовые, невероятно роскошные коридоры, все эти кухни и комнаты для прислуги, вся эта архитектура достатка и здоровой жизни — она совсем не для этого времени. Не для этой новой эпохи.

Светлана Ивановна прекрасно помнила, как зайдя (совершенно случайно)

к своей гимназической подруге Лисицыной, в районе Арбата, в период где-то между 1918 и 1919 годом, была потрясена увиденным: голые пустые комнаты без мебели, которую сожгли на дрова, с детской комнатой, оборудованной в ванной, потому что там теплее и удобнее купать малыша, с бельевыми веревками, висящими в столовой, разбитыми окнами, которые были заткнуты подушками и коврами, ну и прочее, прочее, прочее. Уже тогда в этой огромной квартире профессоров московской консерватории поселились разные пришлые люди — родственники из далеких углов империи, которые приехали в Москву, спасаясь от ужасов войны, кругом стояли их неразобранные тюки и чемоданы, было непонятно, надолго ли приехали эти родственники или они поедут куда-то дальше, в другие страны, квартира уже тогда фактически стала коммунальной. Светлана Ивановна посидела немного и, выпив вместе с Лисицыной чаю с морковными конфетами, благоразумно ретировалась — здесь и без нее было очень много людей.

Затем в Москву стало приезжать все больше и больше этих *новых жителей*, потом хлынул полноводный целый человеческий поток, а старые люди все чаще куда-то уезжали, и процесс уплотнения пошел еще веселее.

Что уж говорить о пролетариате, который имел полное право шагнуть из бараков и рабочих казарм к новой прекрасной жизни, что уж говорить о различных милиционерах и служащих, и прочих представителях власти, нэпманах и домработницах, что уж говорить о сестрах и санитарях Туберкулезного института — все они имели (должны были иметь) в треугольном кооперативном доме на Площади Борьбы свое право — свое место и свой взгляд на жизнь.

Большие (слишком большие) комнаты были разделены перегородками, кухни — тоже разделены на некие «зоны», где стояли небольшие столики, накрытые клеенкой, и вонючие примусы. Двери на черную угольную лестницу в большинстве своем были заколочены (хотя в некоторых квартирах дровяные плиты еще работали, и возле этих квартир на черной лестнице вечно валялись щепки), стены подъезда исписаны каракулями в основном ругательного свойства, оконные стекла закоптились, а двери в квартирах и комнатах, которые то и дело ломали, вскрывали и снова укрепляли, вставляя новые замки, выглядели странно, двери шатались и скрипели, новая беспородная мебель соседствовала со старой, породистой, но, пожалуй, главное, что произошло в бывшем доме баронессы Корф, — это страшное немыслимое смешение всех нравов, всех культур, языков и порядков.

Набожные сестры Любимовские, жившие теперь в бывшей квартире инженера Когана, ставили лампадку перед иконой и молились, в то время как Марья Семёновна подслушивала и строчила свои доносы. Все это не то чтобы очень удивляло Светлану Ивановну Зайтаг, но было любопытно.

Сама она жила тогда совсем другими проблемами: ей хотелось понять, готов ли экономист Терещенко иметь от нее ребенка? А когда Лёшенька все-таки родился, она уже хотела понять, будет ли он теперь ей мужем или просто отцом ее ребенка? А ведь она по-прежнему жила у себя, во 2-м Вышеславцевом переулке, где была ее родительская квартира, а верней, теперь уже комната, потому что уплотнение, разумеется, коснулось и ее, и отношения их с Терещенко имели довольно странный характер, потому что — то он приходил к ней в гости, то она к нему, но жить вместе у них не получалось; и в одной комнате, и в другой пространство было небольшим, оно было малым, слишком малым для целой семьи, а когда она спрашивала у экономиста Терещенко, не дадут ли ему на его важной службе в важном учреждении какую-нибудь другую квартиру, соответствующую его статусу и вкладу в общее пролетарское дело, — он багровел, страшно напрягался и уходил гулять, чтобы не накричать и не сорваться, ей тогда становилось совсем страшно и неуютно, и она убегала к себе, во 2-й Вышеславцев переулок.

В квартире тридцать четыре — там, где принимал ее доктор Кауфман, — жил Соломон Матвеевич, чудной старик с огромной бородой, отец доктора Кауфмана, правоверный иудей. (Она часто видела его во 2-м Вышеславцевом переулке, когда он проходил мимо ее дома в синагогу: поскольку синагога была по соседству, отделенная от их сада лишь старым деревянным забором). Утром он молился, и это слышали все соседи. Он прикрывался шелковым талесом, распевая свои гимны и просьбы к богу, стоя на коленях и раскачиваясь.

В доме на Площади Борьбы (несмотря на то, что это был не барак и не казарма) трудно было что-нибудь скрыть — и об этих иудейских молитвах знали все, включая, конечно, и Марью Семёновну. Марья Семёновна, разумеется, знала о вредных привычках старика Кауфмана с этими иудейскими молитвами, и про иконки и лампадки набожных сестер Любимовских, и про многих сестер и нянечек Туберкулезного института, которые так же ходили в церковь: либо в храм возле Лазаревского кладбища, либо поближе, к Селезнёвке, либо совсем уж в ближайшую церковку — при больнице; все это поведение, конечно же, новой властью не поощрялось, но проступок был столь мал и ничтожен, что Марья Семёновна лишь записывала его в какие-то одной ей ведомые анналы, тетради и грессбухи, чтобы, сложив затем все плюсы и минусы, вывести некую общую составляющую.

Старик Кауфман и без своей утренней молитвы и прочего соблюдения норм иудейской религии был жильцом весьма экзотическим.

Его высокий рост, огромная лохматая борода, серебристо-седая с вкраплениями черного, густо-смоляного, с завитушками и колтунами, с застрявшими крошками и выющимися отдельными волосами, забиравшимися под пуговицы, с другими волосами, выходящими также из носа и ушей, его засаленный сюртук, надеваемый по праздничным дням, и пальто с крылаткой, его трость, его ошеломленный вид, когда он переходил площадь перед трамваем в пасхальные дни, наперерез богомольцам, его навязчивый французский язык и неумение вступать в отношения с людьми — все это казалось Светлане Ивановне Зайтаг каким-то карикатурным. При этом он был неким странным связующим элементом между одной частью жильцов дома и второй, он был не там и не здесь, он появился в доме в 20-х годах, но был как бы совсем из прошлого, он был над всеми и не был ни с кем, все возможные неправильности и недостатки жильцов были ничто по сравнению с его неправильностями и недостатками, с его нежеланием жить сегодняшней жизнью. Приглядываясь к старику Кауфману, она поняла, что их всех, таких разных, что-то связывало. Этот дом, этот быт, словом, что-то, какой-то клей.

И постепенно, как она чувствовала, этот клей, который связывал их всех, схватывался все сильнее, постепенно они все становились каким-то общим телом, жильцы этого дома на бывшей Александровской площади, они были разнородным телом, но общим, как если бы был один человек, состоявший из разных, противоположных элементов, например, из железа и дерева, и вот этот железно-деревянный человек или, скажем, человек, сделанный из бумаги и кислоты, он постепенно, изумляясь сам себе, постепенно научился бы ходить, говорить, дышать, пускать дым колечками, жить. Так и дом на Площади Борьбы — вместе с Мустафой Обляковым и Марьей Семёновной, Терещенко и доктором Вокачом, Светланой Ивановной и сапожником Васильевым — становился все более округлым и замкнутым, становился ульем или муравейником, то есть живым естественным организмом, как бы примираясь сам с собой, и это было невыразимо странно...

Терещенко обычно засыпал первым, а Светлана Ивановна еще долго не могла заснуть, пытаясь не шевелиться, чтобы не разбудить его, лежала на спине, перебирая в уме разные мысли: мысли были в лучшем случае печальные, а чаще тревожные и неприятные — про Лёшеньку и его болезни, и его будущее, про то, нужно ли ей

выходить замуж (ведь Терещенко отчего-то не предлагал), про несчастного отца и про то, что он уже ничего этого не увидит (и, может быть, хорошо), и вот наконец мысли перемещались в привычную для нее область — она уже не думала, а лежала и представляла *весь дом*, дом-корабль, он был весь под ней (кроме последнего этажа), и вот она заглядывала в квартиры, понимая, что поступает нехорошо, но не в силах от этого избавиться, мысли при этом, слава богу, переходили в какие-то картинки-ощущения (картинки с ощущениями), и она засыпала, успевая подумать все-таки важное, важное и даже очень: о том, например, что вот это *прошлое* (прошлая жизнь), как бы застывшее, закаменевшее, как старый кусок сыра или черствый хлеб, оно было разным. Внутри старика Кауфмана оно издавало запах гнили и сырости, а внутри инженера-архитектора Покровского оно не окаменело, а, напротив, как-то искрошилось, истончилось, рассыпалось в труху — от внутреннего страха (какого не было в простодушной иудейской душе), и в то же время в душе доктора Вокача, язвительного и гордого, прошлое превратилось в кислоту, которая его отравляла, — все это было странно, и она засыпала в тревоге, чтобы вскочить в пять утра и бежать к детской кроватке, стоявшей у окна.

Ей казалось, что внутри нее этого прошлого нет совсем, но оно было.

Так вот, этот самый *клей*: общая жизнь жильцов, их совместный быт и совместный труд по обживанию самих себя, обживанию пространства и времени — все это проступало постепенно, и только, наверное, к концу двадцатых годов стало окончательно ясно, что помимо вопиющих различий между ними есть и общее, что они притерлись друг к другу и стали гораздо более общим телом, чем думали раньше, — как будто жители одной планеты или одного острова.

Это стало ей ясно из самых разных процедур или, скорее, навыков жизни, которые стали у них совместными, тоже общими, и вошли в привычку — как вошли в привычку дежурства по уборке квартиры или списывание показаний электросчетчика, — ну, например, вошло в привычку у всех (почти без исключения, даже у вечно битой жены сапожника Васильева) покупать молоко, сметану, овощи у разносчиков с Минаевского рынка (они обходили квартиры по очереди, предлагая свой товар, торгуясь за копейки и оглашая двор криками), сама Светлана Ивановна обожала летними утрами выбирать из грязного ящика зеленщика свеклу или картошку или отбирать наощупь бутылку, самую прохладную, со свежим молоком; а другой общей привычкой стали похороны — чем больше становилось в доме людей, тем чаще были похороны, причем иногда они бывали горькими и торжественными, ведь люди уходили не только по старости и болезни, так было, когда умерла Люся, жена нэпмана Мееровича, она задушилась шарфом в шкафу, не выдержав мучивших ее болей в голове, доктор Вокач говорил, что ее вовремя не отдали в клинику, но все равно в доме ощущалось горе — Люся была совсем молода, и многие ее знали девочкой; главным образом, похороны ощущались как *общее дело* из-за присущих им ритуалов — катафалка, черного или красного (красного, если хоронят члена партии), с парой лошадей, украшенных плюмажем (тоже черным), и возницей в засаленном сюртуке и цилиндре. Играет духовой оркестр, выносят гроб, ставят на табуреты, заранее вынесенные из дома, выходят заплаканные вдовы и дети — все это не просто зрелище или ритуал, а жизнь, которая вдруг очевидно становится общей и острой.

Светлана Ивановна всегда участвовала в прощании.

Ее саму уплотняли по-разному. В зиму с восемнадцатого на девятнадцатый год (голодную и страшную, надо сказать, зиму) ей подселяли то служащих государственной аптеки, то целую семью, бежавшую от белогвардейцев (причем в ордере так и было написано, она сама прочитала это несколько раз, пытаясь запомнить диковинную формулировку), — но они быстро съехали, вернувшись в родные места, где уже

не было белогвардейцев, или вовсе расставшись с советской Россией, подселяли то рабочего, то служащего, то чекиста...

Один чекист, въехавший в ее бывшие комнаты уже ближе к двадцатому году, был невероятно предупредителен, обещал, что нисколько ее не беспокоит, выражался буквально, как персонаж Чехова или Леонида Андреева, — бурно, витиевато, красиво, но в какой-то момент выяснилось, что он выпивает по вечерам и водит гостей: гостями были какие-то довольно дорого одетые женщины, которые оставались на ночь и орали то ли от боли, то ли от удовольствия, Светлане Ивановне это было нестерпимо, и она просила наутро вести себя потише, чекист краснел и страшно извинялся.

Но потом как-то вдруг взял и съехал.

В тридцать первом году к ней подселили семью Каневских... Но до этого произошли важные события в ее жизни.

Это было так — к концу двадцатых годов экономист Терещенко, отец ее ребенка, начал жить как-то заметно лучше.

В доме у них не переводились хорошие вещи — конфеты, дорогая копченая рыба, иностранные папиросы, появилась даже кухарка, готовившая разные пироги и разносолы, сам Терещенко стал одеваться в костюмы и чесучовые пиджаки, покупать ей платья и безделушки, все время хотел поехать на юг, чтобы отдохнуть, — в лице его появилось выражение расслабленного удовольствия и ленивого сомнения, и вдруг она почувствовала себя лишней.

Это продолжалось недолго, и вскоре она попросила Мустафу помочь перевезти детскую кроватку и ее чемоданы, дворник взял тележку и перевез, не взяв с нее денег, а она с сыном доехала на извозчике до 2-го Вышеславцева переулка — Терещенко больше к ней не приходил.

И вот она опять стала жить одна. Верней, не одна, а с Лёшенькой.

Время, проведенное ею на Площади Борьбы, в доходном доме, она вспоминала не без горечи, но порой даже с удовольствием — ведь она тогда умела спать!

Там ей спалось действительно хорошо — иногда она приходила к Терещенко и засыпала прямо сидя на стуле. Понимая всю драгоценность этих минут, экономист замирал и боялся дышать, оберегая ее слабое посапывание и мелодичный легкий свист. Он особенно любил ее в эти минуты. Светлана Ивановна обмякала, становилась чуть прозрачнее и невесомее, чем обычно, она подворачивала ступни внутрь во время сна, по ее щеке неправильно и хаотично струились светлые пряди, руки бессильно лежали на коленях, она была прекрасна не потому, что была прекрасна, — как ночью, когда она возлежала на простынях и тихо смеялась, глядя на него, приходящего в себя после соития, — нет, она была прекрасна, потому что ее покидало напряжение, она становилась текучей, как вода, бесформенной, необязательной, и это ему почему-то нравилось.

Она вообще явилась в его жизнь настолько неожиданно, что долго он воспринимал ее как случайность.

А он не очень-то ценил случайности, обладая цепким аналитическим умом, он их не уважал, впрочем, возможно, именно случайный характер их связи он (не признаваясь себе) особенно ценил и не хотел с этим ощущением расставаться — он долго не знал, где она живет, вообще, кто она, иногда, просыпаясь ночью и глядя на ее худую горячую руку, которой она всегда закрывала голову в глубоком сне, как от удара, он с некоторым трудом вспоминал, как ее зовут.

Но это волшебное ощущение случайности постепенно уступило место другому: закономерности того, что она появилась. В его жизни до нее была неразрешимая проблема — *он не знал*, чем наполнить время, свободное от вычислений, от построения

графиков и написания докладов, он пробовал разное: ходил в ресторанные заведения, важно курил в бильярдной, плавал на речных судах в хорошую погоду, знакомясь с шумными и пышными дамами, которые всегда плавали по трое, по четверо, не в силах выбрать какую-то одну, он ездил на Кавказ, чтобы подняться в горы, ходил на лыжах, играл в карты — все было неинтересно. Утомительная тоска не покидала экономиста Терещенко нигде, и всегда хотелось домой, забиться под торшер, читая без разбору все, что угодно.

Он боялся поднять себя с дивана и даже пойти на кухню, потому что не понимал, зачем его тело движется, — в чем смысл этих утомительных усилий. После того, как она появилось, ему все стало легко.

Вероятно, думал он про себя, это потому что она ничего не просит взамен и не говорит с ним о долге.

Словом, когда она засыпала, он не переставал любоваться бессознательным и счастливым выражением ее молодого лица.

Просыпаясь в его квартире, Светлана Ивановна долго лежала, прислушиваясь ко всем звукам и не открывая глаз. Находясь еще внутри сна, она вспоминала, что лежит в его кровати, и всегда расплывалась в улыбке, потом она начинала слышать, как брякает чайник на общей кухне, как трамвай едет по Бахметьевской улице, как собирается на работу экономист Терещенко, она сладко потягивалась, словно выныривая из молока, вставала, накидывала халат и, чуть покачиваясь, шла по коридору...

Вспоминая теперь эти минуты, вот теперь, после того, как бог лишил ее сна, она снова и снова задумывалась о том, что означает это его наказание.

В принципе, думала она, невропатолог Вишняк оказался прав — нет, она не лунатик и не ходит по крышам, она не умирает, она такой же человек, как все, только грань между явью и сном стерлась, и оттого она живет в особом, очень особом мире — но зачем? За что?

Может быть, останься она в семнадцатой квартире, с экономистом Терещенко, она бы продолжала спать?

Это было понятное, даже физиологическое объяснение, но она ему не верила, кроме того, она ушла в двадцать девятом году, а спать перестала в тридцатом, и если бы она осталась с Терещенко и даже оформила с ним отношения, то есть стала законной женой, ей пришлось бы пережить его арест, передачи в Бутырку или в другой тюрьме, пережить обыск и допрос, а потом и смерть мужа.

Возможно, тот, кто хотел лишить ее сна, — заранее наметил жертву, а потом уже не смог все это переиграть?

Но кто же он был, в таком случае?

Другой мыслью, сопровождавшей ее всюду, была мысль о Лёшеньке: бог испытывает ее материнские чувства, инстинкты, бог решил проверить ее, и она должна выдержать проверку. Она выдерживала, как умела, — конечно, справляться с домашними делами становилось все труднее, и она отдала Лёшеньку на пятидневку, в интернат, но это ничего — ведь он приходил на субботу и воскресенье, в субботу она могла уйти с работы пораньше и забрать его часов в пять. И у них было целых два вечера!

Светлана Ивановна совсем не была похожа на обычную мать, но, в конце концов, как мать-одиночка она вполне имела право на помощь государства в воспитании ребенка, и она не чувствовала, что ее осуждают товарищи по работе или соседи, нет, просто постепенно она переставала замечать эти контуры обычной дневной жизни и с ужасом ждала наступления полной темноты.

Каждый вечер в десять тридцать (кроме вечера субботы и вечера воскресенья)

Светлана Ивановна аккуратно раздевалась, складывала одежду, накидывала ночную рубашку, ставила тапочки возле кровати очень ровно, взбивала подушку, выключала свет и задерживала шторы.

Каждый вечер в эти часы она вспоминала слова невропатолога Вишняка о том, что когда-нибудь заснет неожиданно.

«Может быть, навсегда?» — думала она про себя, внутренне примирив себя с таким исходом (о Лёшеньке позаботится советская власть, в этом она была уверена).

Но заснуть никак не получалось.

Подводил слух. Слышно было все.

Она накрывала голову подушкой, обвертывала вокруг головы шарф, но это не помогало.

Постепенно этот *клей*, о котором она много думала, вспоминая дом на Площади Борьбы, который скреплял воедино столь разные судьбы, иссыхал. Умер старик Кауфман со своими еврейскими песнопениями. Умер доктор Вокач. Стали исчезать другие жильцы. Светлана Ивановна ходила ночью по Москве и не понимала, почему ее не задерживает милиция. Кругом светились окна, из домов выводили людей, но почему же ее никто не трогал и никто не замечал?

Возможно, я сама исчезла? — думала она.

Дом в саду

В Москве, во 2-м Вышеславцевом переулке, через забор от синагоги (а точнее, слева от синагоги, если стоять к ней лицом) находился когда-то дом, вполне типичный для Марьиной рощи да и вообще для Москвы тех лет. Двухэтажный, деревянный, с открытой галереей по фасаду, солидный и вместительный, с тремя отдельными входами, скорее всего, переделанный из старой купеческой дачи в обычное московское жилье; дом с дымоходом и трубой, но и с газовой колонкой, с садом и ледником в саду (ледник угадывался по деревянной рассохшейся дверце на холмике, как бы лежащей на земле и прикрытой упавшими листьями), с тропинками, уводящими в глубь сада, и пышными кустами вдоль высокого забора. Это был дом неказистый и уютный, старый, но не ветхий, милый, но с давно не чищенной крышей, заваленной прелыми листьями... Дом, много повидавший и готовый вроде бы ко всему.

Именно здесь, в доме № 5, в 30—40-е годы жила семья Каневских, в квартире номер 1, занимая две просторные комнаты, выданные им когда-то как *временное жилье* (по жилому ордеру хозупра Наркомлегпрома). Затем эти комнаты стали для них жильем постоянным в силу ряда печальных (или закономерных) семейных обстоятельств. И вот теперь, когда Даня Каневский входил в высокую калитку, вырезанную плотником Василием Матвеевичем в огромных хозяйских воротах еще до Октябрьского переворота, — он всегда вспоминал эти обстоятельства, невольно, краешком, но, конечно, вспоминал. И вот он думал, вспоминая их: а хорошо ли так получилось, что их с Надей идея когда-нибудь потом *перебраться в центр*, в современный каменный дом на какой-нибудь красивой набережной или на историческом старомосковском бульваре, одним словом, идея перебраться отсюда совсем в другую квартиру — им так и не удалась?.. И Даня пожимал плечами — а кто же его знает?

Кто знает это?..

Может, и правильно, что он остался на отшибе.

Здесь всем было хорошо — почему же? — из-за сада, наверное, то есть потому, например, что можно было выйти — или выбежать — из дома в сад, *затеряться* в саду или покурить в саду, или посидеть на рассохшейся скамейке в саду, развесить мокрое белье на веревке, именно здесь развесить, а не на общей кухне или во дворе-колодце,

а может быть, еще потому что нервный город напоминал здесь о себе лишь звоном трамвая и отдаленным шумом Сущёвского вала, — словом, коммунальное житье не казалось здесь, в этом доме, невыносимым, нет, оно было не только *выносимо*, но и привычно, и Надя была спокойна, что бы ни происходило с ними, и во время войны, и после нее, она всегда смотрела на этот мир из-под высоко поднятых, как бы удивленных бровей приязненно и терпеливо.

Этот дом примирил ее с Москвой — еще тогда, в начале 30-х, Даня это понял и не торопился смотреть другие квартиры. Ну а потом ему перестали их предлагать.

В квартире номер 1 обитали, кроме них, еще — семья рабочих Васильевых, а также одинокая женщина с ребенком Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь.

Светлана Ивановна была женщина странная, не без причуд, но тем она и нравилась Дане. Ходили слухи, что когда-то ее отцу принадлежал весь этот дом — слухи невозможно было проверить, сама Светлана Ивановна об этом благоразумно умалчивала, но в том, как медленно-медленно она поднималась по короткой лестнице на крыльцо, чтобы пройти темным коридором к двери первой квартиры, как бродила иногда ночью по саду, как подолгу сидела на скамейке в самые темные вечера и курила, — что-то такое было, некоторая особая невысказанность, и Дане иногда хотелось подойти к ней и заговорить, но он не решался.

Отношения их оставались на уровне соседских: соль, спички, счетчик за электричество, дежурство по кухне и местам общего пользования.

С рабочей семьей Васильевых, то есть с высоким и худым токарем-фрезеровщиком Сергеем Ивановичем, с его супругой и двумя детьми у Нади и Дани были отношения вежливо-прохладные, иногда даже напряженные, но в целом нормальные, ну а тут была совсем другая история. Полная вымысла и намеков.

В 1943 году зимой, в конце февраля, на чердаке дома номер 5 по 2-му Вышеславцеву переулку поселились белые мыши. Мышей купил Сима Каневский, сын Дани. Они тогда съездили на птичий рынок, вместе с Мишкой Соловьёвым, как бы за кроликами — а вместо них купили мышей.

Кроликов, кстати, разводили тогда в частном секторе многие — на мясо, конечно. Например, разводил кроликов во дворе 17-го дома инвалид Марик Сергеев, ну да, он был контужен, бок у него был прострелен, инвалидность первой группы, но он работал на заводе, а тут решил еще и развести кроликов и построил у себя во дворе деревянную клетку с железной сеткой. Марик объяснял окрестным детям терпеливо, что мясо кроликов — оно диетическое и невредное, а едят эти добрые животные именно траву, зимой можно дать им сено, а одного кролика можно жрать целых два дня всей семьей, кроме того, подросшего можно выгодно продать, ведь голубей в Марьиной Роще всех давно уже съели, собак тоже почти не осталось, их, наверное, едят какие-нибудь инородцы или они сами убегают из голодных домов; неправда, скупой и твердо сказал Мишка Соловьёв, неправда твоя, Марик, у дяди Лёни Аганбекова в голубятне еще пять сизарей живут и два белых, и собак я тоже видел, зачем ты так говоришь, Марик; сосед сплюнул и предложил вместе поехать на «птичку» за кроликами, чтобы самим все узнать...

Сима в этот момент глубоко задумался.

Отец после возвращения из эвакуации ходил на дежурство, они с добровольной дружиной стояли на крыше с песком и огнетушителями и смотрели в небо, пока не рассветет.

Он устал, утром надо было на работу, отгул за дежурство на крыше не полагался, а «Трёхгорка» начинала с семи утра; как только он входил в свою конторку, сразу раздавался первый звонок — фабрика стала оборонной, вместо ткани для постельного белья теперь гнали бязь на портянки, госпитальные бинты, на солдатское

нательное, ну и так далее, ткань нужна была артиллеристам, танкистам, летчикам, военным инженерам, да всем, Даниил Владимирович раньше не знал, что ткань имеет такое оборонное значение: и мягкая, и грубая, и любая — словом, производство возвращалось в Москву — по всем железным дорогам гнали станки для фабрики, гнали невообразимый вообще комплект оборудования: от технических лампочек до простых стульев, от болтов до промасленных бечевков, — за ту пару недель, что в Москве не было реальной власти, когда возникла паника и начальство сбежало из города — во второй половине октября 1941 года — разворовали многое, несмотря на угрозы расстрела, кордоны, патрули... Ну, словом, отец был занят, даже вечерами он говорил по телефону с блокнотом и ручкой в руках, телефон был общий, коридор был общий, а он все стоял и говорил, говорил, иногда выходил фрезеровщик третьего разряда Васильев в трусах и майке и уважительно, но требовательно басил: Даниил Владимирович, ну вы уж, пожалуйста, освободите аппарат-то, тогда отец вздыхал, тихо извинялся и шел к себе в комнаты — и было давно понятно, что никто никаких кроликов тут принимать не намерен, ни сестры, ни мама такого бы не одобрили, отец бы еще врезал подзатыльник, наверное, — но Сима все-таки решил ехать, и поехал на птичий рынок вместе с Мишкой Соловьёвым. Инвалида Марика они с собой предпочли не брать.

На «птичке» продавали не только птиц, он об этом догадывался, но увиденное, конечно, его невероятно поразило: храпели лошади, которых держали под уздцы суровые, но слегка растерянные пожилые крестьяне из подмосковных деревень, шипели гуси, совершенно в золотую цену: целый антикварный шкаф можно было обменять на одного гуся, тут продавали из-под полы военную форму, толкали американскую тушенку, запчасти для трофейных машин, электролампочки, гвозди, ну и, конечно, разное-разное — павлинов, индюков, кошек самых причудливых пород, впервые в жизни он увидел тут рыбок, странных полумифических существ в стеклянных шарах, наполненных водой, ну и кроликов, хомяков и мышей. (Собак почему-то не продавали вообще, никаких.)

Кролики, мыши и хомяки были в одном ряду — существа с белым или серым мехом и с бессмысленными красными глазами, которых жутко хотелось потрогать.

Мишка Соловьёв сразу пошел разговаривать по-деловому — сколько вообще стоит кролик, какой ему надобен корм, почему этот корм идет, сколько будет стоить кролик, если продать вот сейчас, сколько будет стоить, если через полгода, сколько они вообще живут, как размножаются, какой бывает от них приплод, нет ли каких ограничений на это в уголовном кодексе и так далее. Мишка морщил лоб, как взрослый, и казалось, запоминал все на раз, откладывая информацию на какие-то удобные и вместительные полочки в своей голове, ну а Сима незаметно переместился поближе к мышам.

У мышей (их было много, и все они были разные) стоял на страже всего один ужасно печальный продавец, мужчина средних лет с большим острым носом и с меховым воротником старого-престарого пальто, он покашливал и сморкался в платок, на улице было нехолодно, минус десять, солнце, но он все равно мерз, стоял в ботинках, все остальные продавцы стояли в валенках, а он в хлипких ботинках, чем сразу вызывал к себе жалость.

— Тебе чего, мальчик? — хрипло и недружелюбно спросил он Симу.

Тот пожал плечами и подошел еще ближе.

Мыши оказались удивительные. Особенно одна, непередаваемого серо-голубого атласного цвета, она быстро забралась Симе на плечо и ласково тыкалась в щеку.

— Ляля! — строго сказал интеллигент в ботинках. — Не приставай к мальчику! Он еще неопытный!

Сима покраснел.

— А их всех как-то зовут? — спросил он тихо.

Продавец улыбнулся.

— Нет, не всех.

— Скажите, а они умные?

Продавец немного нервно отвернулся. Он как-то по-особому прокашлялся, видно было, что ему хочется сказать что-то резкое.

— Ты в уголке Дурова был, тютя? — спросил он, посмотрев на Симу строго и как-то при том сверху и сбоку.

Сима печально покачал головой. В уголке Дурова он еще не был.

— Ну вот сходи. Там мыши делают такие трюки, самая высшая степень сложности. Они вообще, если хочешь знать, умнее слонов.

— Схожу... — печально кивнул Сима.

Помолчали.

— Ну что? — спросил продавец, нервно оглянувшись на Мишку Соловьёва, который продолжал выяснять про экономику кролиководства где-то шагах в десяти от них. — Что будем делать? Смотреть? Наблюдать?

— Не знаю... — задышавшись от волнения, сказал Сима. — А сколько же ваша Ляля стоит?

— У тебя столько нет... — сурово ответил продавец и погладил свою атласную мышь.

— Мы кроликов хотели купить... — сглотнув слюну, ответил Сима. — Мы с собой денег взяли. Так что у меня есть.

Ляля, она, конечно, стоила баснословных денег. И самое главное, продавец в ботинках даже отказывался обсуждать цену. Ляля, очевидно, была любимицей и к тому же работала здесь живой рекламой. Но Сима настаивал.

Большая мышь вдруг нервно забегала туда-сюда.

— Ну не надо, Лялечка, не нервничай, все в порядке, — вдруг ласково прохрипел продавец. И повернулся к Симе.

— Ладно, забирай вот этих, и адью. «Привет» по-французски.

— Я знаю, что такое «адью», — сказал Сима. — Этих?

Мышей было сразу пять. Они были белые, азиатские ангорки, так сказал продавец, они легко поддавались дрессировке, могли сидеть на сухарях до весны, иногда им стоило положить крошечный кусочек сала («ну, возьмишь у матери что-то, жилы или требуху, то, что люди не едят, хоть один раз в зиму»), они были высокоорганизованные, удивительные существа, которые любили людей, их можно было носить в кармане, в рукаве, они никуда не могли убежать, они были ручные, только разлучать их было нельзя.

— Это семья. Понимаешь? — сурово сказал продавец. — Одного отдашь или продашь, остальные сдохнут. С тоски.

Взволнованный покупкой, Сима скупно кивнул.

Продавец погрузил мышей в маленькую клетку, насыпал корму, и Сима пошел к Мишке Соловьёву в кроличий ряд, за деньгами, деньги у них были «в пополаме», но он надеялся, что Мишка поймет.

Сначала Мишка ничего не понял.

— Ты что, с ума сошел? — спросил он сурово — Мы же хотели деньги на кроликах делать. А ты хочешь, наоборот, деньги на фуфу. Кому ты их продашь, этих мышей? Чем ты их будешь кормить? Ты подумал?

Сима молчал и смотрел в соловьёвские глаза прямо, почти не мигая.

Наконец, тот сдался.

— Ладно, бери.

Они вернулись к мышам, и Мишка Соловьёв долго их рассматривал, брал на

ладонь, кормил, гоготал от щекотки, подносил к своему носу, чтобы получше разглядеть, продавец с неудовольствием смотрел на эти манипуляции, но интересы сделки были дороже и, посчитав положенные рубли, он со вздохом положил их в карман.

— Не погубите только животных, ребята! — с одновременным чувством и облегчения, и тревоги сказал он. — Вы вообще-то где живете?

— В Марьиной Роще! — сказал Сима.

— Ох, далековато! Ну ладно, счастливого вам пути.

Пожелание было не лишним. Ехать им было с двумя пересадками на трех трамваях, часа полтора. Они устроились на задней площадке, и Сима прижался лбом к холодному стеклу, обняв клетку с белыми испуганными существами, которые теперь стали его собственностью.

Сверху клетка была прикрыта какой-то мятой тряпкой, мышей можно было разглядеть с трудом, но все равно Сима чувствовал на себе любопытные взгляды соседей по вагону: помертвевшая после зим 41-го и 42-го года Москва постепенно оттаивала, начинала дышать, и москвичи радостно принимали любую деталь этого выздоровления... Так радуются люди, когда смертельно заболевший близкий человек принимает в себя первую ложку горячего бульона, процеженного на семейной кухне через марлю несколько раз, как с восторгом встречается его первое желание — принесите книгу, газету, подведите к окну, передайте Коле, чтобы вернул мне гаечный ключ на семь с половиной, он мне потом пригодится, а что там с фикусом, небось, забыли полить, ну и так далее, важно и то, как больной перестает пользоваться уткой и сам доходит до туалета, как бы там далеко, в коридоре, не находились удобства, скрипя костями и стуча костылем, все это тоже важно, хотя и не совсем удобно обсуждать, но все обсуждают.

Так и Москва на глазах становилась прежней, а вернее, становилась живой после их возвращения из Барнаула в сорок третьем году, они обсуждали это каждый вечер, приметы были у каждого свои. Вы знаете, говорил отец, а я сегодня у входа на Коминтерновскую видел, как цветы продают, живые цветы, в феврале, с ума можно сойти, непонятно, может, теплицы какие-то еще остались, стоял инвалид с гвоздиками, продавал, и у него брали. Маму Надю волновали более прозаические вещи — на рынке появился свежий творог, да, золотой, да, за такие цены покупать невозможно, но ведь это первая ласточка! Сестру Розу волновали вечера в ДК МИИТ, который находился через дорогу от их дома: там, представляете себе, *выступала певица*, на обычном студенческом вечере, говорила она так, что все должны были умолкнуть и молча пережить высокую значительность этого момента, выступала певица, в таком платье, и с вуалькой. Сестра Этель возилась с Шуриком и выходила к ним по вечерам редко, она кормила, пеленала, и тонкий возглас: мам, зайди! — из другой комнаты стал уже привычным, как тиканье ходиков, мама Надя металась по комнатам, счастливая, но озабоченная, как все бабушки нашей зеленой планеты. Даже у молодой мамы Этель, конечно, были свои приметы возрождения, но она о них мало кому говорила (возможно, лишь иногда сестре Розе, да и то в форме уклончивых намеков): выходя с коляской на прогулку, она частенько замечала на себе взгляды проходящих мужчин, дорога ее порой шла в парк ЦДСА, к замерзшему пруду, к Екатерининской усадьбе, там количество молодых мужчин в фуражках и с погонами на плечах увеличивалось в геометрической прогрессии, к каждому хотелось подойти и спросить, не знают ли они такого товарища Штейнберга из санитарного поезда номер 17—89, но ей мешала природная стеснительность, да и не так поймут, да и зачем, если он писал ей письма каждую неделю, а то и чаще, но этот воздух Москвы — тревожный, терпкий, наполненный мужскими взглядами и твердыми шагами, воздух города, который еще жил войной, но уже и просто жил, и просто надеялся, ждал, горевал и надеялся, он

не мог ее обмануть — это был воздух ее юности, и она его узнавала после двух лет катастрофы, которая началась 22 июня.

Когда Сима Каневский вместе с Мишкой Соловьёвым вез мышей домой на трех трамваях в Марьину Рощу, он, конечно, обо всем этом не думал, но ловил на себе любопытные взгляды и понимал, что они означают — эх, вздохнул один дяденька на втором по счету трамвае (он вез до стадиона имени Кагановича, там они делали пересадку), дяденьку притиснуло рядом с ними, «ведь так и до рыбок недалеко», сказал он как бы про себя, Мишка улыбнулся, а Сима покраснел, но тем не менее показывать родителям этих самых мышей было все же никак нельзя, поэтому он попросил Мишку Соловьёва подержать тайком немного их у себя, до завтрашнего вечера, а это Мишка умел — «тайком», такое у него получалось всегда, он, правда, всю дорогу на трех трамваях ругался, что деньги потрачены зря и что Сима ему будет должен, пусть не забудет его, этот долг, который платежом красен, но в общем и целом было понятно, что смелостью друга и его покупкой он почти потрясен, о чем, конечно, прямо никогда не скажет, но прямо и не обязательно...

За два года до этого, в августе 1941 года зенитчики сбили над Москвой немецкий штурмовик, один из тех, которые, по легенде, «летели расстреливать Кремль», остальные смогли увильнуть, может, с пробитыми бортами, но сумели отбомбиться и отрулить за черту города, а этот рухнул прямо на улицу 25 октября, за триста метров от кремлевской стены, и вот он там лежал и распространял вокруг себя запах жуткой гари, остывшего железа, запах страшный, черный, как и он сам, — москвичи несколько недель, пока его не отбуксировали куда-то там в поля, приезжали посмотреть на самолет, полюбопытствовать, как это все выглядит, где кабина, где бортовое оружие, у штурмовика поставили охрану, конечно, но оттеснить зевак или как-то вообще убрать толпу — нет, власти столицы этого не хотели: «сбитый немец» был символом сопротивления (где сам летчик, никто не знал). Сима Каневский с Мишкой Соловьёвым и Колькой Лазаревым приезжали на улицу 25 октября целых три раза, там была большая очередь, чтобы подойти и посмотреть, очередь стояла практически от бывших Лубянских ворот, где находился трамвайный круг, скромная и молчаливая очередь москвичей, желавших увидеть чудо, желавших посмотреть в *глаза немцу*, то есть сбитому самолету — они еще не знали, что скоро город замрет и даже вымрет, москвичи верили, что все будет хорошо — верили и стояли в очереди к самолету.

Этот самолет-штурмовик Сима Каневский прекрасно запомнил: он лежал на брюхе посреди улицы, как упавший с неба дракон из сказки, и на месте его падения была как бы черная дыра в знакомом и привычном городском воздухе, причем дыра эта была не только на грунте, она поднималась от самолета вверх и заполняла часть неба и окружающего мира, а сам этот окружающий мир будто бы покачнулся, поплыл, и линии его искривились, некоторые предметы расширились, а некоторые сузились: ах беда, беда, беда, шептала старушка рядом, и эта «беда», конечно, была очевидна. Но это было давно, в сорок первом году, ну, а теперь, после эвакуации, после Барнаула, после того как наши отодвинули фронт и разгромили немецко-фашистских захватчиков под Смоленском, да и в других городах, как сообщал голос Левитана, этот мир вновь склеивался, нет, не склеивался, а застывал, но не застывал, а как бы окреп изнутри, перестал быть рыхлым, мир оледенел, он стал кристаллически-цельным, морозным, ясным, снежным и ледяным, плотным и свежим, четким и геометрическим, как и сама Москва, — вся она плыла зимними дымами, сизый зимний дым шел над крышами и трубами, над деревьями и башнями, над окнами и вестибюлями метро, над рабочими поселками и сортировочными станциями, над бараками, где было страшно, и над генеральскими домами, где было чисто и уютно, он не делал различий, этот зимний дым, он обнимал москвичей, всех без разбору, как пар, застывший на холодном

воздухе, пар изо рта, этот волшебный пар плыл изо рта тысяч людей, поднимался в розовое на закате морозное небо, и весь город был таким — как бы слегка подмороженным и оттого крепким, ясным и веселым.

Так человек, переживший что-то нехорошее и ставший от этого сильнее, идет по улице и свистит, хотя все помнит и все знает.

В Москву люди возвращались из эвакуации по-разному — кто в сорок втором, кто в сорок третьем, в сорок четвертом, зимой и летом, весной и осенью — узнавая свой город и не узнавая, принимая его новым и не принимая, но, в общем, всегда открывалось нечто новое, неожиданное, и для детей, и для взрослых — у Сони Норштейн, например, это «новое» оказалось совсем новым: их дом в Руновском переулке разбомбили.

На второй год войны в него попала бомба, но мама все равно решила туда вернуться — и не зря, дом на самом деле стоял, хотя и без одной стены, но стоял. Считалось, что жить в нем нельзя, но жить им больше было негде, и они поселились в своей старой квартире, просто теперь в нее было как бы два входа — один обычный, через парадное, а второй новый — через рухнувшую стену со стороны улицы, надо было только отодвинуть доску и открыть заколоченную дверь, чтобы войти в жилое помещение, от этой разрушенной комнаты, правда, почти ничего не осталось.

Соня с мамой расчистили другую, уцелевшую комнату, прихожую, ванную и кухню, вынесли на помойку мусор: куски штукатурки и три ведра черепков, электричество в доме работало, иногда вполнакала, вода из крана текла, и постепенно они привыкли к этому ополовиненному дому, в котором находилась эта разрушенная комната, но в той комнате теперь ничего не было. Мебель вынесли, посуду тоже, оставались лишь сгоревшие книги, а их-то было жалче всего — эти сгоревшие книги из отцовской библиотеки; было понятно, что мебель когда-то будет другая, хорошая, что место старых вещей и старой посуды займут новые, тоже красивые, но другие, а вот книги, они были, как люди, было почему-то понятно, что старые книги на новые не поменяешь, книги приобретались *один раз*, и смерть их была однократной и безвозвратной, как у людей, — но постепенно, входя в эту застылую комнату и копаясь в горах обожженных книг — сгоревших по краю, по корешку, она вдруг начала их читать, и, читая, находить в этом особое удовольствие.

Порой попадались книги без обложки, то бишь, без названия, и без автора, но она читала и пыталась понять, что же это за книга, и нравится она ей или нет.

И было в этом что-то восхитительное — читать книги, не зная названия, просто прыгать в текст, как в воду, и плыть в нем без всяких приспособлений, дощечек и спасательных кругов — ах, это двадцатый век, а это восемнадцатый, нет, перед ней лежала книга — и все тут.

Анонимная, но полная смысла. Или серая, фальшивая. И тогда неважно, кто ее автор. И в каком веке она написана.

Сотни томов, развеянные взрывной волной, с оторванными корешками, перепутанными и пропавшими страницами лежали под битым кирпичом и стеклянной крошкой. Попадались и совсем целые.

Соня читала.

Сначала она читала, не таясь, в любое время, но потом мама ее отругала, потому что она возвращалась из этой нежилой комнаты вся в саже и пачкала одежду, а с одеждой было очень трудно, и отстирать ее тоже было трудно, и тогда Соня стала ходить в сгоревшую «библиотеку» только днем, когда мама была на работе; она надевала старое детское пальто, потому что «библиотека» не отапливалась, там было холодно, как на улице, садилась на корточки и долго выбирала следующую книгу. Выбирала она в старых перчатках, маминых, тех, которые мама больше не носила, аккуратно разворачивая книгу посередине. Прочтя страницу или две, решала, возиться

ли с книгой дальше, переносить ли ее в другую, жилую комнату, или лучше пока отложить, это она определяла по случайно выбранным из середины абзацам.

Иногда книги с уцелевшими обложками были выгоревшими изнутри, это было очень обидно, и она научилась смотреть сразу не на обложку, а на тело книги, насколько оно уцелело, это *тело* книги, сколько в нем оставалось не обгоревших страниц, и как они обгорели, если по краю, то еще ничего.

Затем, выбрав себе книгу, она начинала приводить ее в божеский вид, вытирала мокрой тряпкой, обрывала обгорелые края, выдувала пыль.

И сразу начинала читать.

«День выдался чудесный: я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву — падал навсегда: он уже не шелохнется, пока не истлеет». «...Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение».

Само это слово — «чудесный», возникавшее в тексте применительно то к одному понятию, то к другому — надолго проникло ей в душу. Мама так тоже говорила, но редко. Автор неизвестной ей книги повторял это слово часто. «Чудесный». «Чудесное». Соня теперь смотрела на мир по-другому, понимая, что многое тут чудесно, а она об этом не знала. Чудесна была бабка, закутанная в три оренбургских платка и покрытая сверху еще цветным, павлово-посадским, продававшая горячие пирожки с повидлом у Новокузнецкой. Чудесен был закат, поднимавшийся над Кремлём и тихим Замоскворечьем, закат, примирявший ее даже с противным чувством голода, всегда возникавшим перед сном (мама на ночь есть запрещала, говорила, что это вредно).

Чудесны были эти полусторевшие книги, конечно.

Потом она узнала, что «Записки охотника» — это произведение о крепостном праве, в котором автор предвидел революционную ситуацию в России, ну а тогда он показался ей просто человеком, еще не старым, худым, немного смешным и длинным, как оглобля, с ружьем и в высоких сапогах, который бредет, не зная куда и не зная зачем, просто чтобы идти и вдыхать в себя этот чистый и свежий воздух — ей это все было понятно.

Соня навсегда запомнила запахи этих книг: остывшей золы, едва уловимый запах типографской краски, запах пожара и войны. И она навсегда, конечно, запомнила те отрывки, которые приводили ее в недоумение или восторг, заставляя перечитывать себя два, три, десять раз, чтобы вникнуть в таинственное сочетание слов, которое открывалось не сразу, а постепенно: «Вы говорите, она ходит во сне? Когда это было в последний раз? П р и д в о р н а я д а м а: С тех пор как его величество ушел в поход, я это не раз видела. Она вставала, набрасывала на себя ночное платье, открывала свой ларец, вынимала оттуда бумагу, что-то писала на ней, перечитывала, запечатывала и снова ложилась. И все это — ни на минуту не просыпаясь».

Эти слова загнипотизировали Соню до такой степени, что сцена из трагедии стала ей сниться — она не знала, про что эта пьеса и кто ее автор, но видение королевы, которая пишет письмо в летаргическом сне, и придворной дамы, которая рассказывает об этом при отблеске пламени из камина в мрачном сыром замке, не оставляли ее воображения — даже в школе, под портретами Сталина и Ворошилова, Пушкина и Толстого, она повторяла про себя шекспировские строки, еще не зная, что это Шекспир.

Позднее она поняла, что быть в библиотеке отца, даже сгоревшей, было для нее

так же важно, как для королевы было важно писать эти письма, во сне, в «несознанке», как говорила мама, то есть прикасаясь к книгам, она прикасалась к отцу, он был на фронте, вернее, на разных фронтах, работая в военной газете; где он находится именно сейчас, они не знали, могли только догадываться, как у каждой московской семьи, у них на стене была развешана огромная карта, и, слушая по радио голос Левитана, они каждый вечер передвигали флажки с мыслью об отце, он Соне не писал, лишь передавал привет в письмах маме, да, это было обидно, но она понимала, что ему не до писем конкретно ей, и читая эти обоженные книги, она говорила с ним так же, как говорила королева, вставая по ночам к своим письмам.

В декабре сорок третьего года мама взяла билеты в Большой театр. Это было одно из первых представлений после возвращения труппы из эвакуации, с Урала и из Сибири, причем вернулись еще далеко не все, но театр уже работал. Купить билеты стоило немалого труда. Это был «Щелкунчик» — и мама была наполнена такой радостью, таким волнением и восторгом, что ей очень хотелось, чтобы и дочь скорей наполнилась, как воздушный шарик, этим ощущением чуда, чтобы «чудесное» передалось ей по воздуху, но оно все никак не передавалось. Огромные помещения Большого как будто немного вымерзли, в зале многие сидели в накинутах на плечи пальто.

Яркость костюмов, золотистость всей сцены и невероятная мелодичность музыки, которая ей показалась нарочито детской и потому не понравилась (или понравилась не вполне), — как бы упирались другим краем в черную глухоту и промерзлую тишину, пахнущую сырым залежавшимся мехом и ботинками. Соню это немного смущало. Одно никак не совмещалось с другим. И только когда зажегся свет и раздались бешеные крики и аплодисменты, — она поверила, что это действительно театр.

Словом, *все это* на сцене действовало на нее совсем не так беспощадно и сильно, как вот эти куски из сожженных книг, которые она выучивала наизусть и повторяла перед сном, как молитвы.

А в феврале сорок четвертого года ее позвали на день рождения.

Позвала Катя Мотылькова, одноклассница, которая жила довольно далеко от Замоскворечья, в районе Белорусского вокзала, где-то на Бутырском валу. Ехать туда предстояло на метро, и потом еще идти пешком. От Кати ее должна была забрать мама, потому что в темное время суток девочкам одним ходить по Москве опасно, это было общеизвестно и не обсуждалось.

Она приехала в гости, почти задыхаясь от волнения, с каким-то морковным кексом в виде подарка — его заранее испекла мама. На детские дни рождения ее никогда еще не звали, и она не знала, как это происходит, как все должно быть. Катя Мотылькова, отец которой работал в каком-то важном наркомате, пригласила на день рождения девочек из своей женской школы и мальчиков из соседней мужской, а соседней была школа в Лазаревском переулке.

Мальчиков было трое: Мишка Соловьёв, Сима Каневский и Яша Либерман.

Ну а девочек было сразу восемь. Мальчики стеснялись, говорили скупое, больше налегали на чай с пирожными.

Все они помнили пирожные довольно плохо, еще с довоенных времен, и откусывали сначала с большой осторожностью.

— Ну чего вы стесняетесь? — неожиданно пробасила Катя Мотылькова. Голос у нее был густой, не по летам взрослый. Она чинно сидела во главе стола в своем зеленом платье из поплина и принимала поздравления. — Ешьте пирожные, а то они пропадут, будет очень обидно.

— Не пропадут, не бойся! — сказал Мишка Соловьёв и подмигнул, откусывая большой кусок.

Все стеснялись, потому что мама Кати Мотыльковой никак не хотела уходить, с улыбкой рассматривая гостей. Для нее это тоже был большой праздник — праздник возвращения к обычной жизни: день рождения, пирожные из служебного буфета, конфеты, чай в чашках с блюдцами, принаряженные девочки, мальчики в отглаженных рубашках — война все еще шла, но было ясно, что теперь можно на что-то надеяться.

В общем-то, все и надеялись, передвигали флажки на карте, слушали радио. Фронт был уже настолько далеко, что теперь не нужно было заклеивать бумагой стекла крест-накрест, чтобы они не лопнули от взрывной волны, не нужно было наглухо зашторивать окна, чтобы ни одна щелочка света не могла просочиться наружу. (Последний налет случился летом сорок третьего года.) Мама Кати Мотыльковой так разволновалась, что подходила к каждому гостю и тормошила.

— Мальчики, девочки! — громко смеялась она. — Послушайте, ну что же вы сидите? Это же праздник, праздник! Пойте, танцуйте. Ну хотя бы рассказывайте что-то!

Наконец, все как-то разбредись, и Соня Норштейн оказалась на кухне вместе с Симой Каневским, куда они вдвоем принесли грязные тарелки и чашки с недопитым чаем. Эта квартира — отдельная и трехкомнатная — поражала его, он вспоминал их две комнаты в большой коммуналке и думал, что завидовать нехорошо, но все равно завидовал.

Эти мысли он сформулировал в вопрос:

— Соня, а у тебя есть отдельная комната? Как у Кати? — спросил он.

— Нет... — ответила та, складывая чашки возле раковины. — Нашу квартиру разбомбили.

— А где же вы живете? — удивился Сима.

— В ней и живем, — она загадочно улыбалась.

— Это как?

— Ну так. Пострадала только одна комната. Мы все вещи оттуда вынесли. Это был папин кабинет. Теперь живем с мамой во второй. А папа на фронте. Он военный корреспондент.

Она задумалась, стоит ли ему рассказывать про сожженные книги. Может быть, он захочет взять какую-то их часть?

Она понимала, что как бы ни спасала эти книги, как бы бережно ни перекладывала их с места на место, мама рано или поздно их выбросит. Они не годились для нормальной, мирной, человеческой жизни, для обычной библиотеки. А ей было их жалко.

Но Сима показался странным мальчиком, хотя и красивым, и она не стала ничего говорить.

Мама Кати Мотыльковой, наконец, решила покинуть гостей, Катя быстро поставила грампластинки, все ринулись в большую комнату танцевать, а Сима остался на кухне.

Именно в тот момент ему в голову пришла шальная мысль, что этой девочке он подарит своих белых мышей, всю мышиную семью — на день рождения. Или на какой-то другой праздник, например, на 1 мая.

Девочка показалась ему необычной. Она не смеялась, когда другие ржали, только тихо улыбалась, она коротко и точно отвечала на вопросы, у нее были огромные глаза и очень красивое платье, и он понял, что влюбился. Он стал вспоминать, что знает на эту тему от друзей, обрывки дурацких грубых слов носились в его голове, но он понимал, что надо еще с ней поговорить, чтобы она его хотя бы запомнила.

Улучив момент, он подошел и задал еще один вопрос.

— А где вы были, когда в квартиру попала бомба?

Вопросы он задавать умел, за каждым вставала прямо-таки бездна продолжений, и все же он ей чем-то не нравился...

— Мы в эвакуации были, в Чистополе. А где же еще?

— Мы тоже были в эвакуации, — сказал он. — Только в Барнауле.

И добавил:

— Меня там на станции забыли.

Уже намереваясь от него оторваться, где-то забиться в этой необъятной квартире в уголок с книгой (не ожидала, что будет так скучно), она вдруг остановилась.

— Как это «забыли»?

Вместо того чтобы рассказывать ей откровенно и взахлеб, он пожал плечами.

— Просто забыли. Ну... потом нашли.

Она тоже пожала плечами, повинувшись безотчетному желанию его позлить.

— Не понимаю.

Он тоже пожал плечами.

— Ну, просто поезд взял и отошел, а я остался, вот и все... Ну неважно... — сказал он, прервав затянувшуюся паузу. — Давай потанцуем, а?

И она пошла читать книгу, отрицательно качнув головой...

Мама пришла за Соней ровно в девять, как и договаривались. Соня шла, завернутая в пуховый платок, как маленькая бабушка, трескучий мороз окутывал улицу, дома, сизый морозный свет падал с неба вниз, мама держала ее за руку, как трехлетку, они торопились на трамвайную остановку, потому что пропустишь трамвай, а следующий когда, но ей все не давал покоя этот мальчик.

Как можно забыть человека, да еще в пути, она представляла бомбежку, немецкие самолеты, вой авиабомб, огромные толпы народа, сметающие все на своем пути, все то, о чем она его не спросила, а на самом деле все было куда проще — Розе, его сестре, захотелось чая и она пошла, встала в очередь к титану и задумалась, а когда вдруг объявили отправление, бросилась его искать — и не нашла, а он засмотрелся на кошку, как она ворует из корзины то ли колбасу, то ли сало, и что делать, он не знал, говорить про кошку, жаловаться на нее или нет, ведь кошку могли за это убить, а она ведь тоже была голодна, он вспомнил кошку Муську в их саду, на 2-м Вышеславцевом переулке, рыжую, тощую, всегда приходившую домой ровно в тот момент, когда голодная смерть или смерть от истощения всех ее физических сил была явно близка, и сразу после того, как ее отогревали и откармливали, она рожала котят, и так продолжалось каждый год — но эта кошка на вокзале была еще более нервной, более худой и целеустремленной, он все смотрел на нее, пока Роза металась по вокзалу, не видя его в толпе, а он стоял практически у сестры на виду, она ринулась к вагону, и ее насильно втащил туда какой-то офицер, она успела только крикнуть служащему в форменной одежде: потерялся мальчик, мальчик, я вернусь за ним, Сима Каневский! Служащий тупо кивнул, махнул семафорным флажком, а Сима не сразу понял, что произошло, началось движение, все, подхватив баулы и корзины, чемоданы и тюки, в том числе и тетка с ополовиненной корзиной, все ринулись к путям, вокзал сильно опустел, это была не очень большая узловая станция на пути к Барнаулу, ехать им оставалось всего ничего, может быть, 10—12 часов, но когда вокзал окончательно опустел (отправили сразу два пассажирских), он задумался и начал искать кого-то, ответственного за свою судьбу.

Но ответственный за его судьбу все никак не находился, мальчик слонялся из одного угла огромного зала ожидания в другой, долго стоял у портрета Сталина, потом у портрета Кагановича в железнодорожном генеральском мундире, потом он пошел к титану, из которого слабо капала кипяченая вода и возле которого зачем-то дежурил милиционер.

Милиционер зевнул и не обратил на Симу никакого внимания. В вокзале между тем раздавался смутный шум, причем понять его происхождение было никак нельзя, сначала Сима подумал, что это храпят цыгане, которые разлеглись в самой середине

зала в ожидании поезда, со всеми своими пожитками, причем все они так смертельно устали, что спали действительно мертвым сном, потом ему показалось, что это разговаривает портрет Сталина с портретом Кагановича, но и эта версия была маловероятной, и тогда Симе вдруг стало немного страшно.

Он понял, что его забыли, и спросить о происхождении шума было буквально некого. И что некому будет пожаловаться, не у кого попросить еды и не с кем обсудить последние новости — на каком фронте у нас победы и сколько врагов убито и взято в плен.

Он подошел к большому замерзшему окну и тут понял, что шум доносится с улицы, верней, с перрона, где высаживается из вагона воинская часть, как он уже успел выучить, «на переформирование», солдаты с вещмешками выпрыгивали из теплушек, строились, отдавали честь, поворачивались и уходили взвод за взводом, и этому не было конца, их шаркающий усталый шаг, голоса командиров и даже строевая песня, которую для бодрости затянула какая-то рота, вся эта военная музыка отзывалась под высоким потолком вокзала — и напугала его, но теперь он смотрел на них успокоенный и ждал.

Вскоре Сима заснул на лавочке, а когда проснулся, окончательно понял, что потерялся, и заплакал.

Он пошел к кассе (дежуривший у титана милиционер куда-то делся, и Сима его не нашел), но кассирша была занята и отказалась с ним разговаривать. Тогда он увидел надпись «Медпункт» и пошел туда, но дверь была закрыта.

Сима знал, что с цыганами общаться ему нельзя, но это были единственные люди на всем вокзале, которые были доступны, и он пошел жаловаться им.

— Мальчик! — ласково сказал ему старший цыган, отгоняя жестом женщин, которые уже хотели Симу обласкать, накормить, обогреть и как-то вообще принять в свои ряды. — Дак что же мы можем сделать? Мы такие же, как ты, горемыки. Жди своего часа, мальчик! Советская власть тебе поможет.

Цыган был, конечно, прав. Несмотря на то, что в зале ожидания на первый взгляд никого из служащих не было, это все-таки было публичное пространство. Часа через два к Симе, когда он тихо хныкал, размазывая слезы по грязным щекам, подошел дежурный с красной повязкой и лениво повел его в кабинет начальника вокзала. Там выяснилось, что пришла телеграмма с просьбой немедленно найти сына ответственного работника Наркомлегпрома т.Каневского и обеспечить его безопасность (приметы сына ответственного работника прилагались). Приметы никто сличать не стал, только спросили: «Ты Сима Каневский?» — дальнейшее было и так очевидно, городской мальчик бледного испуганного вида, в городском пальтишке и в городской кепке сидел на скамейке перед зам. начальника вокзала т.Петровым, размазывая слезы по бледным еврейским щекам.

— Ну ладно, Сима, не реви, — сказал т.Петров. — Сейчас попробуем тебя накормить.

Симу отвели в комнату дежурного по железнодорожным войскам, посадили или даже положили на жесткую скамью, принесли две вареные картошины из личного запаса. Ну и так далее.

Жизнь стала налаживаться.

Иногда в комнате дежурного случались и допросы, и важные совещания, но Симу на этот момент из комнаты благоразумно выводили, ничего такого секретного он там не видел и не слышал.

Один раз в день ему давали даже горячий суп и позволили пользоваться служебным туалетом в любое время.

Прошел день, потом другой, а ни Роза, ни Этель, ни мама за ним все никак не возвращались.

Замаячила перспектива детприемника.

Он был готов познакомиться с другими детьми, оказавшимися в сходной ситуации, но что-то ему подсказывало, что торопиться туда не стоит.

— Хочешь в детпримник? — хмуро спрашивал его дежурный по НКВД-ОГПУ товарищ майор Ашурков и хмуро потирал кулаками свои невыспавшиеся глаза.

— Лучше я тут подожду, — тихо отвечал Сима, и это ему пока сходило с рук.

— Ну жди, ладно... А то еще оформлять тебя надо, волокита... — улыбался Ашурков смышленому мальчику и отсылал его дальше коротать свои сиротские дни.

Однажды Сима, который уже начал задыхаться от этой вокзальной духоты и от вонючего тепла, вышел за двери вокзала, чтобы подышать.

Вокруг простиралась бескрайняя ледяная пустыня с редкими огоньками горевших поселковых окон. В этом пейзаже было столько одиночества и неприютности, что он замер. Лучше было ждать на вокзале.

Наконец, его среди ночи разбудила Роза. Один военный поезд, кажется, санитарный, сделал остановку здесь буквально ради нее.

— Глупый, глупый мальчик! — плакала она, обнимая Симу.

Но рассказывать обо всем этом Соне Норштейн в тот вечер он как-то не решился.

Зато он решился подарить ей мышей.

Мыши жили на чердаке. Мама, конечно, их обнаружила и рассказала отцу. Отец побушевал, но держать всю эту семью на чердаке разрешил. Это, разумеется, было для Симы спасением, потому что бесконечно воровать из кухни для них крупу, крошки, картофельную кожуру — ему было стыдно. Теперь мама, ворча, но бесперебойно выдавала ему мышиный корм. Сима расспрашивал сестер, какие фокусы показывают мыши в цирке Дурова, но никто этого не знал, никто такими глупостями не интересовался, и он начал придумывать эти фокусы сам.

Для начала он построил для них дом из старой оберточной бумаги, которую нашел на чердаке. Откуда она там взялась, он не знал. Эта была серая плотная («вощенная», как сказала мама) бумага, которая почему-то лежала на чердаке такими пластинами. Он стал ее резать, потом сделал из дощечек каркас, потом натянул на каркас эту бумагу, а потом нашел еще старое мамино платье и разорвал, хотя было страшно, но платье было такое старое, что мама наверняка бы не стала его носить.

Домик был странным сооружением. Мыши не хотели в нем жить.

Вообще чердак не был собственностью Каневских или кого-то еще из первой, второй или третьей квартиры дома номер пять. Он был общий. И хотя Сима боялся, что его обвинят в том, что он хочет устроить тут пожар, потоп или светопреставление, он часто забирался сюда.

Ему не хотелось звать Мишку Соловьёва или Яшу Либермана, или Кольку Лазарева, или Шамиля Мустафина. Здесь было хорошо именно оттого, что было немного одиноко. И еще оттого, что тут, в клетке, жили его мыши.

Они не боялись, не страдали, не голодали, не тосковали, они тут жили, и смотреть на них было одно удовольствие.

Постепенно они начали понимать, кто их хозяин, кормилец, и можно было начинать их учить всяким фокусам. У него, конечно, не было железной дороги, но был, например, катер. Игрушечный катер, проржавевший насквозь, который он обнаружил в саду. Он предложил мышам стать матросами, и они послушно взобрались на палубу. Он вынимал их из клетки по одной и выпускал на корабль.

Это было упоительно. Эти их нервные быстрые движения и суетливый распорядок действий.

Но все-таки он боялся отпускать их на волю, по всему чердаку. Боялся котов, черт их знает. Боялся темноты. Боялся самих мышей, их глупого своеволия и неосторожности.

Но за их приключениями на катере он мог следить бесконечно.

Однажды он таким образом пропустил воздушную тревогу. Мама металась вокруг дома, не понимая, где он и как можно не услышать этот трубный звук, этот страшный вой. А он его не слышал. Наконец, тяжело дыша, она поднялась по лестнице и страшно на него закричала.

— Ты... мерзавец!

Они быстро оделись и побежали к автобусному депо — там в подвале было бомбоубежище.

Сима с недоумением смотрел вокруг — чего все боятся? Между тем, по улице бежали люди, держа за руки детей. Это было даже смешно.

— Я их выброшу, твоих мышей! Не хочу из-за них умирать! — прошептала мама.

Он благоразумно ничего не ответил.

Но после того дня рождения, где он увидел девочку Соню, Сима вдруг понял, для чего он купил этих мышей. В чем их предназначение.

Единственным человеком в семье, кто не одобрял этих мышей и не желал ничего про них знать, была его старшая сестра Этель.

Этель училась в железнодорожном институте, так называли в просторечии МИИТ, на экономическом факультете.

В июне сорок первого года она должна была защитить диплом. Диплом назывался «Особенности работы железнодорожного транспорта в эпоху обострения классовой борьбы». За полгода она проделала огромный труд. Прочла толстенные фолианты, включая первую часть «Капитала» Карла Маркса и «Развитие капитализма в России» Владимира Ильича Ленина. Огромные труды советских политэкономистов. Тонны статистических выкладок, в том числе и на иностранных языках. Эти полгода прошли для нее как в тумане. Она страшно боялась, что не справится. Вставала в шесть утра и принималась за конспектирование того, что читала дома. Делала выписки на четвертушках, которые затем раскладывала по специальным картонным ящичкам. Сверяла цитаты с оглавлением диплома. Ставила специальные значки. Завтракала. Помогала маме отправить в школу Симу. Надевала выглаженное накануне платье. Шла в библиотеку. Занималась. Сидела на академических парах. Готовилась к госэкзаменам. Гуляла час, чтобы не сойти с ума. Шла домой и снова читала.

Ей казалось, что голова ее наполнена этими формулами и выкладками, как фаршированный пирог. Железнодорожный транспорт вместе с этапами мировой революции громыхал у нее в голове, даже когда она спала. Мама смотрела на нее с отчаянием и жалостью. Но Этель знала, что силы ее рассчитаны точно, что в июне будет конец, каким бы он ни был, — и терпела.

Сотни и тысячи километров путей, которыми нужно было покрыть эту страну в эпоху довольно жуткого, прямо скажем, обострения классовой борьбы, больше не были для нее голой абстракцией. Кубометры земляных насыпей, древесины для шпал, смолы, шлака, металла, количество вагонов и людей, — она легко перебрасывала в голову, как бы на весу, чтобы понять, как может классовая борьба изменить ход событий. Нападение японского империализма. Нападение германского фашизма. Нападение британского империализма. Нападение польского национализма. Все это требовало от простого советского человека невиданных усилий — и эти усилия нужно было на чем-то возить. Хватало рабочих рук, но не хватало паровозов. Была сталь, но не всегда подвозили уголь.

Порой, среди глубокой ночи, когда весь дом номер 5 по 2-му Вышеславцеву переулку засыпал, она вставала от настольной лампы с накинутой на нее газетой, чтобы не светила на соседнюю кровать, и, пошатываясь, шла в уборную, ощущая себя вампиром. Ей не хватало цифр и фактов, ей хотелось уже не писать диплом, а составить настоящее воззвание на имя товарища Кагановича, железнодорожного

генералиссимуса, с мольбой о помощи: спасите мировую революцию! Ведь если не проложить вовремя эти сотни железных ниток по всему телу родной страны, не прошить ими безжалостно эту тихую вонючую реальность — революция захлебнется, а весь этот поганый империализм обязательно победит!

Но потом она успевала заснуть, упасть на постель, и эти бешеные мысли прекращались.

В июне началась война, а в июле им объявили, что защита дипломов отложена на неопределенный срок — институт, возможно, будет эвакуирован вместе с преподавателями и студентами.

Все рухнуло.

Она по-прежнему ходила в институт каждый день, идти было недалеко, от их дома пять минут; когда она поступала, папа посмотрел на нее с ласковой усмешкой и спросил: ну может, подальше будешь ездить, Шурочка (он так ее звал), все-таки Москву посмотришь, хоть из трамвая? Но когда она обиженно вспыхнула, обнял и улыбнулся — прости...

Так вот, она ходила по инерции в институт каждый день, но там все было не так: перестала работать библиотека, всюду лежали какие-то ящики, белые никому не нужные листы бумаги тихо шевелились на полу и только иногда испуганно поднимались вверх от сквозняка и снова опускались на пол.

Кафедры складывались, партком складывался, учебная часть складывалась, собрать весь архив всего за три недели и аккуратно уложить было непросто, да, конечно, она помогала, чем могла, но это ее не занимало — вернее, не занимало ее *всю*, вместе с ее вместилильной душой и большим сердцем. На улице было полно военных, люди стояли у военкоматов часами, ждали объявлений, но все работало — вокруг кинотеатров, кафе, ресторанов, домов культуры клубились толпы, все хотели отвлечься, забыться, сделать вид, что все в порядке, что это ненадолго; в парке ЦДКА шли непрерывные танцы, как-то раз, вместе с Розой, она пошла, увидела кружащиеся влюбленные пары — и зарыдала.

Она не представляла, что с ней будет дальше.

В августе начались дожди, начался набор в ополчение и на трудовые работы.

Про ополчение они с Розой боялись и заикаться. Мама могла сразу получить инфаркт или инсульт. «Да. Но я хочу с ними драться!» — сказала Этель серьезно, когда дома все заснули и они вышли с сестрой в сад покурить. Курила только Роза. Этель смотрела на нее с осуждением, но теперь уже было не до воспитательных моментов.

«Я тоже хочу с ними драться, — сказала Роза примирительно. — Но я-то еще хожу в десятый класс, а ты, как мне кажется, не рождена для разведывательно-диверсионной деятельности». И фыркнула от смеха. Этель не обиделась. Это был, возможно, один из последних теплых августовских вечеров сорок первого года. В саду с легким шумом падали яблоки: волшебный звук, в нем было что-то тревожное и веселое одновременно.

— Мало ли кто для чего рожден! — сказала старшая сестра задумчиво.

— Талька, не думай! — вдруг почти закричала Роза. — Не нагоняй тоску! Если нам суждено погибнуть под пулями или под бомбами, это от нас не уйдет. Поверь. Скоро нам дадут лопаты, и мы будем приближать победу своими руками.

И она была права. Начались дожди, и сестры поехали в район города Сходни на грузовике вместе с другими девушками.

В ЗиС-полупортке набивалось человек по тридцать. Цепочка грузовиков шпарила по почти пустому Ленинградскому шоссе.

— А где же все? — шептала Этель в ухо Розе. — Где танки, где броневики, где солдаты? Как будто все вымерло...

— Талька, молчи! Нас арестуют...

Решили петь, чтобы не молчать и не бояться. «Нас утро встречает прохладой...» — запела Роза писклявым голосом, но уверенно. Девчонки подхватили. Этель смотрела на них с интересом. Все они были одеты одинаково — плащи, старенькие пальто, сапожки. Накрылись пыльным брезентом, сидят, поют. Но лица веселые. Дождь продолжал хлестать.

Грузовик свернул на грунтовку.

Потом еще немного дал в лес. Потом выехал на колхозное поле.

К грузовику подбежал кто-то в штатском. Сделал знак руками — выгружайтесь!

Стали прыгать из грузовика. Почва уже начала раскисать. Плюхались прямо в грязь. Из-под сапог летели комки.

Раздали лопаты.

Через поле на колышках была протянута бечевка, еле заметная в дождь. Небо еще больше потемнело, и они, растянувшись цепочкой, начали свой трудовой подвиг. Подвиг был муторный, лопата скользила в руках, тут Роза напомнила ей про забытые дома перчатки, но было поздно — мозоль уже образовалась, и стало больно. Этель втыкала в землю лопату, нажимала ногой, затем пыталась ее повернуть, но огромная, липкая, тяжелая, жирная грязь, налипшая сверху, страшно мешала.

Ей захотелось плакать уже на десятой минуте, на двадцатой она уже отплакала первые слезы, потом ее бросило в жар, потом она поняла преимущества этой работы — было настолько жарко, что про дождь, хлеставший сверху, она практически забыла, дождь перестал ощущаться, болело везде: в груди, в ладонях, в боку, болели ноги, но она продолжала рыть, сильно отставая от других, к ней то и дело подбегали девчонки с советами — Таля, смотри, ты не так делаешь, тут опять возвращались слезы, Роза стояла далеко, она благоразумно отошла от старшей сестры метров на пятьдесят, невообразимое расстояние, Таля сначала страшно обижалась, поговорить не с кем, некому сказать даже пару слов, а очень хотелось, до дрожи важно и нужно кому-то что-то сказать в этом аду, а это был ад — не только физический, но и моральный, потому что в голову лезли все эти насмешки из детства, из школы — что она жирная, что она неповоротливая, робин бобин барабек скушал сорок человек, и корову и быка, и кривого мясника, я сейчас упаду, нет, я сейчас упаду, девчонки снова подбегали с советами, потому что она отставала от всех уже не на круг, а на целую жизнь, им нужно было выкопать настоящую траншею, двухметровую, затем укрепить ее бревнами, настилами, и все это за два дня; говорили, что на той стороне поля вполне могут появиться немецкие мотоциклисты, мобильные группы с легкими пулеметами, которые сильно опережали передовые части — разведчики, они спокойно могли расстрелять из пулемета, им даже не нужно было к ним приближаться, сверху могли прилететь штурмовики. Трудовые отряды рыли тяжелую, мокрую, раскисшую землю по всему северо-западному периметру, и такие случаи уже происходили — стреляли по людям, роющим траншею, а охраны никакой, да вообще никого нет, куда же все делись, думала Таля, вонзая стальную лопату в эту землю, куда они все делись, у них даже офицера нет, какой-то штатский, прибежал, убежал, говорят, инженер, она не понимала, откуда появлялись в голове все эти слова, ведь она ни с кем не говорила, ничего не слышала, вокруг был только шум дождя, хлюпающий звук земли, и все-таки это как-то просачивалось в ее голову, с дождем, что ли... Она не помнила, как вернулась домой, разделась, помылась, рухнула на кровать, на завтра эти сапоги оказалось надеть невозможно, они размокли, стали какие-то страшные, жаль, что она не поставила их на кухню, возле плиты, а они с Розой и всем отрядом уезжали опять утром, на весь день, дождь закончился, светило неяркое, тихое осеннее солнце, и Этель надела туфли, обычные туфли на каждый день, в которых она ходила в институт, черные, почти без каблука, удобные, к платью, причем к любому, туфли подходили идеально, почему не задержалась, почему не нашла других сапог, никто не обратил внимания — спросонок, в панике, дождя нет, в туфлях будет нормально, так они

кончились, за один день, вечером она сидела у плиты и подводила итоги: копать научилась, туфли потеряла, но это нормально, все для фронта, все для победы, но туфли, туфли ей было все-таки жаль...

Туфли было жаль, но вообще все эти месяцы, когда их с Розой записали в бойцы трудфронта, в один отряд — эти дни оказались наполнены ярчайшими событиями, впечатлениями, которые не позволяли оценивать происходящее адекватно, как катастрофу (фронт приближался, Москва сначала медленно, а потом стремительно пустела, пока не докатилась до кошмарного, неудержимого бегства 16 октября и позже), — и Таля жила этими впечатлениями, погружалась в них с головой, бессознательно отодвигая от себя плохие, страшные чувства, тревогу и растерянность, — диплом не защитила, нормальная жизнь прекратилась, но было бы гораздо хуже, если бы она просто сидела дома или металась по Москве в поисках какого-то смысла, какой тут мог быть смысл, а так — почти каждое утро, собранные, утепленные мамой — под платье две кофты, на ногах зимние носки, старые прорезиненные боты, темные юбки, кокетливые береты, старые и короткие пальто, теплые и на вате — обе сестры бежали на Площадь Борьбы, куда за ними приезжал автобус или грузовик, и ехали рыть траншеи под Волоколамск и на Истру, в район Нарофоминска или Кубинки, они определяли направление по тому, куда поворачивала машина, на какое шоссе она выезжала, заранее им не говорили почему-то, делали строгое лицо. Начальником над ними поставили мужчину, комсомольца с завода, он работал вместе со всеми, покрикивал, командовал, но часто отлучался, чтобы решить «оргвопросы» — а какие это были вопросы, да простые: горячую еду иногда подвозили, а чаще нет, девчонки доставали домашние бутерброды, яблоки, перекус занимал минут десять, потом опять появлялся их Вася с требовательным раздраженным лицом, раздражение они списывали на то, что добровольцем его не брали, заставляли командовать девчонками и лопатами, а это было ему морально тяжело, бедняжка, шутили они, как могли, хохотали порой, вгоняя его в краску, но и он в ответ не стеснялся, начинал орать, пользуясь служебным положением, копали почти до полной темноты, возвращались в Москву по пустому шоссе, освещенному только светом фар, почти неживые от усталости, постепенно их догоняли и вливались в колонну такие же грузовики и автобусы — колонна Трудфронта. Но иногда бывали деньки повеселее: это если их посылали рыть щели между домами, оборудовать бомбоубежища, расчищать завалы после бомбежек, и они оставались в Москве.

Это значило, что можно *отпроситься у Васи* — сбежать за мороженым (мороженое везде продавали), позвонить из телефона-автомата (автоматы работали), купить пирожки, даже быстро зайти в столовую, чтобы съесть тарелку супа и пару кусков хлеба, а главное, не стоять по колено в грязи, по колено в сырой земле, под дождем или ранним снегом, что уже было счастьем — Москва, родная, теплая, наполненная осенним светом, трамваями, кронами старых деревьев, окнами, людьми, обступала их со всех сторон, как бы заглядывая в глаза.

Щели — защиту от авиабомб и возможных артобстрелов на тот случай, если до нормального бомбоубежища добежать не удалось — рыли с таким расчетом, чтобы удобно было прятаться в них жителям нескольких соседних домов. По сути, такая же траншея, только поуже. Московская земля суше, тверже, вся просыпана железом и камнями, рыть ее было гораздо труднее, но то, что им помогали сами жители, приносившие из дома кто бидон с водой, кто хлеба, кто яблок, давало заметное облегчение, хотя и не всегда.

Люди, между тем, среди простых москвичей попадались разные.

Попадались, конечно, и совсем странные субъекты. Один вполне солидного вида мужчина (в основном-то мужчины были днем на работе), вышедший из большого

пятиэтажного дома на Новой Басманной им помогать, привязался настолько, что она вынуждена была назвать свое имя и даже дать телефон, и вот он названивал теперь по вечерам слабым задушенным голосом (Роза предполагала, что он закрывается подушкой, чтобы жена не слышала) и требовал встречи, хотел сказать что-то очень важное.

— Опять твой ухажер звонит, помоложе найти не могла? — звал папа из коридора, а она, только приехав из-под какой-нибудь Рузы, ничего не соображая, не поев толком, со страшной ломотой во всем теле, была вынуждена все это выслушивать и вежливо отшивать этого почти старого уже человека.

В один из моментов этого нелепого телефонного романа (слава богу, на Новую Басманную их больше не посылали) — он, этот самый Тимофей Васильевич, вдруг сказал ей такую вещь:

— Таля, только я вас умоляю, скорей уезжайте из Москвы! Передайте вашему отцу, что оставаться здесь смертельно опасно. Хотите, я всей вашей семье достану купе? На следующей же неделе?

Когда она передала этот разговор папе, он побледнел и усмехнулся, серьезные, мол, у вас отношения, я вижу, а Таля вспыхнула и обиделась.

В этой истории странным было то, что Тимофей Васильевич углядел ее во всей этой нелепой одежде, старой обуви, в пальто на вате, смешном берете, видно, глаз был у него на такие вещи зоркий, даже чересчур — и не только углядел, но и угадал, что она не будет его отшивать резко, то есть уловил ее мягкую душу, и в этой его прозорливости, жадности было что-то неприятное.

Или приятное тоже?

В общем, она не знала.

Но это было еще ничего — жалко, нелепо, смешно, такие дурацкие ухаживания во время войны, но понятно, объяснимо, а вот когда во время рытья щелей ей вдруг сказали, что все это мартышкин труд, потому что немец все равно будет в Москве через неделю или две, она пошла с лопатой наперевес и потом пожаловалась Васе. Он поправил красную повязку на рукаве, как и отец, побледнел и спросил грозно, кто это сказал.

Но того дядьки и след простыл.

Дело было, конечно, не в этих ядовитых мерзких словах, а в том, как они были сказаны — не для того, чтобы оскорбить, ударить, а с полным сознанием своей правоты, уверенно, как будто священником с амвона.

Но она оглянулась, выдохнула, вслушалась в звон трамвая и забыла.

Увы, такие счастливые московские дни у трудфронта бывали не всегда — горком партии делал все, чтобы решить оборонные задачи своими силами: дежурные по дому, подъезду или району выгоняли оставшихся жителей на трудовые подвиги каждый день, а их посылали подальше — причем после первой линии обороны они начали рыть траншеи второй линии, гораздо ближе, и это уже пугало.

Порой им находили ночлег, на три дня, на четыре они оставались там, где-нибудь в Лобне, ни помыться, ни постираться, было страшно и грязно в этих общих комнатах — общежитие опустевшего завода, казарма, пионерский лагерь, пугала темнота, пугало отсутствие ясной перспективы, то есть когда обратно домой, пугало черное поле и какие-то дальние звуки.

С Розой они шептались по ночам.

Роза ничего не боялась.

— Мы победим! — шептала она, засыпая.

Так ли?..

Да, да, да, но все это было возможно *тогда*, в сорок первом году, той страшной и в то же время прекрасной осенью, но теперь, в морозном феврале сорок третьего, когда они вернулись из Барнаула, слава богу, насовсем, навсегда, все стало иначе и, что особенно важно, теперь она уже не девчонка, а взрослая женщина, молодая мать и одновременно невеста, и без новых туфель ей никак нельзя. Ну вот никак нельзя.

Папа сильно задумался, когда она ему об этом сказала.

— Надо изучить вопрос, — сказал Даня Каневский своей дочери Этель и начал его изучать.

Туфли скоро купили, но не Этель, а Розе.

Площадь Ногина

Даниил Владимирович Каневский, которому исполнилось в январе сорок первого года ни много ни мало сорок девять лет, стоял на крыше пятиэтажного дома на Площади Борьбы и смотрел вниз.

Он осторожно нагнулся, даже схватился за небольшой железный барьерчик, крыша была слегка поката, ладонь ощутила неприятную сырую ржавчину. Сощурившись, он пытался высмотреть что-то в глухой темноте — там во дворе тихо перемещались какие-то тени, приглушенно звучали шаркающие шаги, иногда даже слышался сдавленный смех, — но все окна в доме (и в окрестных домах) были темны, наглухо задраены, свет везде выключен, уличные фонари потушены, и непривычная темнота ощущалась как плотность воздуха, как густая взвесь, от которой было трудно дышать.

Ночное пасмурное небо вдруг осветили прожектора. Белые бледные пятна медленно перемещались там, деля туманное пространство на сектора и на квадраты, кромсая его гигантскими ножницами, и вот между этих разрезов вдруг метнулся силуэт самолетика, который казался игрушечным, на самом деле гудящий штурмовик летел почти над домами — и глухо застучали зенитки (батарея, судя по частым бликам, стояла где-то в самом центре). А здесь — на Площади Борьбы, на их дежурной крыше — «районные противопожарные расчеты номер восемь, семь, и шесть», то есть мужчины среднего возраста в пиджаках и кепках, плащах и шляпах выстроились по тихому свистку старшего, заняв свои места. Даня, плотнее надвинув кепи на лоб, глупо улыбнулся в темноте — давно, ох, давно не вставал он по росту и не отвечал коротко: «Я!» — на вопрос: «Каневский?»

Дом этот был очень странный — изогнутый таким образом, как если бы великан взял гигантскую кочергу и согнул ее, но не скрутил, а лишь согнул, демонстрируя собственные бицепсы, еще кто-то говорил, что дом похож на корабль своей треугольностью, но нет, он был похож именно на изогнутую великаном кочергу, он резко возвышался над слабо шелестящим садом Туберкулезного института, над уходящей вниз, как бы даже прыгающей вниз Самотёкой, и дом этот был, конечно, очень хорошей мишенью для бомб.

В эти осенние дни Москва горела сразу во многих местах.

Страшный пожар был в районе Кудринской площади. Говорили странное, что вроде бы за несколько дней до пожара ночью приехала команда военных строителей и возвела непонятные, бессвязные деревянные конструкции, которые с воздуха *должны были напоминать московский Кремль*.

И что именно поэтому туда был направлен массированный удар, невзирая на встречный огонь зенитных орудий.

Пресня пылала всю ночь и следующий день, догорая в вечерней тьме. Пострадало много домов и много людей. Но Кремль, конечно, был спасен.

Гораздо страшнее были сообщения с Мытной улицы — там на всех не хватило подвалов каменных домов (хотя именно там каменных домов было куда больше, чем здесь, в Марьиной роще), и поэтому для жителей вырыли глубокие подземные укрепления, настелили бревна, засыпали сверху землей, навалили мешки — но фугасная бомба пробила все это и попала внутрь. Погибли все, кто сидел в бомбоубежище, никто не выжил вообще, так говорили в очередях и на остановках.

Многие москвичи после этих слухов решили оставаться во время тревоги дома. Хотя это и было строго запрещено.

Неизвестно, сколько именно их было, погибших на Мытной улице, говорили тогда про сорок человек, потом про сто сорок, цифры назывались разные, в газетах, конечно же, ничего об этом не писали.

Горели вагоны и склады в районе Белорусского вокзала.

Проезжая на трамвае знакомыми маршрутами, Даня отмечал (с каким-то чувством вины) следы новых и новых бомбежек — например, сгорели деревянные или полудеревянные дома в районе Гранатного переуллка; обычные московские дворы и кварталы, мимо которых он проходил сто раз, превратились в руины и продолжали тлеть, на Овчинниковской набережной тоже снесло и разворотило немало домов, в Руновском переуллке снесло один и разворотило полдома, люди ходили мимо стен, покореженных бомбой, даже не оглядываясь (привыкли?), но, конечно, особенно страшно было смотреть на памятник Тимирязеву у Никитских ворот: каменный академик в своей строгой шапочке уныло глядел на московскую землю, лежа на земле, уткнувшись в нее щекой и носом, его огородили заборчиком, что-то там вокруг уже ремонтировали, строили, но как символ наступающей беды он — поваленный Тимирязев в шапочке и со сложенными на причинном месте руками — был, конечно, весьма печален, рядом зияла огороженная яма — воронка от бомбы, чудовищно глубокая. Окна во многих домах вылетели, жильцы занавешивали их одеялами, тряпками, оставшиеся целыми заклеивали крест-накрест, дома имели от этого больной вид. Даня пытался понять, отчего же возникает у него острое чувство вины — оттого, что его не убили, что не его семья пострадала? — нет, это странно, это не так, но чувство вины определенно было — неожиданные толчки в груди: холод *неизвестности* подступал отовсюду.

В то же время Даниил Владимирович с удивлением ощущал в себе и некоторые благотворные перемены.

Он почему-то стал легче дышать с начала войны. Ему нравилось дежурить на крыше — в эти ночные часы. Он стал с аппетитом есть, чего с некоторых пор за собой не наблюдал, и охотней разговаривал с сослуживцами, замечая что-то новое — этот, оказывается, тоже рыжий, как и он сам, у того четверо детей, с этим можно поговорить о шахматах.

Стоя сейчас на крыше, Даня подумал, что воздух тут все-таки очень чистый, ясный, свежий, хотя и чересчур густой от темноты, и такой воздух теперь всюду вокруг него — воздух покоя, а смысл этого покоя в том, что он теперь такой же человек, как и все остальные.

Возможно, так организм пока еще здорового человека (пока еще, усмехался Даня) реагировал на острое ощущение новой жизни Москвы. Витрины магазинов, заложенные мешками с землей. Траншеи, прорытые прямо посреди улицы. Метро на площади Маяковского, ночами превращавшееся в огромное бомбоубежище, где вповалку спали люди. Десятки военных патрулей, целые колонны солдат, бесцельно, на взгляд постороннего, но очень деловито шагающих по Москве в разных направлениях, все с винтовками, некоторые с вещмешками, то есть при полной выкладке. Баррикады из бревен и противотанковые «ежи», удивительные сварные конструкции, повитые

колючей проволокой. Стены домов, обильно заклеенные строгими листовками и плакатами.

...Даня такого не видел со времен Гражданской войны.

Это ощущение *неизвестности* — гигантской неизвестности, нависшей над городом, над миром, над ним самим и его жизнью — было ему когда-то хорошо знакомо.

Однажды он шел в районе улицы Герцена. Вдруг люди остановились. Он тоже остановился и посмотрел в ту сторону, куда смотрели все. Над домами медленно плыл аэростат. Он уже их видел — продолговатые, в форме дирижабля, воздушные шары, которые висят над крышами домов во время ночных бомбежек. Вблизи аэростат оказался серым, брезентовым, похожим на раздувшуюся плащ-палатку. Его волокли на тросах четыре девушки. Вернее, это он волок их — так казалось: огромный, могучий, он плыл над крышами, над улицей, а они вели его, как лошадь или верблюда, направляли умело, держа с четырех сторон, иногда упираясь ногами, и покрикивая друг на друга, с напряженными спинами, но все-таки хорошенькие, в юбках до колена, кокетливых пилотках и отлично сидящих гимнастерках.

— Дайте дорогу, товарищи! — крикнула одна из них.

Даниил Владимирович стоял довольно далеко, но, повинуясь безотчетному чувству, чуть попятился — и немедленно упал в траншею.

Это была, собственно, даже не траншея, а яма — траншею только начали рыть, а потом бросили, потому что концепция изменилась — и ее решили рыть в другом месте, сейчас вся Москва была в этих неожиданных ямах, слава богу, вырыли неглубоко, но темнота, вдруг повалившаяся на Даню, заставила его слегка испугаться, и потом, он сразу вымазлся, пока вылезал, и пока летел тоже; слава богу, ничего не сломал, не вывихнул, словом, случай был смешной, пришлось в таком непотребном виде ехать в трамвае домой, а ехать было далеко, на него с недоумением смотрели, а он только молча разводил в ответ руками — такое дело, товарищи!

Возле дома его, грязного с головы до пят, остановил постовой и спросил, что случилось. Пришлось объяснять.

— Что ж, товарищ — время военное! — сказал постовой милиционер и отдал ему документы.

Именно в этот момент Даня, как показалось ему, понял смысл происходивших с ним изменений. Случись это с ним — проверка документов на улице — еще три-четыре месяца назад, то есть *до* начала войны, Даня несомненно пережил бы это иначе. А сейчас он засмеялся и пошел дальше. Страх — как будто навсегда — исчез.

Тот страх, который жил с ним постоянно с момента ареста младшего брата Мили. Тот страх, с которым он прожил в Малаховке больше года, который сопровождал его всюду — на работе, дома, на улице — этот страх вдруг ушел. Возможно, он был вытеснен другим — перед неизвестностью, перед бомбежкой, перед возможной смертью, перед войной — но он ушел.

Этот прежний страх был страхом одинокого человека, на которого любой может показать пальцем — держите его!

Нынешний страх — да и можно ли было назвать его так? — это было ощущение общей беды и общей жизни.

Отныне Даня жил вместе со всеми и вместе со всеми боялся — или не боялся. Нет, скорее, не боялся.

Кстати, придя домой тогда, весь в грязи, с порванной под мышкой рубашкой и в изгвазданных штиблетах, он переоделся и пошел за чайником на кухню. Там он встретил Светлану Ивановну Зайтаг, свою загадочную соседку.

— Вы знаете, Даня... — сказала она внезапно. — А я опять начала спать... Все сплю, сплю, сплю... Даже не знаю, надолго ли это... — И радостно коротко засмеялась.

Он сразу вспомнил, что когда-то давно Светлана Ивановна говорила ему, что не может заснуть, вообще не может. Какое-то воспаление в голове.

Теперь, глядя в ее светлые глаза, он понял, что она тогда говорила чистую правду.

Но именно в эту ночь Даниил Владимирович не смог заснуть.

Он все время думал про этих четырех девушек с аэростатом. Вот они идут и тянут эту надутую машину на тросах. Он вспомнил, что их всегда четыре... не три и не пять, и не восемь. И что это какое-то ангельское число. (Почему ангельское? Он не знал.)

Он лежал в темноте и думал, что случится, если вдруг аэростат их унесет.

Вполне возможно, что в какой-то момент он поднимется чуть повыше, поймает воздушный поток и дернет их за собой.

Сначала с них начнут падать сапоги, а потом первая из них упадет с большой высоты вниз и разобьется.

Но потом он вернулся к первой мысли — об ангельском числе — и представил, как крылья прорастают у них за спиной, и они летят, летят...

— Тебе принести воды? — тихо и сонно спросила Надя.

— Да нет, спасибо, — ответил он. — Я сам.

Надя, и это было естественно, спрашивала его: что они делают во время этих ночных дежурств на крыше? Сначала ей было очень страшно, но потом она привыкла, что муж так часто уходит по ночам из дома. Даня смеялся и отвечал односложно:

— Ловим бомбы!

— Да ну тебя! — обижалась она. — Куда вы их ловите? В ведро, что ли?

Однажды Даня, кстати говоря, услышал, как рассказывает об этих дежурствах его новый знакомый (коллега по дежурному противопожарному расчету № 6) Сергей Яковлевич Куркотин, ответственный товарищ из какой-то газеты.

Они возвращались ранним утром (тревога не прекращалась, и их не отпускали до конца комендантского часа, до семи), и Сергей Яковлевич на улице встретил свою знакомую.

Он не упустил случай, произнес целую речь перед ней, и эффектная молодящаяся дама стояла и слушала, глядя на него восторженными глазами:

— Зимой... — говорил Сергей Яковлевич, смешно и значительно насупив брови, — зимой, Валечка, наш дворник, стоя у самого края крыши, сбрасывал вниз снег. Я смотрел на него как на существо фантастическое, как на человека неопишущей храбрости. И вот, Валечка, мы стоим там же, где в мирное время стоял дворник, в брезентовых рукавицах, вооруженные лопатами и щипцами. Теперь это место называется «Пост № 6,7,8». К нам выведены концы пожарных шлангов. Отсюда превосходно видно, что делается на крышах других зданий. И вот, Валечка, представьте себе... гул самолета, его сопровождают мечущиеся по небу лучи прожекторов, зенитки торопливо бьют, вспышки разрывов рвут темное небо. Наши руки напряженно сжимают щипцы для зажигательных бомб, которые нужно бросить туда, если что... вы понимаете, Валечка, бросить мгновенно! — мы на посту, мы готовы их хватать за стабилизаторы и сбрасывать вниз, чтобы не дать поджечь наше жилье, нашу Москву... И вот... Немецкий самолет, преследуемый прожекторами, поспешно поворачивает. Он успевает сбросить бомбы на соседние дома. Нам хорошо видны вспышки огня на крышах. Представляете, Валечка? Какой-нибудь бухгалтер одного из бесчисленных трестов, пожилой мужчина с животиком, хватается щипцами огонь, упавший с неба, и сует в ведро с водой. Или сбрасывает во двор и, наклонившись, кричит: «Туши там, внизу!...»

Дама слушала со слезами, и было видно, что ей хочется броситься Куркотину на шею.

— Да вы поэт, Сергей Яковлевич! — смущенно сказал Даня.

— А вот этот человек! — вдруг вскричал Куркотин, показывая на Даню. — Нет, я вам говорю истинно, вот этот человек — он заряжает нас всех своей молчаливой уверенностью, своей немногословной иронией, он душа боевого расчета! Мой друг... — гордо сказал Куркотин. — Мой друг, Даниил Владимирович Каневский.

— Очень приятно, — зардевшись, сказала Валечка.

— Хочется сказать — давайте отметим нашу встречу! Но, увы, рестораны в этот час еще закрыты, — попытался снизить этот невыносимый пафос Даня.

Но Куркотин и Валечка посмотрели на него с несколько брезгливым недоумением, как будто он икнул в опере.

Вот так рассказать Наде или девочкам о своем боевом дежурстве он бы никогда не сумел.

Впрочем, тут был нужен особый дар, которым, безусловно, обладал Куркотин.

Несмотря на свой возраст — а он был старше Дани, Куркотину было далеко за пятьдесят — несмотря на свою одышку, нездоровую полноту, боли в суставах, несмотря на все признаки надвигающейся старости, Куркотин обладал даром зажигать и зажигаться. Это был удивительно вдохновенный тип. Он был настолько искренен в этом своем вдохновении, что Даня проникся необычной для него симпатией — ведь, в сущности, он совсем не знал этого человека, они виделись только во время дежурства.

Впрочем, однажды рано утром их, пожилых мужчин, ответственных работников разных ведомств и комиссариатов, погнали на строевую подготовку куда-то в район Красных казарм, где был огромный плац. Там им выделили место, и они тренировались, печатая шаг и выполняя команду: раз-два, кру-угом!

У Куркотина это никак не получалось, и тогда он отошел от строя и начал тренировать свой поворот сам. Было слышно, как он себе подсчитывает шаги:

— Раз, два, кру-угом.

Потом они стреляли из винтовки по мишеням.

Даня попал два раза, Куркотин три.

Возвращались в центр вместе на трамвае.

Куркотин вдруг спросил:

— На Гражданской воевали?

Даня неохотно кивнул.

— Где?

Вопрос не предвещал ничего хорошего. Такие вопросы задавали на партийных чистках. Ну и в другом месте. Но тут вроде бы иная ситуация была, не чистка и не допрос.

— На Юго-Западном фронте воевал, — коротко ответил Даня.

— Ясно, ясно... — торопливо кивнул Куркотин. — А я в политотделе Екатеринославского чека. Помнят еще руки, как заряжать винтовку, помнят...

Проехали еще некоторое время молча, и вдруг Куркотин сказал, задумчиво глядя в окно:

— Понимаете, Даня, — сказал он. — Таким людям, как вы, с вашей биографией... лучше всего сейчас пойти на фронт. Война все спишет. Это сейчас спасение для многих. Может быть, и для вас. Поверьте мне, опытному газетному волку.

Даня помолчал.

А потом ответил сухо и ясно:

— От судьбы не убежишь, Сергей Яковлевич.

Тот смутился и покраснел.

Приближение фронта — а фронт приближался к Москве со страшной, нечеловеческой скоростью — заставило многих задуматься о своем прошлом.

Фронт должен был залатать воронки, бреши и прорехи, которые в ином случае зияли бы почти в каждой биографии: коммунисты, прошедшие сквозь чистки, ссылки и иные наказания, но все же оставшиеся в живых и даже на воле — мечтали о фронте как о спасении своей репутации, если не жизни. Мечтали «искупить кровью» несуществующую, но ощутимую, и как бы повисшую снова в воздухе вину. Перед ними стоял сейчас этот выбор. И они делали его в пользу фронта.

Выйдя тогда из трамвая, Даня почувствовал себя так, будто объелся жирного, дышать было трудно, его даже чуть подташнивало.

Он сошел с трамвая много раньше, где-то в районе Покровки. И решил шагать до дома пешком.

Сначала он осторожно обдумал — а с какой стати Куркотин вдруг пристал к нему с этим? Может, не случайно? Может, он знает гораздо больше, чем говорит? Даня прекрасно изучил эту скользкую манеру напугать и ошеломить, как бы «между прочим», невзначай зацепившись за какое-то слово, за мелочь. Но здесь было не то. Не так.

Да и похож ли Куркотин на стукача?

Нисколько не похож. Важный, и в то же время смешной, вечно голодный, но гордый и напыщенный, как воробей на бульварной дорожке, сидящий в ожидании хлеба от скуповатой старушки.

Тогда почему? Откуда возникла эта тема?

«Ну неужели так трудно сообразить, — уговаривал сам себя Даня. — Гражданская война, мои явно неохотные ответы, да господа, просто опытный человек все понял, обо всем догадался».

Он медленно шел вверх по Покровскому бульвару.

Мимо прошел один патруль, потом второй. Процокала подковами лошадь под конным милиционером.

Прогрохотал трамвай. От Яузы поднимался густой молочный туман. Он зримо висел между ветками, рассыпаясь от соприкосновения с чем-то твердым — с птицей, стволом дерева, с его рукой.

Кора молодого тополя влажно блестела. В лужице плавал желтый помятый лист.

Стены домов были в сырости, в плавающем воздухе октября. Он сладко вдохнул этот северный воздух, который так и не успел еще до конца полюбить. Горький и сладкий одновременно. Предательский воздух.

В сущности, Куркотин говорил правду. Но и сам Даня тоже говорил правду: от судьбы не спрячешься ни на фронте, ни в тылу. От неизвестности не убежишь. Торопиться с этим не стоит. Смерть или жизнь — она найдет его сама. Поможет ли он фронту с винтовкой в руках?

Наверяд ли.

Вот Миля торопился, он всегда хотел все решать сам. Великий, могучий и непобедимый Миля.

На Цветном вновь встретил девушек с аэростатом. Зашел в столовую, чтобы согреться. Заодно съел борщ. Есть уже хотелось.

Мародерство в Москве началось сразу после первых бомбежек. Квартиры начали обчищать как раз во время тревоги, когда все хватали детей, документы и бежали в убежище. Участились грабежи дач. Сергей Яковлевич Куркотин, с которым они продолжали радостно общаться (а что еще делать долгими часами на крыше, когда самолетов нет?), очень беспокоился за свою писательскую дачу в Удельном по Казанской дороге. Говорил он, что грабежи дач теперь стали постоянными и что они приобретают все больший размах — выбивают стекла, выносят мебель, вещи, портят обои, ничего не боятся.

Вначале Даня беспокоился за двоюродного брата Моню в Малаховке, но потом,

съездив к нему пару раз и оценив обстановку, беспокоиться перестал: дачи с жильцами не трогали, лихие набеги угрожали домам, что были покинуты хозяевами, стояли наспех заколоченными — а таких становилось все больше и больше, люди потихоньку начали уезжать из Москвы, складывать вещи, частенько отдавая дворникам и лифтерам на хранение самое ценное, стали закрывать квартиры, заколачивать дачи, идея борьбы с *беглецами* уже тогда захватила умы, и московские воры, пока уклонявшиеся успешно от армии, и зеленые юнцы, бывшие в услужении у воров, этим пользовались. Иногда они прямо вступали в сговор с лифтерами и дворниками (случались ведь и среди них нечестные или слабые люди), иногда взламывали пустые квартиры, а еще чаще — выезжали на богатый дачный промысел.

В течение 20-х и 30-х годов Москва вновь начала обрастать дачным жирком — привозили сюда и мебель, казенную и свою, привозили то, что хотели скрыть от чужого глаза: картины, книги, иконы, антиквариат, дорогие реликвии, альбомы с фотографиями, репродукции, клубки шерсти и катушки ниток, швейные машинки, дачную утварь, все это теперь осиротело и ждало новых хозяев — мародеры, ничуть не стеснясь, подгоняли к дачам грузовики и, выгружая содержимое деревянных особняков, работали порой целый день, а потом сбывали оптом.

Куркотин, опасаясь за свою дачу, навещался в Удельную с Казанского вокзала чуть ли не через два дня на третий, ночевал в абсолютно промерзшем помещении, греясь от взятой напрокат у соседа буржуйки, вывозил потихоньку самое ценное обратно в Москву, словом, оборонял рубежи своей малой родины как мог — но и это не помогло.

Однажды он пришел на крышу совершенно подавленный, не в силах даже начать разговор.

— Что случилось, Сергей Яковлевич? — спросил Даня, не выдержав этой гнетущей тишины.

— Даже не спрашивайте.

В темноте скорбно белело лицо ответственного секретаря газеты «Московский большевик», и хотя черты этого лица едва угадывались, Даня понял: у Куркотина неприятности, и пожалел его про себя.

— Я приезжаю на дачу, в пятницу... Ну, в Удельную. Как всегда, на ночь глядя, в городе же у меня много дел, освобождаюсь поздно. Готовим антивоенный митинг в Парке Горького, выступления писателей. Кстати, приглашаю вас с супругой. В следующее воскресенье. Там бывает интересно, очень яркие боевые выступления. Так вот, приезжаю уже в темноте, и что же вы думаете?..

Он горестно вздохнул.

Когда Куркотин сильно волновался, в голосе его явно начинали слышаться родные южно-русские интонации. Одесса, Николаев, Харьков. Может быть, Даня полюбил его за это? Больше было не за что...

— И что же вы думаете... — Куркотин нервно прошелся по крыше, загрохотало кровельное железо, все оглянулись, он остановился испуганно и как-то неуверенно, жалко оглянулся на Даню.

— Я раньше дачу всегда недолюбливал, а тут, понимаете, подхожу и сердце сжалось, прямо вот сдавило: все, и дом, и сарай, и забор — все вроде цело, но в заборе выломано два проезда, как ворота для телеги или для грузовика, из дома все вытащено, все разграблено, остались только одна кровать без матраса на втором этаже и простые столы да мой канцелярский стол, вот и все, причем, что интересно, негодяи хулиганили, часть посуды побили, осколки валяются между грядок, а я же, как вам сказать, я же приезжал и чтобы придать этому делу какое-то осмысленное выражение, ну, я доставал садовый инструмент, тут окопаешь, тут прикроешь, холода же уже, и вот, достаю из сарая инструмент, начинаю окапывать, окапываю и плачу, окапываю и плачу, вот нет сил сдержаться, Даниил Владимирович, верите ли...

Куркотин всхлипнул.

Он плакал тихо, скромно — так, чтоб никто не слышал и не видел, Даня же в этот момент испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, это был стыдный момент — они стояли на крыше в ожидании налета, бомбежки, враг подходил к Москве, тяжелая зима наступала в столице, война уже сейчас отнимала миллионы жизней, и хотя об этом не говорили по радио, не называли цифр, слухи ползли по городу, и каждый раненый, каждый прибывший с фронта рассказывал — вполголоса — о кошмаре первых месяцев, о гибели и пленении едва ли не большей части армии, а тут человек стоит и плачет о каких-то дурацких вещах, вынесенных с дачи, о постельном белье, посуде, всяких безделушках, но Даня почему-то хорошо понимал его: страшна именно та беда, которую не ждешь, и вот это ощущение человеческой подлости, *совершенно* неминуемой — все это было понятно, он приобнял Куркотина за плечи и тихо велел замолчать.

И тот испуганно замолк.

На работе теперь часто объявляли внеочередные собрания, люди выходили в коридор, курили торопливо, спрашивая друг друга, а что случилось, и понуро шли в актовый зал, где висели огромные портреты Сталина и Молотова и где постоянно что-то докладывали, объясняли и провозглашали. Впрочем, многим это нравилось, с удовольствием бросали работу и, оживленно переговариваясь, шли слушать новости.

На одном из собраний (это было, кажется, в сентябре) объявили, что начинается сбор народных средств для танковой колонны «Красный текстильщик». Каждый сдает в оборонный фонд, сколько может, но потом все отделы обошла секретарь Аглая Семёновна и пояснила, что меньше тысячи рублей нельзя, это «нижний предел», начальник их отдела хвастливо объявил, что сдает четыре тысячи, «все свои сбережения», — врет, подумал Даня, но ничего не сказал и после работы пошел в сберкаассу.

На книжке лежало девять тысяч. Даня решил, что снимет ровно тысячу, потом вздохнул и снял две.

Уже пошли неприятные слухи об эвакуации всех подразделений Наркомлегкпрома. Шепотом (паника — дело подсудное) обсуждали, действительно ли придется уезжать из Москвы. Начальника, который сдал аж четыре тысячи, в первом отделе ознакомили с генеральным планом эвакуации — в той части, что касалась их ведомства.

Он пришел жутко мрачный и ни с кем не разговаривал целый день. Все поняли, что дело серьезное, в дальнейшем стало известно, что в плане обозначили точку — Барнаул.

Даня твердо решил про себя, что оборонный займ — дело правильное, хорошее, но больше двух тысяч он не даст, потому что, по всей видимости, семью скоро придется обустраивать на новом месте. Хоть какие-то наличные деньги с собой иметь нужно.

К тому же он хорошо помнил оборонный займ первой германской войны, этот прекрасный патриотический порыв, и как люди покупали царские облигации. Эти красочные плакаты, агитирующие их покупать — тогда, в 1914 году, на глаза общества впервые явилась Родина-мать с распущенными волосами, тогда она, правда, звалась на плакатах по-другому: «Россия», и была одета в нарядное платье, но он помнил, как отец бережно считал эти облигации военного займа и потом прятал их в комод.

Ничего не пригодилось. Ни займы, ни мобилизации, ничего. И войну проиграли. Правда, выиграли затем революцию...

Но тем не менее, в профкоме выделили некоего человека по фамилии Свиридов, который, начиная с 15 сентября, снова начал собирать деньги на танковую колонну «Красный текстильщик». Этот Свиридов был маленький, в коротком пиджачке,

стоптанных штиблетах, он бочком заходил в их отдел и, поправляя галстук-селедку, тихо и как бы просительно предлагал сдавать деньги. Когда он подходил к столу товарища Каневского, Даня так же тихо, с тем же выражением настойчивой просительности отвечал Свиридову:

— Я уже сдал две тысячи на «Красный текстильщик», посмотрите в записях, пожалуйста.

— Ой, сдали, правда? — изумлялся Свиридов, и начинал смертельно долго листать свой пухлый блокнот, испещренный записями.

— Да-да, да-да... действительно, — с выражением крайнего удовлетворения говорил он и потом спрашивал еще тише:

— А на следующий «Красный текстильщик» не хотите, значит?

— Я позже сдам, — твердо говорил Даня и утыкался в бумаги.

Как-то раз в столовой Даня подсел к главному бухгалтеру Виктору Матвеевичу и спросил, что он думает насчет того, как учитываются эти средства и как узнать конкретно, на какой танк или самолет что потрачено.

Виктор Матвеевич испуганно оглянулся.

— Да бог с вами... — наконец, сказал он тихо. — У вас же такой профессиональный опыт. Никто там не считает, красный текстильщик или юный ленинец. Ваши там деньги или чьи-то еще. Это всего лишь конфискационный налог. Без этого сейчас нельзя. Нельзя допустить инфляцию, понимаете? Иначе из магазинов исчезнет последнее.

Между тем, Свиридов все никак не успокаивался, и было видно, что в этом тщедушном скромном человеке загорелись подлинные страсти, и в душе его кипела настоящая буря, может быть, потому, что впервые в жизни он выполнял такое важное и ответственное поручение партии и правительства.

И больше того, в отказе Дани он видел не просто отказ, с кем не бывает, а попытку отнять у него эту важную миссию, обесценить ее в глазах коллектива, унижить его человеческое достоинство, поднявшееся теперь на небывалую высоту.

— Так что, товарищ Каневский, вы по-прежнему в займе не участвуете? — теперь спрашивал он, войдя в кабинет и приняв некую позу, наподобие той, что принимает футболист, готовясь пробить пенальти — нагнувшись и глядя исподлобья.

— Товарищ Свиридов, всему свое время! — улыбаясь, говорил Даня, но внутри у него все дрожало от нервного гнева. Ну какой же паршивец.

Не выдержав, он рассказал об этом Наде и та, смертельно напугавшись, строго-настрого велела ему немедленно снять со счета оставшиеся семь тысяч и отдать их на «Красный текстильщик», иначе будут неприятности.

...У Дани порой случались странные, неожиданные реакции на бурные выражения ее чувств — страха, гнева или веселости — он как-то внутренне замирал и пытался «поймать секунду», так он называл это про себя — в ней, в этой самой секунде, все было прекрасно — и эта белая сорочка, спадавшая с плеча, и глаза, сверкавшие, как угли в темноте, и волосы, рассыпанные по плечам, и, главное, вот это ощущение общего уюта, бедного, но родного, который растекался по жилам — все эти выглаженные салфеточки, уютно пахнущие пряностями комоды, тарелки, видневшиеся из-за витражного стекла, ходики, тикавшие над головой, все это вместе рождало в нем ощущение немислимого покоя, всегда животворно действующего на душу, истомившуюся в поисках смысла, и он смеялся над ней, обнимал и успокаивал как мог.

Потом она засыпала, сначала вытирая слезы по щекам, заставляя его пить капли валерианы, ходила, шаркая тапочками, и вновь успокаивалась, а он долго лежал в темноте этой комнаты, служившей им и спальней, и гостиной, и кабинетом (в другой комнате спали трое их детей) — и думал о том, что же ждет их впереди.

...Не то чтобы он прислушивался к Надиным советам, но всегда имел их в виду.

Вот и тогда, в сентябре сорок первого года, он все-таки решил снять все деньги со счета и большую их часть отдать на «Красный текстильщик-2», денежная конфискация так денежная конфискация, как вдруг произошло неожиданное — оказалось, что Свиридов погиб при бомбежке.

Взрыв на площади Ногина не остался так ярко вписанным в анналы московского героизма, как другие какие-то эпизоды обороны, наверное, потому, что в нем не было воинского подвига, — это было большое горе, ограниченное в себе самом: тогда образовалась огромная воронка и вокруг все было в кровавой грязи, в обломках небольших зданий...

Так случилось, что личный состав практически всех противопожарных расчетов (то есть и Даню, и Куркотина, и всех их товарищей) прислали на «санитарную обработку» района бомбежки, им выдали лопаты, носилки, нехитрые респираторы, ведра, и они таскали грязь с развалин в течение пяти часов, иногда подзывая санитаров, если видели человеческие останки.

Куркотина пару раз вырвало, но Даня держался...

В конце они уже ничего не соображали от усталости и разъехались по домам в унылом молчании. Даня лег на кровать, не раздеваясь, и заснул. Надя молча сняла с него грязные ботинки и попыталась подоткнуть хотя бы сбоку старым покрывалом, чтобы он не пачкал белье.

Все то время, все пять часов, пока Даня таскал на носилках мусор, выворачивал из земли залепленные грязью бревна и отгонял прохожих, некоторые из которых искренне плакали, он непрерывно думал об этом Свиридове и почему именно так получилось. Он, правда, погиб не совсем здесь, бомба попала прямо в горком партии, но сейчас это была одна общая воронка, общая яма.

И опять эта глупая мысль сидела в башке: а может, Свиридов погиб вместо него?

Таких людей Даня не любил — они всегда слепо подчинялись воле большинства, а иногда не только слепо, но и радостно, испытывая восторг или злорадное торжество, когда казнили и уничтожали кого-то другого, они жили в мире странных слов, выученных ими невест где, они трудно думали и говорили чужими фразами, но сейчас, разгребая завалы на площади Ногина, Даня не то что устыдился этих своих старых мыслей, он подумал о Свиридове по-другому — все-таки у него, где-то глубоко внутри, было чувство собственного достоинства. И потом (Даня это знал) у него была семья, он ею гордился, женой и маленькой дочерью, и потом (Даня впервые об этом задумался) у Свиридова был в глазах какой-то проблеск, какая-то вера в человечество, когда он шел по коридору со своими бумажками и собранными на строительство танковой колонны «Красный текстильщик» чужими рублями, а теперь этого ничего нет, и возможно, вот этот страшный ком глины с торчащими из него рваными ботинками — это все, что осталось от Свиридова.

Даня сдал все деньги, какие у него были, и попросил Надю что-то продать на барахолке, чтобы было что-то на черный день.

И она продала мамино столовое серебро. Не все, но кое-что. И еще мамину брошь.

В те же сентябрьские дни Данин старый друг еще по Одессе — Иван Петрович Гиз — твердо решил пойти в московское ополчение. Он работал в системе Наркомпроса, был методистом, и там же был парторгом. Гиз позвонил Дане по служебному телефону и пригласил зайти к нему домой попрощаться. Каневский сел на трамвай и поехал на Потылиху.

В комнате, за длинным столом, часть которого вылезала в коридор коммунальной квартиры, уже сидела вся семья, и не только: сидели соседи, сослуживцы, чьи-то дети,

чьи-то жены, всего человек, наверное, тридцать, стол был уставлен простой закуской, пили водку, виднелось также несколько бутылок вина. Даня сел на краешке стола и прислушался к разговорам.

Обсуждали, как погонят фашиста до Берлина, Иван Петрович шутил, что должен привезти подарки на всю квартиру и, шутя, заготовил даже блокнотик, куда записывал пожелания: кто-то, смеясь, просил пудреницу, кто-то кофточку. Кто-то хороший немецкий велосипед.

Жена Гиза, скромная Марья Ивановна, часто отворачивалась — видимо, не в силах сдержать слез.

Вышли с Гизом покурить.

Горячась, он начал рассказывать, как в первые же дни войны все наркомпросовские коммунисты пришли к нему в партком, чтобы записаться добровольцами и на следующее же утро отправились в Краснопресненский райком партии, где уже стояла огромная очередь таких же, как они, товарищей.

— Вот только представь себе! — говорил Гиз. — Я такого не видел со времен Гражданской войны. Огромная толпа людей! И все как один человек...

Даня кивал. Потом, выждав паузу, спросил:

— Сколько тебе лет, Ваня?

— Неважно!

Пошли в комнату, еще выпили. В разгоряченных голосах уже трудно было что-то разобрать и разобраться: что, кто, зачем, кому говорит, — но было ясно одно, что для Ивана это был настоящий праздник, Даня внимательно всматривался в лица — женщины не скрывали тягостных, тяжких своих дум, дети безудержно веселились, мужчины же переживали великий подъем...

— В райкоме нас всех переписали и отправили назад! Но... шалишь! — продолжал кричать радостным голосом Гиз. — Шалишь! Мы снова и снова ходили, нас снова и снова посылали по домам, и вот — наконец! — пришла повестка!..

Он доставал серую аккуратно сложенную бумажку (в который уж раз, в четвертый? — механически фиксировал Даня, наливая себе снова рюмку и закусывая огурцом) и тряс ею высоко над головой:

— Завтра! Завтра! Мы все, коммунисты Наркомпроса, отправляемся от Чистых прудов, от самого главка на автобусе.

Наконец, жена Гиза не выдержала и всхлипнула в голос.

Гиз, уже ничего не стесняясь, громко шептал ей в ухо, но так, что слышали все:

— Пойми, Маша, пойми, как для меня это важно. Перестань!

Пошли во двор танцевать.

Когда стемнело и гости стали расходиться, Даня тоже накинул пальто и шляпу и шагнул к дверям.

Вдруг Гиз схватил его за руку и внимательно посмотрел в глаза:

— Может, проводишь?

— Когда?

— Завтра, с раннего утра...

Даня решил остаться у Гизов. Наде позвонил (недавно в их квартире по заявке Наркомлегкопрома поставили телефон, но соседи плохо понимали, что это его заслуга, часто занимали аппарат или отгоняли его от аппарата, ну да бог с ними) — и не терпящим возражений голосом сказал, что завтра провожает в армию Ивана Петровича.

— А кто это? — испуганно спросила она.

— Иван Петрович Гиз. Из Одессы, — недовольно повторил он и повесил трубку. Вышел из телефона-автомата, до которого долго шли они по Потылихе.

В темноте они с Гизом добирались обратно — кругом была тихая московская ночь, и Гиз вдруг сел на какой-то ящик.

— Не хочу домой, — сказал он неожиданно протрезвевшим голосом. — Там опять слезы, рыдания. Давай еще погуляем.

— Давай...

Даня стоял рядом.

— Как думаешь, сколько все это продлится, Даня?

— Не знаю. Тебе видней. Ты же коммунист, ты политинформации читаешь, не я.

Гиз молчал.

Немцы уже взяли Смоленск.

— Пойдем спать... — устало сказал Даня. — А то я не смогу проснуться с утра, и будет неудобно.

Гиз неожиданно рассмеялся.

Пока они шли, Даня посматривал на него сбоку. Гиз шел в пиджаке, без пальто, изо рта у него валил пар — глаза были устремлены куда-то внутрь. Но было видно, что он совсем не чувствует холода.

Поначалу, когда Даня остался ночевать, Гиз собирался на кухне петь старые боевые песни, вспоминать прошлое, но теперь погрузился в полное молчание, и Даня не хотел ему мешать.

В автобус, уходивший от Наркомпроса, все, конечно, не поместились. Решили добираться до Краснопресненского райкома на городском транспорте — сели в двухэтажный троллейбус и поехали, возбужденно окликая друг друга и пытаясь шутить. Таких возбужденных мужчин тут было много.

Гиз объяснил, что сначала они едут в райком, где снова пересчитывают коммунистов, чтобы равномерно распределить их по ротам.

Во дворе особняка — верней, в старом саду — расположилась огромная толпа, ожидавшая очереди. Она тянулась к столу, за которым сидели трое — военком, секретарь райкома и кто-то еще третий в штатском, наверное, из органов.

Они с Гизом сидели на траве.

— Ты можешь идти, — тихо сказал Гиз. — Я тут уже среди своих. Заходи к моей семье иногда, ладно? Больше вообще-то некого попросить.

Даня кивнул, но не ушел.

— Почему ты не уходишь? — внезапно спросил его вдруг повеселевший Гиз. Наверное, на него подействовало всеобщее возбуждение, атмосфера праздника. Люди пели. Кто-то плясал.

Даня пожал плечами, но снова остался.

Он иногда подходил к столу и слушал, как проходит собеседование. Человека искали по спискам и просили повторить его фамилию, имя и отчество.

Почти все тут были коммунистами.

Военком, суховатый пожилой мужчина, смотрел сквозь очки на бесконечные ряды фамилий, отмечал подошедшего едва видной карандашной точкой:

— Фамилия, имя, отчество? С какого года в партии? Вы отказываетесь от брони сознательно или по принуждению?

Один кинорежиссер с «Мосфильма» вдруг запнулся и сказал:

— Я отказываюсь от брони сознательно, но вообще-то больше пользы могу принести в тылу, занимаясь своей непосредственной профессиональной работой... Но сознательно, да.

Военком посмотрел на него, значительно вздохнул и сказал:

— Подумайте еще, товарищ. Сделайте шаг в сторону. Приходите завтра.

Долго еще видел Даня этого режиссера, который ходил кругами вокруг райкома, не в силах принять решение...

Гиза военком тоже спросил, но как-то уже устало:

— Сознательно или по принуждению?

Иван Петрович ответил невпопад:

— Хочу бить фашистов!

Энкавэдэшник хмыкнул, военком кивнул и поставил свою еле заметную карандашную точку в списках.

Даня с Иваном обнялись.

Больше Ивана Петровича Гиза, своего старого товарища, Даня не видел никогда.

То, что война будет, Даня понял еще году в тридцать четвертом. Об этом говорили ему не новости о Гитлере или Чемберлене, не сдвигающиеся границы, не воследовавшие *малые* войны, не «хрустальная ночь», не преследования коммунистов в европейских странах и не что-то еще. Об этом сообщал ему сам язык, на котором начали писать советские газеты.

В этом языке грядущая война, о которой раньше (в двадцатые годы) говорили как о божественном предначертании, мистической *очищающей* грозе XX века, великой мировой революции, которая, конечно же, неизбежна, — эта война стала вдруг обретать совершенно конкретные бытовые черты.

Много писали о вооружениях, вдаваясь в технические подробности. Огромные статьи выходили о военных учениях. Появились в большом количестве военные стихи и песни. Постепенно будущая война как некое большое важное дело для всей страны отодвигала прочь другие дела — подвиги полярников, рекорды стахановцев, фильмы и книги. Верней, война подчиняла себе остальное — полярники укрепляли северные рубежи, стахановцы добывали уголь для военной промышленности, поэты писали для армии — и даже «борьба за мир» понималась через будущую войну.

Язык войны проникал в гущу обыденного газетного языка, которым сообщали о спорте, о культуре и науке — идея великого столкновения переставала носить черты космической абстракции, а становилась предощущением конкретных и ясных событий.

До ареста Мили они с ним часто говорили об этом — например, о том, как же это можно: в мгновение ока разрушить мировую экономическую кооперацию, только-только начавшую возникать, огромный торговый оборот, который образовался между советской Россией и странами Европы, международные инвестиции в нашу промышленность — как интеллектуальные, технические, так и денежные — ведь покупать у советских стало выгодно.

Миля слушал его внимательно и качал головой в нетерпении:

— Нет, нет, слушай... Все это не так... Есть вещи поважнее. Пойми, есть вещи поважнее.

После его отъезда в Киев и внезапного ареста эти их разговоры закончились. Было уже не до мыслей о войне и мире.

Война в тридцатые годы сделалась для всех желанной — и вот теперь эти желания исправно исполнялись.

Так думал Даня, возвращаясь домой от Краснопресненского райкома.

Утром пятнадцатого октября его разбудил Куркотин.

Это было странно, он ему никогда не звонил. Даня даже не понимал, откуда он взял его телефон.

— Здравствуйте, Сергей Яковлевич! — вежливо сказал он, с трудом разлепляя глаза и запахивая полы халата. — Что-то случилось? Нас куда-то вызывают?..

— Даниил Владимирович! Даня! — закричал Куркотин в трубку. Голос его искажался и был неузнаваемо-хриплым и истошным. — Мне очень нужна ваша помощь! Мне больше не к кому обратиться! Давайте встретимся!

Даня позвонил к себе на работу, что немного задержится, заедет в наркомат. И пошел к Куркотину домой.

Сергей Яковлевич жил в кооперативном доме на Площади Борьбы. Этот скромный газетный волк, как оказалось, был еще и секретарем парткома московской писательской организации.

Даня церемонно поднялся в лифте с зеркалами на четвертый этаж, волнуясь, нажал кнопку дверного звонка. Давненько он не бывал в отдельных квартирах ответственных работников.

Однако внутри квартира Куркотина представляла собой поле битвы.

На полу были густо свалены вещи: пальто, шапки, одеяла, чайники и кастрюли, которые пытались запаковать в узлы из старых одеял, какие-то ящички и коробки, перевязанные бечевкой. Между ними ходил Куркотин в пижаме и ботинках на босу ногу. У него под ногами болталась маленькая девочка, она хотела участвовать в процессе, пытаясь сложить в маленький чемодан своих кукол.

Из кухни вышла хозяйка, тихая полная аккуратная женщина и, еле слышно поздоровавшись с Даней, предложила ему чаю.

— Спасибо, я не хочу, — кланяясь, ответил Даня.

— Давайте-давайте! — вдруг возопил Куркотин своим трубным гласом. — Нам с вами необходимо подкрепиться.

Даня пожал плечами и вошел в кухню.

Там было все то же: открытые дверцы комода, выдвинутые ящики буфета, заставленный бокалами, тарелками и какими-то банками кухонный стол, где жена Куркотина с трудом освободила для них место.

Когда чай наконец был на скорую руку приготовлен, Рина Иосифовна скромно удалилась, плотно прикрыв за собой дверь, а хозяин начал рассказывать «страшные вещи».

— Я вам сейчас скажу страшные вещи, — начал Куркотин, — но я думаю, что вы, с вашим умом, с вашим огромным жизненным опытом, — Даня поморщился, мол, к чему эти церемонии, Куркотин немного запнулся, но тут же, после небольшой паузы, продолжил: — Даня! — торжественно сказал он. — Нужно уезжать и увозить своих близких, немедленно, сейчас, понимаете меня? Немец близко, он на пороге.

Даня смотрел на Куркотина равнодушно, все это не было никаким секретом, сто километров от Москвы, конечно, это близко, но план эвакуации был давно утвержден.

— Да нет, вы не понимаете, — страшно зашипел Куркотин, — завтра, уже завтра все правительство, все учреждения, все министерства, все предприятия в пожарном, срочном, — зашипел он, — понимаете что это значит? — в срочном порядке эвакуируются из Москвы, промедление смерти подобно, поверьте мне, Даня, можно уйти от немцев, но нельзя уйти от погромов, от народных волнений.

— От чего? — удивился Даня.

— Да послушайте вы! — громким шепотом, как бы сорванным от переполнявших чувств (артист, подумал Даня, не зря на митингах в Парке Горького выступает), Даня, послушайте меня — здесь оставаться опасно, в народе растет самый пещерный, дремучий антисемитизм, вот сегодня я иду, забрал вещи, у тещи забрал, мне на улице вслед кто-то шипит: ну что, драпаешь, жидовская морда?

— А теща остается? — вдруг спросил Даня.

Куркотин остановился. На минуту повисла тишина.

— Что вы спросили? — другим, изменившимся голосом сказал он.

— Ваша теща остается или уезжает? — громко и внятно повторил свой вопрос Даня.

— Уезжает, конечно... — сказал Куркотин. — Как же она тут останется одна, старый больной человек. За Любочкой будет там присматривать...

Даня никак не мог понять, зачем Куркотин разбудил его так рано и попросил срочно приехать — в чем, так сказать, была его роль в этой семейной драме.

— Даня, нужно уезжать немедленно! Умоляю вас... — И увидев, что Даня по-прежнему смотрит неподвижно, Куркотин вдруг закричал в полный голос:

— Евреи должны уезжать из Москвы немедленно, понимаете?

Рина Иосифовна испуганно выглянула из-за дверей, но наткнувшись на гневный взгляд мужа, исчезла.

— Вам нужна моя помощь? — вдруг догадался Даня.

Куркотин опять зашептал, что да, да, конечно, ему нужна помощь, ему поручили «на самом верху» организовать срочную эвакуацию писателей, на московских вокзалах хаос, паника, никто вагонов не дает, все нужно решать на месте, а причем тут я, удивился Даня, ну вы же видите, что у нас происходит, я не справлюсь и с погрузкой, и со всем на свете, Даня, умоляю, я нашел в вас настоящего, подлинного друга, Даня опять поморщился, ну простите, Даня, мне больше не к кому, вообще не к кому обратиться, помогите отвезти семью на Казанский вокзал, когда, спросил Даня, завтра с утра, прошу вас, умоляю, и Куркотин встал на колени...

«Может быть, он сошел с ума?» — холодно подумал Даня. Ведь так бывает...

Все, о чем говорил Куркотин, действительно не было для него секретом. Еще неделю назад Надя, придя из бомбоубежища, рассказывала, как целый час кто-то очень громко и очень нехорошо рассуждал, что евреи бегут из города, оставляя «простых людей» на растерзание оккупантов. Люди слушали потрясенно, задавали уточняющие вопросы, никто не возражал. Когда тревога кончилась и свет зажегся, стали искать говорившего, но его и след простыл. О том, что евреи бегут из Москвы, судачили в очередях. На остановках. Все это было неприятно, но ничего удивительного в этом Даня не находил. Новостью для него в рассказе Куркотина была только дата — эвакуация, например, предприятий легкой промышленности была намечена на конец октября. Он же говорил про ближайшие дни, чуть ли не про завтра.

И самое главное, он никак не мог взять в толк, каким образом спасти семью Куркотина от народного гнева мог он, Даня Каневский.

Но все оказалось проще.

Куркотин просто хотел, чтобы Даня помог его семье доехать до вокзала и погрузиться в поезд. Сам он должен был всю ночь дежурить на Казанском, чтобы, наконец, «выбить писательский вагон».

— Это вы будете выбивать вагон для писателей? — спросил Даня.

Куркотин радостно закивал.

— Даня! — он снова перешел на громкий торжественный шепот. — Я вам найду место! Я вам обещаю. Помогите моей семье, и можно будет ехать в нашем вагоне...

— Ну что вы... — легко сказал Даня и встал. — Мы эвакуируемся совершенно в другой город. Я подъеду завтра рано с утра, я вам обещаю.

Все оказалось совсем не так легко, как он думал, посмеиваясь про себя и выходя в то утро из квартиры Куркотина. 16 октября в шесть утра, как и договаривались, он нажал на кнопку звонка, дверь мгновенно открылась, как будто его тут давно ждали, и Даня ахнул. Вся прихожая и полкомнаты были заставлены чемоданами, баулами, тюками и корзинами. Рина Иосифовна не спала всю ночь, Любочка сидела уже одетая, в пальто и шапочке, тут же была и растерянная теща Куркотина — Ребекка Израилевна.

— Куда же вы едете? — спросил Даня, пытаясь успокоиться и успокоить их.

— Чистополь. Татарская республика, — сказала Рина. — Вы нас простите, пожалуйста. Но у меня безумный муж.

— Он действительно сможет организовать целый вагон? — спросил Даня. — А то ведь писатели не уедут. Весь цвет, можно сказать, социалистической литературы...

— Я не знаю... — прошептала Рина, чуть не плача. — Я только знаю, что нам сейчас нужно оказаться на Казанском вокзале.

Даня поднял первый чемодан и тихо охнул... Вся долгая жизнь Куркотина, показалось ему, была набита в этот чемодан.

— Простите нас... — еще раз сказала Рина.

— Знаете, что... — разозлился Даня. — Давайте договоримся — вы помогаете мне, я вам, и больше никаких изъятий чувств. А то я все брошу, и на моей совести будет огромный тяжелый камень.

Она кивнула молча.

Даня спустился вниз к лифтеру. Как оказалось, Куркотин еще вчера ночью оставил лифтеру ключи, попросил присмотреть за квартирой, сунул на хранение самые ценные вещи и попрощался. Совершенно он не был безумен, этот Куркотин. «Наверное, главный безумный в этой ситуации — я», — подумал Даня.

Лифтер согласился придержать лифт и предупредить жильцов, пока Даня спускает вещи. Всего было двадцать шесть мест. Пришлось съездить на четвертый этаж второй раз. А потом и третий — уже за людьми.

В опустевшей квартире сидели три женщины — старенькая, средняя и маленькая. Печально тикали ходики. Даня остановил их, тоже присел, и тогда они, вздохнув, сразу втроем, встали и взялись за руки.

Даня пожал лифтеру руку, денег не требовалось, как выяснилось, Куркотин уже сколько-то ему заплатил.

— С богом! — сказал лифтер и перекрестился.

Видимо, он хорошо относился к их семье. Куркотин и его успел вдохновить.

Даня никак не мог взять в толк, почему именно он должен помогать вывозить скарб и семью из этой огромной богатой квартиры, почему именно на его плечи легла эта святая обязанность по спасению советской литературы, мастеров, так сказать, социалистического реализма, но потом плюнул и решил больше голову не ломать.

— Значит так, — сказал он Рине, — послушайте меня. Я переносу вещи к трамвайной остановке, вы стережете все остальное. Нанять и попросить я никого не могу, все растащат. Если будут пытаться что-то украсть, зовите милиционера.

На остановке Дане пришлось оставить Ребекку Израилевну с маленькой Любочкой — тут присматривать за вещами должны были они. Пошел обратно, практически побегал. Двадцать шесть мест он перетащил один за пятнадцать минут. Его слегка подташнивало (с утра не успел ничего поесть, сказал, что торопится на работу), руки отваливались, в голове шумело. Они немного передохнули в ожидании трамвая.

Но дальше все было сложнее. Во-первых, в этот день трамваи ходили редко. А метро не ходило вообще. Даня попытался взять извозчика — и это тоже было невозможно, да и не влезли бы они с вещами.

Когда люди увидели, как он втаскивает первый чемодан в вагон трамвая (нужный номер подошел минут через двадцать), поднялся ропот.

Но Даня вошел в кабину водителя и быстро с ним договорился, незаметно сунув рубль.

— Граждане! — невозмутимо заговорил водитель громким поставленным голосом. — Соблюдайте спокойствие! Помогите товарищу, а то будем стоять еще двадцать минут.

Народ, быстро сообразив, что к чему, помог закидать вещи на заднюю площадку. Трамвай, прозвенев, медленно тронулся в сторону Крестовского моста.

Кое-как, с пересадкой, они добрались до Казанского...

Народ уходил из столицы пешком, иногда на гужевом и колесном транспорте. Уходил по восточным направлениям — по шоссе Энтузиастов и Рязанке. Уходил и с

вещами, и налегке. Вагонов и грузовиков на всех не хватало. Женщины катили перед собой детские коляски с сумками и чемоданами, держа детей на руках. Мужчины тащили узлы, закинув на спину. В районе Садового все потоки со всех улиц соединялись, и начиналась давка. Даня видел, как обезумевшие люди пытались выкинуть какие-то вещи из грузовика, где ехала явно всего лишь одна семья, и погрузить на грузовик своих.

Там была драка. Милиционер выстрелил в воздух. Закричала какая-то женщина. Все это было страшно.

Впрочем, думать было некогда. Нужно было скорей перетаскивать чемоданы.

На Казанском стало совсем плохо. Огромный гулкий вокзал был наполнен обезумевшим народом. Пройти сквозь толпу к перронам было невозможно. К тому же не пускали милиционеры и солдаты. Вооруженные люди стояли цепью, рассекая вокзал на две части. За их спинами тоже клубилась толпа, но значительно более редкая — там виднелись какие-то организованные очереди, люди даже ели пирожки, то есть осмысленно чего-то ждали. Здесь — пытались прорваться поближе к цепи солдат.

— Что же мы будем делать? — растерянно спросила Рина, когда он наконец перетащил все чемоданы от остановки.

— Не знаю. Стойте здесь. Сейчас отправим вас в Чистополь.

Выйдя на Комсомольскую площадь, он закурил. Руки тряслись от напряжения, он с трудом зажег спичку.

Очень хотелось повернуться и уйти, в конце концов, он свое обещание выполнил, пусть дальше сами. Но так нельзя. Их тут просто затопчут.

Наконец он сообразил и подошел к милиционеру, который охранял какую-то дверь.

— Товарищ, где стоят литерные вагоны? — спросил Даня.

— Какие? — не понял милиционер. Даня терпеливо объяснил.

Милиционер адресовал его к товарищу в штатском, который вышагивал взад-вперед возле той же загадочной двери.

Штатский выслушал молча и скрылся. Там, за дверью, тоже стоял часовой.

Вышел еще один штатский.

— А вы сами-то кто будете? — лениво осведомился он.

— Я родственник товарища Куркотина, — сказал Даня. — Сам он занимается оргвопросами, а я привез его семью.

— Неплохо... — усмехнулся штатский. — Ладно, сейчас я узнаю, стойте тут.

Писательский вагон находился очень далеко от вокзала, на каком-то семнадцатом пути, идти туда надо было с километр, если не больше.

Небо меж тем потемнело, и посыпался ранний мелкий снег.

На фоне странного темно-малинового неба он смотрелся празднично.

Даня перетаскивал чемоданы уже около часа.

Белая, как скатерть, Рина пыталась успокоить маму и дочь.

— У вас есть еда? — спросил Даня. — И вода... Возможно, вам придется ждать тут до утра.

— Еда есть. Хотите?

— Нет... — сказал Даня. — Я хочу скорей выполнить поручение вашего мужа.

— Даниил Владимирович! — закричал вдруг кто-то у него над ухом.

Скача по шпалам, их догонял Куркотин.

— Господи, как хорошо, что я вас нашел!

— Это мы вас нашли, — уточнил Даня.

— Вы не представляете, что тут творится! — кричал старый газетный волк. — Это какой-то ужас, бардак, это вредительство... Но давайте же я вам помогу.

Вместе с Даней они быстро перетаскали чемоданы к вагону.

Даня, наконец, не выдержал и спросил:

— Зачем так много вещей, Сергей Яковлевич?

Куркотин покраснел и сказал негромко:

— Бог знает, сколько мы будем ехать, бог знает, когда обустроимся. Взяли все, что можно поменять на продукты. Ребенка чем-то кормить надо...

Даня смотрел на Куркотина без неприязни, но с каким-то внутренним изумлением. Но ведь есть же люди легкие, не знающие сомнений, все делающие по наитию, искренне, и все — правильно. Почему же он сам таким никогда не был?

Куркотин меж тем обрушил на него бездну ненужных подробностей, в основном на тему общего бардака и своего личного героизма. Оказалось, что товарищ Фадеев, который сам просидел в квартире всю ночь, ждал звонка из Кремля, чтобы уехать чуть ли не вместе с Молотовым в одном вагоне, поручил товарищу Куркотину искать вагон, который у писателей «отобрали», и это поручение застало Куркотина врасплох, собственно, чем и была вызвана вся эта «кутерьма», а между тем вагон-то ведь тоже не резиновый, и пока он звонил товарищу Кагановичу, просто из телефона-автомата, представьте себе, и пока добивался у железнодорожного начальства справедливости, и пока нашел начальника вокзала, набралось уже немало обиженных, ведь, по совести говоря, Даня, дорогой мой, по совести говоря, всеми этими непродуманными действиями в городе создали панику, люди готовы уже на все, один из писателей намеревался ему, Куркотину, набить морду, слава богу, обошлось без эксцессов, господа, вы не представляете, что творится с людьми в такие моменты, почему же, сказал Даня, прекрасно представляю; вагон стоял не на перроне, а на путях, почти в темноте, фонари горели очень тускло где-то там, Куркотин забрался наверх, тяжело дыша, и Даня начал передавать ему сумки, баулы, чемоданы, корзинки, внезапно Куркотин закричал кому-то там, внутри:

— Оставьте меня в покое!

Даня вздохнул и полез сам.

В вагоне — это был обычный вагон электрички, просторные деревянные сиденья, коридор, окна — в нем было уже надышано, люди лежали на лавках, накрывшись с головой, между сиденьями ходила дама в шубе и курила, кругом были навалены тюки — все выглядело совсем не так, как Даня представлял себе, Куркотин продолжал выяснять отношения, и вдруг кто-то совсем старый, с такой же старой женой, полез на Куркотина с кулаками...

Это было невыносимо.

Он уходил, скрипя гравием, когда неожиданно его окликнул тихий женский голос в темноте.

— Даня! Спасибо вам...

Это была Рина. Он махнул ей рукой и направился к гудящему и кипящему Казанскому вокзалу. Уже наступила ночь.

Через неделю Даня отправлялся вместе с семьей с Речного вокзала. Они плыли до Нижнего Новгорода, а оттуда должны были на поезде добираться до Барнаула. Вода была холодная, серая, от реки сильно дуло.

Перед отъездом Даня сидел на кухне (все уже легли), пил чай.

Вышла соседка, Светлана Ивановна Зайтаг.

Даня посмотрел на нее внимательно.

— Уезжаете? — спросила она.

— Да, на днях... А вы?

— А я остаюсь.

— Что так?

— А куда бежать? — нахохлилась она. — Кто-то должен оставаться в Москве.

Работать в библиотеке, в школе. Выключать свет на ночь. Включать по утрам. Варить кашу.

— Было бы из чего... — вздохнул Даня.

— Найдем...

Помолчали.

— Или вы подозреваете меня в предательстве? Ведь мой отец — немец... — вдруг спросила Зайтаг.

— Какая мне разница... Нет, не подозреваю.

По наитию, не понимая сам, что делает, Даня вдруг сказал:

— А можно я вам оставлю ключи? Не пускайте, пожалуйста, никого.

Она кивнула.

— Спасибо.

— А можно я тут на кухне покурю? — вдруг спросила Зайтаг. — На улице холодно.

Семья токаря Васильева тоже собиралась уезжать вместе с заводом, тем не менее, когда Даня, Надя и дети остановились в коридоре, чтобы попрощаться, соседи вышли с каменными лицами, и Васильев сказал сурово:

— Бежите, значит? Оставляете Москву?

— Это ненадолго, — сухо ответил Каневский.

...В тот день, 16 октября, вернувшись с Казанского, он подошел к секретарю парткома Искину и спросил, что с ним будет, если он не уедет.

— Почему не уедете? — искренне удивился Искин.

— Может быть, я попрошусь на фронт, или найду работу в Москве...

— На фронт... — присвистнул Искин. — Об этом раньше надо было думать, Даниил Владимирович. Сейчас уже поздно. Нужно разворачивать производство в тылу. Это приказ Сталина. Вы меня хорошо понимаете?

Барнаул

От вокзала в Барнауле Каневским пришлось тащить вещи самим, трамвай не ходил, была какая-то авария на путях, Даня нанял носильщика и сам тоже нес чемоданы, нес медленно, часто останавливаясь. Надя, Этель, Роза и Сима смотрели вокруг с любопытством.

Темный, низенький город, с редкими отблесками светящихся витрин, если заглянуть в боковую улицу — там сразу ощущалась бесконечность: долгого поля, потом долгого неба, в которые упиралась любая улица; город был как будто затерян в степи, в космосе — это вечером, когда звезды и темно, днем же все показалось Дане уютным, деревенским и нестрашным. Однако надо было ехать на комбинат, он вышел из подъезда их нового дома, попрощавшись с Надей, — тут им, кстати говоря, обещали отдельную квартиру, но пока поселили с соседями, вышел и оглянулся на окна: Надя махала ему рукой. Дом как дом, шестиэтажный, новенький, блестел краской, сиял окнами, над каждым подъездом — звезда в колосьях, этакий медальон из алебаstra или чего-то такого, белый мягкий камень, веселые завитушки над высокой дверью, огромная высоченная, хотя и ненужная арка, над аркой застекленный переход из одной части дома в другую, дом буквой «Г». В доме жили партработники, чекисты, профессора педагогического института. Чекисты многие пошли на фронт, в их квартиры подселяли эвакуированных, им освобождали комнаты. И это было тяжело, хотя и необходимо — здешние хозяйки принимали эту новую реальность с трудом, без всякой сознательности, без чувства локтя, присущего советскому человеку, иногда даже и разговаривать с новенькими не хотели, лед растапливали только дети, маленькие дети, их жалели, старались не обижать; к счастью, семью Дани поселили в квартиру,

где уже жили такие же эвакуированные, приехавшие чуть раньше, у них была общая судьба, и все старались относиться ко всему с пониманием. Даня так и сказал в первый вечер — давайте с пониманием, сосед, молодой товарищ, радостно закивал; бог весть, почему именно эта квартира стояла свободная, по какой такой причине, об этом Даня старался не задумываться, не хотелось знать точно, может быть, тут жила семья арестованного и расстрелянного врага народа, чекиста или инженера, пусть лучше не точно, пусть как-то расплывчато — «возможно», «скорее всего», «говорят», «может быть» — так было легче обживать эту временную жилплощадь, да и в самой квартире от прежней жизни почти ничего не осталось — новые жильцы (семья инженера Мавлевича, приехавшая из Москвы чуть раньше) все покрасили и побелили, и пахло краской, жутко пахло краской.

Мама Надя и Этель все время открывали окна, чтобы выветрить запах, а уже стояла суровая алтайская осень, приходилось накидывать пальто, на ноги тоже что-то теплое, но мучил этот запах свежей краски, соседи постоянно стучали в дверь: это у вас такой сквозняк? — сейчас-сейчас, мы закроем. Запах — главное, что мучило Этель, чужой, незнакомый запах — там, дома, на Вышеславцевом переулке в Москве, пахло лежалым, но родным, открыв ящик комода, она могла легко различить запах старых шерстяных вещей, летних платьев. Буфет весь пропах засахаренным вареньем, прошлогодним, которого уже не осталось, и шоколадными конфетами, которые Роза таскала из буфета несмотря на жесткий запрет мамы, улицы в Марьиной Роще пахли прелыми листьями осенью и весной, скрипом забора, шумом ветра, который шел от Площади Борьбы, там почему-то всегда была роза ветров, а здесь, в Барнауле, все запахи сливались для нее в один — запах беды, неизвестности, надвигающегося несчастья. Чужой город, провинциальный, нелепый, с утра она выходила из дома, чтобы убежать от этого запаха свежей краски и шла искать работу. Диплом инженера она защитить не успела, начальник вокзала устало в который раз смотрел ее документы, ему было некогда, он вздыхал, предлагал чаю, но у вас нет диплома, говорил он, как я вас оформлю, но даже если бы и был, ну я могу кассиром вас принять, вас это устроит? — в диспетчеры вы не годитесь, в инженеры путей тоже, что я могу сделать, Этель Даниловна, вздыхал он. Старый уже человек, который помнил ад на путях, когда к востоку пробивались колчаковские поезда, набитые сверх всяких норм такими же семьями эвакуированных, беженцев, которые бежали от красных и тащили за собой весь скарб прежней жизни, бесконечный скарб, ненужные пальто, ненужные украшения, ненужные книги, ненужную посуду, избавляясь от них на толкучках и получая взамен муку, домашнюю колбасу в обмен на целый патефон или хрустальный сервиз, крестьяне тогда сильно разбогатели, но ненадолго, потом начался голод уже в деревнях, он помнил, как высаживались на станции строгие военные эшелоны с белочехами, красными латышами, с пехотными полками, с военными людьми, когда не сразу можно было понять, за кого они воюют, и которые в первые же два часа, прямо в районе вокзала, расстреливали человек десять случайных людей, чтобы установить твердый порядок, он помнил таких вот нежных девушек с огромными красивыми глазами, домашних и испуганных, которых пока еще живые отцы везли на восток, чтобы там затеряться и оставить их навсегда одних, он все помнил, этот начальник вокзала, но что он мог ей сказать — Этель Даниловна, дорогая, — но она не хотела уходить, ведь он был единственным интеллигентным человеком, которого она нашла в этом городе...

— Слушайте, — говорил он ей, наливая очередной стакан чая и вспоминая военную дисциплину и становясь вдруг суровым и усталым, — слушайте, у меня больше нет на вас времени, вы не сможете здесь устроиться по специальности, а вы взрослый человек и вы должны работать, идите в больницу, в школу, в библиотеку, в райком партии, идите куда-нибудь, но не сюда.

Его мягкий подбородок, тщательно выбритый и оттого еще более мягкий, его

глаза за очками, испуганно оглядывающие ее, — это было единственное пристанище в Барнауле, дома ее ждал этот адский запах свежей краски, от которого у нее страшно болела голова, пустые комнаты, Роза и Сима ходили в школу, а Этель не знала, куда ей ходить, и она ходила к начальнику вокзала каждый день, пока отец, вернувшийся однажды с работы чуть раньше, вдруг не сказал ей:

— Шурочка, я не понимаю, чего ты там добиваешься, тебе не нужно (голос его стал тяжелым) устраиваться на железную дорогу, мы тут ненадолго, поверь, Москву отбили, скоро производства начнут возвращаться обратно, по крайней мере мы точно сможем вернуться, а если ты будешь служить на железной дороге, тебя не отпустят, иди в больницу, ты поняла меня, иди в больницу, наймись нянечкой...

И снова повторил:

— Это ненадолго.

Больница, больница, больница...

Областная больница, три корпуса целиком отдали под госпиталь, кругом сновали люди, Этель долго, скрипя снегом, ходила вокруг, не понимая, куда ей надо, наконец, нашла какую-то пожилую медсестру, та, оглядев ее с головы до пят, показала нужную дверь, где ее сразу спросили, а что вы умеете, ничего не умею, а как же вы тогда, ну хорошо, вы будете мыть полы, посуду, выносить судно за лежащими? — это вопрос? конечно, буду, а как еще?.. — как еще — действительно, а как еще? — она помыла руки, надела несвежий белый халат, вошла в нескончаемую больничную палату, коек на сорок, на восемьдесят — здесь когда-то был актовый зал, огромные окна под потолок, сливающиеся под потолком крики, она медленно шла следом за какой-то другой медсестрой, та хотела показать ей, как выносят судно, искала лежащего, а вот, смотри, новенькая, повернула его, и вдруг у него из горла хлынула кровь, етить твою мать, охнула сестра, да держи, не стой, подними его, она взяла за плечи, запах, страшный запах лекарств и залежалого тела, она поддержала его, смогла, потом что-то сказала несчастному раненому, все будет хорошо, у кого, у нее? у него? — потом пошла за сестрой к врачу, оформляться, и вдруг, уже выходя из палаты — упала...

Очнулась от громкого, неприятного, как железом по стеклу, голоса — голос выговаривал старшей медсестре, которая слабо оправдывалась, да что ж такое, да зачем вообще, без подготовки, без учебы, а мы что, а у нас людей нет, а я вам объясняю, продолжал голос, что прежде чем брать человека, нужно с ним поговорить, найти ему дело по плечу, вы же видите, девушка с образованием, а что, вам не нужны грамотные люди, ну так и скажите, она с трудом повернула голову — за столом сидел офицер, нога на ногу и важно покачивал этой ногой в сверкающем сапоге, увидев, что она очнулась, он быстро подошел и сказал:

— Вас как зовут?

— Шура... То есть Этель, по паспорту.

— Вот, Шурочка, скажите, вот вы зачем пошли к раненым? А? Если вы не умеете, зачем? Александра Семёновна вас пустила, но она ж не знала, что у вас такая реакция на вид крови, нормальная реакция, обычная, но она ж не знала, а если бы вы головой ударились? Ну как такое вообще можно допустить, пойдемте со мной...

И вот она бежала за ним, с трудом, не поспевая, по длинному коридору, удивляясь, как быстро он ходит и почему при таком грозном, неприятном командирском голосе, уверенной стати и невероятно быстром шаге он такого маленького роста, а она его все равно не может догнать, она бежала за ним, глядя в его рыжую макушку, а иногда в смеющийся глаз, который он косил на нее, произнося очередную нелепую шутку; она их не понимала, она ничего не могла понять, что он ей говорит, и коридор был бесконечен, туда, сюда, на первый этаж, переход в другой корпус, подвал, опять лестница, опять переход, они шли и шли, потом пришли в лабораторию, ее оглушила тишина, в госпитале везде кричали или везли каталки, или что-то звенело, грохало,

стучало, а здесь тикали ходики, и все, больше ничего, стояли ряды пробирок и сидела пожилая женщина в очках, записывая что-то в тетрадь, она медленно подняла глаза и медленно улыбнулась, привет, сказала женщина неожиданное слово, которое здесь прозвучало дико, здоровья желаю, скрипучим своим неприятным голосом сказал Герш Давидович и оглянулся: работаешь, Изольда? — задал он ненужный вопрос.

Впрочем, странное ощущение тишины было недолгим — начали хлопать двери, заносить новые «образцы» в металлических ящиках, здесь изучали человеческие выделения — кровь, слюну, мазок, кал, мочу, это было неприятно, но чисто, выделения изучала Изольда, женщина в очках, а еще нужно было *записывать результаты*, результаты она научилась записывать быстро; благодаря протекции Герша Давидовича она получила работу, нужную работу, нужную для людей, это было самое главное, и посильную для нее, работу, где потребовалось ее образование, человек после пяти курсов института мог записывать и запоминать все эти слова, формулы, цифры, по крайней мере, она хотела этому научиться и научилась без проблем; когда он попрощался, сказав, что еще вернется, Изольда снова медленно улыбнулась, до свиданья Герш Давидович, до свиданья Шурочка. «Шурочка?» — переспросила она сама себя, когда он уже покинул помещение.

И потекли другие дни, в этой белой комнате, с Изольдой и чернилами, которыми она заполняла журнал, чернила застывали, а карандашом запрещалось, она грела склянку в руках и снова писала, под ходики и уютные разговоры про Герша Давидовича. Герш Давидович, кстати, оказался не майором и не полковником, а старшиной медицинской службы, он вообще не работал в госпитале, а привозил сюда *своих* раненых, его медсанчасть прибыла в Барнаул на реформирование, а что это означает, спросила она Изольду, такое длинное сложное слово. Ну как тебе объяснить, дурочке, вздохнула Изольда, ну вот в полку тысяча бойцов, двести убило, сто взяли в плен, триста раненых — без ног, без рук, контуженных, кому-то повезло, они легко раненые, плечо пробило, или шею, вот они тут у нас кантуются, а полк, он что, он прибыл на пере-фор-ми-ро-ва-ние, его заново надо набирать, офицеров новых ставить, бойцы хоть немного отождутся, отоспятся, хотя спать им не дают, гонят на плац. Она ничего не понимала, зачем, куда гонят, а потом? Ну а что потом, потом обратно на фронт. Она действительно не понимала, вот этот Герш Давидович, значит, он скоро исчезнет или как? — ну не скоро, не скоро, сказала Изольда, месяц, полтора, вот так, примерно...

Потом опять уедет на фронт, да, на фронт. Начальник медсанчасти, начальник медсанчасти, повторяла она про себя.

Герш Давидович снимал комнату в городе, у него было такое право — жить не в казарме, он снимал комнату в большой коммунальной квартире, у него были свой стол на кухне и свой ключ, которым он отпирал квартиру. В часы досуга, а они были очень редки, они с Шурочкой гуляли по центру города, мимо дома с башенкой, в котором был гастроном, туда можно было зайти, попить кофейный напиток с молоком, они заходили и пили, чтобы согреться, съедали булочку, пирожных не было, а булочки все же были, Шурочка, послушайте, говорил он горячо, но вы же понимаете, что это судьба, ну да, она понимала, краснея, конечно, судьба, а что же еще?

Запах краски в новом доме она чувствовать перестала. Да и приходила очень поздно.

— Что тебя там так задерживают? — возмущалась мама.

Этель предательски краснела, но этого почему-то никто не замечал.

Конечно, поле для маневра у Герша Давидовича было, прямо скажем, не очень велико, и это прекрасно понимали они оба — работы в госпитале не убавлялось, а прибавлялось, ей же приходилось и нянечек подменять, и даже сестер (с трудом, но как-то она привыкла к виду бинтов и крови), но все-таки иногда удавалось выкроить

пару вечерних часов. Однако старшина медицинской службы скорее рассчитывал на день, на это тихое и как бы совершенно безобидное время суток, когда человеку положен обед, а если он не очень хочет рассиживаться за тарелкой, можно и погулять.

Наступили мартовские солнечные дни, мороз стоял градусов около двадцати, все блестело и сияло, в парке культуры и отдыха можно было провести не менее часа — здесь продавали горячий чай в ларьке, да и вообще было красиво и тихо меж памятников и обелисков героям революции и культурными деревьями.

Здесь и состоялся важный разговор, который она запомнила почти дословно и на всю жизнь.

— Знаете, Шурочка... — задумчиво сказал Герш Давидович. — Возможно, что я вам не подхожу, вернее, возможно, что вы или ваши родители могут считать, что я вам не подхожу, потому что вы московская барышня с высшим образованием, красивая, как сама Венера....

Она кинула в него снежком и засмеялась. Тон у него был веселый. Но постепенно, постепенно она начала краснеть все больше.

— Но понимаете, это только на первый взгляд. Дело в том, что я буду вас любить всю жизнь, а это, поверьте мне, не так уж часто бывает. Всю жизнь я буду вам благодарен за то, что вы согласились...

— Вы что, делаете мне предложение? С ума сошли? — закричала она возмущенно.

— Да нет, что вы, — с поклоном ответил он. — Я просто выясняю наши отношения. Так вот, я буду любить вас всю жизнь, но что самое главное и гораздо более ценное, поверьте мне, дорогая Шурочка, я всю жизнь буду говорить вам правду и только правду, так уж я устроен...

— Ну, хватит, — приказала она.

— Конечно, хватит... — грустно согласился он. — Послушайте, конечно, вы правы, для того, чтобы на вас жениться, мне еще предстоит большой путь, и для этого, для начала, надо еще вернуться с фронта. Но вот ведь какое дело, на фронт я уезжаю довольно скоро, а в театре мы с вами еще даже не были!

Так он наметил этот день — когда они, вполне официально, отправились на свидание.

Мама, впрочем, долго сопротивлялась.

— А можно я сначала на него посмотрю, прежде чем отпустить тебя куда-то на весь вечер в незнакомом городе? — едко вопрошала она.

— Нельзя! — кричала Этель. — Он занят! Идет война! Он с ранеными!

— Тогда не пуцу!

— Нет пустишь!

Пришел с работы папа Даня и тоже сказал, что хотел бы своими глазами взглянуть на человека, который нашел в Барнауле театр.

— А что такого? Сейчас все театры эвакуированные! — не сдавалась она. — Из Москвы, из Ленинграда, из Одессы, из Киева!

— А здешний откуда?

— Не знаю! Это не имеет значения!

— Имеет!

Так они могли кричать друг на друга целый вечер. Роза ей страшно завидовала, а младший брат Сима молчал. Он очень не любил, когда кричат.

И действительно, коллектив, дававший драматические представления в Доме культуры имени Дзержинского (в областном драмтеатре давали оперы) — был на восемьдесят процентов эвакуированный коллектив из Советской Белоруссии, из города Витебска. Гершу Давидовичу удалось достать два билета на «Любовь Яровую».

Все было прекрасно — сверкающая люстра среди белых колонн в фойе, буфет

с газировкой, глаза болели от золотых звезд, фуражек и орденов — на переформировании в Барнауле было немало частей, и множество офицеров пригласили своих дам в театр, все сверкало и блестело, но когда начался спектакль и погас в зале свет, и вышли артисты на сцену — после пяти минут восторга и счастья Этель вдруг почувствовала легкое разочарование: прима была напыщенной, толстой и староватой, зал вежливо молчал, когда белые и красные произносили известные реплики и монологи, *та* война была уже в прошлом, и очень хотелось что-то посмотреть и послушать про войну новую, про сегодняшнюю их жизнь. Герш Давидович чутко уловил настроение спутницы и тихо предложил ей покинуть дом культуры имени Дзержинского уже в антракте.

— Да вы что? — изумилась она. — А вдруг во втором акте будет интересно?

— Погода хорошая... — пожал он плечами. — А я же вижу, вам скучно...

— Все-то вы видите, — засмеялась она.

Они медленно шли по улице, наслаждаясь внезапной свободой. Вот сейчас, именно в эту минуту, никто их нигде не ждал, никто не искал. Это было так здорово. Вокруг были огромные, просто огромные белые сугробы.

— Слушайте, — решительно сказал Герш Давидович. — А давайте зайдем ко мне? Нет, правда. У меня уютно. Торшер, кресло. Есть даже шампанское.

— Ну... если это недалеко, — вдруг сказала Этель и сама себе поразилась.

Вот так все это и случилось. Они болтали, хохотали, незаметно выпили бутылку шампанского, она погладила его по голове, он припал к ее коленям, и все произошло ну, буквально так, как она себе и представляла (что было очень важно), — без суеты и спешки, но и без церемоний, естественно и свободно, что тоже было важно, все остальное она представляла себе не так — квартира была ужасная, стены обшарпанные, диван скрипучий, но торшер был, шампанское было, мягкое кресло было, и главное — было ощущение, что это не дурной сон, что к ней вернулась ее собственная жизнь, в которой она сама себе хозяйка! Этель пришла домой взволнованная, но довольная, долго пересказывала маме спектакль, который благодаря радиопостановкам знала наизусть, описывала актеров, зал, декорации и обещала привести Герша Давидовича домой в ближайшее воскресенье, если у него будет выходной.

Но в ближайшую субботу, то есть через три дня, Герш Давидович, старшина медицинской службы, отправился на фронт вместе со своей частью.

Они даже не успели попрощаться.

Этель прорыдала весь день и всю ночь, дома и на работе, на улице и в столовой, а когда отрыдалась, мать прижала ее в углу и твердо спросила: что у вас было?

Отпираться уже не было сил.

Ну, было и было, в конце концов, война. Мало ли что бывает, но с этих пор мать стала за ней пристально следить и на первых же признаках токсикоза потащила ее в поликлинику.

Врачиха, пожилая седая женщина с усталым взглядом, все подтвердила.

— Ну как же вы так, лапочка? — укоризненно, хотя и ласково, спросила она.

Мать холодно молчала, не проронив ни слова. Вместе они вышли из кабинета, Этель — понурившись и поникнув, мать с гордо поднятой головой.

— Будешь рожать, поняла? — сказала она, когда они оказались дома.

Аборты, кстати, были запрещены по закону, но многие выходили из положения, договаривались с врачами, те писали липовые заключения о патологии, а кто-то рисковал обращаться к бабкам-повитухам, жизнь, как говорится, продолжалась и во время войны, но все эти варианты были матерью строго отмечены — что называется с порога.

— Будешь рожать, и точка, — сказала она, и стала что-то записывать в старую тетрадку с рецептами, где еще оставалось несколько чистых листов.

...Теперь Этель жила по часам.

Еще три месяца она работала в госпитале, стараясь не поднимать тяжести (это не всегда получалось), уходила ровно во столько, во сколько предписывало ей расписание, медленно и долго шла по улице, дыша свежим воздухом, в обед ела кашу с тыквой, принесенную из дома в баночке, это пока был единственный «фрукт», который можно было найти в Барнауле, ровно через три месяца мать заставила ее написать заявление об уходе, и теперь она гуляла в день по четыре часа, ела четыре раза в день (неважно что, что-нибудь «свежее и горячее», как говорила мать, — щи из кислой капусты, картофельные драники, если повезет — творог), и слушала классическую музыку.

От драников, от четырехчасовых прогулок, от классической музыки она вскоре очень устала, как будто от работы в госпитале в ночную смену, мама, но я же не раб на галерах, говорила она, хочется просто поваляться, поесть мороженое, мать смотрела на нее все тем же холодным взглядом, теперь, говорила она, все будет по-моему, а не по-твоему, поняла, ну а как по-твоему, а вот так, ты должна заботиться о своем здоровье, значит, будешь. Во всем этом была какая-то безысходность, эта безысходность опускалась на нее, как темная ночь, как только она утром открывала глаза, с трудом вставала и шла в туалет умываться, несмотря на прогулки, творог и драники, несмотря на сверкающую чистоту кругом, несмотря на заботу окружающих и их безусловную любовь, ее тошнило от этой безысходности, это был не токсикоз, но ее тошнило, от самой себя и своей жизни, от этих стыдных походов к врачу, от взглядов на улице. Всем вокруг, как казалось ей, была очевидна ее история, она с ужасом смотрела на свой полнеющий живот и думала, что же будет дальше, и так продолжалось до жаркого алтайского июля, а в жарком алтайском июле случилось чудо — Герш Давидович прислал письмо!

В письме он просил прощения за долгое молчание, связанное с боями и переброской их части с одного участка фронта на другой, говорил, что очень скучает, верит и надеется на новую встречу.

Письмо читали всей семьей, включая Симу и Розу.

— Надо ему написать! — твердо сказала Роза.

— Ни в коем случае! — твердо ответила мать.

— Мама, мама, но почему? — запротестовала Роза. Розу всегда поддерживал Даня, но в данном случае он молчал. («Мнение отца в данном случае не имеет решающего значения», — как высказался он позднее.) — Он должен взять увольнительную, он должен приехать! Мы должны, наконец, его увидеть!

— Обойдемся — сказала мать и пошла на кухню готовить драники по расписанию.

Что касается Шурочки, в душе ее все пело, она не хотела ни с кем ничего обсуждать, она не могла дождаться того момента, когда ее, наконец, как какую-то корову, накормят драниками и творогом и она сможет написать ответ.

«Дорогой Гера! — писала она, пытаясь от волнения не сделать кляксу. — Очень рада вашему письму, хотя, не скрою, эти три месяца были для меня довольно тяжелыми... (Она поставила три точки, надеясь, что он, интеллигентный человек, медик, все-таки догадается, что именно она хотела скрыть в этих трех точках — нет, не беременность, а что-то другое, другое, совсем другое). Из госпиталя я уволилась (нарек? нет), теперь все мы ждем возвращения домой, в Москву, и будем рады вашему визиту, и хотя мама и папа вас не знают, они будут страшно рады познакомиться и увидеть нашего brave фронтовика (ирония? нет) — я тоже скучаю и, когда прохожу мимо Дома культуры имени Дзержинского, вспоминаю многое, очень многое, вспоминаю вас и думаю, что эта встреча была не случайной. Берегите себя. Что вам прислать? Ваша Этель».

Письмо было коротким (на длинное у нее не хватило бы сил), но нежным. Именно так, как нужно.

Она в тот же день кинула его в почтовый ящик, а письмо Герша Давидовича всегда носила с собой, чтобы мама, не дай бог, не выкрала и не написала ему глупостей.

Впрочем, вряд ли она была на такое способна...

Теперь ей нравилось все.

Ей нравился даже Барнаул — тихий деревянный город, затерянный среди огромных степей, с шумной базарной площадью, куда мама отправлялась каждое утро за *свежими* продуктами (господи, какие там были продукты, картошка, да и та втридорога, на мясо у них просто не хватило бы денег) — ей нравилась улица Ленина с новыми каменными домами, с этими странными ненужными арками и стеклянными переходами, алебастровыми звездами в колосьях над подъездами, новая архитектура, стремительная, как Герш Давидович, ей нравилась мамина еда, *чистая еда*, это самое главное, что еда была чистой, хотя что именно она под этим имела в виду, она даже не могла бы себе объяснить, ей нравились толчки в живот, и сам живот, ей нравились прогулки по парку, где они когда-то гуляли вместе, ей нравилось вычислять, когда она получит ответ, а в ответе она нисколько не сомневалась, а в сентябре, когда пошел уже седьмой месяц ее беременности, семья засобиравалась домой, папа оформил вызов, предприятия легкой промышленности возвращались в Москву, он списался с соседями по дому в Москве, с домоуправлением, взял билеты, и она в последний раз пошла к врачу в женскую консультацию.

Это была та самая старая седая женщина, которая принимала ее в первый раз. Звали ее Тамара Георгиевна. Теперь Этель поняла, что именно ей не понравилось: врачах явно сама страдала — от болезней, от какого-то личного горя, бог весть, и это отражалось в ее взгляде — ну что ж, всем сейчас тяжело, и надо пожалеть человека, а не таить неприязнь.

— Уезжаете? — с каким-то облегчением спросила она мать. (Мать всегда заходила в кабинет вместе с ней, это даже не обсуждалось, и врачи тоже принимали это как данность). — Ну что, это хорошо, в Москве медицина посильнее нашей. В том числе гинекология. Ну, давайте посмотрим.

Осмотр оказался неожиданно долгим и даже слегка болезненным. Этель устала.

— Вы знаете... — тревожным голосом сказала Тамара Георгиевна. — Я должна вас немного огорчить.

Мать побледнела.

— Вы только не волнуйтесь, но... плод пока не перевернулся. Пока еще рано говорить, но... велика вероятность того, что он выйдет ножками.

— Как ножками?

— Ну... обычно к седьмому все нормально уже, но, конечно, возможны исключения. Вы главное, не волнуйтесь.

— Можно мне попить? — тяжело дыша, спросила мать. И вдруг тихо заплакала.

Этель было стыдно. Она покраснела от стыда.

— Мама, мама, ну что ты?

Я знала, — твердо сказала мать, справившись с собой, — я знала, что все пойдет не так, это было ясно с самого начала, стойте, сказала Тамара Георгиевна, что значит не так, в остальном все в порядке, ну что в порядке? — я вообще ничего не могу понять, сказала Этель, какая разница, как он пойдет, лишь бы пошел, они обе посмотрели на нее, как на полную идиотку.

— У тебя будут тяжелые роды, дура! Понимаешь? — сказала мать и отвернулась.

Они долго молчали, все трое, по-разному переживая случившееся.

— Но вы знаете... — несмело сказала Тамара Георгиевна, поправляя механически

седую челку, и вдруг стала безумно симпатичной. — Даже если он и дальше не перевернется... Есть один способ... Курага. И кукурузная каша.

— Что? — тихо спросила мать. — Что вы сказали?

— Другие врачи, возможно, вам этого не скажут, но поверьте мне, у меня большой опыт. Да, это простое средство, но оно помогает. Каждый день стакан кураги. Каждый день. Полстакана утром, полстакана вечером. И кукурузная каша.

— Но где же мы ее возьмем... — сказала мать. — Сейчас война.

— Здесь нигде... — ответила Тамара Георгиевна. — По крайней мере, в таких количествах. А в Москве — попробуйте.

И вдруг спросила:

— Вы не курите?

— Нет... — растерянно сказала мать. — А что?

— Пойдемте покурим, — решительно сказала врачиха, и они надолго ушли.

Этель осталась одна.

Она смотрела, лежа на кушетке, на белый потолок, стеклянные дверцы шкафчиков, отрывной календарь на стене, выкрашенный белой масляной краской подоконник, залитое дождем оконное стекло и пыталась представить — как же это так, ножками? Почему это страшно?

И еще пыталась представить себе эту мокрую голову, вылезающую из нее.

Курага, таким образом, превратилась в идефикс этой семьи, как только поезд тронулся с вокзала в Барнауле.

Уже на станциях, где были долгие многочасовые остановки, хотя, конечно, мало что напоминало железнодорожный хаос начала войны — мама посылала отца за курагой, «спросить у крестьян». Даня злился, но шел.

— Мама, что ты его мучаешь? — говорила Этель, задумчиво глядя в окно поезда. — Во-первых, какие тут крестьяне? Во-вторых, какая тут курага?

Она вообще, если честно, плохо помнила — что такое курага.

В Москве в это время была поздняя осень. Мама пошла на рынок и вернулась обескураженная. Фрукты никто не продавал. Продавали все остальное: платья, светильники и торшеры, сигареты, масло, крупы, швейные машинки, пишущие машинки, подштанники (кальсоны), бюстгальтеры, туфли, жакеты, комоды, лошадей, кошек, подсвечники, свечи, пружины, моторы, велосипеды, снова табак и снова сигареты, американскую тушенку, любые другие консервы, крупы, масло, но нигде не было видно ни яблок, ни винограда.

— Откуда им взяться, подумай сама? — горько сказал отец. Надежды на курагу таяли. Роза взяла в библиотеке толстый медицинский справочник и начала читать про кесарево сечение, ей было интересно, что будут делать со старшей сестрой.

— Не может быть... — повторяла мама Надя, лежа в темноте с открытыми глазами и не давала Дане спать. — Не может быть, чтобы ее не было. Мы же в Москве. Мы же не в Барнауле.

Пожалуй, самым огромным рынком в Москве в ту пору был Центральный. В те осенние дни сорок третьего года он раскинулся на протяжении всего Цветного бульвара и даже дальше, на Трубную площадь. Даня отправился туда, спустившись по Самотеке, в воскресенье с самого раннего утра.

В принципе, как и все советские люди, Даня не любил торгашей, спекулянтов и так далее. Он помнил это чувство со времен Гражданской войны — «мешочники», называли их тогда, на самом деле это были крестьяне, которые пытались прокормить свои семьи, путешествуя часто без билетов на крышах вагонов, они вызывали у людей всеобщую ненависть и подозрение, часто их грабили, убивали, но они упорно возили

на рынок, кто чем был богат — сало, муку, копченую рыбу, хмурые, затравленные, готовые на все что угодно, чтобы только выжить...

Он, тогда молодой и посвященный в великие тайны строительства новой жизни, вообще не понимал, как можно наживаться на голоде других — ну ладно, сам жри, семью корми, соседям, я не знаю, помогай, но наживаться на беде? Потом, попав в хлебозаготовительную контору, он взглянул на это иначе.

...Все это куда-то давно ушло, сгинуло, одна волна бесконечных улучшений и прекрасных преобразований сменялась другой, пока все не уперлось в войну, и кто бы теперь знал, как искал, как надеялся Даня найти на рынке, раскинувшимся на грубо сколоченных деревянных столах, вот этих прежних «мешочников», этих злых крестьянских торговцев — была ему нужна всего лишь курага, но она для него теперь была на вес золота.

Здесь было мясо, был хлеб, иногда масло и молоко, все втридорога, крупа, мука, овес, гречка, табак — все по баснословным ценам, но в основном торговали старьем — старые башмаки, тут же сидели сапожники и ставили новые подметки, резали каблуки.

Ничего похожего на прежний рынок, конечно, не было.

Даня тем не менее не торопился уходить. Он понимал, что такой товар — сушеные фрукты, абрикосы — нужно поискать, да и к тому же ему был нужен целый мешок, а это в принципе уже состояние, которым он, конечно же, не обладал.

Он начал разговаривать с людьми.

— Неужели ничего такого не привозите? — ожесточенно спрашивал он узбека в грязном халате, который сидел на разломанном табурете у мешка с воблой.

— Привозим, конечно, — сказал узбек. — Колхоз же работает. Но все через торговую базу, уважаемый. Все для правительства.

— Для кого? — не понял Даня.

— Для правительства, уважаемый... — вежливо пояснил узбек.

Даня посмотрел на узбека.

Тот сидел, улыбаясь. Странно вообще, как его пропустили в Москву. Строгие посты, город в кольце оцепления, комендантский час. Но он же проехал!

— А еще тут твои есть? — вдруг вяло спросил Даня.

— Посмотри вон там, — лениво махнул узбек рукой в сторону Сандунов, и Даню осенило.

Медленным шагом он дошел до середины бульвара и там увидел кучку людей в халатах.

— Салям, уважаемые! — сказал он вежливо.

Они обернулись.

— Помощь ваша нужна...

Узбеки внимательно смотрели на него. Один улыбнулся одобрительно. Сверкнул золотой зуб.

— У меня дочь... На сносях, ребенка ждет... Ей доктор прописал... Сушеный абрикос, курага. Не знаете, где достать?

Они зацокали, стали быстро разговаривать друг с другом.

Один сказал:

— Дорого уважаемый, очень дорого сейчас абрикос.

— Я заплачу... — сказал Даня.

— Ну хорошо.

Подошел еще один узбек, уже в цивильном костюме.

У всех узбеков под халаты были подоткнуты шерстяные кофты, на ногах что-то вроде валенок.

Этот был в ботинках и пальто.

— Пойдем, — сказал он. — Деньги с собой?

— Да... — твердо ответил Даня.

Они долго шли, и Даня уже не знал, что это все значит и куда они идут, но минут через двадцать они зашли с черного хода в «Метрополь», и Даня оказался на кухне ресторана, где его встретил еще один узбек, по виду повар.

— Сколько нужно тебе, уважаемый? — четко спросил он.

— Сколько можете дать? Килограмм?

— Полкило могу. Только для твоей дочери.

И назвал сумму, которая была у Дани. Назвал ровно, до рубля.

Это был какой-то знак свыше.

— Через неделю могу прийти? — спросил Даня, забирая кулек и отсчитывая купюры.

Они еще посовещались на своем языке — с тем, в пальто и ботинках.

— Приходи. Спроси Сулейманова, Сулеймана Владимировича. Это я.

Теперь Даня шел по центру города — мимо ЦУМа, мимо Малого и Большого театров, в толпе прохожих, бережно держа в руках кулек с курагой.

Он, конечно, не знал, поможет ли курага ребенку перевернуться во чреве, но так же, как и вся семья, верил в ее волшебную, целебную силу.

Что-то было во всем этом сказочное, и он улыбался. Улыбался сам себе, не по обязанности, а сам себе, это было с ним впервые за долгое время.

Слава богу, что они вернулись во второй половине сорок третьего года, когда появился ленд-лиз. Эти банки с американской тушенкой, консервированной ветчиной, эта кукурузная крупа и яичный порошок, который можно было перевозить в мешках, многих спасли от голодной смерти в те месяцы.

Москва сидела на голодном пайке.

Первые вернувшиеся из эвакуации жители горько пожалели о том, что так поторопились. Конечно, и в эвакуации было несладко, но здесь было плохо совсем.

Бабушка Вадимира Николаевича Н., с которым Даня говорил много позже после войны, собирала лебеду по дороге на работу, они жили на Ткацкой улице, у старинной Семёновской мануфактуры, которая постепенно возвращалась в Москву и расконсервировала производство, а пайки были такие, что бабушка, половину пайка отдававшая внуку, опухла, все тело ее покрылось чирьями, она умирала, и лебеда (лепешки с лебедой, летняя еда москвичей) не спасала, и когда бабушку отвезли в больницу на Соколиную гору и уже начали думать, где хоронить — появился ленд-лиз, стали торговать консервами на рынке, да и в пайках его понемногу стали давать, и бабушка, впервые откушав консервированной ветчины, тут же воскресла.

Этот рассказ, как понял Даня гораздо позднее, был типичен для многих москвичей.

Люди умирали от недоедания на фронте, в тылу, в колхозах, на фабриках и заводах. Умирали не все, а те, у кого организм не выдерживал слишком скудного рациона, слабые, старые, дети, остальные как-то дотянули до лета сорок третьего, до поворота в войне.

Но умирали они и потом.

Даня шел с драгоценным пакетиком в руках, ощущая это как чудо и в то же время как преступление. Потому что все остальные голодали, а он *искал курагу*, но он знал, что делает, может быть, одно из лучших дел в своей жизни, спасая только что зародившуюся новую жизнь.

Между тем ситуация с голодом, как и со всем остальным, была неоднозначной, прямо скажем, совсем не однозначной.

Везде, в разных местах, на разных участках фронта, в тылу, все было по-разному.

Голод и относительная сытость не распространялись равномерно, они текли, как горячая лава или как грязевой сель с горы, затекая в одни прорехи и минуя другие.

В хорошие дни на фронте солдатам в окопы подвозили горячую кашу, сто граммов спирта, хлеб и даже тушенку, в другие дни они драли кору с деревьев или пытались хоть что-то найти у окончательно обезумевших крестьян — хотя бы горсть муки на дне старого мешка.

В штабе армии между тем исправно варили на обед горячий борщ и нарезали ломтики сала на бутерброды. В любые дни, что бы ни было — наступление, отступление, — если штаб был на месте, кухня работала на совесть.

Ординарцы находили для любимого командира из-под земли и картошку, и мясо.

В колхозах Урала, Сибири, Алтая, которые отправляли «на фронт», то есть в центр, в Москву, свой хлеб поездами, женщины и дети, которые тогда сами впрягались в плуг вместо лошадей, могли падать от усталости и от голода (хотя огород все же поддерживал), в те же самые дни в Ленинграде были случаи людоедства, но в Москве можно было достать все, что угодно.

Да, за бешеные деньги. Да, с риском попасть в тюрьму. Но достать можно было всё.

Первого пакетика кураги им хватило ровно на неделю. Мать бережно вынула самый маленький стакан из старого буфета — пусть маленький, но главное, чтобы стакан в день. Даня подумал и начал искать знакомых в системе общепита. Знакомых не было, но у знакомых были знакомые, у которых были знакомые — и очень скоро ему открылась общая картина продовольственного снабжения столицы нашей Родины, которая, конечно, его потрясла.

Трудно было даже осознать масштаб и направление потоков ценнейшего продовольствия (в те годы просто золотого), которые проходили через эту систему. Каждый день через эти тайные потоки (тайные трубы) проходили центнеры икры, вырезки, балыка, винограда и клубники, конфет и пирожных, чая и кофе.

Ему не нужно было даже ничего анализировать, наводить справки и подсчитывать. Все было понятно и так — достаточно было сопоставить факты.

В Москве, еще недавно сидевшей на осадном положении, в Москве, где скучная еда была только по карточкам, — вдруг открылся громадный «коммерческий сектор». Сотни кафе и ресторанов, сотни рюмочных и пивных (эти теперь были на каждом шагу, лишь у них, на Октябрьской улице, таких точек было две), открывались «коммерческие» отделы и в продовольственных магазинах и гастрономах. Если до войны в так называемых «торгсинах» продавались за валюту деликатесы, то сейчас это были обычные консервы и продукты — за деньги, причем за огромные. Правительство продолжало любыми средствами изымать лишние деньги у населения, чтобы не допустить инфляции и поддержать торговлю. К этой же системе внутренних правил относил Даня и рыночную вольницу, вольготно расположившуюся на улицах Москвы. Был громадный рынок на Сенной (ныне Смоленской), громадные рынки на Арбате, на Сухаревской площади, на Сушёвке. А чтобы было на что сходить в рюмочную или в коммерческий ресторан, купить полкило колбасы в коммерческом отделе, москвичи шли на рынок, надеясь обменять и продать свои вещи. И получить деньги. Милиция могла, таким образом, спокойно ловить на рынках скупщиков краденого (с квартирными «малинами» она жестко боролась) и контролировать весь процесс «спекуляции» с помощью небольшого количества шпиков и постовых милиционеров.

Увы, к своему стыду он не мог почувствовать в себе ни капли классовой ненависти ко всем этим торгашам. Больше того, в нем шевелилось странное, нелепое чувство благодарности...

...Вскоре Даня выяснил, что таким сложным путем, как в первый раз, с черного хода шикарного ресторана, получать курагу вовсе не обязательно.

В принципе, она была. Иногда — в коммерческом отделе продуктового магазина, и тогда, позвонив на торговую базу, он мчался по указанному адресу, иногда в обычной столовой, иногда в закрытой столовой какого-то учреждения, в буфете, иногда там, иногда здесь — курагу удавалось купить по относительно невысоким ценам.

Тем не менее, эти деньги откуда-то надо было брать. Приходилось ограничивать себя, приходилось экономить, приходилось продавать что-то последнее, что еще не продали во время эвакуации (в ход пошли дорогие батистовые скатерти, например), — к счастью, вся эта история заняла всего лишь три месяца.

Перебоев с курагой у них в Москве не было.

Под пристальными взглядами родных Этель исправно, беспрекословно ела этот фрукт (сушеную курагу пару часов размачивали в воде) — и верила в чудо.

Во сне Даня видел, как переворачивается в утробе матери этот ребенок, его будущий внук, и это было похоже на то, что испытывал он, ныряя в воду, прыгая в нее с валуна, в соленую воду Чёрного моря когда-то давно, тело его и голова как будто съезжались под напором — и он бессознательно совершал лихорадочные движения руками и ногами, как какая-то нелепая каракатица, чтобы перевернуться...

Вот так и он там, только не в Чёрном море, а в каком-то другом, в другом море, в другой влаге, таинственной влаге жизни — Даня просыпался в холодном поту, накидывал халат и шел на кухню. Там курила Зайтаг. Она теперь спала, хотя и мало, редко. Этого ей хватало.

Однажды он спросил:

— Вам не нужно кураги? Я могу достать...

Она посмотрела на него мягко и улыбнулась:

— Спасибо, Даня. Спасибо, нет.

Зайтаг всеми правдами и неправдами сохранила их жилплощадь от гнусных посягательств домоуправления, и Даня очень хотел отблагодарить ее, но все не знал, как...

Однажды она поняла это и сказала:

— Не нужно меня благодарить. Я лицо заинтересованное. Я не хотела никаких новых соседей, для меня это было бы чересчур.

Долго спорили, где рожать.

Сама Этель хотела у Арбатских ворот (роддом Грауэрмана), но мама настояла на другом — роддоме у Никитских ворот, где работала ее давняя соученица, еще по городу Николаеву, теперь она была солидным, известным на всю Москву акушером-гинекологом.

За две недели до родов они пришли на консультацию.

Плод перевернулся. Благодаря кураге или пришло время — уже не имело никакого значения.

А в мае сорок четвертого года в Москву приехал Герш Давидович, перед этим они много переписывались с Шурочкой, и он знал, что ребенку уже три месяца. Командировка была короткая, на три дня.

— Здравствуйте, Этель Даниловна! — сказал он, стоя на пороге комнаты в своей серой армейской шинели. — Здравствуйте, Абрам Гершевич! — обратился он к ребенку. — Здравствуйте все! — сказал он, и начал вынимать из вещмешка продукты, аккуратной горкой складывая их на стол.

Даня и Надя смотрели на него молча, пытаясь понять, что это за человек.

(Окончание в слендующем номере)

Карен Тараян

Кочегары страны Аид

* * *

И кто б мы были, если бы не эта
смешная и лазоревая правда
стихов, июльским солнцем разогретых,
как будто бы они есть часть ландшафта.
Растут на пустыре среди полыни
и через нас, распарывая землю,
и говорят как будто на латыни,
и ей одной как будто бы мы внемлем.
Сидящие на яблоне синицы
и жук, пересекающий гряды,
вот наши тексты, на одной странице,
лежат, как тень от рабицы в саду.
И кто б мы были и зачем терпели,
(когда б не знали, что такое чудо),
дожди и пробки, тесноту, простуду,
и эти дни, как серые тоннели,
протянутые к синеве отсюда.

* * *

бог достаёт из большой корзины
души как спелые апельсины
выкладывает не глядя
на белоснежную скатерть
и запускает под видом комет
в одну из восьми планет
что попадётся в ладонь демиурга
станет таксистом швейи хирургом
красным околышем в серой тужурке
по три звезды в ряду
ступица объединяет спицы
центры окружены провинциями
знал бы он прикуп как говорится
жили бы в райском саду

Тараян Карен Маратович — родился в 1988 году. Окончил Московский государственный университет печати. Участник литстудии «Полиграфомания» московского «Политеха». Финалист всероссийского конкурса «Филатов-Фест». Автор двух поэтических сборников: «Подданный царства растений» (М., 2018) и «Неделимое частное» (М., 2020). Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

блещет небесный Иерусалим
через завесу дыма
знать не зазря мы в аду горим
чтоб им не тускло было
чтоб было хлеба и молока
вдоволь халва на третье
двери на крылышках мотылька
вместо железных петель
пламя бушует огонь чадит
отблесками играя
мы кочегары страны Аид
на обогреве рая
кто кроме нас им растопит печь
кто им наполнит ведра
кто им там будет тепло беречь
кто за огнём присмотрит
нежное облачное безе
тает на райском блюде
нет хуже ада в котором все
лишь о себе пекутся

* * *

Бог по составу
Как хлопок и лён
Бог нецелестремлён
Он свисает на нас
Обнимает как газ
Он как будто бы в нас влюблён

Над полями лугами
Над крышей ФСИН
Тело бога как апельсин
Он летает кругами
Чуть касается сапогами
Здания «Овощной магазин»

Кланяется дворникам и солдатам
Бог это вроде как мирный атом
Солнце садится за самым МКАДом
Над бегущей строкой
Пассажиров на мостовой
Он чуть слышно порхает рядом

Машет церквям и подъёмным кранам
Льнёт к витринам, балконам и ресторанам
И облака прикладывает к ранам
Как будто вату

Алексей Сальников

Буллинг животворящий

Рассказ

Михаилу представлялось, что человеческая адекватность — это что-то вроде циферблата. На «двенадцати» находилась норма — спокойное такое существование, когда быт человеку не в тягость, а даже радует, а больше ничего и не нужно. «Час» — там располагались неяркие футбольные болельщики, всякие просмотрщики сериалов, собаководы. На «двух часах» обитали почти те же самые болельщики, просмотрщики, собаководы, но уже с уклоном в коллекционирование всякого мерча, связанного с любимой командой, любимым сериалом, любимой породой блоховоза. Всяких значков и шарфов команд, футболок с номером форварда, плакатов с киногероями, магнитов с изображением корги. «Три часа» подразумевали некую уже социальную активность в рамках увлечения, то бишь: поездки на чемпионаты, косплеи, собачьи клубы. Дальше там было много всего. В общем, «без пяти двенадцать» на Михайловой шкале адекватности обитали всякие разные вурдалаки, один другого краше.

Каждый раз, когда Михаил пересекался с Павлом — своим знакомым, и видел его спокойное обаяние, бритую добрую его физиономию, которая всегда излучала что-то вроде юмора, но не интернет — юмора, не нынешнего современного телевизионного, а такого, какой от Райкина исходил в некоторых репризах: «Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто брякнет...» Словом, видя знакомого своего Павла, Михаил почему-то отчетливо понимал, что все это показное, но такое натуральное дружелюбие, почти бесконфликтность, готовность прийти на помощь — исходят больше силой актерского Пашиного таланта, а не от некоего врожденного умения любить окружающих.

Павел выглядел нормальным, но это была нормальность безумия, описавшего полный круг, замершего без одной секунды двенадцать, — безумия, которое уже казалось Михаилу адекватнее самой адекватности. Например, как и множество нормальных людей, Паша полностью был в кредитах. Машина у него была в кредит, велосипед в кредит, квартира в кредит, мебель в кредит, ремонт в кредит. Паша платил алименты, так что получалось, что даже ребенок у него был, в некотором смысле, в кредит. Как и всякий здоровый индивид, Паша работал сразу в нескольких местах и постоянно был занят. Ежели случалась какая общая дружеская вечеринка, он всегда говорил: «Мне нельзя много пить, мне завтра на работу», и, как и всякий обычный человек, тут же напивался после этих слов до безобразного состояния.

Сальников Алексей Викторович — российский писатель. Родился в 1978 году в Тарту. Печатался в журналах «Урал», «Волга», «Октябрь» и др. Лауреат поэтической премии «ЛитератураРентген» (2005) в главной номинации, «НОС» (2015; приз критического сообщества), лауреат премии «Национальный бестселлер». Живет в Екатеринбурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 11.

Неизвестно, по какой причине Михаил предполагал в нем психопата: то ли по гипнотической интонации в голосе, из-за чего Михаилу казалось, что с какими бы словами не обращался Павел к людям, звучало это всегда так, будто он произносил: «А теперь иди и спрыгни с десятого этажа»; то ли из-за того, что, как Паша однажды признался, в детстве и уже во взрослом возрасте его любимым фильмом был и остался совершенно отмороженный «Незнайка с нашего двора», а может, потому, что Паша работал психологом, а Михаилу всегда казалось — здоровые люди в эту специальность не идут.

* * *

Они случайно встретились на перроне. Михаил поехал навестить родителей в Новосибирск.

— А я на конференцию, — сказал Паша. — В одном вагоне, значит. А это у тебя Ольга, это у тебя мелкая.

Он раскланялся с женой и дочерью Михаила, чем сразу же расположил их к себе: серьезные и даже капризные оттого, что им уже надоело торчать под жарким летним солнцем, среди пыли, мегафонов, баулов и мокролицых людей, куда-то постоянно идущих, таскающих за собой баулы с неприятно скрежещущими колесиками, обе повеселели. «Маньячина», — подумал Михаил и еще раз подумал то же слово, когда дочь, застенчивая с чужими, тут же ответила:

— Вы вдвоем поедете. Это значит, вам в два раза веселее будет ехать.

Павел с удовольствием посмотрел на дочь Михаила, но промолчал.

— ...Вот ты психолог, — говорил Михаил часа через четыре, когда они уже порядочно отъехали от города, успели подкупить проводницу, чтобы она не докапывалась, когда они ходили курить между вагонами, успели слегка накатить в пустом купе Павла. — Ты же сам знаешь, что это специальность так себе, слабо к здоровью имеет отношение, это просто способ деньги из людей качать, на эту вашу терапию можно годами ходить, то одну проблему пытаться решить, то другую, пока не надоест. Так ведь?

— Не так, — отвечал Павел, умиротворенно привалившись к спинке диванчика, тогда как Михаил наседавал грудью на стол. — Если проблемы годами копятся, так их и приходится довольно долго решать, плюс к тому, пока со старыми проблемами разбираешься, может что-то новое накатить. Почему-то все думают, что психология — это как пальцем в нужную точку ткнуть, чтобы все разом прошло. А у нас с психологической помощью в стране так все хорошо, что не пальцем нужно тыкать, а ковровые бомбардировки применять, напалм, агент «оранж», да и то не сразу поможет. То есть целыми кварталами и районами брать и принудительно на терапию гнать, как на выборы. Приходи, если интересно, поработаем. У меня двери всегда для дру...

Павел осекся, увидев, как Михаил на него смотрит.

— Чу, — заметил Павел. — Тут никак что-то личное!

Тут настал черед Михаила отстраниться, абстрактно сказать шторке с буквами «РЖД»:

— Да что ты сделаешь, господи. Разве что через свои знакомства. Хотя какие у тебя знакомства?

Слово за слово, с походами покурить, стоянием в тамбуре, в проходе вагона, покрытого длинным полосатым ковриком, — и Михаил рассказал, что его дочь травят в школе. Уже кого только не подключали: родительский комитет, директора, чуть ли ни в суд пытались подать. Особенно выморозил Михаила школьный психолог — девочка едва ли старше его дочери, которую в школе и саму ни во что не ставили. Психолог проводила какие-то тренинги, разговаривала с травителями и дочерью. Травителей эти беседы, кажется, только забавили. Потешно это все им было.

— Думаем, со следующего года в другую школу перевестись, — подвел итог Михаил. — Вот вернусь и в июле займусь этим всем.

— Не, ну в принципе правильно, — согласился Павел. — Надо было еще раньше это сделать.

— Просто школа хорошая, обидно.

— Да где ж хорошая, если в ней такое.

— Страшно, если и в новой школе так же будет.

— Боишься, что с дочкой что-то не совсем нормально? — спросил Павел, и по тому, как Михаил замялся, понял, что именно так оно и есть. — Она у тебя не любит поджигать что-нибудь?

Такой вопрос был настолько неожиданный, дикий, нелепый, что Михаил не смог даже «нет» сказать, а только помотал головой.

— А энуреза у нее нет? — не сдался Павел.

— Какой энурез, ей одиннадцать!

— А кошек она каких-нибудь не душит?

— Паша! Да ты охренел!

Павел пфыкнул беспечно и махнул рукой:

— Тогда успокойся. Считай, что наполовину воспитание уже удалось! Осталось вторую половину до ума довести, да и все.

Это было так глупо: уезжать все дальше от города, где была семья, ходить по вагону в тапках, трениках, майке, купленных специально для поездки, то есть в одежде, максимально отчуждавшей Михаила от дома, — и при всем этом не мочь, хотя бы на короткое время, отстраниться от семейной головной боли.

Во время остановки поезда к Паше в купе вселился сосед и сразу же включился в потребление алкоголя и разговор, когда услышал слово «буллинг»:

— У меня такое было в нашей деревне! Меня так и травили! Ох, как же меня травили, пацаны!

Красноватое лицо соседа (по имени Егор), освещенное только ночником, потому что уже давно стемнело, тем не менее, фосфоресцировало внутренним восторгом:

— Вы понимаете, пацаны, — дети, ведь они как, ну, как там в «Месте встречи»: «Баба она сердцем чувствует». Они вот тоже чувствуют, сволочи. Они всей толпой, если заметили, что человеку нечего делать там, где они тоже живут, они ему начинают намекать, даже еще пока все пешком под стол ходят, типа: вали отсюда, ты не наш. Если через голову не доходит, пытаются через печень объяснить. К выпускным классам это вообще усиливается в разы.

— Но в чем хитрость-то тут? — Егор легонько толкал Павла в бок. — Сколько вот таких деревень, как у меня? Сколько местных хулиганов вывели всяких ботаников в люди, если разобраться! Будь все как в сказке сколько народу так и жило бы у себя, там, где родилось! Легко быть самым умным где-нибудь, где живет от силы несколько тысяч человек. А ты попробуй в другом месте! Докажи! Это ведь хулиганье само не понимает, что делает, оно подсознательно... Да, это обидно, когда это происходит прямо с тобой, прямо сейчас, но как оглянешься... Такой животворящий буллинг, от которого бегут в Москву, или даже куда подальше, и становятся... да кем только не становятся.

К удивлению Михаила, Павел согласно кивал и улыбался, сам вспомнил, как его усердно и жестоко выпихивали из села, где он родился.

— Там ужас, что творилось, — посмеиваясь вспоминали Егор и Паша. — Автобус всего три раза в день, а по выходным — два раза. Девчонки были разобраны местными старшаками еще на стадии пубертата, но даже если бы и не были разобраны, то все равно фыркали, если мимо проходишь. Несколько местных фриков, с которыми тебя постоянно сравнивают, и ты понимаешь в итоге, что если останешься, то именно

в такого фрика и превратишься. Так даже родители и родственники в этом участвовали! Эти вот слова: «Не от мира сего!»

— Короче, — сказал Егор. — Если бы я точно знал, как у меня все будет, когда я оттуда свалю, еще лет в десять бы на лыжах укатился, не знаю, с обозом бы ушел! Но сейчас, нет-нет да и подумаю о них с благодарностью.

— Жаль, что все не так просто, — вздохнув, возразил Паша. — Уйма всяких случаев бывает, и все они разные. Если серьезно не влезать в каждый случай, то кажется, что это один и тот же случай: одноклассники травят безобидного ребенка. И чаще всего так и случается. Но... имеются случаи, когда, страшно такое говорить, но травля бывает оправданна. Класс порой защищается, чувствует угрозу. Бывает, что один психопат (маленький, но все же психопат), который умеет классом манипулировать, травит другого психопата, который не успел перехватить власть в классе. Просто шкурой чувствует конкурента, или конкурентку. Бывает, что тот, кого травят, бедный, несчастный, буквально Оливер Твист такой — жертва, жертва — на самом деле платит насилием в свой адрес за манипуляцию другого уровня: учителями рулит в силу своих возможностей, родителями.

— Многоходовочка, — угадал Егор.

— Да. Только без общения, без тестирования, без наблюдения сразу и не скажешь, как все на самом деле. Когда видишь, даже самого жуть берет. Это насколько ум, еще не развитый в плане каких-то научных знаний, оказывается ловким, чтобы крутить окружающими. И это как раз не лечится, это — как кошку дрессировать, чтобы она все собачьи команды выполняла.

Когда Павел был погружен в свое дело, хотя бы отчасти, когда уверенно и убедительно говорил, что творится с человеческими мозгами, то казался почти нормальным. Именно купившись на всю эту нетрезвую искренность, Михаил, собственно, и ляпнул:

— Да какая многоходовочка? В младшей школе все было нормально! А в пятом классе все как с цепи сорвались, хотя ничего не изменилось, никаких новеньких, ничего такого. Кто-то резко психопатом решил стать? Раскрылся, как цветок, когда гормоны начали подкатывать, или как это еще объяснить?

Павел задрал голову, будто услышал зов только ему слышной трубы.

— Что? — сердито спросил Михаил.

— Да все, — улыбнулся Паша. — Не нужно общения, тестов, ничего не нужно. Можешь дочку из школы не забирать.

* * *

Конечно, Михаил не поверил. Да и кто бы поверил? Но получилось так, что после отпуска Михаила втянули в пару командировок, жена тоже была занята, хоп, и наступил сентябрь.

— Прекрасные мы родители, ничего не скажешь! — заметила жена, когда они отправили дочь на линейку.

— Не будем в этом году тянуть, — ответил ей Михаил. — Если что не так пойдет, ломанемся в соседнюю школу, пусть она и хуже.

Вопреки ожиданиям, дочь вернулась домой веселая.

— Погоди. Это первые дни, детки еще во вкус не вошли, — высказалась жена.

Но первый месяц прошел спокойно, второй.

После осенних каникул Михаил не выдержал и позвонил Павлу.

— Сработало, значит, — сказал тот вместо приветствия.

— Но как? — ошарашенно поинтересовался Михаил.

— Лучше тебе не знать, поверь, — ответил Павел. — Ты же нормальный, здоровый человек. Будешь потом переживать, корить себя.

Михаил настаивал, Павел недолго покочевряжился, а затем совершенно ровным голосом, будто про поход в магазин за хлебом, рассказал, что списался с психологом школы, где училась дочь Михаила, встретился с ней, поговорил, не такой уж она была дурочкой, как к ней относились.

— Знаешь, — сказал Павел, — есть такие учителя, которые снисходительно ученика к доске вызывают, вроде как, ну давай Иванов, покажи, как ты там домашку решил. Раз вызовут таким образом, два, пара ироничных вздохов, пока ребенок у доски, а там уже пошло-поехало. Иванов к доске, и класс такой уже готовится к представлению. И это все на самом деле незаметно, там очень тонкая грань в интонациях, ничего и не докажешь, учитель прямо не говорит, что ребенок тупой, никак не оскорбляет. Вроде и остальных учеников почти так же к доске вызывают иронично, или даже весело. Но вот в этом «почти» все и заключается. Эта грань между обычным отношением и травлей. Короче, класснуха твоей мелкой такая и оказалась. Ты как сказал, что в пятом классе это началось, хотя в коллективе никаких перемен не было, у меня и мелькнуло, что кто-то из учителей себя веселит. Ну я и решил это прекратить. Как видишь, получилось.

— И что ты сделал?

— Замутил с ней, — как о чем-то обыкновенном сказал Паша. — Сначала в сети, потом в реале, потом бросил и пообещал фото и видео наших встреч мужу переслать или в ваш школьный родительский чат. Не сказать, что мы очень уж отжигали, все в рамках традиционного, но все равно, наверно, ей не очень хочется засветиться в таком ключе.

Правильно угадав, что Михаил остолбенел и не в силах сказать ни слова, Павел объяснил:

— По-другому никак. Ни слова, ни подарки, ни что-то еще — не действуют. Это или у человека самого должно щелкнуть в голове, что он неправ, или вот так — чтобы почувствовал, что он не один такой на свете отморозок, а может еще более обитый на голову встать на пути, только этого они и боятся. Только через страх это работает.

— А если бы это мужчина был?

— О! Ну это гораздо проще! — сразу же сказал Паша с энтузиазмом. — Говорю же. Через страх. Мне ведь немножко повезло на пенитенциарную систему поишачить. Остались какие-то знакомства среди бывших пациентов. Педагогу по тыжке бы надавали в темном переулке. Пояснили, что к чему. Цена вопроса, наверно, тыщи три. Или вовсе бесплатно, если правильно мотивировать.

Он помолчал, после чего вздохнул:

— Миша...

— Да-да? — суетливо вырвалось у Михаила.

— Ты только никому об этом не рассказывай, пожалуйста. Это было, потому что я знаю, что ты знаешь, какой я человек, так что особо скрывать что-то не было смысла. Никому другому из наших я бы и не подумал помогать, а тут накатило что-то вроде азарта.

Сами по себе слова, которые произносил Паша, если бы кто-то написал их на бумаге, выглядели безобидно, но что-то было в его интонации такое необъяснимое, будто в этот самый момент Паша не находился где-то далеко, в другом районе города, а стоял прямо за спиной Михаила с ножом в руке.

Владимир Шпаков

Люда

Рассказ

1

От той жизни ничего не осталось — ни намека, ни предметных деталей, лишь воспоминания, худо-бедно оживлявшие былое. Чаще всего вспоминался плот, и он сам на склизких досках, что разъезжаются под ногами. Доски связаны на скорую руку, прогалы между ними все шире, и он вот-вот ухнет в холодную черную воду. И берег вроде близко, да не доплыть: шест погружается так, что рукава мокрые, — а дна нет! Нога соскальзывает, он проваливается по колено, но пока выбирается. А когда плот распадется?! Он озирает пустынный берег, где, кроме кустарников и пожухлой травы, — никого! А значит, кричать бессмысленно (хотя очень хочется!). Погрузив в воду шест, он опять нащупывает пустоту, и уже помимо воли из груди вырывается: «А-аа!» Помнилось, кричал тонким голосом, это был визг, привлечший кого-то в сером пальто и белом берете. И вот этот кто-то бежит к берегу, скидывает пальто, берет, и по плечам рассыпаются светлые волосы. Волосы удивили. Даже разочаровали, ведь их обладательница вряд ли могла спасти: требовался сильный и храбрый мужчина, да еще умеющий плавать. Он-то плавать не умеет! И та, что остановилась у кромки воды, не умеет, иначе давно прыгнула бы в пруд! Он пытается грести шестом, поскользывается, чтобы через секунду уйти под воду и, вынырнув, во все горло заорать «Спасите!».

Он не увидит, как та, с волосами, ринется в воду; зато почувствует, как его схватят за воротник, вытащат на берег и, не дав отдышаться, пнут: «Беги!» Он подчинится и, дрожа от холода и размазывая по лицу слезы, побежит к дому. Она будет бежать сзади, подталкивать в спину, они ввалятся в сени, и тогда впервые прозвучит: «Люда». А может, «Людка», он был в таком состоянии, что не запомнил. Потом это имя будет произноситься неоднократно, оно вроде как поселится в доме, сделается частью семейного бытования, но в то апрельское утро для него прозвучит впервые.

Люда навсегда останется в той жизни, что исчезла, погребенная под слоями асфальта и фундаментами многоэтажек. И поселок, где жил с родителями, исчезнет; и пруд, на котором едва не утонул; и корова, и дед с его пасекой — все погрузится в пучину времени. Останется он, хотя совмещать себя с пацаном, что метался по связанному на живую нитку плоту, с каждым годом будет труднее. Даже имя — Севка —

Шпаков Владимир Михайлович родился в Брянске 10.01.1960—18.10.2020, Санкт-Петербург). Прозаик, драматург, критик. Автор восьми книг прозы, ряда пьес и множества литературно-критических статей.

Предыдущая прозаическая публикация в «ДН» — 2019, № 6.

будет звучать чуждо, его лет сорок, наверное, так не называют, а потому надо делать усилие, чтобы с ним совпасть...

Итак, сени. И дед Яша, что трясет бородой, всплескивая руками: где ж он вымок, Людка?! Да, именно так он ее назвал, а следом: да и ты вся мокрая! А ну в хату бегом, к печке! И одежду скидавайте! И вот Севка уже сидит в телогрейке, пахнувшей воском и медом, — это дедова одежда, он в ней за ульями ухаживает — и прижимается к горячей печи. А Люда не спешит разоблачаться, хотя с нее течет на дощатый пол, на котором образуются лужицы.

— Сказал же — скидавай! Кого стесняешься — меня, старика?! Или этого шкета?!

Прибежавший с тулупом дед грозит Севке костистым кулачком.

— У-у, ирод! Все батьке расскажу, получишь сегодня!

Наконец, Люда берет тулуп, чтобы скрыться за отделяющей кухню занавеской. Спустя минуту она возвращается, закутанная по самый подбородок, только мокрые волосы распушены поверх воротника. Люда присаживается рядом с Севкой.

— Что ж ты на пруд отправился? — говорит укоризненно. — Там ведь лед только сошел...

— Ирод, как есть ирод! — кипятится дед. — На прошлой неделе чуть под поезд не попал! Бегаёт на железную дорогу, гвозди с пятаками на рельсы подкладывает!

Далее перечисляют *подвиги* — так в семействе называют Севкины приключения. Как заблудился в лесу, с собаками искать пришлось; как едва не свалился в колодезь; как пчел из улья выпустил, стервец — долго перечисляют, со вкусом. А Севку клонит в сон. Он угрелся, холодная черная вода, в которой можно пропасть навсегда, — уже забыта, и он отдается наплывающим видениям. Он видит плот, а на нем — растерянная и беспомощная Люда, она мечется, поскальзываясь на склизких досках. Плот вот-вот развалится, и девушка ухнет под воду. Но ведь на берегу — Севка, он не позволит! Заметив его, Люда умоляюще складывает руки на груди: «Севка, спаси меня!» Только его не надо упрашивать — он ведь храбрый и сильный, к тому же прекрасно плавает. Он решительно входит в воду, мощно гребет — саженками, как взрослый, и вот уже видит перед собой большие серые глаза, исполненные ужаса. «Не бойся, Люда!» — говорит Севка и подхватывает ее на руки. Грести в таком положении нельзя (руки-то заняты!), да только и не требуется грести: под ногами — дно. Он не понимает: то ли пруд обмелел, то ли он превратился в великана, которому море по колено. Он направляется к берегу, где выстроились в ряд отец, мать, дядя Коля с тетей Лизой, дед Яша — и все громко хлопают в ладоши! Ай да Севка, ну молодец!

Насладиться триумфом мешает толчок в бок.

— Просыпайся давай... — бормочет дед. — Высохла твоя одежда...

Люды рядом нет, осталось лишь мокрое пятно там, где она сидела. Севка берет в охапку одежду, еще теплую после просушки на печи, и, вздохнув (жаль, что жизнь — не сон!), отправляется в комнату.

Что было потом? Отец с ремнем, как водится, и дед, не дающий высечь внука. Дед ругает Севку почему зря, то и дело сует под нос свой кулачок, но если назревает серьезная экзекуция — защищает. Вот и теперь встает в дверях «светелки» (так называется комната деда, где за сундуком прячется Севка) и вцепляется в дверные косяки.

— Охолони! — слышно из убежища. — Даже блудный сын прощения заслужил, а этот — несмышлениш еще!

— Да хватит притчи свои вспоминать! Он же утонуть мог запросто!

— Так не утонул же!

— Ну да, спасибо Людке...

Заглядывая через дедово плечо, отец кричит:

— Эй, ты тут?! Еще такое повторится — отделаю так, что неделю не сядешь! Плотогон, мать твою!

Тут же начинает работу телесная память, даже ягодицы щиплет, когда вспоминается прошлая экзекуция. Постепенно буйство затухает. С работы возвращается мать, ей, конечно, обо всем докладывают, но ругать второй (а по сути — третий) раз не принято: вытащив Севку из-за сундука, та ограничивается внушением. Потом возвращаются тетя Лиза и дядя Коля, большой, шумный, пахнущий чем-то жженым. Тетя Лиза сразу усаживается на табуретку, расстегивает пальто и, выпитив тугой округлый живот, обтянутый цветастым ситцем, отдыхает. А дядя Коля, выслушав про очередной *подвиг*, громко хохочет:

— Моряком станет! Да, Севка? Капитаном дальнего плавания! А когда Лизка родит тебе братца, он будет на твоём корабле штурманом!

— А может, я дочку рожу? — не соглашается тетя Лиза.

— Нет уж, сына давай! На пару будут плоты гонять!

— Типун тебе на язык... — бормочет беременная (это слово Севка уже давно выучил) и, со вздохом поднявшись, удаляется в свою «светелку». Дедов дом поделен на комнаты, в них ютятся члены большого семейства. Отец с матерью и Севкой занимают комнату побольше, с двумя окнами, у дяди Коли с супругой жилплощадь скромнее, с одним окном, выходящим к сараю. Перегородки между комнатами хлипкие, слышен каждый чих, а особенно храп дяди Коли. Мать из-за храпа иногда встает среди ночи, идет шептаться с тетей Лизой, после чего за стенкой скрипят пружины, и слышится: «Пфу-у!» Значит, дядю Колю перевернули на бок, и час-другой тишины обеспечен.

Наутро кто-нибудь (мать или тетя Лиза) обязательно пеняет дяде Коле, мол, опять храпака давал. А тот разводит руками:

— У меня легкие хрипят! Я ж сталевар, да еще курю с малых лет!

— Ага, при Севке почаще о куреве вспоминай! Ко всем его подвигам не хватало, чтоб окурки начал собирать!

Севка помалкивает о том, что пробовал курить, причем не окурков, а «Беломор» из дяди Колиной пачки. Удовольствия, правда, не получил — решил: это не для него. Он и самогонку пригубливал, но тут вообще удовольствия ноль — брр, вонючка горькая! А вот взрослые ее любят, дядя Коля даже называет ласково: *самогоночка*. Сегодня на стол опять выставляют бутылку плюс щи в большом чугушке, квашеную капусту с солеными огурцами и холодец — все это достают из подпола, где во влажноватой прохладе хранятся съестные запасы. Женщины возражают против выпивки, но не сильно — завтра выходной, по сто грамм можно.

Севку кормят первого, суют на десерт блюдо с медом и отправляют в комнату. Он не спорит, провинился, теперь придется не за столом сидеть со всеми, а торчать у двери, подслушивая взрослые разговоры. Сегодня интересно вдвойне, ведь главный герой застольной беседы — Севка, то есть его приключение на пруду. Отец, как всегда, негодует, мать его успокаивает, дядя Коля посмеивается. Лишь тетя Лиза молчит, наверное, гладит свой обтянутый ситцем живот. Она все время его гладит, будто там и впрямь находится будущий двоюродный (или будущая двоюродная) Севки. Почему-то он не верит в это, по его разумению, детей раздают в роддомах. Вызывают родителей и говорят: вот ваш ребенок, берите и воспитывайте! И тут, хочешь не хочешь, а приходится брать, даже если ребенок — *наказание*. Севку именно так называют: ты, мол, наше наказание, хотя наказывают не их, а его, причем сильно.

— Ладно, давайте за Людку! — слышится голос дяди Коли. — Героическая девка, ей-богу!

— Хорошая! — говорит мать. — И в кого такая выросла? Там же семейка, я вам скажу...

— Отблагодарить хотел, медку дать... — встревает дребезжащий голос деда. — Так пока в подпол слазил, она подхватила — и уткнула!

— Плотогона нашего завтра пошли, — говорит отец. — Пусть отнесет.

«Ага, — думает Севка. — Значит, завтра не посадят под замок, а разрешат сходить на соседнюю улицу!» Он бывал на этой улице (где он только не бывал!) и даже видел, кажется, Людин дом с покосившимся штакетником. И ее видел несколько раз, просто внимания не обращал — она же взрослая, а у взрослых своя жизнь, не очень ему интересная. Вот чего опять про квартиры взялись болтать? Как выпьют, один разговор: что отец с матерью получают двухкомнатную, потому что у них Севка, а дядя Коля с тетей Лизой — лишь однокомнатную, ведь их всего двое. Но если тетя Лиза успеет родить (то есть получить в роддоме ребенка), им тоже дадут двухкомнатную; и когда только ее, тетю Лизу, отправят в декрет?! Севка не понимает про «декрет», он скучает. И, уже зевая, вполуха слушает привычные жалобы, мол, надоело к колодцу таскаться, хоть бы водопровод в поселок провели; и газа до сих пор нет; а на колку дров не хватает ни сил, ни времени — мы же работаем! Дед возражает: я сам дрова колю! — но женщины берут верх, на них ведь и дойка коровы, и стирка, а воду греть в печи приходится, как в деревне!

А чем плохо в их деревне? То есть, в их поселке? Тут очень даже хорошо! Пойдешь направо — упруешься в лес, где земляника, черника, а еще сыроежки, их и впрямь можно есть сырыми (проверено). Если же пройти по тропинке сквозь лесную чащу, выйдешь к железнодорожной насыпи из щебня. Для рогатки он крупноват, зато им можно швырять в воробьев и галок, сидящих на проводах, или отбиваться от братьев Иванцовых, что живут через два дома и все время норовят дать пинка или подзатыльника. Хотя интереснее всего — плющить под колесами гвозди и монеты. Севка при любой возможности тырит из дедовых запасов большие гвозди, случается, и пяточок занывает. Трофеи надо умудриться выложить на рельсы, да так, чтобы обходчики или машинисты не заметили. Обычно Севка притаивается в подлеске, что тянется вдоль насыпи, ждет, и когда вдали слышится гудок, быстро вскарабкивается на насыпь, чтобы торопливо разложить металлические шуруповерты. Тепловоза не видно, он за поворотом, значит, надо быстрее смыться, иначе машинисты тормознут состав. Теперь спрятаться, выждать, когда многотонный товарняк прогрохочет над головой, и — опять к насыпи, собирать расплюснутые и горячие (они всегда — горячие!) гвозди с пятаками. Гвозди превращались в подобие ножа — Севка обматывал часть полученного «клинка» изолентой (вроде как рукоятка) и, при нужде, грозил Иванцовым, мол, только суньтесь! Пятаки же в дело не пустишь, просто было интересно наблюдать, как небольшая монета превращалась в большой и тонкий медный кругляш.

Если пойти налево, попадешь на пруд, где Севка сегодня едва не утонул. Жаль, сейчас не лето, когда можно плескаться на мелководье у берега или рвать камыши, чьи заросли тянутся в дальней, самой узкой части водоема. А еще там можно ловить сачком тритонов и головастика. Родители такую ловлю не одобряют, говорят, сачок — для бабочек и кузнечиков, только Севке нравятся тритоны. Посадишь такого в банку, и он там плавает, как ручной... Но самое большое удовольствие — распугивать рыбу, которую удят Иванцовы. Схоронившись в камышах, Севка пуляет железнодорожной щебенкой по поплавам; братья озираются, не понимая — кто вредитель?! — но Севка надежно спрятан в густых зарослях.

А можно ни налево, ни направо не ходить, просто отправиться в сарай, что одновременно — хлев. Входишь туда со света, кажется — темно, но вскоре глаза привыкают, различая большую рогатую голову и огромные блестящие глаза коровы Машки. Та все время что-то жует. И хотя сена в сарае навалом — жуй не хочу, Севка всегда имеет при себе горбушку, которую скормливает с руки. Большие мокрые губы и шершавый язык Машки елозят по ладони, приятно ее щекоча, и Севке от того очень хорошо. Машка — его любимица, летом он всегда напрашивается идти вместе с дедом на пастбище, чтобы привести ее домой. Ранним утром, когда пастух Кирюха собирает поселковых коров на выпас, Севка еще спит, но вечером он как штык, шагает рядом и обязательно просит: давай я поведу! Дед бурчит, мол, скотина свой дом завсегда

найдет, только Севке, опять же, приятно вести за веревку большое и послушное животное. Еще из животных в сарае — две свиньи, которых Севка не жалует. Хрюкают все время, воняют, нет, этих кормить он не любит. А вот к пчелам ему вообще приближаться запрещено. На просторном приусадебном участке среди яблонь и теплиц расставлена дюжина маленьких домиков, в них живут жужжащие насекомые. Севка думал, что прямо там, в ульях стоят банки, куда пчелы по капельке приносят пахучий сладкий мед. Хотел помочь деду, приподнял крышку улья, чтобы банку забрать, и тут такое началось...

Севкины полусонные мысли прерывает реплика матери:

— Что ж летом-то делать? Яков Петрович старый, не угонится за сорванцом, так что опять будет болтаться, где попало...

— Может, кто за ним приглядит? — раздается голос тети Лизы. — Если в декрет отпустят, я сама смогу. Но вдруг раньше рожу?

Слышен смех дядя Коли:

— С Севкой — точно родишь до срока!

«Не надо никакого пригляда! — хочется заявить. — Обойдусь!» Только кто его, шкета, слушать будет? С этой обидой Севка и укладывается в кровать, чтобы тут же провалиться в сон.

Утром он отправляется к дому с покосившимся штaketником. Банка с медом обернута газетой и уложена в сетчатую авоську — с ней он тащится через поселок, с тревогой озираясь: вдруг заклятые враги объявятся? Так-то он их не боится, но тяжелая банка и убежать не позволит, и должного отпора не дашь. По счастью, Иванцовы еще дрыхнут. Севка приближается к нужному дому, поднимается на крыльцо, плохо соображая: как выразить благодарность? Мать сказала: «Поблаговари», а какими словами — не объяснила. На стук долго никто не выходит, затем в дверях возникает мужик с черной взлохмаченной бородой, в кальсонах и рубахе.

— Тут это... — бормочет Севка. — Мед, значит... Дедушка просил передать.

— Какой дедушка?! — недоумевает мужик, — Ты, вообще, чей?!

— Это деда Якова внучок... — говорит тетка в халате и платке, появляясь следом.

В ее взгляде читается удивление:

— С чего подарок-то?! Чем заслужили?!

— Это для Люды...

— Ах, для Лю-юды! — протяжно произносит мужик, надо понимать — Людин папаша. Он оборачивается и кричит вглубь дома:

— Эй, сюда иди! Тут тебе подарок незнамо за что!

Севка мог бы рассказать, за что, расписать в красках сцену героического спасения и сказать, что Люде вообще медаль полагается! Но он потерялся — впервые исполняет столь ответственное поручение. Да и сам-то кем выглядит? Сопляком выглядит, что даже плавать не выучился и может только орать: «Спасите, тону!»

— Зачем вы... — смущается Люда, появляясь на крыльце. — Лишнее это...

Ее светлые волосы не похожи на вчерашние, висящие мокрыми паклями, они высохли и пушатся под весенним ветерком.

— Сладенькое любишь? — криво усмехается папаша, в упор глядя на дочь. — Любишь-любишь, сучка...

Изменившись в лице, Люда убегает в дом. А тетка (мамаша?), наконец, забирает банку.

— Ладно, давай, если принес!

— Лучше бы самогону притащил, — продолжает усмехаться папаша. — Яков-то гонит? — он подмигивает. — Гонит-гонит, я знаю!

Исполнив поручение, Севка вприпрыжку несется обратно. Странные эти взрослые, и разговоры у них — странные. Почему Люда должна любить сладенькое, она что — маленькая, как Севка? И почему сучка? Дед таким словом называл собаку Найдку, что

издохла прошлой осенью. Севка весь изревелся, он любил Найду еще больше коровы, но то животное (пусть и любимое), а то человек!

Он бежит к дому, хотя знает, что не добежит — свернет куда-нибудь, ведь жизнь такая интересная! Вот что будет, если надеть на голову пустую авоську? Сетчатая, она позволяет все видеть, самого же Севку делает неузнаваемым, будто он Фантомас. На прошлых выходных он уговорил родителей отвести его на популярный среди пацанов фильм, и теперь мечтал сделаться таким же могущественным, и чтоб никто не узнавал. Иванцовы улепетывали бы от него, еще издали завидев, только пятки бы сверкали! А тогда — натянем сетку на голову и зайдем в магазин!

Яркие детали всплывают сами, будто рыба-голавль на пруду, что плавает на поверхности. Но есть и рыбы вроде леща, попробуй его вытащить с глубины! Вот почему, например, авоська помнится, а эпизод в магазине забылся?! Наверняка же было что-то комичное, из ряда вон; но если лещ остался в глубине, добирай фантазией. Непонятно, правда — ради чего? Откуда абсурдное желание возродить то, что похоронено под пластами времени? Тут даже не рыбу тащишь, пусть и крупную, из-за чего удилеще в дугу, целый материк поднимаешь из небытия! Ответ прост: больше никому. И тот, кто тичится совпасть с юным созданием, шастающим по улицам исчезнувшего поселка, будет подстегивать память, пусть даже ее работа бессмысленна и никому не нужна...

2

К поселку, прижатому к лесу и железной дороге, постепенно подступали большие дома. Силуэты многоэтажек пока маячили вдалеке, но с каждым годом приближались; и завод приближался — там постоянно строились новые корпуса из стекла и бетона и возводились трубы, что тут же принимались дымить. Туда, где горизонт был изрезан прямоугольниками строений и черными карандашами труб, взрослые отправлялись каждое утро, ведь там — работа, и вообще там *город*. Слово обозначало иную жизнь, которая пугала и одновременно притягивала Севку, манила чем-то таким, чего в их тихой заводи отродясь не было. В городе имелся кинотеатр «Металлург», где показывали фильмы про Фантомаса; на улицах торговали мороженым из больших ящиков на колесиках; и газировкой торговали — в стакан плескали чуть-чуть темно-красного густого сиропа и добавляли пенящейся пузырьками воды. А машин там сколько! В поселок машины заезжали редко, разве что трактор протарахтит иногда или пропылит полувоенный «газик». А тут и «Волги», и «Москвичи», и похожие на большую мыльницу «Жигули»! Где-то там, в большом и шумном городе, родных дожидались «однокомнатные» и «двухкомнатные», куда неизбежно должны переселиться все члены семейства — кроме деда Яши. Тот и слышать не хотел о переезде в городские «хоромы», говорил: из родного дома — только вперед ногами уеду! Не понимая, зачем уезжать столь неудобным способом, по сути вопроса Севка был с дедом заодно. Но лишь заикнулся, что хочет остаться — тут же затрещина, мол, тебя, сопляка, не спрашивают! Здесь же ни детского сада, ни школы, так и будешь болтаться, где ни попадя?!

Посланцем города был двоюродный брат Кеша, потомок старшего сына деда Якова. Отец Севки и тетя Лиза были младшими, старший же, Пётр Яковлевич, давно обосновался в городе, работал начальником на заводе и в поселок почти не показывался. Зато Кеша частенько заруливал на красном мопеде и с транзистором на плече. Если перед домом рычит мотор (Кеша нарочно газовал — для форсу) и вовсю гремит «музон», — значит, явился городской гость. Он рассказывал про школу, которую скоро закончит, про дом спорта, где занимается боксом, про танцы в парке — про *другую* жизнь, одним словом, каковая представляла увлекательной и захватывающей. Посидев у деда, Кеша обычно навещал знакомых ровесников, что проживали на их улице, и

тоже хвастался: джинсами, транзистором и, конечно, мопедом «Верховина». Брат утверждал, что сам его приобрел, хотя Севка со слов деда знал: мопед купил Пётр Яковлевич. Но с Кешей не спорил. А вдруг придется просить вступиться, если враги проходу не дадут? Севка уже грозился Иванцовым, мол, брат вам ноги из задницы повывидает, но поддержкой Кеша пока не заручился — стеснялся ябедничать.

С отъездом брата, нагруженного рюкзаком с припасами, запах города быстро растворялся в свежем загородном воздухе. И опять тянуло в лес, на пруд, на участок с ульями — в свое собственное царство, где Севка был полновластным хозяином. Или не совсем хозяином? Увы, оказалось — не совсем, взрослые все-таки организовали *пригляд*, понятно, не спросив его согласия.

Люда появляется в доме ранним июньским утром, в голубом сарафане и босоножках, вся летняя и улыбчивая. Пока она получает инструкции, как обращаться с подопечным, сам подопечный исполняется к гостю неприязнью. Уже не верится, что девушка когда-то его спасла — она ж теперь надсмотрщица, шагу не ступишь без разрешения! Он при ней будет, как Найда на поводке или корова Машка на веревке!

— Ты своими делами занимайся, за ним только присматривай, — говорит мать. — А главное, спички ему не давай. Он же тополиный пух поджигает — чуть соседей прошлым летом не спалил!

— Хорошо, не дам, — улыбается Люда.

— И к железной дороге не пускай, — добавляет отец. — Иначе этот партизан когда-нибудь поезд под откос пустит!

«Пропало лето...» — с тоской думает Севка. Но делать нечего: бунт наверняка закончится поркой, значит, привыкай к поводку.

Насупленный, он шагает вслед за Людой, взметая ногами устилающие дорогу тополиные пушинки. Он даже не спрашивает, куда ведут — какая разница? Куда бы ни направились, всяко будет скучно! Когда подходят к дощатому строению с вывеской «Почта», Люда взбегает по ступенькам.

— Со мной пойдешь? — оборачивается перед дверью. — Или тут подождешь?

— Тут подожду... — бурчит Севка. С унынием озирая окрестности, он замечает, как в отдалении блестит на солнце пруд. Небось, головастики сейчас — уйма, да и мальков тоже, самое время выходить на сачковую ловлю. Только фигу! И майского жука не поймаешь, чтоб в спичечный коробок посадить — как посадишь, если спичек теперь не видать, как своих ушей?! Вздохнув, он обращает взгляд в небо, где жужжит мотором серебристый спортивный самолет. Далеко за железной дорогой располагается аэродром, оттуда и взлетают самолеты — то фигуры в воздухе выделяют, то парашютистов выбрасывают. Эх, стать бы таким самолетом, быстрым и свободным, улететь бы далеко-далеко...

Ну, и где эта надсмотрщица?! Устав ждать, Севка взбегает по ступеням, чтобы столкнуться в дверях с Людой. Лицо у той бледное, в руке вскрытое письмо, которое она сжимает в комок. Люда будто не замечает Севку, движется механически, устремив перед собой потемневшие глаза. Потом вдруг останавливается и рвет конверт с письмом в мелкие клочки. Оба-на! Это ж ценная вещь, у родни и письма, и поздравительные открытки собирают в отдельную коробку, что хранится на шкафу, и лазить в нее — строго запрещено. А тут порвала, да еще выбросила!

Явно встревоженная Люда молчит, но вскоре опять делается улыбчивой. Говорит, неприятное сообщение получила, а такие сообщения — зачем хранить?

— А почему ты на почте письма получаешь? — интересуется Севка. — Их же почтальонша в ящик сует!

— Зачем? — Люда задумывается. — Так надо. Это называется: письмо до востребования.

Новое выражение «до востребования» крутится в мозгу, чтобы вскоре забыться. Куда теперь? В магазин, купить продуктов, каких дед попросил. Хитер дед Яша, раньше

сам ходил за продуктами, и ничего, а теперь Люда с Севкой должны авоськи с консервами и макаронами таскать! Ненадолго примиряет с действительностью купленный Севке петушок на палочке. Не мороженое из ящика, конечно, но тоже сгодится — Севка его усиленно сосет и к дому подходит уже с пустой палочкой.

— Ой, спасибо, Люд... — дед щерит беззубый рот. — Наш-то как? Не балует?

— Сева? Нет, он молодец...

Только Севку похвала не греет, он готов быть отруганным, даже отлупцованным (слегка), но свободным.

— Воды принести? — спрашивает Люда. — Я видела, у вас ведра пустые...

Вот так, Севка, теперь таскай свое маленькое ведро. Мог бы отдохнуть, пока Люда таскает большие ведра, да как-то неудобно перед ней. Колодезный ворот скрипит, цепь вытаскивает из черной глубины наполненную доверху бадью, и Люда подхватывает ее, чтобы налить вначале Севке, затем себе. Все это она проделывает легко, в ее тонких руках чувствуется сила, что не удивляет — она ж его из пруда вытащила! Удивляет другое: что Севка не может этого забыть. А значит, и грубить ей не может — хотя временами хочется — и сбежать не получится. Его же за руку не водят, улучил момент, нырнул в проулок — и ищи-свищи! Но это подлянка, Севка такого не может себе позволить. И зачем только она его спасала?!

Когда Люда о чем-то спрашивает, Севка отвечает односложно, демонстрируя то ли гордость, то ли обиду на жизнь. Скоро ли в школу? Говорят, через год. Хочется ли туда? Не-а, мотает головой Севка, не хочется!

— Как это?! — удивляется Люда. — Учиться ведь интересно!

Он молча усмехается: ага, много ты знаешь про *интересно*! Интересно — на подножку вагона вспрыгнуть и укатить в дальние края! Иванцовым однажды такое удалось, они на товарняке аж в соседний район укатили; и хотя получили по полной (не одного Севку ремнем охаживали!), стали среди мальчишек героями. Поэтому Людины рассказы про какой-то там институт Севка выслушивает без внимания. Институт находится там (Люда машет рукой в сторону многоэтажек на горизонте), только конкурс туда большой, в прошлом году не удалось поступить. Но в этом году она обязательно поступит и уедет отсюда.

— Квартиру дадут? — демонстрирует осведомленность Севка.

— Комнату в общежитии.

— Мои родители тоже жили в общежитии. Но потом вернулись домой, говорят: тут лучше.

— А я вот не хочу жить дома!

Ее лицо опять бледнеет, как тогда, после почты. Они уже закончили таскать воду, шагают по дороге, и Люда уходит вперед.

Севка догоняет ее возле растущей на улице яблони, в чьей кроне виднеются крошечные, явно незрелые плоды.

— Хочешь, допрыгну и сорву? — предлагает он.

— Зачем? Они же еще зеленые...

— А я все равно сорву!

Он хорошо знает ничейное плодовое дерево, сколько раз обрывал с него яблоки. Но сейчас они так высоко, что даже подпрыгнув, слабо достать хоть одно яблочко. Пока Севка ищет глазами палку, чтобы себе помочь, Люда, встав на цыпочки, протягивает руки к ветвям; остается лишь наблюдать, как приподнявшийся сарафан оголяет ее покрытые загаром ноги. И плечи у Люды загорелые, а вот подмышки белые и чистые, хотя у взрослых там обязательно растут волосы.

— Держи... — вываливает ему горсть зеленых яблочек. Что ж, хоть тут надо держать марку: Севка жует зеленухи и, хотя скулы сводит (кислятина!), делает вид, что вкусно.

В последующие дни он таскается хвостом за Людой. Магазин, опять почта, где получают пенсию деда, в очередной раз воды наносить — в общем, скука смертная. Слегка разнообразит жизнь разве что поездка в город — Люде надо в поликлинику, и ей разрешают взять с собой Севку.

В автобусе он сам приобретает билеты — очень уж нравится процесс. Вначале надо опустить пятаки в щель, потом крутануть ручку, чтобы вылезло два билета. Резиновая лента под прозрачной крышкой при этом прокручивается, и опущенные монеты падают внутрь аппарата с легким звоном. Севка не раз задумывался: сколько же денег в такой кассе?! Много, видать, ящик-то большущий, только залезть туда фиг получится, дверца на специальном замке...

— Как, есть счастливый? — спрашивает Люда, когда усаживаются.

— Кто счастливый?

— Не кто, а что. Счастливый билет есть?

Оказывается, если суммы цифр, что пропечатаны справа и слева, сходятся, обладателю бумажного квитка привалит счастье. Услышав об этом, Севка тут же берется за подсчет. Он умеет считать; и чтению уже обучен, потому, по его мнению, школа и не нужна. Но счастья хочется (еще бы!), так что подсчитывает он тщательно, даже губами беззвучно шевелит.

— Не сходится немножко... — говорит с разочарованием, разобравшись с первым билетом. Зато в следующем суммы совпадают точь-в-точь! Севка еще раз складывает цифры и поднимает квиток над головой — ура, счастливый! Тут же, правда, возникает вопрос: кому достанется билет? Можно забрать себе, на что Севка имеет право, а можно... Минуту поразмышляв, он протягивает билет Люде.

— Зачем? Себе оставь!

— Нет, хочу, чтобы у тебя было счастье!

Усмешка у Люды какая-то странная, не очень веселая. Но Севка все равно доволен, ведь теперь они квиты: Люда его спасла, а он ей счастье подарил!

В городе они минуют парк, где классные аттракционы; автоматы с газировкой тоже проходят без остановки, чтобы вскоре оказаться перед стеклянными дверями. Входят внутрь, присаживаются на кожаный диван, и Люда интересуется: кто последний? Севка озирает коридор, где на таких же кожаных диванах сидят молодые и не очень молодые женщины. Может, думает он, правильнее спрашивать: кто *последняя*? Женщины с любопытством поглядывают на Люду с Севкой, из-за чего тому неудобно.

— Я на улице побуду... — бормочет он, вставая.

— Хорошо, только не уходи никуда.

Снаружи буйствует лето, шелестят кронами акации, и солнце в самом зените. Говорят, тут есть пляж, где можно искупаться, только вряд ли они туда доберутся. Зевнув, Севка оборачивается и видит слева от двери табличку с надписью «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». Ага, понятно, почему там одни тетки! Непонятно, правда, почему они явились сюда, ведь Люда собиралась в поликлинику?

Спустя час томительного ожидания Севка задает этот вопрос. Люда задумывается, затем отвечает:

— Это одно и то же. Только... Ты все равно не говори никому, что мы тут были, хорошо?

— Сказать, что в поликлинике были?

— Ага, так и скажи.

Привкус тайны сразу подстегивает интерес к жизни. Почему Люда скрывает, что сюда ходит? И кто должен этим интересоваться, то есть, кому Севка должен врать, не моргнув глазом? Опять же, обладание чужой тайной давало право чего-нибудь выцыганить, например, сладкую вату на палочке, это гораздо вкуснее петушков, что продаются в их магазине. Но выпрашивать не с руки, пусть Люда сама догадается его отблагодарить.

Увы, та погружена в себя, на ходу просматривает бумажку, полученную в этой самой консультации, и тащит его на автостанцию.

Наладившаяся худо-бедно гармония летит в тартарары, когда на остановке сталкиваются с Иванцовыми. Выходят из автобуса, Люда берет Севку за руку, и тут на тебе — братцы на великах! Он торопливо выдергивает руку из чужой ладони, только поздно — заметили, гады; пристроившись сзади, они едут следом, отпуская шуточки:

— А Севку за ручку водят! У него нянька!

— Она ему сопли подтирает!

— И жопу, ха-ха-ха!

Это не просто позор — это казнь: Севку завели на эшафот, вздернули на веревке, а на грудь привесили табличку «Маменькин сынок». В каком-то фильме так казнили наших солдат, с табличками на груди, а вокруг гоготали эсэсовцы, прямо как сейчас Иванцовы...

После очередной реплики Люда внезапно оборачивается и цепко хватается старшего Иванцова за ухо.

— Ну-ка повтори, что ты сказал!

— А-а!! — скулит тот, — Отпусти!

— Я не слышу! Давай, повторяй про няньку!

Младший давит на педали, пылит прочь; вскоре уезжает и старший, прижимая рукой покрасневшее ухо. Но Севка все равно чувствует себя раздавленным, будто майский жук, по которому проехала машина. Задразнят теперь; да и, получается, опять он в долгу перед Людой, что за него вступилась...

Если выскочить из той реальности и отмотать жизнь лет на двадцать вперед, то вспомнится встреча у пивного павильона — уже в городе, когда Севка (который давно стал Всеволодом) столкнется с младшим Иванцовым. Тот его узнает и, ощерившись в ухмылке, попросит угостить, мол, недавно откинулся с зоны, на работу не берут и т. п. Прихлебывая проставленное пиво, бывший заклятый враг будет вспоминать поселок, старшего брата, которого прошлым летом зарезали в драке, а еще Люду. Что ее помнил Севка-Всеволод, было оправданно, но когда о ней заговорил вчерашний зэк — это удивило. Что именно он сказал — память не сохранила, вроде ничего плохого. Зато запомнился сердечный укол, будто игла времени вонзилась слева, и вдруг ожило то жаркое лето; и девушка в голубом сарафане, и кислые яблочки, и его *забастовка*, объявленная на следующий день после встречи с братьями. Да, он тогда забастовал, сославшись на плохое самочувствие, и дал клятвенное обещание: из дому — ни ногой! Можно сказать: обрек себя на заточение, ведь сидеть дома — все равно, что добровольно пребывать в тюрьме. Но дразнилки братьев еще страшнее, так что хочешь не хочешь, а сиди взаперти.

Хорошо, в доме никого, все работают, даже дед. Севка выглядывает в окно и видит человека в соломенной шляпе с широкими полями и свисающей с них марлей, что копается в одном из ульев. Лица не видно, руки-ноги прикрыты перчатками и сапогами, не дед, а натуральный Фантомас. Надолго ли Фантомас ушел на участок? Похоже, до вечера, значит, можно без опасения рыться в дедовом сундуке.

Массивный коричневый сундук подчас спасал от родительского гнева, а еще таил внутри массу интересных вещей. А тогда снимем навесной замок (дед никогда его не запирает), и попробуем откинуть крышку. Тяжелая, с железными заклепками, крышка подается с третьего захода. О том, что закрыть обратно — еще труднее, он не думает, тут же ныряет внутрь, чтобы извлечь гимнастерку, к которой пришпилены награды. Вот медаль с перекрещенными винтовкой и саблей и надписью «За боевые заслуги». Дед говорит: получил на финской войне, что Севке не совсем понятно. Воевали ведь с немцами, какая еще финская война?! Война может быть только немецкая! А вот орден Красного знамени, получен за взятие Праги, это город то ли в Германии, то ли еще где-то. Орден, пожалуй, красивее медали, хотя дед говорит: ему каждая награда

дорога. Месяц назад отмечали День Победы, собралась вся родня, и дед сидел в этой гимнастерке за столом, принимал поздравления, а после очередной рюмки вдруг расплакался. Он вообще стал слезливым, как маленький, ей-богу, и все о смерти поминает.

Тут же хранятся многочисленные фотографии, перехваченные резинкой, но смотреть их не очень интересно — большинство пожелтело, даже лиц не разглядишь. Зато толстую черную книжку с крестом на обложке Севка листает с любопытством. Срез страниц имеет странный розовый цвет, что уже необычно — у других-то книжек срез белый! И запах от нее незнакомый исходит; обычно-то книжки не пахнут, а эта — пахнет. Хотя главное таится внутри, ведь это самая главная, как утверждает дед Яша, книжка, называется — Библия. В ней сказано (опять же, если верить деду) обо всем на свете, если ее читать — другие книжки вообще не нужны! И Севка в стремлении приобщиться к абсолютной истине листает страницы, вслух прочитывая отдельные абзацы. Но быстро утомляется из-за твердых знаков, прибавленных после многих слов, да и буква, похожая на мягкий знак с черточкой, сбивает с толку. И вообще — что значат такие слова: «Люди из колена Гада жили возле племени Рувима»?! Разве люди могут быть из колена?! Тем более из колена какого-то «Гада»?! Может, прав отец, когда насмехается над дедом, дескать, опять ты, батя, распространяешь опиум для народа? Тот, правда, всегда огрызается:

— Глянь-ка, на инженера выучился, умный стал! Не хочешь — не читай, а другим не мешай!

— Я и не читаю. Ты пацана не порти, он же будущий пионер!

Пионеров Севка видел, у них алые галстуки на шее, значки на рубашках, пожалуй, он бы не отказался стать таким же, когда подрастет. Но и от Бога тоже не хотелось отказываться. Ведь Бог, по словам деда, главнее всех и сильнее всех — сильнее отца и даже дяди Коли, который всегда побеждал, если на руках с кем-то тягался. Да что там — сильнее поезда, что тащит кучу вагонов и давит железные гвозди в лепешку. Жил Бог на небе, но одновременно — в церкви за рекой, ее золоченая луковка, если выйти за пределы поселка, хорошо просматривалась вдали. Взрослые говорили, что Севку там *крестили*, эту операцию покойная бабушка провернула тайком (отец возражал). Но Севка этого не помнит. Он и бабушку помнит смутно, самое четкое воспоминание: как она лежит в гробу, украшенная цветами, а бородатый человек в красивой одежде стоит над ней и размахивает золоченой штуковиной на цепочке. Штуковина дымит, распространяя приторный аромат, а взрослые, склонив головы, плачут.

От бабушки осталась только фотография, что висит на стене в дедовой комнате и чуть-чуть смущает Севку. Да, Бог все видит, и за то, что Севка без спросу залез в сундук, в будущем непременно накажет. Но кто видел этого Бога? И кого он наказал? А вот строгий взгляд с фотографии жжет спину, в глазах бабушки читается: ая-яй, что ж ты творишь?! Закрой крышку немедленно и повинись перед дедом! Виниться Севка считает лишним, задница и так не отдыхает от ремня, но крышку все-таки закрывает.

Спустя два дня затворник возвращается на улицу. Заклятых врагов, по словам родителей, отправили в детский лагерь, куда и Севку следовало бы отправить, да возрастом не вышел. «И хорошо, что не вышел... — думает Севка. — Подумаешь, лагерь! Там же скучотища, по струнке надо ходить!» А вот Люда по струнке ходить не заставляет, один раз искупнуться в пруду разрешила (правда, на мелководье, под ее присмотром), а вскоре вообще предложила такое, от чего у Севки захватило дух.

— На аэродром сходить?! — не поверил тот. — Туда, за железку?!

— Ну да. Только болтать об этом, сам понимаешь...

— Да понял, не маленький!

Поклявшись держать язык за зубами, он даже перекрестился, как дед Яша, если кого-то в чем-то убеждал, разве что без присловья: «Вот те крест!»

— Это лишнее! — засмеялась Люда. — И так верю!

И вот они пересекают железную дорогу, границу незримых Севкиных владений. Лишь однажды он рискнул углубиться в глухой лес, что по ту сторону насыпи, и тут же потерял тропку (тогда-то его и искали с собаками). Но Люда ведет Севку уверенно, ей лесная чащоба не страшна. Непонятно только — чего вырядилась? Цветастое платье надела, да еще волосы в пучок собрала и красной лентой перехватила! Когда останавливаются у кромки убегающего к горизонту летного поля, Люда достает из сумочки помаду, зеркальце и быстро окрашивает губы. Из-за чего делается похожей на тетю Лизу — та все время с ярко-красными губами. Так мало того — еще серьги из сумочки вынимает, чтоб привесить к ушам!

— Невеста из теста... — вполголоса бормочет Севка. С аэродромом связано еще одно воспоминание: он у отца на плечах, рядом мать в праздничном (как сейчас у Люды) платье, и все, задржав головы, плятятся в голубое, без единого облачка, небо. А в небе кружат два самолета — то на бок повернутся, то свечкой вверх взмоют, то камнем падают вниз. Народу уйма, потому что праздник, на аэродром пустили всех желающих, еще и лимонад продают с пирожными, что Севке не менее важно, чем самолеты. Ну, маленький был; вот сейчас, например, самолеты гораздо интереснее. Они выстроились в ряд, поблескивая зелеными бортами на солнце, и надо бы, по идее, подойти ближе и, если разрешат, вскарабкаться на крыло. Однако Люда ведет Севку к стоящему поодаль металлическому ангару.

По дороге останавливаются возле штакетника, за ним видны всякие необычные штуковины: большие колеса с петлями, подвешенные на тросах кожаные сиденья с ремнями, а еще вышка, где наверху болтается раскрытый, будто зонтик, парашют. Что это?! Парашютный городок, говорит Люда, а потом добавляет, мол, она тут когда-то занималась, даже с парашютом прыгала.

— Отсюда? — Севка указывает на вышку.

— Нет, с самолета.

— Да ну?! — не верит он.

— Честное слово. Жаль, родители запретили, когда узнали... Ладно, побудешь здесь? Пока я по делам схожу?

— Конечно, побуду!

(Да это же счастье невообразимое!)

— Только осторожнее! — кричит в спину, когда он устремляется за штакетник. — Не лазай никуда!

— Да-да, ты иди! — машет он рукой, не оборачиваясь.

Конечно, он не будет лазать — пока «надсмотрщица» не отойдет подальше. Люда удаляется, оглядываясь, а Севка уже приплясывает, стоя возле большого колеса. Ну что, ушла? Тогда быстренько влезем внутрь железного обруча, по краям которого ременные петли — ровно четыре штуки, для ног и для рук. Он вставляет в петли ступни и тянет руки вверх. Ну же! Если зацепиться за верхние петли, можно крутиться, как хочешь — вниз головой, вверх головой, где еще такое возможно?! Увы, не дотянувшись, подрасти надо для взрослых удовольствий...

Высвободившись из петель, он тут же устремляется к болтающемуся на тросах сиденью, чтобы долго и самозабвенно раскачиваться, как на качелях. А теперь — на вышку! Севка лезет по крутой лестнице вверх: один пролет, второй, третий, еще чуть-чуть, и выберется на площадку, рядом с которой болтается парашют. Но тут опять разочарование: ведущий наверх люк закрыт на большой висячий замок.

Зато отсюда можно озирать окрестности, виден почти весь аэродром. И металлический ангар с большой надписью «ДОСААФ» над входом тоже прекрасно виден. Ага, вот и Люда показывается из дверей, а следом — высокий парень в синем комбинезоне. Видно, как парень приближается к рукомоинику, что слева от двери, споласкивает руки и вытирает их полотенцем. Повесив полотенце на плечо,

приближается к Люде, пытается приобнять, но та отбивает руку. А затем вдруг срывается с места и спешит (почти бежит!) к парашютному городку.

Севка кубарем скатывается вниз. Он уже заготовил легенду, мол, торчал у ворот, как часовой, только Люда ни о чем не спрашивает. Едва поспевая за ней, Севка замечает платок, который прикладывают к глазам — плачет, что ли?! Ой, было бы из-за чего! Вот когда Севку лупцуют — с оттягом, от души, слезы сами фонтаном брызжут из глаз; а тут подумаешь: с женихом (Севка так определил незнакомца) чего-то не поделила!

Чужая тайна, тем не менее, пробуждает фантазию. А может, это и не жених вовсе? А, допустим, какой-нибудь шпион? Ему дали задание: попасть на аэродром и разведать обстановку, чтобы потом взорвать самолеты. Шпион пытается склонить к предательству Люду, ведь одному непросто организовать взрыв, поэтому посылает ей тайные письма, которые надо получать «до востребования». Только Люда рвет эти письма, не желая становиться предательницей, ведь она хорошая (и смелая — с парашютом прыгала!). А еще она красивая. Семеня следом, Севка думает: мог бы он в нее влюбиться? Пусть не сейчас, позже, когда подрастет, и с удовлетворением понимает: пожалуй, да. Так-то девчонки, что только визжат и ноют, его не интересуют, но Люда — другое дело!

— А с парашютом страшно прыгать? — спрашивает он, когда останавливаются перед насыпью. Стерев с губ помаду, Люда срывает серьги, вынимает ленту из волос.

— Ничего особенного! И вообще ерунда это все — самолеты, парашюты... Терпеть их не могу!

Севка вздыхает, затем поднимает глаза к небу.

— Если бы разрешили — я бы тоже прыгнул. А еще узнал бы точно — есть там бог? Или дед Яша про него брешет?

Люда молчит, затем произносит:

— Нет там никакого бога. И вообще его нет... Ладно, идем домой!

Только вошли в поселок, а навстречу Генка Бекас: в расстегнутой рубашке, обнажающей наколки на груди, с гитарой через плечо и, как обычно, пьяный. Севку родня все время пугала: будешь плохо себя вести — попадешь, как Генка, в колонию! А колония — это клеймо на всю жизнь, потом вообще никуда не возьмут!

— Ой, какая встреча! — расплывшись в ухмылке, Бекас преграждает путь. — Куда спешим?

— Не твое дело, — звучит ответ.

— А это кто? — указывает на Севку. — Новый хахаль? Часто их меняешь, Людочка, ох, часто...

Он хохочет, довольный своей шуткой.

— Ладно, дай пройти!

— Да не торопись, лучше песенку послушай!

Бекас снимает с плеча гитару, звякает по струнам.

— Не надо мне твоих песен! Иди проспись!

Севка не понимает, кто такой «хяхаль», но чувствует: надо вступить. Страшновато, конечно, тетя Лиза говорила, что Генка *блатной*, с таким вообще нельзя связываться. Но тут ситуация, когда отступить (с учетом будущей Севкиной любви) негоже.

— Нам это... — бурчит он. — Домой надо!

— Мало ли куда вам надо!

— Если не дашь пройти...

— То что?

— Я дяде Коле пожелаю! — выпаливает Севка. — Он сталевар! И у него ножик есть!

Взятый аккорд внезапно обрывается.

— Надо ж, какие у тебя защитники! — удивленно произносит Бекас. — Соплей перешибешь, а туда же, ножиком грозит! А вот это видел?

Он вынимает из кармана финку с наборной рукояткой, крутит ее в пальцах. И тут душа уходит в пятки: ну вот, сейчас их обоих зарежут!

— Спрячь, — говорит Люда. — А то опять кой-куда попадешь... А ты, Сева, не бойся.

Его берут за руку и ведут по улице. Он настолько перепуган, что позволяет себя позорить, напрочь забыв про «няньку».

— В общем, одумаешься — завсегда тебя приму! — звучит за спиной. — Не гордый! Затем звенит гитара и раздается козлетон:

Мама, я лётчика люблю!
Мама, за лётчика пойду!
Он летает выше крыши,
Получает больше тыщи,
Мама, я лётчика люблю!

Вечером Севка долго не может заснуть, так и не поняв: смелый он был сегодня? Оказался трусом? И зачем про ножик сказал? Этим ножиком, узким и длинным, дядя Коля резал только свиней, людей не стал бы — он ведь не *блатной*. Севка вспоминает, что дед планирует вскоре зарезать хряка Борьку; потому, наверное, и всплыл в памяти нож, что в Севкином сне оборачивается настоящим мечом. Севка крутит его в пальцах, как Бекас финку, легко и непринужденно, Генка же стоит напротив и дрожит, потому что у него только гитара. Они начинают фехтовать тем, что имеется, да разве гитара против меча выдержит?! С жалким обрубком грифа в руке, Генка падает на колени и молит о пощаде...

В воскресенье Севка нарезает круги вокруг деда, не зная, с какого боку подступиться. Он мало соображает в любви, но инстинкт подсказывает: надо держать ухо востро, соперников вокруг — куча! Во-первых, жених-шпион с аэродрома, во-вторых, блатной Бекас, а может, и третий кто-то обнаружится, так что, пока подрастает, на ней точно женятся! А тогда следует обратиться к дедовой мудрости, она-то не подведет.

— Послушай, дедушка... — решается он. — Помнишь, ты говорил, что в твоей библии про все на свете написано?

— Говорил. И что?

— И про любовь написано?

— Вот те раз! Еще с горшка не слез, а такими вещами интересуется!

— А вот и не написано, а вот и не написано!

Дразнилка срабатывает: крышку сундука откидывают, и оттуда извлекается заветный черный том. Водрузив на нос очки с перевязанной изолентой дужкой, дед долго копается в книге.

— Ну вот, слушай, шалопут... Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные... Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее... И если бы кто давал все богатство дома твоего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением...

Дед читает нараспев, не так, как обычную книжку или газету. Внезапно он замолкает и долго молчит, задумавшись.

— Блажь это все... — произносит, наконец. — Мы вот с моей прожили, почитай, сорок пять годков. По-разному было, но прожили. А потом раз — и нету ее! Эх, беда...

И вот наступает пора резать Борьку. Его подруга скоро опоросится, в загоне завизжит-забегает целый выводок поросят, значит, хряк отжил свое. Севка уже наблюдал в позапрошлом году, как резали свинью, то есть, видел, как отец с дядей Колей зашли в сарай, чтобы спустя полчаса вытащить тушу за ноги и, уложив посреди

двора, опаливать струей пламени из паяльной лампы. Вот и сегодня дядя Коля надевает кожаный фартук и натачивает свой длинный и острый ножик. Вжик-вжик на бруске, вжик-вжик, так что Севке становится не по себе. Ну да, не жаловал он Борьку, но как представит, что в того втыкают нож... Жалко, пусть бы еще побегал-похрюкал свинтус (так подчас называли Севку, уравнивая с Борькой).

— Слушай, может, один справишься? — брезгливо морщится отец, тоже обряженный в фартук.

— Как это — один?! — вскидывает глаза дядя Коля. — Надо, чтобы ноги кто-то держал, пока сердце буду нащупывать!

— Знаешь ведь: не люблю я этого...

— Ну да, ты у нас интеллигенция! — дядя Коля хохочет. — С чего бы? Ты ж на этом дворе вырос, небось, в детстве курам головы рубил!

— Да не рубил я ничего, и сейчас этого не переносу...

Севка тоже ни за что не согласился бы держать ноги, пока длинный ножик будет что-то там внутри Борьки *нащупывать*. Поэтому он с удовольствием покидает двор с поручением: оббежать соседей и пригласить вечером на печенку.

Соседей слева оповестил, справа тоже. Забежать к родителям уехавших в лагерь Иванцовых? А вот фиг им, а не вкусной печенки! Проскочив мимо кирпичного иванцовского дома, Севка взбегает на крыльцо, хотя понятия не имеет — кто ему откроет, знакомство с соседями ограничивалось ближайшими домами.

— На печенку? Спасибо, придем...

На пороге полная веснушчатая девушка в халате, кажется, ее зовут Нина. А может, Наташа, помнить дальних соседей не обязательно, как и здороваться при встрече.

— Ладно, я пойду...

— погоди-ка! — придерживает его Нина (Наташа?). — Это ты хвостом за Людкой бегаешь?

— Ни за кем я не бегаю... — бурчит Севка. — Я сам по себе!

— У меня что — глаз нет?! Куда ходите-то? Небось, за железку? Знаем-знаем, к кому эта парашютистка шастает...

Нина-Наташа усмехается, причем нагло так, будто знает о Севке и Люде что-то потаенно-постыдное. Может, она и про Севкину любовь догадывается? Вот будет позорище, если об этом заговорит...

— Пошел я, не могу больше... — пяясь, бормочет он. Теперь повернуться — и стрекача! Все, хватит с него соседей! Он прогуливается просто так, тянет время и возвращается на двор, когда отец уже опаливает огромную грязновато-белую тушу.

— Хочешь? — дядя Коля протягивает Севке алюминиевую кружку.

— А что это?

— То, что мужикам требуется. Для силы. Ты же мужик?

Севка мужик, конечно, только за здорово живешь его не купишь — не будет пить, чего зря. Заглянув в кружку, он видит что-то темно-красное, густое, от чего идет легкий парок.

— Ну что ты ему кровь-то суешь?! — кричит тетя Лиза. — Тебе нравится — сам и пей!

Кровь?! Бр-р, как можно ее пить?! Это ж хуже самогонки! Чувствуя спазм в желудке, Севка убегает в дом. А там уже разложен стол, мать расстилает скатерть, ставит тарелки с рюмками, значит — придут гости (много гостей!). Они будут выпивать, закусывать, а потом петь — с подачи деда. Застолье без песни, утверждает тот, что дом без крыши, и обязательно затянет своим дребезжащим голосом «По долинам и по взгорьям». А потом тетя Лиза затянет про рябину кудрявую; к концу аж уши от их ора закладывает и хочется сбежать из-под стола, где во время песнопений отсиживается Севка.

Когда гости рассаживаются за столом с закусками, бутылками и огромной скворчащей сковородкой, первым рюмку поднимает дед. Уже взявшийся лопать, Севка

получает затрещину, мол, не спеши, не помираешь от голода! Ага, есть-то хочется! Пока дед благодарит пришедших, Севка с тоской глядит то в тарелку, то на Люду, что сидит напротив с напряженным лицом. Физиономия ее папаши, сидящего рядом, наоборот, довольная, и борода горделиво топорщится.

— Да понятно! — машет он рукой. — Спасибо, в общем, что позвали!

Папаша опрокидывает рюмку, тянется к сковороде, и застолье обретает свой обычный ход. Капуста, холодец, дымящаяся печенка, с которой капает густой темный жир, — все это уничтожается под тосты и без оных. Только Люда почти ничего не ест, да и налитую рюмку не трогает.

— Ну, чего сидишь, как истукан?! — толкает ее в бок папаша. — Выпивай да закусывай — заслужила!

Он подмигивает Севке.

— Верно говорю? Людка-то хорошо за тобой присматривает?

— Нормально... — бормочет Севка. Он видит, как Люда ковыряется в тарелке, затем откладывает вилку.

— А вы ей огурчика положите, солененького! — раздается знакомый голос. — Он ей по вкусу придется!

Подавшись вперед и взглянув налево, Севка видит веснушчатую Нину-Наташу, что с ехидной усмешкой пялится на Люду.

— Как-нибудь сама разберусь... — внезапно бледнеет та. — И вообще тут душно, на улицу пойду...

— Ага, иди подыши! В твоём положении — полезно!

Нина-Наташа хихикает, а Людин папаша почему-то мрачнеет и тянется к графину с мутноватой жидкостью. До того, как Севка сползает под стол, он еще несколько раз наливает и опрокидывает. Как обычно, дед затягивает песню, только папаша не дает петь, что-то злобно бурчит, всех перебивает — и почему такого терпят?! А за грязные сапоги почему не сделали выговор?! Диспозиция позволяет оценить чужую обувь, — так вот у папаши она самая грязная; если б Севка в такой обуви в комнату зашел — за вихор бы отодрали!

К концу застолья папаша напивается, скандалит, даже завернутый в марлю шмат сала, что всучивают на дорожку, не может его утихомирить.

— Где она?! — озирается, стоя в сенях. — Эй, ты куда пропала?!

Похоже, ищут Люду, что так и не вернулась за стол.

— Ну, погоди, курва, поговорим еще...

Вдруг вспоминается: «Не хочу дома жить!» Еще бы, с такой родней не жизнь, а сплошное расстройство! Севкина родня еще туда-сюда, так даже с ними порой жить не хочется. Может, убежать от них? Пока моют посуду и убирают столы со стульями, мысль набирает силу, обрастает деталями, и к моменту отхода ко сну превращается в разработанный план.

Понятно, что побег планируется вдвоем с Людой, причем лучше всего на самолете. Для этого нужно договориться с женихом-шпионом, и Севка даже знает, как. «Хорошо, — скажет он. — Я никому не разболтаю, что ты тут шпионишь. А ты за это предоставишь самый быстрый самолет и научишь им управлять». Тот, конечно, испугается и тут же согласится на Севкины условия. И вот они усаживаются в кабину, Севка за штурвал, Люда сзади. Оба с парашютами за плечами, ведь в дальних краях, куда они улетят, может не быть аэродрома, придется прыгать. «От винта!» — произносит Севка, включает двигатель, и пропеллер начинает со свистом рассекал воздух. «Смотри, не вздумай чего-то взрывать! — высунувшись из кабины, крикнет он напоследок. — А то сообщу из дальних краев куда надо!» Потом вырывают на взлетную полосу, Севка прибавляет газу, и вот самолет уже в воздухе. Прощальный круг над поселком, теперь немного покружить над городскими кварталами, чтобы показать язык брату Кеше. Видел, да?! Это тебе не на мопеде кататься! А теперь

прощай, мы улетим туда, где нас никто не найдет! Там нет злобных папаш, блатных Бекасов, ехидных Нин-Наташ, там сплошное счастье...

Когда на следующий день Люда не приходит, дед посылает узнать: не случилось ли чего? Оказывается, случилось: Люда вчера упала, разбила лицо, так что придется пока обойтись без нее. Странно только, что Людина мамаша докладывает об этом вполголоса и все время на дверь оглядывается. Давай-давай, подгоняет, иди домой! Но Севка лишь делает вид, что уходит, а сам — шасть под окна. В какое постучать? Тут кошка сидит, потягиваясь, там топорщатся колючие побеги столетника. Севка протягивает руку к столетнику и тут же отдергивает: вдруг из-за шторы злобный папаша высунется?!

Пока размышляет, сдвигается тюль в окне с кошкой, створка распаивается, и в темном проеме возникает Люда. Прикрыв платком лицо, она машет рукой: мол, уходи отсюда! Но Севка не уходит — он хочет доложить о разработанном плане, чтобы назначить день и час побега. Он все продумал: Люда плюнет на свой институт, а Севка — на дурацкую школу, всего этого в дальних краях не нужно. Там и на работу ходить не нужно, деньги просто так дают, каждый день хоть петушки на палочках покупай, хоть газировку ведрами.

— Фантазер ты, однако... — говорит Люда. Когда она отнимает от лица платок, Севка видит под левым глазом крупный синяк.

— Упала, да? — спрашивает участливо.

— Ага.

Она осторожно прикасается к припухлости, затем произносит:

— Не влюбляйся ни в кого, вот что я скажу.

— Ой, очень надо! — машет он рукой. — Я девчонок вообще терпеть не могу!

— Вот и молодец. А теперь иди, не надо тут стоять...

Неожиданно отпускают в «декрет» тетю Лизу, ей и поручают неугомонного племянника. Живот у тети Лизы вырос до невозможности, ходит она медленно, вперевалку, за Севкой угнаться трудно. Но тот клятвенно обещает не убежать далеко от дома и поначалу с трудом, но держит слово.

— Чего тебя на соседнюю улицу тянет?! — удивляется она. — Здесь играй, места хватает!

А тот стремится к дому с покосившимся штакетником, будто перелетная птица на родину. Он ведь самого главного (про любовь) не сообщил! А вот если сообщит, Люда перестанет считать его малолеткой-фантазером и очень зауважает. Быть может, даже полюбит. Улучив момент, когда тетя Лиза задремывает на крыльце, Севка стремглав летит к Людиному дому и встает под тем же окном. Кошки на этот раз нет, а на стук высовывается мамаша, злая, как змея.

— Чего бегаешь сюда?! А?! Нету Людки, в больнице она!

Створка с грохотом захлопывается, а Севка отправляется обратно. Он в унынии и тревоге, ведь просто так в больницу не попадают. Игры теперь неинтересны, жизнь делается скучной; даже когда тете Лизе становится плохо и за ней приезжает «скорая», он не очень переживает. Тем более, к вечеру дядя Коля уже возвращает ее на такси и говорит: все обошлось.

Интерес просыпается, когда приглушенным тоном обсуждают случившееся, и в застолье мелькает знакомое имя «Люда». А следом незнакомое слово «аборт». Тетя Лиза, оказывается, видела Люду в больнице, там-то и делают «аборты», но зачем делают — фиг знает. Чутье подсказывает: не следует проявлять любопытство, надо потерпеть. И он терпит; и у самой Люды, которую встречает спустя несколько дней, тоже ни о чем не спрашивает. Спрашивает она: как, мол, живешь?

— Нормально... — отвечает. — Этот пригляд вообще не нужен. Я взрослый уже.

— Вижу, что взрослый... — усмехается Люда все той же странной усмешкой, будто не весело ей совсем. Да и выглядит не очень: лицо осунувшееся, серое, и ходит еле-еле. «Если бы я сейчас тонул, — думает Севка, — вряд ли она бы меня вытащила...»

И хотя он не раз мысленно репетировал слова, что должен ей сказать, они вылетают из головы.

Люда о чем-то задумывается, затем говорит:

— Слушай, если ты взрослый... Ты не мог бы меня выручить?

— Я?! Да я... Конечно, могу!

— Тогда подожди тут, хорошо?

В ожидании он жмет к ближайшему забору, чтобы дед или тетя Лиза, если выйдут искать, не потащили домой. По счастью, родни не видно, а вот и Люда возвращается с листком бумаги в руке. Эту записку, говорит, надо отнести на аэродром, в тот самый ангар с надписью «ДОСААФ».

— Ты ведь читать умеешь, не ошибешься?

— Еще как умею! А кому передать?

Он прекрасно знает — кому, но не хочет признаваться в том, что подглядывал за ними с вышки.

— Кому? Инструктору. Спроси инструктора, ему и отдашь записку. Главное, в лесу не заблудись.

— Не заблужусь!

Тайна оказалась не столь уж таинственной — никакой это, выходит, не шпион, а просто инструктор. Чего именно делает инструктор, Севка не знает, но самолеты уж точно не взрывает. Возможно, все прояснила бы записка, которую Севка может запросто прочесть; пару раз он даже тормозит, чтобы это проделать. Но тут же вспоминает, как полез однажды на шкаф, где в ящике хранилась семейная корреспонденция, и был застукан дедом. Тот не ругался, не грозил ремнем, а просто сказал: никогда не суй нос в чужие письма, иначе люди уважать не будут.

Железная дверь ангара заперта. Севка стучит вначале кулаком, затем встает спиной и долбит пяткой. Наконец, слышится лязг замка, и он буквально вваливается внутрь.

— Чего стучишь?! — раздается грубый голос. — Кто тебя вообще на аэродром пустил?!

Перед ним толстый мужик в промасленной спецовке, явно не тот, к кому послали. Раздраженный, он все-таки выслушивает Севку, забирает записку и, не читая, прячет в карман.

— Устроили, понимаешь, дом свиданий... — бормочет недовольно. Затем внимательно смотрит на Севку.

— Ладно, передай этой своей... Уволился он. Уволился и уехал. Куда — не знаю, адреса не оставил. Запомнишь?

— Запомню.

— Главное, передай, что адреса не оставил. То есть, искать его не надо. Запомнил?!

— Да запомнил, конечно!

— А теперь иди. Иди-иди, нечего бегать по объекту!

На обратном пути он приостанавливается возле парашютного городка: может, покрутиться-покататься? Нет, решает, нельзя, надо срочно нести известие про уехавшего инструктора. Севку этот факт даже радует, тот ведь был соперником, а если умотал куда-то далеко — скатертью дорожка!

— Не оставил адреса, значит... — медленно произносит Люда.

— Не-а, не оставил. И искать не надо, сказали.

На ее лице застывает странная гримаса, будто человек силится улыбнуться, а кажется: вот-вот заплачет.

— А я все равно не жалею... — говорит она.

— О чем? — тупо спрашивает Севка.

— Ни о чем. Не жалею, и все.

Она отворачивается, ее плечи вздрагивают, а Севка — в растерянности. Когда дети хнычут-плачут, все понятно, можно вообще внимания не обращать, а вот когда взрослые...

И опять наплывает пелена, и можно только предположить (не вспомнить!), что именно он тогда сказал. Или она что-то сказала? Этот сюжет воспоминания вообще не претендует на точность, он изобилует темными местами, которые вспоминающий стремится заполнить выдумкой и так хитро изловчиться, чтобы повернуть ход событий в желаемую сторону. Подправить жизнь, текущую по абсурдным законам, выстроить канву так, чтобы свет и полное согласие в конце, да вот — не получается... Прошное невозможно изменить или подправить, оно отпечатано на невидимых скрижалях, так что глупо размышлять на тему: мог бы тот, малолетний Севка, что-то изменить? Зависело ли что-то от него? Кажется, найдись вовремя нужное слово, правильная интонация, и можно избежать неизбежного. Но это — самообман, особенно когда размышляешь задним числом. Так что сюжет следует достраивать по уже утвержденной высшими инстанциями канве, добавляя разве что второстепенные детали.

3

В тот вечер домашних взбудораживает известие: Машка пропала! Пастух Кирюха перепился, заснул на выпасном лугу, вот коровы и разбрелись, кто куда. Одних отловили на лесной опушке, другие сами домой пришли, а вот Машка как в воду канула.

— Ирод, чистый ирод! — ругается дед и сует в лицо Кирюхе костистый кулачок. — Ты ж сам хуже скотины, пьянь этакая! Вот где теперь искать ее, голубу?!

Пастух вращает осовелыми глазами.

— Куды она денется, Яков Петрович?! Вернется, мать ее растак...

— Ага, вернется! За аэродромом волков, говорят, видели! Ну, если задерут... Шкуру с тебя спущу, алкаш!

Вначале на поиски отряжают дядю Колю с отцом, они больше часа ходят по подлеску, что окружает луг, и возвращаются ни с чем. Положение серьезное, Машка, считай, член семьи, да еще кормилица. Мать с тетей Лизой ее доили, получалось почти по ведру молока, которое затем разливали по банкам. Парное выпивали сразу, каждому по большой кружке доставалось, а Севке — целых две, чтобы рос быстрее. Остальные банки прятали в подпол, чтобы потом пить прохладное молоко или заливать в сепаратор, что временами гудел в сенах, изготавливая густую жирную сметану.

— Давайте я поищу! — приплясывает Севка. — Я все места здесь знаю, точно найду!

— Сиди уже! — говорит мать. — Вечер на дворе, тебя потом самого искать придется!

Отец с дядей Колей разыскивают батарейки и вставляют в фонарик, чтоб заниматься поисками в темноте. И вдруг — тархтенье мотора за окном! Оказывается, приехал брат Кеша, для которого погазовать у крыльца — это святое.

Идею задействовать Кешин мопед подает Севка, дескать, на нем можно все укромные места объехать, причем быстро, а пешком — до утра будете искать. Брат не возражает (тоже любитель приключений!), да вот с напарником, кто указывал бы дорогу — не складывается. Когда сзади подсаживается могучий дядя Коля, рессора проседает так, что не крутится колесо. С отцом та же история: поерзав на сиденье, он слезает и разочарованно произносит:

— Так мы точно где-нибудь застрянем...

И тут наступает звездный час Севки. Он, во-первых, легкий, во-вторых, лучше всех знает здешние окрестности, так что получается: у взрослых просто нет выбора!

— Ты, Кеша, следи за ним... — говорит отец, усаживая сына сзади. — А ты крепче за брата держись, понял?

— Да понял, понял...

И вот они гонят вперед, подпрыгивая на неровностях дороги. Уличные фонари позволяют ехать без включенной фары; но лишь заканчиваются дома, как их

накрывает темнота, значит, надо ее осветить. Луч света скачет по траве, редким деревьям, и Севке, глядящему из-за Кешиного плеча, очень приятно: ехал бы и ехал. Хотя лучше, если бы за рулем находился он сам, а сзади сидела Люда и обнимала бы его так же, как он обнимает брата. Ладно, с самолетом не вышло, но можно ведь уехать в дальние края на таком мопеде. Побольше бензину в бак залить, усесться поудобнее — и вперед!

Когда луч упирается в стену деревьев, Кеша притормаживает.

— И куда теперь?

— Там дорожка есть... Езжай по ней, только тихо.

Лесная дорога таинственна и опасна: мопед ныряет вниз, потом взъезжает вверх по взгорку, рыча мотором; по лицам хлещут ветви, из-за чего приходится нагибаться, но пока на пути — ни одного живого существа. Существо появляется на выезде из перелеска, и это не корова и не волк (Севка помнит про волков), а — человек.

Незнакомец заслоняется ладонью.

— Эй, хрена в морду светишь?!

Ладонь убирают, и Севка едва не вскрикивает: Бекас! А тот уже направляется к ним и, взглядевшись в лица, узнает Севку.

— Опять ты, пацан, под ногами крутишься...

Он пьяный и, похоже, злой.

— Мы корову ищем... — дрожащим голосом произносит Севка.

— Корову, бля... Я тоже кой-кого ищу!

Он вынимает финку и, как в прошлый раз, вертит в пальцах.

— Разобраться хотел с одним... Только сбежал летчик. Смылся!

Севка прижимается к брату — ну вот, теперь их точно убьют! Вместо сбежавшего летчика! Но Генка не торопится убивать, он просит закурить, и Кеша (ну и ну!) достает из кармана пачку и протягивает Бекасу.

— С фильтром, надо же... Две возьму!

— Бери три, — говорит Кеша, тоже напуганный. Генка прикуривает, после чего говорит:

— Ну что ж, смылся, и хорошо... Мне же легче.

Когда Бекас удаляется в темноту, Кеша глушит мотор. Он тоже пытается закурить, да спички ломаются, получается лишь с третьего раза. Сделав несколько жадных затяжек, брат молчит, затем заявляет, что мог бы этого Генку уделать — он же боксом занимается. Запросто мог бы, да руки марать не хочется. Севка не верит Кеше (мог бы — уделал бы!), но молча кивает, чтобы голосом не выдать испуг. А братец продолжает выпендриваться:

— Это он из-за Людки злится, я знаю! Мне Нинка рассказала, что на нашей улице живет.

— Конопатая такая? — уточняет Севка.

— Ага.

(Значит, все-таки Нина.)

— Она же за женатиком бегает, Людка твоя! — хихикает Кеша. — Втюрилась по самые уши, даже с парашютом прыгала, чтоб ему понравиться! Вообще-то Нинка сама глаз положила на этого женатика, только он Людку выбрал. Да не просто выбрал, а даже... Хотя ты малявка еще, рано тебе об этом знать!

Он гасит ногой окурок.

— Про курево родичам не трепись, хорошо?

Трепаться Севка не будет. Но ему не нравится, как Кеша говорит про Люду, и еще хихикает противно, даже хочется скинуть его с сиденья, когда отправляются в путь.

Езда вдоль железной дороги результата не приносит. Доезжают до переезда со шлагбаумом, и тут удача: возле будки стоит Машка, привязанная к перилам! Кеша жмет сигнал, и вскоре из будки появляется обходчик в форменной тужурке и фуражке.

— Ваша? Тогда забирайте... — он похлопывает Машку по загривку. — Умная

животина! Она ж через насыпь перебралась, а обратно взобраться — не смогла, там круто очень! Так сюда пришла, к поезду... Все, ведите домой!

Переживания, наконец, отпускают, ведь Севка сейчас — победитель! Ну да, Кеша тоже победитель, но вести Машку все-таки доверено ему, и он ее ведет, торжественно, слегка переживая лишь из-за того, что его не видит Люда. Дома его, понятно, ждет триумф и полное снятие наказаний. Пусть только попробуют шпынять, он же всех спас от голода, кормилицу вернул! Севка вводит корову на двор, закрывает ворота и спешит в дом.

Дома на удивление тихо. Все сидят по углам, как пришибленные, прячут глаза и почему-то совсем не радуются Севкиному рассказу. А тот разливается соловьем, живописуя их приключения. Иногда он оборачивается к брату за подтверждением: ведь правда, Кеша, так и было? И очень удивляется, когда мать вдруг притягивает его к себе и гладит по голове. На макушку что-то капает, Севка поднимает голову и видит ее наполненные слезами глаза.

— Ты чего, мам?! Все нормально, я же вернулся!

— Вот и хорошо, что вернулся... Вот и хорошо...

А дед, какой-то согбенный, старый-престарый, поднимается и бредет в свою «светелку».

— Не уберегли девку... — слышно бормотанье. — Эх, грехи наши тяжкие...

Точно помнится: в тот вечер ему ничего не рассказали. Кеше — да, рассказали по-тихому, потому он и засуетился, вознамерившись быстрее уехать, по сути — сбежать из дома, где темным облаком повисло горе. Молодость не жалуется смерти, она вся нацелена на то, что маячит впереди (то есть на долгую и счастливую жизнь), потому родные долгое время и замалчивали подробности. Взрослые щадили юное сознание, да и самих эти воспоминания не радовали. Вскоре сдвинулись дела с квартирой, родителям выдали ордер, и приятные хлопоты отодвинули в сторону то, что произошло на вечернем пруду.

Много позже, когда он узнает правду, эта странная рифма (пруд + пруд) будет волновать и не давать покоя. Там, где он спасся — точнее, где его спасла Люда, — оборвалась ее жизнь. И хотя вникать в детали уже вряд ли имело смысл, он все-таки будет расспрашивать родных, восстанавливая не до конца понятную картину. К ней вроде завалился Генка, пьяный в хлам, с предложением выйти за него замуж. А Люда, как ни странно, согласилась — при отце и матери дала согласие. «Только погодите, — сказала, — сбегаю кой-куда!» Усмехнулась своей загадочной усмешкой, накинула платок — и выскочила вон. И вот они сидят, ждут, папаша с Генкой уже по стакану выпили, когда хозяйка дома, чьи окна на пруд, прибежала с причитаниями: «А ваша-то утопла!» Мужики взялись нырять возле камышей, вытащили, откачивать стали, да — поздно...

Спустя годы история окажется погребенной под грузом новых событий и впечатлений. Севка будет взрослеть, станет Всеволодом; уехав в другой город, конечно же, забудет обещание «не влюбляться» и, как и многие, набьет шишек на этой ухабистой дороге. Лишь изредка будут вспоминаться погожие летние дни, когда за ним, малолеткой, присматривала девушка в голубом сарафане и защищала от уличных врагов. И всегда на душе будет оставаться печальное недоумение: да, можно кого-то обвинить (и было, кого!), только разве от этого легче? Потом и остальные свидетели тех событий начнут уходить, перемещаясь на кладбище, что за аэродромом. А сам поселок окажется стертым наступающим городом, будто огромным ластиком: исчезнут дома, пруд, лес, выпасной луг, на их месте прорастут многоэтажки, землю покроет асфальт, и тут забуллит совсем другая жизнь. От прежней жизни ничего не останется, разве что ветер, что кружит тополиный пух, пролетая вдоль улиц и домов, и в чьем шуме чуткое ухо может различить негромкие слова: «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь...»

Ирина Богатырёва

Дядьмороз

Рассказ

— Ищи, Тото! След!

Поводок дрожит в руке, собака тянет. Под брюхом вагона мелькает соседний перрон, кто-то ходит: ноги, ноги, пустота, припорошенный снегом асфальт. Конечно, они там, но им не укрыться: Тото уже взял след, и вот-вот преступники будут пойманы!

— Стоять! Ни с места! Вы арестованы! Тото, взять!

И пусть только посмеет бандит вытащить нож или пистолет! Собака черной пулей бросится и загрызет насмерть. Ведь это Тото, лучший полицейский пес!

Был бы лучшим полицейским псом, если бы был настоящим. Тимка так неожиданно вспоминает об этом, что становится больно в груди. Как будто бежал-бежал и вдруг споткнулся и растянулся на асфальте. Коленки в кровь, но не плакать, только не плакать, большой уже, плакать нельзя. Тимка вжимается лицом в игрушечный бок собаки. Он часто последнее время вспоминает не к месту разные вещи, о которых лучше не думать совсем.

— Ничего, Тотошка. Ты еще вырастешь и станешь настоящим боевым другом.

Стеклянный глаз игрушки блестит в свете вокзальных фонарей. Тимка поднимает голову и шурится. Если сошкуриться совсем сильно, ничего не видно, а если оставить щелочку, то свет вспыхнет лучами и заиграет, и все вокруг станет сияющим, праздничным, необыкновенным, на всем загорятся маленькие звездочки. Они с бабушкой так часто играли: бабушка не знала, что можно сошкуриваться, но Тимка ее научил. И они иногда всю дорогу от сада до дома шли сошкурившись, чтобы звезды в глазах.

Вот, опять: о бабушке тоже нельзя думать. Совсем-совсем нельзя. Иначе в груди приоткроется противная форточка, и начнет тянуть мерзким сквозняком. Нет! Тимка решительно захлопывает ее — и думать нельзя, и плакать нельзя, ведь ты уже большой, а большим вообще ничего нельзя.

— Тимофей! — Мама подбегает и дергает за руку, чуть Тото не выбила. — Ты доиграешься! Сколько раз говорила, не смей прятаться от меня! Пойдем быстрее, от поезда отстанем.

Как от него можно отстать, если поезд вот стоит, прямо под боком? И ничего Тимка не прятался, все время тут был и папу с мамой видел у входа в вагон, где

Ирина Богатырёва родилась в Казани, выросла в Ульяновске. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Автор пяти книг прозы, сборника литературных переводов алтайских сказок и др. Печаталась в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов» и др. Финалист и лауреат многих литературных премий, в том числе по литературе для подростков и премии «Студенческий Букер». Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 3.

проводница и люди курят. Приятно, что ли, там торчать? Но он же недалеко ушел, маме ровно пять шагов понадобилось, чтобы вернуться и Тимку за собой притащить, как на прицепе. А вокруг искры, звездочки, снег и фонари, и холодно, а в вагоне — душно и противно, вот бы туда вообще не лезть больше, и не ехать никуда, а остаться здесь, непонятно где...

— Тимофей! Ты чего рожи корчишь? Глеб, только посмотри на него! Этот ребенок ничего не понимает!

Мама дергает за руку. Больно вообще-то, но он, конечно, не скажет.

— А я что могу? Следи за ним сама.

Голос папы откуда-то сверху, из сияния и звезд. Тимка все равно плохо сейчас их видит. И это хорошо, что плохо, лучше так.

— Тима, послушай, ну, ты разве не понимаешь: сейчас не время кривляться. Прекрати. Ты слышишь меня?

Мама присаживается рядом, ее лицо загораживает фонари, но Тимка сперва не видит лица, только потом, когда прекращает шуриться, оно проступает — большое и тревожное.

— Я не корчу, это так надо — на фонари. Мы с ба всегда так играли...

— Пассажиры, займите свои места, — равнодушный голос сверху.

И папин:

— Заходим.

Мамино лицо исчезает — Тимку втаскивают в вагон.

Они шагают по вагонному коридору, душному и вонючему. Мама продолжает про то, что можно, а чего нельзя, папа поддакивает — но вдруг оба останавливаются, и Тимка врзается в них сзади, и надо протиснуться, чтобы увидеть, что там, впереди, отчего они застыли — это у двери в их купе толкуются какие-то незнакомые мужики, смеются и громко разговаривают.

— Это еще что такое? — говорит мама, и ее голос наливается гневом.

— А ты что хотела? — неприятно хмыкает папа. — Первое же января.

А Тимка ничего не говорит. Он просто замер и смотрит.

Потому что там, среди всех этих громких и веселых мужчин, стоит высокий, бородатый, в синей шубе и шапке с искрами, с мешком и тяжелым посохом, в общем, такой, как и должен быть — настоящий Дед Мороз.

Мама приходит в себя первой и бросается вперед, как тигрица, отодвинув Тимку к окну:

— Что здесь происходит? Вы что тут делаете? Это наше купе!

В этот момент поезд лязгает и трогается. Медленно катится по рельсам, и колеса под брюхом вагона стучат первый раз: ту-дук. А потом еще раз: ту-дук. Тимка хватается одной рукой за поручень, чтобы не упасть.

Папа подтягивается:

— Мужики, вы местами не ошиблись? Тут вообще-то мы едем.

— Да все путем, с Новым годом, земля, мы ж так, на дорожку, айда с нами, чего резкие такие, праздник же!.. — кричат чужие голоса.

Мужики — их четверо плюс Дед Мороз — хрустят пластиковыми стаканчиками, выхватывают из карманов горлышки бутылок, лезут обниматься.

— Нет-нет, этого еще не хватало. Глеб! — кричит мама.

— Так, все, идите отсюда, — обрывает их папа.

— У вас вообще какие места? Глеб, зови проводницу, что происходит, в конце-то концов?

— Да что ты напрягаешься, все нормально же! Правда: нор-маль-но...

— Ничего не нормально! У нас ребенок. Тимофей! — Мама бросается к нему и втаскивает за руку в гущу сильно пахнущих мужчин, проталкивается с ним в купе, отбирает игрушку, расстегивает куртку, сажает на нижнюю полку и стягивает ботинки.

А Тимка как обмер там, в коридоре, так и не шевелится, будто сам стал

игрушечным. Смотрит в дверной проем, где папа продолжает увещевать мужиков, а они что-то ему отвечают и смеются, и перекрикиваются, но наконец начинают уходить, как будто папа выталкивает их одного за другим из поля зрения, и только Дед Мороз остается с другой стороны от папы, и мужики продолжают кричать ему что-то, тянут бутылку над папиной головой, зовут с собой.

— Колян, мы в ресторан, подтягивайся! — кричит последний, пропадая, а Дед Мороз смеется глухим, пушистым басом, и машет ему ручищами.

— Мама, а он настоящий? — спрашивает Тимка шепотом, пока она стаскивает теплый комбинезон.

Мама быстро оборачивается к двери, где папа уже остался с Дедом Морозом один на один и что-то продолжает ему внушать, негромко, но раздраженно, а тот только гудит низким голосом: «Да без проблем вообще, без проблем...»

— Нет, — говорит мама, дергая за вторую штанину. — Это просто дядя с бородой. Ты разве не помнишь: настоящий Дед Мороз к вам в сад на елку приходил.

Тимка, конечно, помнит. И елку, и того Деда Мороза. Но вот в том, что он был настоящий, сильно сомневается. Он же не маленький, он знает, что существуют актеры, и вообще люди умеют притворяться не теми, кто они на самом деле. И когда они притворяются, то остальные делают вид, что им верят, хотя и понятно, что это понарошку. Просто это такая игра: человек играет, например, кота, и все знают, что он не кот, но верят ему, потому что представляют, как выглядит кот, и понимают, что этот актер *ведет себя, как кот*. Иначе будет неинтересно.

Вот и тот Дед Мороз в саду, было похоже, просто *вел себя, как Дед Мороз*: делал голос ниже, хотя слышно было, что это не его настоящий голос, и бороду белую надел, хотя все видели, что у него вообще не растет борода, и еще он все время смеялся из самого живота. Тимка заметил тогда, что многие в группе поверили, что он настоящий, особенно девочки, а может, просто хотели поверить. Или они еще в театре никогда не были и про актеров не знали.

Зато этот Дед Мороз совсем другой. У него все настоящее, сразу видно. И шуба, и шапка, и борода — она просто растет, и не совсем даже белая, а бело-черная. И посох у него здоровый, пусть и с фольгой на набалдашнике, и басит он по-настоящему, как будто внутри у него бочка.

Просто тот, на елке, изображал этого, догадывается Тимка, настоящего — Дядьмороза!

Мама как раз справилась с комбинезоном, и можно залезть на полку с ногами, сесть в угол, прижимая к груди Тото. Вроде как они вернулись с задания, и пес вылизывает ему лицо, а Тимка говорит: ты сегодня молодец, мы с тобой раскрыли такое сложное дело!..

— Вы переодеваться будете? — спрашивает в этот момент мама. Оказывается, Дядьмороз уже зашел в купе и снял шубу. Под ней — обычные джинсы и свитер. И шапку он тоже снял, и посох свой поставил в простенок между дверью и полками. Но каким-то чудом все равно не перестал быть Дедом Морозом, Тимка его бы и так узнал.

— Нет-нет, не беспокойтесь, — басит Дядьмороз застенчиво и пытается вжаться в стенку за столиком. Головой он достает до верхней полки, ему ужас как неудобно, но он старается уменьшиться, лишь бы не мешать маме. От него пахнет, как от взрослых после праздника. От мамы с папой еще утром пахло так же, пока им из дома не позвонили, и не пришлось срочно от гостей уезжать. Утром они еще не были такие испуганные и раздраженные. И в груди не хлопала эта противная форточка.

— Тогда выйдите, пожалуйста, мне надо переодеться и уложить ребенка, — говорит мама, и голос у нее такой неприятно-стеклянный, что Тимке за нее стыдно. Ну за что она взялась на Дядьмороза, он вон какой скромный и ничего плохого ей не сделал.

Но он с мамой не спорит, он неуклюже выбирается из-за столика, протискивается в дверь. В последний момент оборачивается и — пока мама не видит — подмигивает Тимке.

Тимку аж подбрасывает. Правда или показалось? Нет, правда, правда, он на него посмотрел, это точно, он подмигнул! Сердце заливает щемящей радостью, и форточку со сквозняком будто заваливает чем-то большим и пушистым.

Дверь мягко скользит по своим рельсам.

Через пять минут мама, переодевшись, дверь открывает, и они входят оба — и папа, и дядя, не глядя друг на друга, причем дядя сияет улыбкой, а папа тюпает телефон.

— Спусти матрасы, — кидает ему мама. Папа поднимает невидящие глаза, не сразу соображая, что от него хотят. Потом разувается, встает ногами на нижние полки, стягивает тяжелые матрасы.

— Тимофей, лезь наверх, мне тут разобрать надо, — командует мама, и Тимка быстро лезет — он давно уже мечтал об этом, со второй полки удобно на всех смотреть, и даже в окно интересней, хотя там ничего сейчас не видно — только ночь, снег, и редкие фонари мелькают.

— Друзья, Новый год, как никак, — слышится внизу теплый, примирительный бас Дядьмороза. Тимка, только успевший залезть, свисает с полки. На столе рассыпаны мандарины, открыт пакет конфет, печенье. Это же из мешка! — догадывается Тимка, и в груди опять все сжимается в ожидании чуда.

Но родители непримиримы:

— Нет, нам надо спать, мы выходим рано, — мама.

— Я что, непонятно объяснил: никаких посиделок, — папа.

— Да ребят, ну вы чего? Я же чайку. Только чайку, — басит Дядьмороз и поднимает руки, как будто сдается.

На столе и правда — четыре стакана в металлических подстаканниках. Ложечки мелодично звякают о стекло. Тимка даже за губу себя кусает, чтобы не завизжать от восторга — их же только что не было, этих стаканов, он-то сверху видел — не было!

Но родители как будто ничего не замечают, бурчат недовольно: «Пейте сами», — мама возится с постелями, у папы брякает телефон, и он втыкается в экран, как в спасение.

Выходит в коридор.

— Тим, слезай, готово, — мамина голова появляется у полки.

— Нет, я хочу спать тут.

— Никаких нет, что за новости!

— Но ты обещала! Мы когда еще туда ехали, ты сказала, что на обратном пути я сплю сверху!

— Прекрати немедленно! Ты что, не понимаешь, что сейчас другие обстоятельства!

— А я не хочу обстоятельства! Я хочу сверху! Ты обещала, обещала!

Он чувствует, что сейчас зайдет слезами. Уже и рот кривится, и в носу щекочет, и ничего с этим поделать нельзя. Он даже забыл было про Дядьмороза, и хоть сейчас уже вспомнил, и стыдно до невозможности, что ревет при нем, но ничего поделать с собой не может — ведь обидно!

— Что у вас происходит? — в купе возвращается папа. — Ну-ка, прикрути звук, — бросает Тимке. — Пять секунд не можете вместе побыть.

— Глеб, сними его.

— Я буду сверху спать! Ты обеща-ала-а!

— Слышать ничего не хочу! Глеб!

— Ой, оставьте вы меня в покое! Я ничего такого не вижу, хочет наверху — пусть спит, большой уже.

— Глеб, ты совсем, что ли? В пять лет наверху нельзя! Мне еще не хватало всю ночь дергаться и ждать, когда он оттуда навернется. Ты хочешь еще и сына потерять?

В папе что-то щелкает. Тимка прямо это слышит, а папа поднимает глаза — у него сегодня лицо серое и глаза чужие — и вот-вот что-то скажет. Тимка даже сжимается весь, прячется за Тотошку от того, что папа скажет, — как вдруг в дверях появляется проводница, и в руках у нее какие-то ремни. Она мягко отодвигает папу и начинает ворковать, помахивая этими ремнями перед лицом у мамы:

— Защита же есть, вот такая защита, никуда он не свалится, не переживайте, чего же вы сразу не позвали, я бы еще и постелила вам, ну вот, зачем же ругаться, не портьте друг другу праздник... — И ловко пристегивает ремни до потолка, так что Тимка оказывается как будто за решеткой, но это не страшно, главное — снимать его отсюда уже не будут.

А в коридоре за спиной проводницы маячит ухмыляющееся лицо Дядьмороза. Ловит Тимкин взгляд и подмигивает опять. Это он все устроил! — понимает Тимка и подмигивает ему в ответ. Плохо, он пока не умеет по-нормальному. Но изо всех сил подмигивает и шумно хлюпает носом — пронесло.

— Да уж, праздничек, — ворчит папа, когда проводница уходит. Мама ничего не отвечает, она садится за столик, демонстративно отодвигает конфеты и мандарины и вываливает гору бутылочек из косметички. Тимка в другое время с удовольствием бы посмотрел сверху, как мама будет себе «лицо стирать», но вместо этого бухается на подушку и замирает, упираясь взглядом в потолок, и не дышит, прижимая к себе Тотошку.

Потому что на соседнюю полку, совсем рядом, лезет, как медведь, Дядьмороз. Кряхтит и тоже ложится. Он такой огромный на этой полке, что кажется, застрянет там. И он не достает ни телефон, ни газету, ни сканворды разгадывать. Он просто ложится, складывает руки на груди и тоже смотрит в потолок.

Тимка боится пошевелиться. Настоящий — стучит в голову. Он настоящий! От предвкушения чуда снова перехватывает горло. А вдруг... вдруг он и желания умеет исполнять!

Все молчат, только слышно, как стучат колеса по рельсам, как в других купе переговариваются люди и как мама перебирает свои бутылочки. Сейчас я посмотрю на него и скажу: спасибо, — думает Тимка. А он скажет: не за что. Тимка прямо представляет, как Дядьмороз скажет это своим басом и как улыбнется, и от этого мурашки бегут по спине, и на душе становится лучисто, будто от фонарей.

— А потому что не надо было никуда на эти праздники уезжать. Можно было догадаться, что не надо, — говорит вдруг мама внизу отчетливо и зло, и Тимку как будто обжигает холодом. Будто разом открыли все окна, и наружная стужа, весь снег и зима врываются в купе, кружат пургой и насыпают сугробы. Но хуже того — распаивается гадкая форточка, та самая, которую заколотил своими чудесами Дядьмороз, и дует из нее таким ужасом и зимой, каких Тимка еще в жизни не знал.

И не хотел бы знать.

Потому что мама сказала то, что крутилось у них троих в голове с самого утра. Крутилось, но сил не было произнести. Да и не стоило говорить, все понимали, что не стоило, ничего хорошего в этих словах нет, одно зло, обида и боль.

Но вот мама сказала — и теперь все стало совсем плохо.

— Та-ак, — говорит папа. — А что это твоя идея была, забыла? Поехали, развеемся, Гончаровы давно зовут, погуляем по Москве, не привязанные же, — говорит он, изображая что-то злое и гадкое, но Тимка понимает: он изображает маму, хотя мама никогда, вообще никогда таким противным голосом не говорит. — Забыла, да? Мне за тобой записывать в другой раз?

— Ну и что? Что с того? У тебя своей головы нет? Должен был отговорить, настоять. Ты же не мог не понимать. Что это в любой момент, сам говорил ведь!

— Понимать — что? Что тебе надоело это все? Что у тебя терпения больше не было? Ну уж нет, теперь не получится все на меня свалить! Не выйдет!

— Я сваливаю? Да ничего я не сваливаю!

— Да она вообще сама постоянно твердила: поезжайте, съездите куда-нибудь, не сидите дома. Ты что, не помнишь?

— Ну и что, что твердила! Она просто такая, все для нас, ты как будто не знаешь! Удобно было, конечно, жил на всем готовеньком, она тебя до последнего обслуживала. Привык!

— Ну все, это уже переходит всякие границы! — говорит вдруг папа таким голосом, будто задыхается, и выскакивает из купе.

Шарахает дверью так, что она отъезжает обратно на своих рельсах.

Но маму уже не остановить. Она бросает свои тюбики — и выскакивает тоже:

— Нет, ты не думай, что от разговора уйдешь, я долго терпела, я столько лет молчала, я все должна... — шипит там злым шепотом, но дверь закрывается — и их голоса становятся глухим, неразборчивым бормотанием.

Только Тимка их слышит.

Даже если ему сейчас уши закрыть, даже если его на другой конец света забросить — он и тогда будет их слышать и от этого не сможет дышать. Ни дышать, ни шевелиться. Ни шевелиться, ни закрыть глаза. Его уже совсем засыпало снегом, погребло под сугробом, и один верный Тотошка согревает своим горячим игрушечным сердцем.

Тук. Тук-тук.

— А его как зовут? — слышит вдруг и вздрагивает всем телом от неожиданности.

Сугроб осыпается, и Тимка видит — Дядьмороз. Улыбчивое лицо. Глядит на него со своей полки. Лежит на боку, голову подпер ладонью. Непринужденно, как будто не в поезде, а где-нибудь на пляже.

— Собаку твою как зовут, спрашиваю? — повторяет, и Тимка в недоумении смотрит на игрушку. Если бы Тотошка сейчас оказался настоящим, он бы, наверное, не удивился.

Но тот глядит стеклянными глазами.

— Тото, — выдавливают Тимка и чувствует, что губы замерзли. И даже лицо. И руки, в которых держит пса. Пальцы побелели и затекли. Тимка расслабляет их. Выдыхает. Пробует улыбнуться. — А когда хорошо себя ведет, Тотошка.

— Он сегодня хорошо себя вел?

Тимка кивает.

— Да, — говорит тихо и почему-то хрипло, как будто осип. — Мы с ним бандитов ловили. И он меня спас. Он кинулся на главного бандита и укусил прямо вот здесь, — Тимка показывает чуть повыше запястья.

— Перегрыз? — Дядьмороз делает большие глаза.

— Не-ет. Но он пистолет бросил, а другой — паф, паф! — рассказывает Тимка, все больше оживляясь. — А мы — быц! И под вагон, а поезд поехал, и эти туда. А Тотошка следом.

— И остановил поезд? — изумляется Дядьмороз.

— Нет, — Тимка мотает головой, понимая, что остановить поезд сложно даже для такой смелой собаки, как Тото. — Он просто вагон догнал, прыгнул и всех бандитов перекусал. А потом я прилетел, на вертолете, и они сами все сдались.

— Молодец! Тогда он даже не Тотошка, он Тотошище! — говорит Дядьмороз. Тимка улыбается и чувствует, что согрелся весь, до кончиков ушей, и хорошо опять, и пахнет на все купе мандаринами.

И даже родителей почти не слышно из коридора.

— Это потому что он породистый, — говорит Тимка, садясь и ставя Тотошку рядом.

— А какой же он породы?

— Ищейка.

— Ищейка! — Дядьмороз кивает с пониманием.

— А вообще мне его бабушка подарила, — продолжает Тимка. — А когда мне будет десять, она настоящую собаку подарит, она обещала. А бабушка у меня, знаешь, какая — она все-все, что обещает, все делает всегда!..

И обрывает себя.

Не думать. Не думать.

Форточка хлопает. Тимка закрывает глаза.

— В какой руке? — слышит и открывает.

Перед лицом — два здоровых кулачища. Но не страшно.

— В правой, — Тимка выбирает, не задумываясь. Кулак переворачивается, раскрывается — и появляется огромная ладонь.

Совершенно пустая.

Что-то ойкает внутри, но Дядьмороз щелкает пальцами, ладонь ныряет за ухо Тимке — и возвращается через мгновение, а в ней — мандарин.

— Аллергии нет? — спрашивает Дядьмороз строго. Тимка мотает головой. — Тогда ешь, — разрешает Дядьмороз, и мандарин падает Тимке в ладони.

Тимка чистит. Он счастлив. Как будто не ел этих мандаринов никогда. Как будто еще вчера ими не объелся. Но не всякий же мандарин у тебя из-за уха достают.

— А что, парень, вопрос можно? — спрашивает Дядьмороз, и Тимка радостно кивает: хоть два! — Чего у тебя родители такие нервные? Стряслось что?

— У меня бабушка умерла, — говорит Тимка с набитым ртом, и сам не понимает, как ему это далось, так просто — взял и сказал. — Вчера еще. Мы в Москву уехали, а сегодня маме позвонили утром. Мы собрались и поехали назад, а так бы еще долго у тети Вали с дядей Петей жили, у них Леночка и Пуся, Пуся это свинка, а Леночке два с половиной, она уже говорит.

Дядьмороз кивает, а Тимка чувствует, что не может остановиться. Что что-то случится, если он сейчас остановится и замолчит, поэтому он сглатывает мандариновый сок и бормочет с набитым ртом:

— Только мне эта Леночка не понравилась, с ней не интересно, а бабушка болела давно, и когда болела, она лежала, к ней тетя Зуля ходила, она помогала, но это не всегда, а потом мы уехали, и ну... вот...

Он все-таки сбился. Сидит с разверстым мандарином в руках и чувствует, как сок течет по пальцам. И руки теперь липкими будут, и мамы нет, чтобы салфеткой обтереть, и что делать, непонятно совсем.

И зачем только он все это сказал, как сказал...

— Да, брат, дело... Грустное дело. Но теперь, конечно, все понятно, — говорит Дядьмороз.

Форточка в груди хлопает, и ничем ее не завалить. Тимка сидит с растерзанным мандарином. Потом ложится на бок и обнимает Тоттошку. Прижимает его к груди, прямо липкими руками, но ему все равно — может, хоть пес прикроет форточку?

Нет. Хлопает и хлопает. Задувает из нее.

— Мама сказала, что старые люди всегда умирают.

— И старые. И не старые. Всякие. Но старые, конечно, чаще, — говорит Дядьмороз, и голос его такой спокойный, что Тимке как будто становится легче. И вроде бы дует поменьше. И хлопает не так громко.

— А чтобы не умирали, бывает? — спрашивает Тимка, лишь бы что-то сказать, лишь бы снова услышать его пушистый голос, укутаться в него и закрыться.

— Бывает, что долго живут, — басит Дядьмороз именно так, как Тимке надо.

— И папа умрет? И мама?

— Когда-нибудь. Что делать, братишка, это закон природы.

— И я?

— Ну, это не скоро. Совсем не скоро.

Тимка оборачивается и глядит на него. На языке дрожит вопрос: «А ты?» — но он не пускает его, держит изо всех сил. Пусть даже Дядьмороз не такой старый, как бабушка, но все равно, это же ерунда, глупости — ну как может умереть Дед Мороз? Ведь он чудесный, он настоящий! Хотя какой же он настоящий, если вот, лежит напротив и дышит, и борода у него топорщится. И это он самый что ни на есть настоящий, а настоящий был тот, в саду...

Тимка чувствует, что путается.

— А я тебе говорю: ты всегда о себе, только о себе! — доносится вдруг из коридора мамин голос, подхваченный новой волной скандала, и Тимка опять весь сжимается —

а потом вдруг мысль вспыхивает в голове, и от нее ухает в груди, и сердце принимается бешено колотиться: а что если бабушка!.. а что если — попросить!..

Садится, цепляется липкими ладонями за ремни, которые защищают его от высоты.

— Дядьмороз, а ты же можешь, желание — можешь? Я уже просил, но это же в том году, а в этом не считается, правда, можно, я сейчас, а потом не буду, я честно, обещаю, я ничего больше не буду, но можно прямо сейчас? — говорит он быстро и сбивчиво, дыхания не хватает.

— Э, парень... — Дядьмороз тоже почему-то волнуется, кряхтит и пытается приподняться на своей полке, но только стучается о потолок головой. — Ты погоди. Ты, того, подумай. Я ведь желания-то какие — чего-то там принести, вещи или конфеты, игрушки, ну, другое чего, самокат там — хочешь самокат? Но ты же понимаешь, это все фокусы, просто фокусы. А чтобы настоящее что-то, ну, вот чтобы такое — это, парень, я...

Но он замолкает и смотрит на Тимку.

И Тимка смотрит на него.

И оба как-то понимают, что хотят сказать. И понимают, что говорить этого не надо.

Тимка первым ложится и отворачивается к стене. Сжимается, обнимает собаку. Форточка хлопает. Колеса стучат. Родители ругаются.

«Хоть бы они прекратили уже, — думает Тимка. — Хоть бы прекратили».

Поезд едет, колеса стучат, и ничего приятного в этом стуке, никакого ожидания чуда, чего-то хорошего и нового, только пустота — Тимка уже это знает, догадался. И догадался, что так будет долго — много дней впереди этой самой пустоты. Но пусть бы хоть они не ругались, как же страшно, когда они ругаются.

— Ох, парень, парень, — вздыхает на своей полке Дядьмороз и по-медвежьи спускается вниз.

Шоркает, влезая в тонкие поездные тапки. Открывает дверь — оттуда выносит родительские голоса — закрывает — голоса становятся тише.

Тимка лежит и не дышит. Потом садится опять и застывает столбиком. Он боится поверить, он не понимает: может, сказал? Может, он это вслух сказал? Но нет, он не говорил, он просто так сильно этого пожелал, что Дядьмороз его услышал!

И вот бас вклинивается в звон родительского скандала. Тимка не разбирает слов, но понимает: пушистый голос, он прикрывает их, словно большая теплая шуба. И морозный звон мамы становится реже, мягче. И острый голос папы притушается. Они отвечают все тише, спокойней. И вот уже еле слышно журчат два ручейка, обтекают улыбчивое медвежье бурчание.

А потом и вовсе стихают.

Кто-то тянет дверь за ручку, и Тимка падает обратно на подушку, закрывает глаза. Он спит, он давно спит, он не подслушивает.

Они входят все вместе. Мама всхлипывает. Кто-то покрывает его одеялом, поправляет подушку.

— Спит? — папа, шепотом. Голос мягкий, хороший.

Мама:

— Ага.

Оба укладываются внизу. Скрипит соседская полка — это лезет Дядьмороз. Щелкает выключатель. Становится темно, только белый свет придорожных фонарей стремительно перечеркивает купе.

Колеса стучат. Мама шмыгает носом. Потом стихает и она. Тимка оборачивается к соседней полке и приоткрывает глаза.

Так и есть: Дядьмороз улыбается ему и подмигивает.

— Спи, парень, — говорит еле слышным шепотом. — Теперь можно.

Тимка улыбается ему в ответ.

Ольга Сульчинская

Знаки звука

Старый рынок

Фариду Азизову

Саямалейкум говорливый
Торгует персик залежалый,
Жизнь пахнет яблоком и сливой
Над увядающей державой,

Сжимают граждане карманы,
Торговый ряд несёт убытки,
Пока толпой бредут ромалы,
Влача орущие пожитки,

А гамарджоба разговором
Бодрит себя за помидором,
Но горы пышного укропа
Уже загнили, как Европа.

Школа вокала

Не скрипи, моя шарманка,
Не свисти, дружок сурок,
Есть у музыки изнанка:
В чёрных точках кровотоков.

В чёрствых крошках-закорючках,
В горле жётся и першит
И до слёз моих горячих
Сквозь меня себя вершит.

Сульчинская Ольга Владимировна — поэт, писатель, психолог. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Работала редактором, переводчиком, копирайтером и преподавателем психологии. В настоящее время шеф-редактор журнала Psychologies. Автор трех книг стихов.

Он бредёт не зная броду
Сквозь немую воду тьмы
И выходит на свободу
Изнутри, как из тюрьмы.

Обезьянка, дай мне руку!
Просыпайся, мой сурок!
Покажи мне знаки звука,
Помоги пройти урок.

Виноградное танго

Осенний виноград, уже слегка побитый,
С поржавленным листом,
Ещё он горд, как чёрт, южанин родовитый
С усами и хвостом, —

Танцует по дворам, балконы увивает,
Взлетает к небесам,
А всё же с каждым днём слабеет, убывает
И знает это сам.

Он забавлял детей и волновал соседок
Повадкой неземной
И яростно, как лев, сразится напоследок
С печалью и зимой —

И проиграет. Но — однажды день весенний
Всё возвратит ему: и молодость, и честь...
Ты думаешь, что есть на свете воскресенье?
Мне кажется, что есть.

Звук

Мы приляжем с тобой на траву.
Подложи мне под голову руку.
Я закрою глаза, поплыву
По щемящему звуку
Жизни ветра в тиши травяной,
Неслиянной, но схожей
С трепетаньем души кровяной
На руке твоей в жилке под кожей.
Если слухом прилежно следить
Этот лепет бессвязный,
Можно времени ход ощутить
Непрерывный и волнообразный.
Мы приляжем с тобой на траву,
Подложи мне под голову руку,
Всё я как-нибудь переживу,
И любовь, и разлуку.

Зуда

Я иду по краю ада,
По горячему лучу.
Я не знаю, что мне надо,
Не пойму, чего хочу:
Огнегорлые долины
Мне как будто ни к чему,
А в орлиные просторы
Я себя не подниму.
Кое-как держусь над адом,
Повезло, что не в аду!
Чёрным чадом, едким ядом
Жжёт мне пятки, ангел рядом
Говорит, что будет гадом,
Если я алле-парадом
Это дело не пройду...
Я зужу в свою зуду.
Может, и не упаду.

Валерия Крутова

Дазайн

Рассказы

Хрустальные огурцы

Они словно разобьются сейчас. От одного взгляда лопнут, и поминай, как звали. И меня поминай. Потому что бабушка обязательно придет и спросит:

— Это кто фужеры побил? — и руки в боки, как сахарница.

И правда сахарница, — платье расписное, узорами. Кожа белая, фарфоровая, морщинами-трещинками вся пошла. Старенькая, хрупкая, тем и ценная, тем и любимая. И сладко внутри — душа сахарная.

А я отвечу:

— Это не я, бабушка. Это грузовик проехал.

И вот кто поверит? Кто поверит, что дом ходуном ходит, когда машина проезжает? Что стекла дребезжат, будто вот-вот вылетят из серванта. А внутри чашки фарфоровые с голубыми парусниками на белом фоне, фужеры в красивый ромбик. Эти ромбы словно острым волоском вырезали на толстом хрустале. И сахарница та самая стоит — расписная и в трещинах-морщинах. Руки-ручки в круглые в бока упирает. Точно бабушка.

— Ну да, и самолет пролетел, — уйдет нахмурившись, но подмигнуть успеет так быстро, словно не было ничего, и так хитро, словно поверила.

И так каждый раз: грузовики едут, я репетирую, как перед утренником в детском саду, а посуда не бьется. Хоть хватай ее и бей уже, чтобы посмотреть, поверит бабушка или нет.

— Соня! — кричит бабушка с веранды. — Беги скорее кушать.

И я бегу, забывая про посуду и ромбики хрустальные, бегу, потому что — борщ! Потому что бабушка уже разлила его по металлическим мискам. А по краю мисок, на воротнике, сколы черные. Старые миски, еще от прадедушки остались. Только я сама его не помню, бабушка рассказывала.

— Ешь, — бабушка говорит, но на меня не смотрит. Она натирает чесноком хлеб. Так вроде бы вкуснее будет.

— Вот тебе вкусно, а мне пахнет, — и нос морщу.

— Это, Соня, всегда так. Кому-то вкусно, а кому-то пахнет. Ты либо полюби, чтобы вкусно было. Либо дай людям любить спокойно то, что они любят.

— Я понимаю, — киваю и кусочек черного хлеба в борщ макаю.

Валерия Крутова (Валерия Валерьевна Макеева) родилась в 1988 году в Чимкенте (Казахстан). Участник Форумов молодых писателей «Липки». Живет в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 4.

Я вообще люблю так делать. Печенье в молоко, сухарик в варенье, бублик в кисель.

— Бабушка, а свари кисель?

— Сварю, только ты вишню собери.

И вешает мне после обеда банку на шею. Я забираюсь по лестнице. Страшно, если честно. И бабушка стоит держит лестницу, а вид делает, будто просто стоит. Смешная. А я уже на... одна, вторая, третья... На третьей сверху ступени стою и от веток отмахиваюсь. Ветки и в глаза, и в уши, и в банку лезут своими вишнями. Вот бы сами и сложили ягоды туда.

— Бабушка, полную набирать?

— Полную набирай. Побольше киселя сварим.

— Чтобы и маме, и папе еще хватило? Может, тогда и пирог сделаем?

— Чего не сделать? Давай сделаем, — и пальцем мне грозит. — И что бы я без тебя делала?

— Отдыхала бы!

Бабушка смеется, аж лестница шевелится. Вот упаду! Не до смеху ей будет!

— Вот как упаду сейчас! — кричу ей сверху.

— Это ты мне угрожаешь, что ли? — удивляется бабушка.

— Предупреждаю, — и вишню в рот отправляю. Кисло, но еще хочется. — А клубника скоро будет?

— Клубника скоро, да мало, — бабушка хмурится. Это я ей месяц назад помогала сорняки полоть и семь грядок клубники повыдергала.

Ну а кто виноват, если сорняки выглядят красивее? Бабушка сказала, что всегда так. Надо не на внешность смотреть... и показала махонькую зеленую ягодку под сморщенным, голодным без земли стеблем.

— Не плачь, Сонечка. Зато малины много в этом году будет, — а сама украдкой слезу смахнула. Я видела!

Хорошо, что с вишней так не перепутаешь.

— Давай, слезай, — слышу бабушку и слезаю. Банка полная, чего стоять?

А бабушка уже у грядки с огурцами, нарвала свежих и улыбается. Как она их держит? Колючие, в пупырышках, и листья у огурцов такие, что чешешься после них полдня.

— Бабушка, а ты знаешь, что эти твои огурцы... — я перехожу на шепот, — хрустальные!

— Не знаю, — ахает бабушка. — Ну-ка, расскажи.

— Я тебе покажу, ладно? Только ты мне соленый огурчик сделай.

— Сделаю-сделаю, только покажи, — и смеется.

Дома она режет огурец пополам, а потом ножом — наискось — сначала в одну сторону, потом в другую по мякоти, солит и трет половинки друг о дружку.

— Вот смотри, смотри! — я срываюсь с места и бегу в зал, достаю фужер из серванта, бегу обратно. — Смотри-смотри!

Спотыкаюсь и роняю фужер прямо у стола. И солнце на осколках, и ромбики ничуть не испортились, даже красивее стали. Только все равно жалко.

— Стой не двигайся, осколки соберу.

— Стой не двигайся, — кричу и хватаю самый крупный осколок. — Посмотри! Как огурцы.

И правда же. Ромбы одинаковые, капли солнца-соли на огурцах, как блики на осколках. Точь-в-точь. Бабушка садится рядом и улыбается, собирает ромбы в ладонь.

— И ладошка у тебя хрустальная теперь, — плачу я.

— Ты знаешь, почему бабушкам обязательно нужны внуки? — спрашивает бабушка.

— Нет, — всхлипываю.

— Чтобы всю-всю посуду переколотить и новую купить, — она гладит меня по голове, и солнце уже не на осколках, а на ее волосах. Оно отражается от камней в серьгах, прыгает на цепочку и скатывается к кресту.

— И сахарницу можно?

— А вот сахарницу нельзя, — она хмурится. А я понимаю, что можно. А еще понимаю, что не буду.

И грузовик хоть сколько пусть катается и дом трясет. Грузовик тоже не будет.

* * *

Я гляжу на солнце, морщусь, прячусь от него. Хотя странно прятаться от того, чего ждал целых девять месяцев. По привычке ждал. Уже ведь ни каникул, ни сна до десяти, ни киселя из вишни. Хотя почему?

— Бабушка! — звоню домой. — А кисель сваришь?

— Сварю, — улыбается в трубку. — Только ты вишню собери.

— Я куплю, — смеюсь. — А то меня от той нашей вишни сразу в опорный пункт заберут.

— И огурцов купи, будем их хрустальными делать.

Я обязательно куплю огурцов, вишни, капусты для борща. Только приготовлю сама, сразу на неделю. Чтобы бабушка не хлопотала. А пока я борщ делаю, бабушка огурцы порежет и наискось ножом по мякоти, чтобы как фужеры. Как два фужера в серванте. Остальные я давно переколотила.

Щёлк

По носу — щёлк. Чтобы не зазнавалась.

— А как это — зазнаваться? — спрашивала и за косичку голову к плечу тянула. Взгляд становился хитрый и смешной.

— Меньше знаешь — крепче спишь. О как! — отвечала и косынку поправляла. — Тыфу-ты-черт, сползает.

— А зачем ты мне тогда так говоришь? Я же любопытная, сама говорила. И косынку сними. Ты красивая без нее!

— Ишь какая. Ласковый теленок, — улыбалась. — Не сниму, милая. А ну как волосы в тесто попадут! — и погружала руки в перину. Только из настоящей перины булочки не приготовишь, а из этой — пожалуйста.

Ида уходила играть, а бабушка продолжала стряпать. И нельзя было слово «стряпать» заменить другим. Иначе не то. Иначе не запомнится.

Щёлк по носу. Чтобы не зазнавалась.

Кукла глядела на Иду и молчала. Что такое зазнаваться? Это что-то нехорошее, раз надо щёлкать по носу? Что-то опасное?

Ида на всякий случай щёлкнула по носу себя, а заодно и куклу. Ещё раз.

А потом к окошку пошла. Больше всего на свете Ида любит смотреть в окно. Однажды, давно, Ида ездила с бабушкой на поезде. Или в поезде. Ида пока не разобралась, но зато хорошо помнила. И серое постельное белье, и здоровущие сумки в проходе. Еще помнила, как плакала и за маму цеплялась. Нет, на море Ида очень хотела. Только вот в вагоне без дверей ехать боялась. А как не бояться? Одни кровати-кровати со всех сторон. Одни люди-люди. А вдруг плохие?

Ида потом еще упала ночью с «боковушки» и спала в проходе, пока ее не подняла продавщица яблок. Ей просто надо было срочно яблоки продать, пока поезд стоит, вот она Иду и подняла.

Ида с бабушкой три дня ехали. Три дня ехали и три дня в окно смотрели. То есть Ида смотрела, а бабушка так. Поглядывала иногда.

Ида смотрела, но совсем не успевала за тем, что происходит за окном. И только она привыкнет к быстрому лесу, только догонит его глазами, как обязательно кто-то рядом что-то спросит. Например:

— Ида, а кем ты будешь, когда вырастешь?

— Я буду в окно смотреть.

Бабушка тут крякала. Она вообще смешно крякала. А еще смешно пела. Могла без предупреждения как гаркнуть: «Выйду на улицу, гляну на село!!!» Гаркнет и ждет, когда Ида подхватит тонюсеньким голосом: «Девки гуляют, и мне весело».

И букву «о» они с бабушкой тянули, уже хохоча.

— Бабуля, ну ве-е-е-е-село же. А не весело-о-о.

— Ну да. Правильно. Только ж не в рифму. Кому такое правильно нужно, если от него никакого удовольствия?

Щёлк по носу. Чтобы не забывалась.

Ида забыла, что шла вообще-то не вспоминать, а в окно смотреть. За окном сегодня здорово. Лужи, листья желтые. Холодно. А дома тепло. И перинами, ой, булочками, пахнет.

— Ой.

Это под окном по асфальту. Прямо по лужам и направо по бордюру прошла черная кошка.

— Ой.

Еще одна. Только рыжая.

— Бабуль, а давай кошку заведем?

— Нас твоя мать прогонит вместе с кошкой! — весело прокричала бабушка из кухни.

— А как прогонит? Это же твоя квартира.

— Ну так кошка будет жить в вашей. На черта она мне тут нужна?

— А, ну да, — уже шепотом ответила Ида.

Кошки за окном пропали. Зато прошли два зонтика на ножках. Ножки серые, а зонтики фиолетовый и черный.

Ну и брали бы уже зонтики одинаковые, если все равно, как тараканы серые или черные ходят.

Хотя...

— Бабушка! А тараканы какого цвета?

— Да что ж за вопросы у тебя?! Коричневые, кажется.

— Карие? Как глаза?!

Ида подбежала к зеркалу и закричала громче, чем когда песню пела:

— Бабушка, у меня глаза цвета тараканов!

— Ой, ерундистика какая! Красивые у тебя глаза! И наглые.

— Потому что я зазнавалась?

Щёлк по носу. Смотреть в окно, не отвлекаться. Вдруг там что-нибудь волшебное случится. А Ида пропустит. А еще можно открыть окно и слушать.

Щёлк.

Щёлк.

— Бабуля!!! Смотри, скворец!

Щёлк.

— По носу? — поинтересовалась у скворца Ида. Только шепотом, чтобы бабушка не услышала.

— По носу, чтобы не зазнавалась, — тоже шепотом ответила бабушка, высунувшись из кухонного окна. Аж на целую половину себя.

Здорово! Ида смотрит на скворца из зала, а бабушка смотрит на Иду из кухни. Вот как бывает, если высунуться из окна. Хоть и не разрешают так делать, зато можно увидеть бабушку.

А скворца-то и нет уже. Улетел.

— Окно закрывай, простудишься.

Ну какой же балбес простудится, если так хорошо и свежо на улице? Если кошки за окном, зонтики и ножки под ними. А еще лужи и скамейка. Мокрая и шелушится краской.

Весной ее обязательно покрасят в какой-нибудь зеленый цвет. Не такой, как у бабушки глаза, темнее.

— Бабушка! А бывают зеленые тараканы?

— Молодые когда.

— Бабушка! А у тебя глаза тогда цвета молодых тараканов! — Ида смеется. Так громко смеется, что от окна отходит. А то вдруг стекло разобьется. Бабушка рассказывала, что можно звуком фужеры ломать.

Лопать не как есть. А как разбивать.

* * *

Щёлк.

Ида вздрогнула.

Почему кошелек закрывается таким знакомым звуком?

Щёлк.

Ида вспомнила, что так шелкал телефон. Тот телефон, который у бабушки стоял. Он мог стоять один-одинешенек. Долго стоять, без единого звончка. А потом шелкнуть.

— Идем, — Иду потянула за рукав подруга.

— Идем, — согласилась Ида.

Щёлк.

Это каблук застрял в расщелине на асфальте и лопнул. Лопнул как треснул, а не как разбился.

— Ты иди! — Ида махнула рукой в сторону бара. — Я догоню. А то дождь, гляди.

И правда, дождь. Тот дождь, который зонтики достает руками прохожих.

Щёлк.

Это парень мимо шел и фиолетовый зонтик открыл. И над девушкой понес.

Совсем мокрая, Ида достала телефон и набрала номер:

— Бабушка!!! А ты знаешь, что дождь цвета тараканов?! — закричала она в трубку.

— Да ты что, моя хорошая? Это где это такой дождь идет?

— Это у меня тут такой идет. Сзади него просто дом большой и коричневый.

Ганночка

— Тыфу ты, девочка, — воробей стреляный. Глаза зеленющие, зыркают туда-сюда, ищут, чего бы натворить, чем бы о себе память оставить.

— Не ворчи на девку, дед. Ступай в комнату. На вот, тебе газету.

На вот, тебе газету. На вот, тебе газету.

Так и остались в памяти слова. А за словами шаги деда — тяжелые. Если зеленющие глаза закрыть, и не скажешь, что дед старый и немощный. Что глаза его не видят почти, а руки даже ту газету не держат. Он ступает в комнату медленно, но уверенно. Видно, что каждый шаг с трудом дается, но дается. Дед доходит до кресла, садится, напрягаясь всем телом, не кряхтит, не хрипит. А если тяжело или больно, он на Галя ворчит.

На вот, тебе газету.

Галя пробежалась зеленющими глазами по заголовкам на первой полосе, вдохнула и отшвырнула газету в сторону.

— Память народа, бессмертный полк, подвиг народа — растиражировали подвиг,

девальвировали память, — она убрала несуществующую челку с лица и хрустнула шеей.

— Ну что ты в самом деле? Люди... ну... как могут.

— Слав, да не могут! Вот почему трафик на эти сайты увеличивается за неделю до девятого мая? И газеты за неделю начинают писать статью и победе, о ветеранах там, волонтеры мотаются, кульки с макаронами возят. Потом девятое мая, и снова как отрезало. Ти-ши-на! Нет никакой памяти.

— Ну... хотя бы так, — Слава вышел из подсобки. Секунды через четыре звякнул входной колокольчик. С глухим стуком закрылась дверь — Слава ушел.

— Рабочий день из оувер. Гуд бай.

Галя тоже вышла из подсобки и закрыла входную дверь на ключ. Огляделась: попугаи уткнулись клювами в разноцветные тельца, крысы, хомяки расплзлись по «пещеркам», только рыбы в подсвеченных аквариумах беззвучно рисовали в воде изломанные линии. Изломанные пути. Изломанными судьбами.

Бросили их на растерзание ожиданию — купят не купят.

Галя подошла к отдельно стоящему аквариуму в форме фужера. Внутри в абсолютном одиночестве плавала рыбка.

— Ганночка, — шепнула Галя, прислонившись носом к аквариуму. Рыбка подплыла поближе и завертелась. — Есть хочешь, да?

Золотая рыбка — Галя мечтала о ней вплоть до открытия своего мини-зоомагазина. В глубоком детстве, когда еще были живы прадед и бабушка — его дочь — Галя увидела на рисунке рыбку с пышным хвостом и плавником, похожим на бальное платье. Рядом с рыбкой на рисунке постоянно кто-то околачивался: то дед бородатый, то корыто, то бабка страшная. Старики, совсем не похожие на ее, Галиных стариков. А рыбка ей снилась каждый день. Старики не снились — ни свои, ни чужие, а она снилась.

Потом Галю отдали в детдом. Вот и все воспоминание: прадед, сильный и ворчащий, но добрый. С газетой. Бабушка, убирающая со стола. И рыбка.

И Ганночка.

— Ганночка, упокой Господи твою душу. Свидимся скоро уже. Свидимся скоро, — каждую ночь перед сном шептала бабушка.

Наверное, стала бы Галя постарше, спросила бы, кто такая Ганночка. Только бабушка умерла, буквально через неделю после смерти прадеда, а Галю забрали службы опеки.

Вот и вся память.

— Память народа... Слышишь, Ганночка? Не у всего народа есть эта память. У кого-то вон только рыбка из книжки да газета в дедовых трясущихся руках. Несправедливо.

Домой не хотелось, поэтому Галя решила остаться в магазине. Поставила входную дверь на охрану, достала колбасу из холодильника, хлеб, масло, бутылку пива. Оглядела продукты, вздохнула, вернула на полку масло, хлеб, открыла пиво и хлебнула прямо из бутылки. Второй рукой взяла палку салями и откусила.

— Отличный ужин, Ганночка, а? — она подошла к аквариуму и легонько стукнула бутылкой о его край. Рыбка даже не обратила внимания на звон, привыкла уже.

Галя еще несколько раз с удовольствием укусила колбасу, аккуратно завернула в бумагу и положила в холодильник, достала сыр, также не отрезая цапнула уже укушенный уголок и вернула на место. Она подняла газету, недавно отброшенную, и вытерла жирную от колбасы руку о первую страницу, содрала разворот, скомкала и выбросила в урну. Телевизор смотреть не хотелось, Галя снова прошлась по магазину, взяла аквариум с Ганночкой и унесла в подсобку, поставила, села рядом, выпила пива, встала, снова прошлась по магазину. Села. Выпила пиво. Встала. Направилась в сторону двери из подсобки и остановилась, закрыла глаза.

— Ганночка, как ты чувствуешь себя в аквариуме? Ну как вот — от стены к стене. От стены к стене. И пива у тебя нет... Ладно. Буду читать тебе вслух.

Галя взяла в руку газету. На оставшемся развороте было окончание статьи с той, выброшенной, части и большое фото с прошлогоднего Бессмертного полка.

— Без толку читать, все равно начала нет. Зато людей вон как много, — Галя приблизила к глазам фотографию и начала рассматривать таблички с именами участников войны. — Ефре... наверное, -мов, имени нет, чья-то голова прикрыла. А здесь наоборот, имя — Фёдор Тихомирович. Фамилию не видно.

Галя достала вторую бутылку пива, звякнула ею об аквариум и выпила.

— Шабалин. Михаил. Я... Наверное, Яковлевич или Ярославович. Кораваев Игорь... Как же их даже на картинке много, смотри, — она прислонила к аквариуму фото, рыбка подплыла и легонько стукнулась о стекло в том месте, заюлила, изящно виляя золотистым хвостом. — Красивая ты у меня. Ганноч... Дмитрий Иванович.

Галя вздрогнула. Положила газету и разгладила изображение.

— Слушай, ну так и есть — Ганноч... — окончание фамилии было закрыто чьей-то головой. — Никогда бы не подумала, что это фамилия.

Галя достала ноутбук и открыла самый популярный в преддверии Дня Победы сайт.

— Ганночка, сейчас поищем нашего Ганночку, — она вбила фамилию в поисковую строку. — Жесть, как их много — десять страниц.

Она решила открывать каждого. Не Новый год, конечно, для чудес, но вдруг как-то окажется, что это тот самый бабушкин Ганночка. Муж? Парень? Отец бабушкиной дочки, которая «разродилась Галей и померла, а отца неизвестно где нагуляла». Это все со слов какой-то странной бабки из деревни Озерки, куда Галя приехала, когда ей исполнилось восемнадцать лет. Ничего от дома не осталось, чего наследовать? Кусок дороги и траву? Муниципалитет выкупил территорию, где стоял дом ее родных, а деньги — копейки сушие — ей выдали после того, как выпустили из детдома. Квартира общажного типа на окраине и деньги на счету. Небольшие, да и ладно. Галя сумела ими разумно распорядиться.

А та бабка ничего и не знала, сама была младше значительно; что помнила из рассказов, то и выдала. И молоком напоила.

В документах ни у Гали, ни у ее матери в графе «Отец» никого не значилось.

Но почему бы Ганночке не оказаться ее дедом?

— Да? Ганночка? Не зря же ты мне скрашивала одинокие вечера. Не зря я о тебе думала все детство.

Рыбка рисовала изломанные линии внутри аквариума. Галя искала.

Она открывала каждого Ганночку и смотрела документы. У кого-то их и не было — «Рядовой службы запаса. Выбыл в 399». У кого-то стояла отметка красным: «убит», «попал в плен», «захоронение». У кого-то был документ, у кого-то голая отписка.

Ганночка, Ганночка, Ганночка. Десяток разных людей под одной фамилией — они остались вечными зарубками в кавычках памяти народа. А теперь еще и в памяти Гали.

«Умер от ран».

«Пропадал без вести».

«Попал в плен. Освобожден». И он же ниже: «Убит».

Галя читала сведения о личном составе: донесения о потерях. У некоторых Ганночек значились родственники. Галя внимательно просматривала. Еще и еще. Живых не открывала. По словам бабушки «Господь упокоил душу Ганночки». По крайней мере, бабушка на это надеялась.

«Убит».

«Умер от ран».

«Ранен». Он же позже: «Убит».

«Пропадал без вести».

«Попал в плен» — Галя снова перечитала донесение о потерях. «Младший лейтенант Ганночка Григорий Ефимович — пилот 197 авиаполка. Убит в 1943 г. Жена: Ехонина Вера Константиновна».

— Бабушка... — прошептала Галя. — Я нашла дедушку...

Галя выпила пива, закрыла глаза и вытянулась на диване во весь рост. Слишком часто в голове у нее не оставалось мыслей от усталости ли, от раздражения на неприятных клиентов, от страха за собственное дельце, от неизвестности перед будущим, которую она от себя гнала, как и мысли о парне или даже муже. Только сейчас мыслей в голове не осталось совсем не так. А так, как будто они есть, и они только готовятся прийти к ней, ударить обухом по спине, выпрямить ее, заставить что-то делать, объяснить ей, зачем это «что-то» надо обязательно делать. Гале не хотелось сейчас ходить, как она всегда ходила в минуты волнения или от нечего делать в одиночестве. Гале не хотелось кусать еду, как она всегда делала в минуты волнения. Гале хотелось лежать и улыбаться. Представлять свою, то есть своего Ганночку, к которому каждую ночь обращалась словами и мыслями бабушка. Хотелось тоже обращаться к ним, чего сама Галя не делала никогда.

Никогда до сего дня она не обращалась словами или мыслями к своим, хоть и совершенно почти забытым, но все-таки существующим родственникам.

А сейчас захотелось.

— Ганночка, — Галя села на диване и протерла глаза. — Ганночка. Я куплю тебе пару. Что ты у меня, как дурочка, одна-одинешенька?

Дазайн

Мне страшно встречаться глазами с людьми. Мне странно. Чаще всего это касается незнакомцев. Кажется, что встретившись с ними взглядом, я сразу же перехожу в разряд их доверенных лиц. Кажется, что теперь мы связаны. Повязаны нитью взгляда. А взгляд... Он бывает сильнее рукопожатия, даже обручального кольца сильнее.

Если оглядеться, можно сойти с ума от количества этих нитей. От количества этих бесстрашных взглядов. Взглядов в чужую историю. Нити похожи на бесконечные, пересекающиеся струны, на которых любой сможет сыграть мелодию города, жители которого намертво и навсегда связаны. Мелодию мира, граждане которого всегда друг другу чем-то обязаны.

Супруги, живущие бок о бок лет сорок, настолько укутаны многочисленными слоями из нитей, что перестают дышать в своей связи, перестают видеть и слышать не то что друг друга, а даже самих себя. Их дети, особенно младшие, постепенно лишаются нитей, ведь глаз родительских из-за толстой их междусобойной связи — не видно. А глас — слышно. Глас тревоги и паники. Так, может быть, не смотреть мужу в глаза, когда я выйду замуж? Если.

Сегодня я шла с работы и нечаянно, совершенно неожиданно для себя, глянула в глаза девушке, идущей мне наперерез. Глянула смело, не отвела взгляд через мгновение. Мы создали и укрепили нить до размеров веревки, мы смотрели друг другу в глаза до тех пор, пока уровень оборота головы не перестал быть приличным. За эти секунды я узнала ее историю, и теперь мне придется с этим жить. Жить с девушкой с абсолютно сухими глазами. Но преисполненными такой боли, что ни одна слеза не показала бы это явственнее. Да, сухие глаза страшнее. И черт бы меня побрал посмотреть в них.

Ильмира ими плакала когда-то. Когда она еще умела жить. Сейчас она умеет только падать, поэтому отчаянно цепляется взглядом-нитью за любого, кто на нее посмотрит. Так она существует. По крайней мере, в это верит.

«Ты — пустое место», — говорил ей отец.

«Ты — никто. И звать тебя — никак», — говорила бабушка.

А мама... Мама была таким же никем, как и Ильмира. Мама, опустив глаза, мыла полы, готовила пищу богам и не знала секрета существования.

Девочку нарекли честной, добросовестной, по некоторым источникам ее имя обозначалось как «принцесса». Тогда почему бабушка называла ее брехушкой и растяпой? Почему звала ее не иначе, как безродная? Наверное потому, что сын, вопреки ее воле, женился на матери Ильмиры и удочерил саму девочку. Девочке было два года. А уже в пять она стала пустым местом. Даже для собственной матери.

Когда Ильмире исполнилось семь, у бабушки был сердечный приступ. Не случился, а именно был. Долго и мучительно. Было смотреть на бабушку. На то, как она хватается за сердце, падает мимо дивана, буквально в двух от него шагах. Потом она хватается за горло, живот, плечи, ладони трясутся, а глаза — два испещренных капиллярами яблока — пытаются поймать взгляд Ильмиры. Ильмиры, которая не ловится взглядом, а значит не существует. Потом бабушку рвет. Она, чтобы не захлебнуться, поворачивает голову набок. Тромб. А Ильмиры не существует, а значит не существует и телефона, стоящего на кухне. Могущего помочь. Не существует окна, которое смотрит на окно соседнего дома. Дома, где живет сельский врач. Не существует нити-взгляда, нити-крика.

Она — пустое место. Она — никто, и звать ее — никак.

Ильмиру, сидящую рядом с мертвой бабушкой, нашла мама.

— Бисмиллях, — прошептала она и, не поднимая взгляда, взяла на руки дочь. Ильмира укутала лицо мамой и заплакала.

Заплакала, потому что так легко оказалось не страдать, так легко оказалось существовать — просто нужно, чтобы кто-нибудь умер. Тогда мама перестанет смотреть в пол и возьмет Ильмиру на руки.

Когда Ильмире стало восемь, она отвела младшего брата на реку. Он был непослушным, юрким и совершенно не хотел входить вводу. Мама нашла ее вечером одну, сидящую на траве у реки. Ильмира изо всех сил старалась зацепить нить за горизонт, чтобы хоть как-то проявить свое существование в том моменте, но для горизонта Ильмира не существовала. Как и для матери больше не существовала. Девочка слышала этот вой и через год, и через десять лет. И даже сейчас, когда я встретила с ней взглядом, она слушала мамин вой. Но больше не плакала.

«Смерть не работает», — поняла Ильмира.

И поняла неправильно, ведь смерть работает, но только не так.

Отец тогда впервые избил их с матерью. Ильмиру — за то, что не уследила за братом. А мать — за то, что родила такую непутевую дочь. Чужую дочь.

С тех пор побои отца стали настолько частыми, что Ильмира забыла, каково это — есть суп без подзатыльника за чавканье, собираться в школу без толчка за выбившуюся из косы прядку, убираться без тряпки в лицо за пыль под телевизором. Ильмира спокойно засыпала, только оставшись дома в одиночестве, а значит, практически, никогда. Ее мучили кошмары, ее пугали люди. И чтобы не существовать, она опустила глаза в пол.

Каждая жалоба на Ильмиру — от преподавателей на успеваемость, от соседей на невежливость — отзывалась пощечинами, прутьями и ремнем. У отца (отца ли?) был лишь один ремень, доставшийся от деда. Армейский ремень, которым отец так гордился. Так гордился, что именно на ремень однажды вылилась вся злость Ильмиры. Она взяла топор во дворе и разрубила ремень на куски. Выложила его на полу у самого входа, села рядом и уставилась на дверь. Она не мигая смотрела в то место, где через пару часов должна появится голова отца. Она представляла, как изменится его уставшее лицо, как отец обретет силу, как злость вдохнет в него жизнь. Как ненависть заставит его чувствовать себя молодым.

Ильмире было пятнадцать, а армейскому ремню на пятьдесят лет больше. На табуретке у входа Ильмира положила топор. Она была уверена, что отец схватится за него. Хоть Ильмира уже не верила в силу смерти, она знала, что мама станет свободной. Не счастливой, но и не битой.

Я закрыла глаза, пытаясь выключить и девушку, и ее жизнь, и то, что произойдет

дальше. Я закрыла свою фантазию, но тонкой нитью тянулось расстояние. Тянулось время, разрывая между нами воздух, землю. Разрывая крупными кусками мир. Мы — из разных миров. Но с одной нитью. И что теперь с ней делать, я не знаю. И знать не хочу.

Для меня — она никто. И звать ее — никак.

Я не люблю смотреть людям в глаза, мне кажется, что после этого наши истории будут связаны, мне кажется, что теперь мы в одном мире.

И мне не кажется, что теперь мы обе существуем.

Людно

На кладбище людно сегодня. Но тихо. Наверное потому, что из всех присутствующих только я могу принять вертикальное положение и даже издать ряд осознанных звуков. Другой вопрос в том, что делать этого мне совершенно не хочется. Последние недели мое существование напоминает акт согласованной детонации — планирование, техническая подготовка, нажатие на кнопку, и вот: я резко встаю с кровати, боясь хоть на секунду замедлиться. Мне нужно постоянно взрываться, чтобы не передумать. Не передумать жить.

Кладбище закрыли на карантин, и мне вдруг срочно понадобилось явиться сюда. Бог знает зачем и почему именно сейчас, почему вот так, через щель в заборе, почему с целым пакетом бутербродов и двухлитровым термосом с чаем. Чай — дивный, знаешь. Мне на старой работе принесли засушенную душицу. Она стояла в вазе на кухне полгода, а однажды я отломил веточку и растерла в ладонях. Целую вечность, кажется, я стояла и нюхала свои руки. А следующую вечность я пила чай. И никогда ранее не было ничего вкуснее.

А бутерброды — обычные. Масло, колбаса, сыр. Ну, сыр не обычный, фермерский, который даже как-то совестно есть вприкуску с совершенно простым хлебом и фабричной колбасой из обрезков и бумаги, как любила шутить бабушка. Ты помнишь ее? Она бы меня отругала, что я явилась сюда только сейчас. И не удивляйся. Да, она тебя не любила, но «могилка-то не виновата» сказала бы она. И добавила бы, что разговаривать все равно не нужно, пришел, подмел, траву вырвал и убрался восвояси. Вот только разговаривать-то приходится. Будто кто-то силком из тебя слова вырывает и во фразы складывает. Кто-то словно ест твои откровения, жадно запихивая их в ненасытную пасть.

Ты удивишься, если я скажу, что мне интересно на кладбищах? Интересно и стыдно. Не потому, что «они» — лежат, а я — иду. Мне стыдно, что я могу пройти мимо и не заметить чей-то выжидающий взгляд с фотографии, не прочитать чье-то имя. Будто бы это какой-то знак вежливости, правило приличия. Поэтому я стараюсь прочитать все имена и рассмотреть фотографии на могилах, мимо которых иду.

Вот только...

Я долго отводила взгляд от твоего фото.

Со «стыдно» разобрались. А почему мне интересно на кладбище? Это такое странное состояние сопричастности. Словно меня пустили в чьи-то жизни после смерти. Когда мы идем мимо человека в магазине, на нем не указан год рождения, не написано послание любящих родителей — что-то вроде: «В мае рожденный, будешь самым счастливым на свете. Твои мама и папа». Здесь же — один взгляд, и ты знаешь о человеке пару конкретных фактов, а остальное можно нарастить в мыслях. О каждом из присутствующих здесь.

Кроме тебя.

Потому что наращивая твою историю, я начинаю анализировать свою, нахожу взаимосвязь, первопричины, результаты. Я злюсь, хочу наговорить гадостей. Потом

наговорить их себе, потому что не успела сказать все это раньше. Чтоб ты знал. Чтобы ты знал! Как я обижена...

Я слишком много о тебе знаю и слишком многого — нет. Удивительно, но мне даже неинтересно. Как-то мы обсуждали с подругой приятие близкого человека, не обязательно родственника. Получается, что «кровь не вода» — утверждение верное, но используемое совершенно в искаженном контексте.

Это вода! Вода — жизнь. Вода нас объединяет и связывает. А кровь — твоя, например, ничегошеньки для меня не значит. Она никак не влияет и не влияла раньше на мою жизнь.

Ну ладно. Всё это так... Прелюдия. Сейчас я съем бутерброд и запью чаем с душицей. Я, правда, не знаю, прилично ли есть-пить на кладбище или это считается дурным тоном? Или даже карается какими-нибудь мистическими последствиями?

Ну вот. Я смеюсь вслух. А говорю громче.

Я люблю мистику, в ней можно спрятать свою сухонькую душонку. Скажи в обществе, что ты оставляешь на ночь молоко с печенкой для домового — всё. Ты сразу становишься трогательным и милым — не от мира сего для скептиков и своим — для единомышленников. Едино-лже-мышленников.

Я не рассказывала тебе свою любимую историю — я позаимствовала ее у кого-то, честно признаюсь. Но так как я только притворяюсь, что верю в привидения, то будем считать, что я позаимствовала не личную историю, а... например, сказку про Колобка.

Поскребла я как-то по сусекам и испекла колобок... ладно, шучу. В общем, пришли мы как-то со старшей сестрой в гости к ее подруге. А подруга та, как требуется для страшной истории, жила в новостройке, стоящей прямехонько на старом кладбище. На костях. В гости на кости мы пришли. И тут, бац, свет выключают. Ну ты понимаешь. Квартира большая и так, а в темноте становится еще больше. У страха не только глаза, но и квадратные метры велики. Так вот, попросила я сестру отвести меня в туалет. Сестра впереди, я позади. И тут она как вкопанная встает в дверном проеме, не двигаясь, не дышит даже, кажется. Мне ни слева, ни справа не заглянуть, но любопытно же! Я юбку ей приподнимаю и на корточках, держа сестру за колени, смотрю вперед.

Что-то белое, мерцающее мягко, извивается под стулом и наполняет меня изнутри тревогой. Не страхом. Страх весь съела сестра, она старше и понимает, что происходит. А я маленькая — мне страшно лишь оттого, что света нет. Но как-то не по себе от мерцания под стулом. И тут вдруг подол юбки, который я удерживаю затылком, накрывает меня, словно саваном, словно прячет меня от тревоги, я остаюсь под юбкой у сестры и крепко держу ее за колени, чтобы она не улетела от страха на седьмое небо, где детки божьей коровки кушают конфетки.

А потом свет дали. И он зажегся прямо в той комнате с мерцанием под стулом. Хотя, как рассказывал настоящий очевидец этой истории, в комнате не был включен свет изначально. Тот свет с того света.

Смотри-ка, как тихо стало. Все прислушались. Странно рассказывать на кладбище о привидениях. Но еще страннее рассказывать на кладбище о жизни.

Жизнь моя в порядке. Пусть и в странном, но уж получше, чем у тебя. Прости. Просто.

Просто усталость какая-то, тоска. И я помню, как ты мне говорил тогда в туалете старой общаги, глядя в окно и вкручивая бычок в банку из-под шпрот, что тоска тебя одолевает, словно жизнь не так живется, воздух не с той стороны вдыхается, еда даже естся не так, как хотелось бы и должно было быть. А я почти не слушала и думала, что банку из-под шпрот стоило бы помыть, прежде чем превращать ее в пепельницу для туалета. Для помещения, в котором и без этой банки ароматы не слишком приятны.

Интересно, прошло ли это у тебя? Дышалось ли как надо в последние годы? Или ты так и ушел в тоске?

У тебя тут соседка — Илона. Красивое имя, богатое такое. У нас в лагере была

девочка Илона, которую я почему-то боялась. У нее была обалденно красивая грудь — соски торчали немного кверху, словно два любопытных носика. Она не носила лифчик и целовалась с самыми красивыми мальчиками в отряде. Не со всеми разом, а по очереди. Я тогда была толстой и влюбленной в одного из них. Ну куда мне было тягаться с любопытными, жадными и такими восхитительными носиками?

Теперь имя Илона у меня ассоциируется только с красивой грудью. Если встретится Илона — Илонища в бабьем лифчике на широких лямках, я не поверю, что ее по-настоящему так зовут.

А с тобой у меня таких воспоминаний нет. Представляешь, ни одной ассоциации, ни одной вспышки. Когда ты ушел, я сидела на ковре и думала — тогда еще мало что соображала, но пыталась осмыслить происходящее, понять, что будет дальше.

До сих пор не вышло.

Вообще, знаешь, не грусти, что умер. Если ты, конечно, грустишь. В этом году ты бы так и так ушел, только в гораздо большей суматохе. Эта пара лет жизни роли бы особой уже не сыграла. Хотя мне легко говорить отсюда. При этом мне совершенно не легко говорить. Я теряюсь в общении, забываю слова, становлюсь косноязычной и недалекой. Честное слово! Мне рассказывали, какой ты был краснобай, так что мы не похожи.

Краснобай и анархист. Я бы сказала, местечковый анархист. Сейчас таких много. У них нет сил и духа противостоять тому, что они не знают или не понимают, нет желания исправить это. Но бросить, как они называют, «вызов системе» хочется. И начинается — езда по встречной полосе, демонстративный отказ от тех же масок сейчас, окурок не в урну, а рядом, плевок на асфальт. Иногда их «вызов» переходит и на детей. Тогда они перестают их лечить, кормить мясом и сознательно изолируют от общества. Да, у нас бы с тобой точно ничего не вышло. Я не анархист.

Тем более, не местечковый.

Мне всегда говорили, что я выбираю не тех мужчин. А потом добавляли с понимающим таким, снисходительным тоном: «Поня-атно, ты же без отца росла». За вот это повальное и поверхностное увлечение психологией я бы сажала людей. Так в книжках пишут: если без отца, значит ищет отца в мужчинах. А мужчина, согласно новейшей психологии, отцом своей женщине быть не хочет. Я сейчас даже не верю, что говорю это вслух. Что вообще запомнила этот бред, который начисто лишает смысла такой сложный механизм, как психика.

Все просто. Тебя ударили, ты бьешь. Тебя бросили, ты бросаешь. Наверное, так бы действительно было легче.

Но.

Мы не ищем легких путей, правда?

Вот ты не искал, когда уезжал, все бросив. Не оглядывался, не думал ни секунды, что совершаешь ошибку. А вдруг все сложилось бы иначе, останься ты здесь. Рядом.

Я часто думаю о том, что было бы, останься я... Где угодно — в прошлых отношениях, в родном городе, даже в школе, в которой училась до третьего класса. Как протекала бы моя жизнь, если бы я осталась там.

Влюбилась бы в одноклассника и родила ему двойню в девятнадцать лет? Или поступила куда-нибудь за рубеж, ведь в той школе это было обычным явлением. Много-много альтернативных историй, до которых вроде бы рукой подать, но не добраться. Как до могил вокруг.

Как до тебя.

Знаешь, почему я ушла от бывшего мужа? Я была младше его на восемнадцать лет. Да-да, не смейся и не криви нос. Муж был прекрасен, любим и богат. Я была молода и, видимо, напоминала ему дочь. Сейчас «мамкины психологи» набегут и расскажут мне про синдром безотцовщины. А нет, не набегут — я ж на кладбище. Так вот, мы тогда уже жили вместе пару лет, а узаконить отношения никак не выходило. Угадай, почему? Потому что «а зачем, и так ведь здорово».

Однажды перед поездкой в Грузию его близкий друг со смехом сказал: «Как раз в той церкви и обвенчаешься!»

Мы ехали в церковь третьего века в Кутаиси. А бывший мой ответил: «Да ну ты брось. Еще грех на душу брать». И расхохотался.

Тишина в комнате повисла примерно такая же, как здесь, при том что людно было тоже, как здесь.

«Пьяный просто», — подумала я. И забыла.

Нет, не забыла.

Уже там, в Грузии, в старом деревенском доме, в котором даже и намека нет на удобства в виде туалета и ванной, одной темной ночью я, пардон, звонко журчала в пластиковый голубой горшок и думала, что никакая это не любовь. Никакая не страсть. Ведь какой муж скажет: «Я не поведу тебя в туалет через темный двор, писай в горшок»? Только ненастоящий муж скажет, который грех на душу не хочет брать. Второй грех. Первый уже взял, когда меня в койку уложил.

И ему не претит слушать мой звонкий грохот по горшку, потому что я для него как дочь.

И сидела я той грузинской ночью на горшке и плакала. Грех оплакивала обоюдный.

По приезде мы расстались.

До сих пор думаю, а что если бы меня тогда, на горшке, не озарило бы? Через сколько месяцев мы бы расстались?

Не знаю, я когда девчонкам про этот горшок рассказывала, смеялись. А тебе рассказываю — плакать хочется.

Тогда же, кстати, пьяная заявила ему, что, если не женится на мне, я за грузина замуж пойду. Они, мол, достойные... Ага, и доступные. Ребята. Женщин своих уважают. Может, все-таки поехать? Как думаешь?

Смотри-ка, зашелестело все вокруг. То ли ветер, то ли люди против.

Люди всегда против, это их законное право и ответственная работа — они против. Они выступают. Они митингуют. Они отрицают. И неважно ведь по факту, против чего, важно, что против. Это сейчас называется активная жизненная позиция.

А я вот считаю, что нужно быть против животного в самом себе. Ну, вот ты был бы против, может, и живой был бы. Не пил. Бы.

Я тебя трезвым мало помню, оттого и печалюсь каждый раз, когда мужчин в подпитии вижу. И сама стараюсь не пить именно поэтому.

Видишь, все-таки повлиял на меня. И хорошо повлиял, что бы там бабушка ни говорила.

Она так и не узнала, что ты умер. А ты так и не узнал, что буквально через год после твоей смерти и она уйдет.

Один совершенно любимый и совершенный мой человек. И ты — нелюбимый, непонятый, обидевший и отвернувший от себя, но родной. Какие странные и страшные впечатления от обеих ваших смертей. Печаль и безразличие. Какой большой разрыв между вами.

Между нами тоже.

Я когда еще сюда шла, репетировала. Как приду, как поздороваюсь, как съем все бутерброды, пока тебе рассказываю о жизни. А что вышло? Пришла, ни здарсьте тебе, ни о жизни. Так, кусками что-то выдала, но бутеры ответственно съела. То ли от волнения, то ли чтобы рот занять.

Хотя все равно так много и долго я давно не говорила. У меня, знаешь, пап, в жизни — как на этом кладбище. Людно, но тихо.

Лида

Нет никого менее приспособленного к родам, чем женщина. Она рвется до анального отверстия, истекает кровью, теряет контроль и извергает из себя фекалии у всех на виду. Она кричит и обрушивает проклятия на всех, кто находится рядом. Она бьется в агонии и зажимает мышцы таза так, что способна изуродовать свое долгожданное дитя. В те секунды, когда боль ослабевает, она ломается, мякнет, ее сознание брезжит на горизонте, подмигивает, чтобы через мгновение снова исчезнуть, оставляя женщину наедине со своим предназначением.

И нет никого сильнее в эти мгновения только потому, что женщина не теряет надежды выжить и дать жизнь. И нет никого слабее в эти мгновения только потому, что женщина наполнена страхом и чужими советами.

Если бы Ольга Давыдова знала, что ей предстоит пережить, наверняка бы отказалась от счастья быть матерью Лиды, похожей на подвядшую картофелину, звучащую оглушительным нечеловеческим писком. Лида родилась двенадцатого июня в полдень. Пока Ольга корчилась, испуская из себя то ли последний дух, то ли первенца, солнце медленно запекало в старой копейке ее мужа — Савелия. На парковке у роддома места не нашлось, в тени деревьев на обочине тоже. Поэтому Савелий примостился у магазина в конце улицы, забравшись передними колесами прямо на тротуар. Прохожие, которым приходилось либо обходить копейку по проезжей части, либо шаркать боками серую стену магазина, оставляли на Савелии свои недобрые презрительные взгляды.

Зачем, спрашивается, этот будущий папаша просиживал время, которое можно было провести дома, тщательно вычищая углы их однокомнатной квартиры от пыли или, на худой конец, обмывать с коллегами по гаражному кооперативу свое орущее счастье и растянутую во все стороны жену. Обмывать впрок. Но Савелий сидел, почти не двигаясь, лишь изредка включая телефон, чтобы проверить точно ли он работает.

За восемнадцать часов он пару раз приложился к бутылке с нагретой солнцем водой и единожды окропил влагой угол за магазином, выбрав момент поспокойнее, чтобы никому не попасться на глаза за столь поганым делом. Савелия еще мама учила до дома терпеть. Будучи мальчиком, он ни один кустик, ни один камушек на улице не обмочил. Мама всегда носила с собой бутылочку или дорожный горшок. Став старше, Савелий ни в школе не мог нормально расслабиться и на переменах бежал домой, благо дом был в ста метрах; ни в офисе — абсолютно все он нес домой, не забывая попутно поминать маменьку недобрым словом.

А тут, вон как, не смог покинуть добровольно выбранный пост и наконец-то расслабился, даже не в общественном туалете, а посреди людной улицы, недалеко от роддома номер пятьдесят два. Уже в машине, утирая пот со лба, он подумал, что можно было воспользоваться бутылкой.

Первое сообщение: «Родила», — он получил, спустя восемнадцать часов. Второе: «Перевели в палату. Все хорошо» — спустя двадцать один час. И в тот же час он завел копейку и уехал домой. Осторожно, не рискуя набрать скорость, чтобы в случае чего моментально вернуться к роддому.

Но путь домой прошел благополучно. Сообщений не было, Савелий переоделся, сходил в душ, поставил чайник и принялся за уборку. Телефон он предусмотрительно держал на виду. Не дай бог что.

«Не дай бог что» случилось пять лет назад, когда Савелий отвез рожаящую жену — тогда Ирину — в роддом, а сам с друзьями сутки пил в гараже. Проспавшись, он нашел телефон, поставил его на зарядку и включил. За это время его старенький гаджет превратился в дрожащее от боли, зла и нетерпения адское пламя адской же новости — сын умер в родах. И все это время содрогающаяся от горя жена пыталась

дозвониться до Савелия. Его тогда било током от каждого пропущенного звонка. Как не убило вообще?

Через три дня, в вечерних сумерках, в полнейшей тишине, словно ворье, они вышли с Ириной из роддома со справкой о смерти и поехали в ЗАГС за справкой о разводе. Ирина настояла. Она так и не смогла простить мужу сутки тишины и безответного равнодушия. Пока она содрогалась от горя в одиночной палате и безуспешно пыталась дозвониться до Савелия, он праздновал рождение малыша. Рождение мертвого сына. Она так и не смогла. Не смогла простить его за свою хорошую и слишком живую фантазию. Она описывала все, что происходило в те его пьяные сутки в красках — она словно там и сама была. Там, в гараже посреди похмельного смрада, смачно сдобренного килькой в томате. Она была там, но никак не в родзале среди посеревших от необратимости врачей, пытавшихся спасти жизнь ребенка.

Савелий еще раз проверил телефон — тишина. Он отправил Ольге сердечко и сфотографировал тщательно вымытый зал — «готовлюсь, девочки». Получил: «а мы спим» и следом нечеткое фото младенца, страшненького, сморщенного, похожего на старого бурята в хлопчатобумажном чепчике.

«Красивая», — ответил Савелий.

«На тебя похожа».

Савелий рассмеялся. Его отпустило. Он вдруг заметил, что грудь вмещает намного больше воздуха. Буквально, в половину больше. Заметил, что дома пахнет хлоркой, и надо бы проветрить хорошенько. Заметил, что Ольга успела выгладить все детские вещи, а положить их в новый комод — не успела. Заметил, что второпях оставили медкарту в коридоре — и как это врачи не потребовали? И вспомнил. Вспомнил, как в копейке плавился двадцать один час. Как опорожнялся за углом — впервые в жизни не дома. Как пил противную теплую воду и взгляды прохожих вспомнил. Он их так и не стряхнул с себя, даже душем не получилось смыть. Они прилипли и были не такими уж и презрительными, они тоже узнали. Узнали, что у Савелия дочка Лида родилась. Она страшненькая и пока что не похожа на тех детей, что вытаптывают ножками площадки у дома. Прохожие узнали, и взгляды их стали снисходительными. Что с него, с папаши, взять? Переживает.

Да нет. Папаша не переживает. Он уже пережил... И можно, наконец, украсить копейку наивной и пошлой надписью: «Спасибо за дочку».

— Извините, а наклеек с именем Лида у вас нет?

Борис Ветров

«Чайка» для Лазаря

Рассказ

На самом деле его звали Серёга. Серёга Лазарев. У него были круглые и всегда удивленно-испуганные глаза, как у голубя, которого только что кормили пшеном и внезапно схватили за крылья. И пальцы у Лазаря тоже были похожи на лапки голубя — красные, тонкие, цепкие.

Лазарь был из барачных. Рядом с нашими новыми пятиэтажками уцелел кусок улицы из четырех двухэтажных неблагоустроенных домов. Там жили своей особой жизнью. Там ругались, дрались, пели и плакали, резали свиней и таскали в ведрах помои. Ведра выливали в вонючую, заваленную хламом яму посреди этого хуторка. Барачные отличались свободой быта и не ограничивали себя этикетом. Однажды, когда 9 мая я позвал барачного Валерку к себе на балкон пятого этажа смотреть салют, его мать равнодушно ответила на восторженный вопль: «Мамка, а я вот где»:

— Смотри, не грёбнись оттуда!

Верховодил у барачных дядя Вася. Всегда ухмыляющийся, подмигивающий, пьяненький; когда он шел по кварталу, вся окрестная шпана кралась за ним толпой и скандировала: «Дядя Вася, не поймашь! Дядя Вася, не поймашь!» Временами дядя Вася резко тормозил и гнался за нами. Мы в великом восторге, визжа, улепетывали от него, чтобы затем продолжить шествие. Тетки в кримпленовых платьях сварливо выговаривали нам: «Зачем вы дразните взрослого человека? Пусть идет». Но мы-то знали — для дяди Васи это была такая же игра, как и для нас. Пробегавшись, он приходил домой уже почти трезвым.

Дядя Вася умел снимать с деревьев запутавшиеся воздушные змеи, вырезать из вербы свистульки, играть на гитаре и петь какие-то странные песни. И еще гасить в самом зародыше драки. Он, ухмыляясь, втискивался в эпицентр зреющей потасовки, и толпа рассасывалась после его двух-трех слов. Барачные пацаны хвастались друг перед другом, если у них гостил дядя Вася. А в гости его зазывали часто.

— У нас-то дядя Вася, понял!

— Ой, ну и чо, они вчера у нас с батей чай со свиньей пили.

Это значило, что к столу была подана специально приготовленная для дяди Васи свинина.

Борис Ветров (Витковский) — родился в 1968 году в Чите. Работал на заводе, служил в армии, трудился на приисках. Главный редактор и совладелец ежемесячника «Чёрная газета». Печатался в журнале «Урал». Живет в Чите. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

Лазарь жил на втором этаже, над квартирой дяди Васи. У него была большая и злобная мать. Она работала на хлебозаводе посменно, и Лазарь был обречен на ведение хозяйства. Иногда, идя с работы, она останавливалась возле нас, вынимала из недр дерматиновой сумки горячую булку хлеба и молча совала нам. Мы разрывали ее на части, стараясь урвать побольше хрустящей корочки, и шли запивать теплый мякиш вкусной водой из колонки за водосточной канавой. Вот с этой канавы все и произошло.

Для нас это была совсем не канава, а настоящий фронтовой окоп. Дно было песчаное, мягкое, оно позволяло лепить колобки для обстрела неприятеля и возводить дополнительные фортификационные сооружения. В те годы мы чаще всего играли в войну. И хотели служить в армии.

После войны, на втором месте была игра в машинки. И не просто в машинки — это был спорт, коллекционирование макетов автомобилей в масштабе 1:43. Такие модели продавались только в киосках «Союзпечать» и стоили очень дорого — три пятьдесят. Самые заядлые коллекционеры копили деньги всеми возможными способами, чтобы в конце месяца похвастаться очередной новинкой. У этих машинок были резиновые шины, подвеска из стального тонкого прута, у них, как у настоящих авто, открывались дверцы, капот и багажник. Чем больше было машинок в коллекции, тем выше был авторитет ее владельца. Машинки выносили во двор, где счастливые автовладельцы объединились в свой клан. Они строили дороги, мосты, ставили дорожные знаки и не подпускали к своим играм безлошадных.

Моя коллекция была маленькой — ее и коллекцией было трудно назвать. Были: «Москвич-412», «Москвич-403», «Иж-Комби» и единственная иномарка — «Альфа Ромео Джулия». За нее ушлый делец — одноклассник Мися — предлагал мне милицмейскую «Волгу» и даже сверхдефицитный «УАЗ». Но итальянка мне нравилась больше.

У Лазаря машинок не было вовсе. Вообще у барачных с игрушками было плохо. Они делали самострелы из бинт-резины, вырезали из досок сабли и ружья и в складчину покупали в «Старте» футбольный мяч — черный и жесткий, как гигантский жук-скарабей. Такой мяч надо было несколько дней распиновать о стену, чтобы он стал пригоден к игре. Когда мы играли в машинки, Лазарь сидел на скамейке в нашем дворе, если там не играли в домино мужики. Когда приходили доминошники, он топтался поодаль и жадно наблюдал. Старший барачных пацанов по кличке Снегурочка (кличку ему дали в насмешку — на самом деле он был очень смуглым черноволосым татаринoм), идя курить за гаражи, говорил нам: «Дайте поиграть пацаненку, чё вы как жлобы?» Но не уступающий ему в силе Слава-Сало с нашего двора отвечал: «Дай уехал в Китай, беги догоняй».

— Вот богачи проклятые, — сплевывал Снегурочка.

— А вы — бедняки, — парировал Слава-Сало.

Так барачные превратились в бедняков. Иногда, идя на стадион или в лес, мы говорили — ну что, бедняков берем с собой?

* * *

Однажды мне привалило неожиданное счастье. Мне подарили сразу две машинки, да какие! Это были никогда не попадающиеся в продаже модели советских лимузинов «Чайка». Одну машинку достала через знакомых мать, а вторую где-то умудрился тоже по благу достать дед — персональный пенсионер и лауреат Сталинской премии. Когда я впервые вынес во двор обе «Чайки», мой авторитет на время вырос невероятно.

Теперь я решал, где прокладывать дороги, и руководил ходом работ. Одна «Чайка» была всегда при мне. Вторая под моим жестким контролем на время переходила к одному из наших. В обмен я брал у них «Жигули» или «Рафик».

Лето, которое в детстве казалось бесконечным, шло к исходу. Уже краснели в частных садах ранетки, и мы совершали диверсионные вылазки за урожаем, испытывая восхитительное чувство опасного азарта. Возвращались из лагерей и поездок на юг соседские пацаны. Во дворах делалось все оживленнее. Никто не хотел думать о скором сентябре и начале занятий. Каждый августовский день мы проживали как одну маленькую жизнь, и впитывали его всеми порами души и тела. И домой родители нас загоняли при свете звезд.

Однажды я вышел во двор очень рано. Еще только собиралась на работу мать, попутно снаряжая хныкающего брата в детсад. А я, предвкушая бесконечный день, с двумя «Чайками» расположился на уцелевшем пятачке в углу двора, возле сараев, где родители бедняков хранили дрова. Я строил для «Чаек» гараж, и когда потянулся за куском картона (он должен был стать крышей), увидел стоящего за покрытой твердыми коричневыми стручками акацией Лазаря. Он не отрываясь смотрел на мои «Чайки». Я, испытывая какую-то подленькую гордость и чувствуя свое превосходство, сделал вид, что не вижу его.

Лазарь постепенно подходил все ближе и ближе, как голубь, заметивший у скамейки хлебную корку, но при этом боясь сидящего на этой же скамейке человека. Я пару раз глянул на него. Заметил вытянутые на коленях трикушки, коричневые сандалии на босу ногу и немые, в каких-то пятнышках, ступни. И промолчал. Лазарь подошел еще ближе. Затем присел на корточки.

— Это чё, «Чайки», да?

— «Чайки», — равнодушно ответил я, словно у меня в запасе был целый автопарк. И тут же стал перечислять, что у меня дома есть еще.

— А я один раз катался на «Чайке». Настоящей! — неожиданно сказал Лазарь и, боясь, что я ему не поверю, стал быстро рассказывать.

— У дяди Васи друг есть. Он в гараже работает. В обкомовском. Тама у всех начальников машины стоят. Меня дядя Вася такой взял туда однажды. К другу. Они там чё-то ремонтировали. А этот друг, он на «Чайке» ездит. Ну и такой говорит мне — чё, Серёга, хочешь прокатиться? Там внутри так зековско. Диван и еще вот тут сбоку стульчик откидывается. И ковры лежат. Правда-правда, ковры.

Я слушал Лазаря, скрывая досаду. Я никогда не был внутри «Чайки». А Лазарь, кажется, не врал. Он вообще мало разговаривал — все больше смотрел и молчал. А тут разговорился. Наверное, потому что рядом не было Славы-Сало. Он гонял бедняков с нашего двора.

— Там еще руль такой белый, радио есть и еще стекло внутри. Типа можно от шофера закрыться, чтобы он не слышал, о чем говорят. Там же разные генералы ездят. А они про военные тайны говорят.

Я завидовал все больше. У родителей машины не было вообще. А у деда был «Москвич-412», на котором мы ездили на дачу или на Арахлей. А тут какой-то бедняк Лазарь — и в «Чайке». Я хотел сказать, что сто раз ездил в такой машине. Но почему-то не смог. А Лазарь наконец осмелел и сказал:

— А дай «Чайку» поддержать?

Я дал. Лазарь взял «Чайку» осторожно и не стал возить ее по земле. Он уселся на траву и начал рассматривать, поднеся близко к глазам. Потом он открыл дверцы и багажник. Открыв капот, Лазарь сказал «Ни фа себе», — во время нашего детства эта фраза значила «ни фига себе». Под капотом была точная копия двигателя. Он сверкал хромированным покрытием. Только наглядевшись на машинку, Лазарь спросил:

— Можно, я ее покатаю?

Я кивнул. Лазарь, сопя, стал медленно катать машинку по свободному кусочку

земли. Он поворачивал в разные стороны, давал задний ход. Разворачивался и опять катил «Чайку» по кругу.

Хлопнула подъездная дверь. Показался Слава-Сало. Лазарь быстро оставил машинку и через заборчик, отделяющий наш двор от сараев, смылся на свою территорию.

Слава-Сало вынес два яблока.

— На, жри, бабка привезла с Кубани вчера.

Яблоко было непривычно большим и сладким. «Чайку» Сало взял без всякого разрешения — он имел на это право.

— Ништяковская так-то машинка. А знаешь, сколько она стоит?

Я не знал.

— Короче, все наши машинки — по три пият. А эта — четыре пият. Вчера с дедом бабу встречали в аэропорту, я там в киоске видел. Только мне ее не купили. Денег не было, — вздохнул Сало. — Пошли за ранетками?

За ранетками мы ходили в лесополосу, лежащую за канавой. Там круглосуточно гудела трансформаторная подстанция. За сетчатой оградой висел тучный урожай. Забираться туда было запрещено под страхом лютого наказания. По мнению родителей, там могло убить током, причем так, что от нас осталась бы кучка пепла. Кроме того, хоть территория подстанции была всегда пуста, мы верили, что где-то, в одной из этих будочек, сидит сторож с ружьем наизготовку. Ружье, по рассказам старших пацанов, было заряжено крупной солью. Нам даже говорили про какого-то не то Пивовара, не то Перевала, которому в зад прилетел такой заряд и он орал несколько часов, пока отмачивал задницу на водоразборной колонке.

— Штаны снял такой и орет. А жопа под краном. Мимо девки идут. Зырят такие. Письку видно.

В этот раз за ранетками мы не пошли. В канаве засели наши лютые враги — пацаны из соседнего квартала. В нас кучно полетели песочные коlobки.

— Бей журавлёвских! — орал из канавы солдаты с улицы Кочеткова. Правда, в атаку они не пошли — Слава-Сало схватил кирпич, и противник бежал под мост.

— Во оборзели, — психовал Сало, отряхивая волосы и рубашку от песка. Надо гнать их из нашей канавы. Штаб надо делать.

Мы вернулись во двор, и тут же Сало получил крепкого леца от своей бабки, которая попалась нам навстречу — она уже бежала на шум минувшей битвы. Получил он за то, что мокрым песком была измазана не только голова, но и нарядная вязаная безрукавка, привезенная вместе с яблоками с Кубани. Сало был приговорен к лишению свободы и уведен домой. Из подъезда раздался его рев — бабка приложила ему еще раз, и от души. Я же стал думать о штабе.

Лучшим местом для него было пространство под мостом. Если даже кочетковские займут канаву, их можно легко обстрелять и укрыться. Вот только чем?

Через десять минут я уже сидел дома за своим письменным столом и рисовал отцовскими фломастерами схему штаба. По замыслу, он должен был иметь основной и запасной выходы. Нужны были двери или хотя бы доски, а также гвозди, цемент и веревки. Я не был инженерным вундеркиндом — просто не так давно перечитал «Таинственный остров», где было очень много сцен строительства укрытий и благоустройства пещер.

* * *

Строительство штаба я решил держать в тайне. Стоило рассказать о нем Салу, и в этот же день про штаб узнали бы все — и враги, и друзья. Потому надо было запастись материалом и подумать, кого позвать на помощь. Как назло, все дворовые пацаны были заняты. Цыба лежал со сломанной ногой (сорвался с забора, уходя от погони владельца сада), Свешника увезли убирать урожай на дачу родители, Кадоча

еще не приехал, а вундеркинд Димка Головатый в наших делах участия не принимал. Прочие же пацаны были слишком мелкими, чтобы посвящать их в такое важное дело.

Я отложил рисунок и опять пошел во двор. Обе «Чайки» привычно поблескивали у меня в кулаках. А во дворе опять топтался Лазарь. Увидев меня, он уже не боязливо, а как-то привычно подбежал и спросил:

— Вынес «Чайки»? Дашь покатать?

И тут во мне возникла, вползла в мое сознание пакостной змеей одна мысль. Я до сих пор не могу понять, откуда и что взялось. У меня — обычного пацана с окраины, из самой обычной советской семьи с доходом родителей «от получки до получки», из каких-то глубин генной памяти вылезли барство и родовая польская спесь.

— Слушай, Лазарь! — сказал я, и даже немного испугался — я никогда раньше не говорил таким голосом. Я замолчал и даже оглянулся. Вокруг никого не было, только у первого подъезда мать Игорёхи Скворцова тащила его, упирающегося и ревущего, домой, да на скамейке сидела бабка из второго подъезда, которую мы все считали злой колдуньей.

— Слушай, Лазарь, — опять сказал я уже более уверенно, хотя все еще удивляясь новым тонам своего голоса. — А хочешь я тебе одну «Чайку» дам на целый день поиграть? Даже домой. Даже на ночь!

Лазарь молчал, непонимающе смотрел на меня круглыми голубиными глазами, шмыгал и перебирал руками-лапками.

— Машину. «Чайку». Дам. Поиграть.

— Да ну, ты не дашь же, — Лазарь почему-то посмотрел вверх. Над ним пронеслась стайка голубей.

— Дам. Зуб на мясо. Слово пацана. Только не за просто так.

— А чё?

— Работать будешь.

Меня уже всю несло незнакомое до этого какое-то возбуждающее чувство власти над другим человеком.

— У тебя ж дядя Вася в друганах?

— Ну, он заходит там... чай когда попить с мамкой.

— Он на стройке работает?

— Ну! Сторожем.

— Вот. Надо достать у него цемент и доски. И притащить все это под мост на канаве.

— А нафига? — впервые за все время спросил Лазарь.

— Значит надо. Это пока военная тайна. Выдашь кому — машинку не получишь. А получишь по роже. Короче, дуй за досками и цементом.

Стройка была рядом. Тогда наш микрорайон все еще застраивался, и мы часто носились по стройке, находясь в нескольких мгновениях от смерти. Можно было легко сорваться с кирпичной кладки и рухнуть с высокого этажа. Но мы не ощущали значения слова «смерть». Часто, сбегаая на звуки похоронного оркестра, мы рассматривали желтых или синюшных покойников. Все они были старыми бабками и дедами. И мы знали, что до этого возраста с нами ничего не случится. Мы глядели на мертвецов с каким-то биологическим интересом и слушали звуки явно нетрезвого оркестра. Потом гроб с покойником загружали в кузов грузовика с опущенными бортами и в таком виде везли на кладбище. Более скромные родственники усопшего затягивали гроб в автобус, на дверце которого были написаны какие-то зловещие черные буквы «САО ГУКХ». Выхлопные газы смешивались с запахом тления, и с тех пор бензиновые пары напоминают мне о покойниках.

Лазарь вернулся со стройки быстро. Он опять стал заглядывать куда-то вверх и перебирать руками-лапками.

— Это самое. Сейчас никак — там прораб. Дядя Вася сказал — вечером. И это... он тяжелый. Может, вместе?

Я продолжал оставаться мелким паршивым барином.

— Лазарь, я тебе за работу машинку даю. А если я тоже буду работать, то ты мне что?

Лазарь не нашелся что ответить.

Вечером, когда уже стало прохладно, когда август больше напоминал сентябрь и мне надоело сидеть на парапете канавы, потный и пыльный Лазарь волоком притащил полмешка цемента. Мы сгрузили мешок под мост и закидали мусором, который накопился в канаве.

— А... машинку... дашь? — спросил Лазарь.

— Вот построим штаб, тогда дам. Сказал же. А где доски?

Лазарь опять пошел в сторону стройки. В это раз я пошел за ним. Не потому, что мне стало стыдно. А потому, что просто надоело сидеть одному. Дядя Вася разрешил взять нам несколько широких половиц. От него пахло кильками, и он торопился в бытовку — там его кто-то ждал, и оттуда, продираясь сквозь хрип приемника «Турист», Пугачёва пела про то, чтобы лето не кончалось.

С Лазарем мы договорились на девять утра.

— Возьми пилу, молоток и гвозди! — приказал я.

— А... у меня нету, — ответил Лазарь и опять стал смотреть вверх. Голубей уже не было. Темнело.

— Ладно. Я сам найду. Давай, пока.

Утром я вынес контрабандой кое-какой отцовский инструмент. Впрочем, отец пользовался им редко. Он вообще был равнодушен к мужским радостям домашнего созидания. Потому исчезновение пилы, молотка и двух десятков гвоздей никто не заметил.

Было прохладно. Задувал настоящий осенний ветер. Лужи после ночного дождя были похожи на стиральные доски от ряби. Лазарь ждал меня в канаве. Он был похож на нахохлившуюся от мороза тощую птицу. Круглые голубиные глаза смотрели из канавы на меня с тревогой и надеждой.

— Это самое, — сказал он. — Мне, это... сегодня домой надо пораньше. Мать сказала стол покрасить и табуретки.

Я впервые слышал о такой домашней работе. Подмести, помыть пол. Вынести мусор. Наконец, сходить за молоком — куда ни шло. Но красить мебель...

— У вас что, стол крашенный? — спросил я, вспоминая привезенный в начале лета полированный раздвижной стол, который где-то достала моя бабка.

— Так а чё, конечно. И табуретки еще. Четыре. К нам родня приезжает. Вот, надо... — он явно не закончил фразу.

— Ну, смотри сам. Я один буду работать тогда.

— А... машинка?

— А за что?

— Ну, хоть просто на один вечер?

— Не-не. Так не бывает. Я дал слово, что отдам машинку, а ты — что построишь мне штаб. Сказал — делай.

Я уже понимал, что поступаю не просто плохо, а подло. Я помнил, как вчера Лазарь притащил полмешка цемента и потом долго не мог отдышаться. Но я никак не мог отказаться от этой захватывающей роли командира и начальника. Наверное, потому что во дворе я был одним из рядовых пацанов. И уважали меня только за две «Чайки». И за то, что я знал много страшных историй. Никто не догадывался, что я сочинял их на ходу.

Лазарь внезапно как-то передернулся и весело сказал:

— Ну и фиг с ним. Успею. Покрашу. Пошли строить.

* * *

Строили мы долго. Надо было периодически следить — не окружают ли нас кочетковские пацаны. Потом мы с трудом пилили доски. Пилил Лазарь, а я лишь держал их, прижав к парапету. Потом замешивали раствор — я видел, как это делал дед на даче. Лазарь таскал песок, гравий и воду в принесенном из дома ведре. Потом мы укрепили доски в растворе, и они, наконец, отгородили пространство моста с двух сторон. И также с двух сторон мы сделали два тайных лаза — две доски вынимались из застывших цементных пазов.

Вылезли мы из канавы, когда уже явно вечерело. Лазарь перепугался.

— Блин... стол... не дай Бог, мать пришла с работы! Короче, я побежал. А?

— Ну, давай, — милостиво согласился я.

— А... машинку?

— Завтра, Лазарь. Видишь, с собой нет. Не играть же шли.

Лазарь посмотрел на меня круглыми глазами, в которых, нет, была не обида и не злость. Он словно жалел меня за то, что я оказался такой сволочью и что я сам понимаю это.

— Завтра вынесешь? — как-то равнодушно спросил он, по привычке глядя вверх.

И опять стайка голубей проскользнула над ним. Именно над ним — не над нами.

— Утром вынесу. Только еще штаб проверю — как там все у нас держится.

Мы разошлись. Домой я не торопился. Мать была на дежурстве в больнице, а отец пропадал в геологоразведочной экспедиции. Дома с братом возилась бабушка. Я посидел во дворе. Никого не было. Меня опять потянуло в штаб. Но теперь там было темно и страшно. Мне даже показалось, что за досками притаился кто-то серый, без лица. Я выскочил из канавы, и тут услышал крик. Кричали из барачков. И кричал явно Лазарь. Я прокрался под окно его квартиры.

— ...сука такая... где весь день шляется? Я тебе, тварина, что сказала сделать? Чего мычишь, придурок?

Это орала на Лазаря мать. Когда она приходила с работы пьяной, то отрывалась на сыне за всю свою никчемную тухлую жизнь. Она била Лазаря деревянными щипцами, которыми достают белье из бака после кипячения.

— Мамооочкааааа... не наааадо. Я не будууууу! — завывал Лазарь, и я отчетливо представил, как он в ужасе смотрит на нее круглыми голубиными глазами и судорожно сжимает руки-лапки.

— Я тебе, сука, дам «не буду». Я тебя захлестну. Высерка папашиного.

— Аааааааааа, мамааа, больно... больно! — орал Лазарь.

Внезапно для себя я заревел и побежал во двор бедняков. На скамейке ухмылялся и курил дядя Вася.

— Дядя Вася! Там мать Лазаря убивает! Помоги!

Дядя Вася поднялся, подтянул штаны и пошел в подъезд. Там крики Лазаря и его матери слышались еще сильнее.

Дядя Вася толкнул дверь — она открылась.

— Тома, ты чё, вольтанулась совсем? Ты ж убьешь ребенка! — как-то мягко, но страшно-спокойно сказал дядя Вася.

Мать Лазаря тут же присмирела, бросила щипцы на диван и ушла на кухню. Избитый Лазарь валялся на полу. Дядя Вася поднял его и уложил на диван, сбросив щипцы на пол, покрытый облупившейся коричневой краской. Он задвинул их ногой под шкаф.

— Ничё, Серёга. Меня на малолетке менты набивным мячом буцкали. Месяц кровью ссал. Терпи.

Лазарь трясся и всхлипывал. И тут он увидел меня. Я никогда не был у него дома. Я в одно мгновение запомнил неровную стену беленой печи, перевернутые стол и

четыре табурета, лежащие на расстеленных газетах, старый желтый комод, на котором запомнилась странно-нежная для этой обстановки фигурка балерины. А между рамами окна лежала посеревшая вата с тусклой елочной мишурой. «Странно, — мелькнуло во мне, — ведь до нового года еще далеко».

Увидев меня, Лазарь сел, и я в глазах его прочитал: «Машинку принес?»

— Лазарь, — сказал я. — То есть, Серёга. Ты жди, я шас приду. Ты погоди! Я за машинкой!

Я пронесся все пять этажей, промелькнул мимо что-то буркнувшей бабушки, взял «Чайку» и побежал обратно, перепрыгивая через несколько ступеней. Во дворе мне попался только что приехавший с дачи Свечник. Он колупал здоровенный подсолнух. Я залетел в барак и заскочил на второй этаж. Дверь в квартиру Лазаря была приоткрыта. Дяди Васи не было. Лазарь стоял в углу. Мать злобно красила табурет. Окно было распахнуто настежь.

— Тетя Тома! — боясь этой страшной пьяной женщины, сказал я.

— Чё надо? Вали отсюда. Тут у тебя друзей нет. Это чучело наказано.

— Да я знаю, тетя Тома. Это же я виноват. Я его не отпускал домой. Мы играли.

— А ты — повернулась она к сыну, — почему позволяешь помыкать собой? Он вишь, какой весь чистенький и беленький. А я вот такие ботинки тебе купить не могу. Дорого, сука, — провыла она, опять становясь страшной и поворачиваясь ко мне.

— Чё тебе надо-то?

— Я Лаза... Я Серёге машинку принес. Это его. Я ему подарил. Насовсем.

При слове «подарил» Лазарь засветился своими глубинными глазами и кинулся из угла ко мне.

— Это чё, точно мне?

— Куда выскочил? Кто разрешал?

— Ма! Я только машинку взять и опять в угол.

— Ишь, какой барин. Машинки он дарит. Что, денег много? А у меня вот мало. А ты зачем берешь подачки у этих?

— Мама... это же «Чайка». Настоящая. Такой больше ни у кого нет, только у Борьки, и у меня.

— Ты еще поговори мне, гаденыш! А ну, дай сюда!

Мать вырвала из лапок Лазаря «Чайку» и швырнула ее в раскрытое окно. Машинка мелькнула в сумерках падающей звездой.

— Мамаааааа!!! Ты что!!! — завопил Лазарь. Он завопил куда сильнее, чем тогда, когда его лупили, и бросился из квартиры.

— Стоять! Я тебя зашибу ведь, — орала тетя Тома и даже хотела погнаться за ним, но грузно осела на диван. От нее пахло вином и еще чем-то отвратительным. Я побежал за Лазарем. И выбегая из подъезда, услышал визг тормозов. Я бежал и уже почему-то знал, что сейчас увижу.

Наискосок улицы стоял «Газик». В нем сидел вцепившийся в руль мужик с ярко-белым лицом. Лазаря нигде не было.

Я нашел его в канаве. В той самой канаве, в которой мы провозились весь день. И теперь он опять вернулся в нее. Круглые голубиные глаза моргали часто-часто. Слева на виске была небольшая ссадинка, контурами похожая на Австралию. Одна лапка Лазаря часто билась о бетонную стену канавы. Другая сжимала «Чайку». Лазарь посмотрел на меня. Скосил глаза на машинку. Потом как-то мелко задергался и замер. Круглые глаза потускнели и полужакрылись. Только сейчас я увидел, что у канавы стоит много народу. В канаву прыгнул дядя Вася.

— Ну-ка, пацан, сдерни. Тут шас начнется.

Он зачем-то вынул из руки Лазаря машинку и отдал мне.

— На, спрячь.

Я вылез из канавы. Сделал несколько шагов. И тут меня ударил в живот кто-то невидимый. Я согнулся, и меня стало рвать. Рвало долго и сильно, пока из желудка не пошла, выплескиваясь с последними спазмами, горькая желчь. Я пошел полоскать рот на колонку. Лазаря уже достали из канавы, положили на обочину и накрыли брезентом. В толпе стояла мать. Она бубнила одну и ту же фразу:

— А я каво? Он побежал. А я каво? Он как побежит. Каво я сделаю-то?

Я решил, что убью ее, как только раздобуду хороший нож или сделаю лук с настоящей стрелой. Но я не успел этого сделать. Через полгода Тамару зарубил топором собутыльник. Ее, голую и окровавленную, с расколотой головой, вынесли на одеяле и забросили в кузов фургона. Я этого не видел. Мне рассказал Слава-Сало.

Лазаря хоронили в простом гробу, который даже не был обит красной материей. Не было оркестра. Вынесли из дома крышку гроба, табуретки, потом на плечах дяди Васи и еще одного соседского мужика выплыл гроб со странно длинным Лазарем. Он был одет в обычную школьную форму, только пионерского галстука на нем не было. Выла какая-то старушонка. Мать стояла молча и отрешенно, и только часто прикуривала «Приму». Гроб постоял у дома несколько минут. Затем его уволокли в нутро воняющего бензином автобуса с черными буквами «САО ГУКХ». Я полез в автобус. Никто мне ничего не сказал.

На кладбище все было быстро и буднично. Мать сказала: «Прости, сыночек», — и опять закурила.

— Чё, забиваем? — спросил могильщик.

Я подошел к гробу. Я боялся мертвого Лазаря. Я боялся, что он схватит меня сейчас птичьей лапкой и откроет круглые мертвые глаза. Но я все равно подошел к нему. И положил в гроб машинку. «Чайку». Не ту, с которой он погиб — она была помята. А новую. Я почувствовал, как язык разбухает и вот-вот задушит меня. Но все равно положил «Чайку» под руку мертвецу и на мгновение ощутил, какой твердый и холодный стал Лазарь.

Гроб закопали, на холмике поставили стандартную пирамидку, сваренную из арматуры и увенчанную звездочкой. Фотографии не было — была лишь табличка «Лазарев Сергей Анатольевич». 1969—1978.

На могилу положили один только венок — убогий, грубый, с металлическими листочками и лентой с надписью «От соседей». Наскоро поставили оградку и уехали домой.

Вечером в доме Лазаря пели песни. Гости напились и уже забыли, зачем они тут. У Тамары был низкий альти, и она выводила им уверенно и красиво: «О чем, дева, плачешь, о чем слезы льёоооооош». Дядя Вася в попойке не участвовал. Он сидел во дворе на лавочке и отхлебывал из бутылки что-то темное. У него исчезла непременная ухмылка.

На следующий день я первый раз в жизни пошел на кладбище один. Было ветрено. Венки шелестели, и от этого было еще страшнее. Мелькнувшая между могил собака показалась мне выкапывающимся мертвецом. Фотографии покойников злобно следили за мной. Но я шел к Лазарю. К Серёге Лазареву. Я нашел его могилу по заprimeченному вчера старому высокому памятнику, где уже не сохранились никакие надписи. Рядом голубела пирамидка Лазаря. Я достал из рюкзака все машинки, которые у меня были. Я не боялся, что их украдут. Я закопал их неглубоко под основанием пирамидки. Теперь у Лазаря были свои машинки. Может, он и сейчас играет ими?

Алан Цхурбаев

Бледные пятна

Рассказ

Я сидел и мял свинец, больше заняться было абсолютно нечем. Свинец окружал меня со всех сторон. Тонкими листами он был прибит к стенам и дверям комнаты, в которой я сидел в полном одиночестве. Прибит он был неровно, и там, где сходились листы, местами торчали загнутые края. Этим я и занимался — нажимал посильней на них и пытался соединить получше. Свинец нехотя слушался моих пальцев и постепенно выравнивался. Мне казалось, что я делаю очень важную работу. Я спасаю жизни людей, ведь сквозь щели пробиваются смертельные лучи. Если такой луч попадет на человека, тот сразу умрет. Сначала закричит, а потом упадет замертво. И поэтому надо соединить поплотней эти края, надо успеть спасти как можно больше людей...

Наконец дверь открылась, и из свинцового кабинета вышел отец в белом халате, а за ним пациент.

— За результатами зайдете в понедельник после обеда, — сказал отец на грузинском.

По-грузински он говорил чисто, как и писал. Обычно, когда уходил последний пациент, отец садился за стол, рассматривал стопку рентгеновских снимков и долго заполнял какие-то бланки. Там была такая графа, куда нужно было вписывать год, вернее, последние две цифры. Как-то раз, заполнив последний бланк, отец в шутку пожаловался мне: «В прошлом году так удобно было вписывать одним движением руки «88», а теперь приходится после восьмерки девятку в другую сторону рисовать». Иногда я думаю, куда делось время, когда такие проблемы волновали людей, пусть даже в шутку.

— За результатами в понедельник.

— Спасибо, батоно Игорь! — затараторил пациент. — Батоно Игорь, мне вот друзья из-за границы привезли, возьмите пожалуйста, хорошие... — сказал он и протянул пачку импортных сигарет.

Отец поблагодарил, засунул пачку в карман и добавил:

— Я ведь только диагноз ставлю.

Потом мы долго ехали домой в метро, сидя друг напротив друга, и я все смотрел на отцовскую куртку. У него была фантастически модная куртка. Узкая коричневая кожанка с вязаными рукавами. Он привез ее из Югославии, и такой больше не было

Цхурбаев Алан Игоревич родился в 1976 году в Тбилиси. Окончил факультет иностранных языков Северо-Осетинского государственного университета. Работал журналистом, ведущим авторской передачи «Перестаньте смеяться» на ГТРК «Алания». Рассказы публиковались в журнале «Дарьял», в различных сетевых изданиях. Живет во Владикавказе.

ни у кого в городе, только у моего папы. И до сих пор, когда я бываю в командировке где-нибудь в новом городе, я все пытаюсь отыскать такую. Услужливые продавцы в магазинах спрашивают меня: «Чем вам помочь?», но я отвечаю: «Извините, наверно, я не туда зашел» и иду искать дальше. Вот только где теперь найти эту куртку, если нет даже страны, из которой ее привезли?

К нам домой постоянно приходили люди, которым нужно было посмотреть их снимки или просто померить давление. Иногда они тоже дарили отцу какую-нибудь мелочь. А иногда и мне — жвачки «Турбо» или «Дональдо». А еще был мужик, который каждый день приходил на укол. Видимо, в конце ему было нечего подарить отцу, и он неловко мялся в дверях перед уходом.

— Батоно Игорь, — вдруг заговорил он, чуть понизив голос. — Вы когда у любовницы будете, окурки в унитаз не кидайте, они не тонут!

Тем же вечером отец рассказал этот случай маме, и они оба смеялись. Хороший совет — это тоже подарок. А еще бывало, что кто-то из пациентов, видимо, уже поправивших свое здоровье, приносил пиво, и они с отцом садились на кухне.

— Батоно Игорь, так все-таки кто сильнее, Пеле или Гарринча?

Отец пользовался уважением не только как врач, но и как серьезный околоспортивный эксперт.

— Момисмине¹, — начинал фразу отец, не спеша закуривал, выпускал облако дыма и только затем продолжал: — Пеле — это король футбола, а Гарринча — его душа!

За такие точные, но не имеющие к отношения футболу определения он и считался авторитетом.

Мама говорила по-грузински гораздо хуже, ведь она приехала в Тбилиси из Орджоникидзе, а отец — из Цхинвали, но пациентов у нее было не меньше. Грузины, русские, армяне, курды, греки, осетины, да кто только не жил в нашем районе на самом краю Тбилиси. «Доктор Заира, — говорили они ей. — Гули мтквива², дай таблетку какую-нибудь». Мама тоже работала в свинцовом кабинете, но на другом краю города. Иногда по вечерам она сажала меня рядом с собой и учила читать снимки:

— Смотри, видишь трещину? — спрашивала она, держа снимок перед лампой.

— Вижу, кость сломалась.

— Закрытый перелом, — поправляла мама. — А какая кость?

— Малая берцовая.

— Молодец, — хвалила она меня, внутренне надеясь, что я тоже стану врачом.

— А с этим снимком что, почему он весь мутный, весь в каких-то пятнах, ничего не видно? — спрашивал я.

— А этот уже не жилец, — вдруг отвечал с дивана отец, и мама на него цыкала. Отец любил грубые шутки.

В 1981 году он привез из Японии магнитофон Sharp и несколько кассет. Одна из них перевернула все в моей жизни и жизни моего старшего брата. Там на А-стороне был записан «Вечер трудного дня» «Битлз». На Б-стороне, которую мы всегда перематывали, были песни Хулио Иглесиаса. Когда ее все же кто-нибудь включал, папа снова шутил в своей манере: «А вы любите Хулио?» — манерно произносил он, и мама снова цыкала на него. Окончания этой шутки я так и не узнал, но не трудно и самому придумать, правда?

Постепенно слово «Битлз» захватило всю нашу детскую комнату, а потом и всю квартиру, и даже лифт в подъезде. Ни о чем другом мы думать не могли. Я помню, как брат позвал меня снизу, я распахнул окно на нашем пятом этаже, перевалился через подоконник, а он мне кричал: «Я револьвер достал!» Я никак не мог понять, что он несет и переспрашивал, а он все повторял и повторял: «Револьвер достал!» — ему было

¹ Послушай (груз.).

² Сердце болит (груз.).

крайне важно сообщить мне это немедленно и на весь двор. Потом только выяснилось, что речь шла об альбоме «Битлз» «Revolver».

В какой-то момент отец начал паниковать из-за нашей непомерной любви к ливерпульской четверке. В один день он усадил меня рядом и произнес абсолютно гениальную фразу. «Послушай, — сказал он. — Знать всё о "Битлз" и не знать больше ничего — это так же тупо, как знать всё, и не знать ничего о "Битлз"». Простота этой формулировки, ясность мысли и очевидность вывода свалили меня наповал. Я даже тогда думал об этом некоторое время, что мне в общем-то не свойственно — подолгу думать о чем-то одном.

Брат, на три года меня старше, первым научился играть на гитаре. В восьмом классе он уже играл в рок-группе, став для меня абсолютно культовым героем, практически, пятым битлом. Хотя он и до этого им был, героем. Знаете, нет в жизни ничего смешнее, чем когда тебе пять лет и перед тобой сходит с ума твой старший брат на три года старше. Когда я вспоминаю, как он изображал из себя умирающего, выкрикивая: «Долбанный туберкулез!» — заходился в кашле, причитал, держался за стены и зачитывал завещание, падая на пол, обещая, что электрогитара достанется мне, у меня живот начинает дергаться от смеха сам собой.

Летом мы часто ходили с братом к маме на работу. Идти надо было по длинной асфальтовой дороге. Я помню, как в один особенно жаркий день она остановилась и показала нам ростки молодой травы, пробивающейся сквозь асфальт. Она сказала, что ее это всегда удивляет: как маленькая травинка может разрушить асфальт. Тогда я тоже удивлялся вместе с ней силе природы, но сейчас мне это уже не кажется таким однозначно хорошим явлением.

По этой же дороге ходил автобус, номер 164. Маршрут был закольцован, и иногда мы с Олегом, моим лучшим другом, после уроков специально «забывали» в автобусе наши портфели и ждали, когда он вернется, чтобы проверить, на месте ли они. Для дополнительной остроты ощущений мы бросали в портфели ключи от наших квартир. Эксперимент проводился в рамках работы нашего клуба «Общество явных идиотов». Название придумал Олег, «явным идиотом» его называл отец, когда тот получал двойки. Деятельность клуба заключалась в совершении абсолютно бессмысленных поступков. Только повзрослев, я понял, что это невозможно в принципе.

Наши отцы дружили, и как-то раз они потащили нас с Олегом в кинотеатр, где крутили новый фильм про двух мужчин, русского и грузина, которые случайно попали на другую планету и не могут вернуться. Отец был такой злой после просмотра, что сразу ушел со своим другом на крышу нашей девятиэтажки, у них там был свой клуб по интересам. Он вообще не особо жаловал интеллектуальное кино. Как-то раз он вдруг заматерился и запустил чем-то в телевизор, где уже минут пять без единого слова персонажи Тарковского ехали непонятно куда на дрезине.

Презрение ко всему высокоинтеллектуальному было не единственной формой его жизненного протеста. Во дворе у нас стоял «Запорожец» со спущенными колесами, вросшими в землю. Наш, отцовский «запор» светло-зеленого цвета с глазастыми фарами и следами ржавчины на кузове. На моей памяти он никогда не ездил. Годами стоял под окнами нашей квартиры прямо на улице. Мне все детство говорили, что ключ от дверей потеряли, вот и не получается ездить на нем, и слышать это было жутко грустно. И так бывает, когда ты во что-то поверил в глубоком детстве, потом уже и не задумываешься, что так быть не может, продолжаешь верить, и все тут. Как-то, например, мама сказала, что мои сандалии мне уже не налезают не только потому, что я расту, но и потому, что сами сандалии уменьшаются. Она просто пошутила, но я еще очень долго верил, что они каким-то образом действительно становятся все меньше и меньше, пока я расту. Так и с этим «Запорожцем». Только годы спустя я понял, что так быть не может. Просто однажды папа ехал на нем пьяный, его остановили гаишники и забрали права. Чтобы их вернуть, надо было приложить кучу усилий, сдать

экзамен, но ему было не до этого. Каждый вечер они собирались с друзьями у нас дома и пили белое вино в заводских бутылках с пластиковыми крышками. Толик, Активист, Шура и вечно грустный художник Гурам. Как-то у Гурама спросили, почему у него все картины такие грустные. В ответ он только тяжело вздохнул, что значило «жизнь такая...» И вот они пили вино и спорили о Сталине. Под столом у нас стояла огромная кастрюля, и иногда я заползал туда, накрывался крышкой и слушал их разговоры, но я так и не понял, кто же все-таки выиграл войну, «Сталин» или «народ». А «Запорожец» все стоял и гнил под окнами. Потом кто-то сломал в нем окно, и мы с Олегом залезали туда и крутили руль, изображая, что едем куда-то далеко, подальше от родителей. Я всегда садился на место водителя, а он дергал ручку переключения скоростей.

Олег жил в пятом подъезде нашего длинного дома, на четвертом этаже. А на первом жил Циклоп. Вообще-то его звали Андреем, но мне трудно называть его по имени. Его так прозвали из-за огромного роста и физической силы, с глазами-то у него было все в порядке. Когда мы играли в футбол, он стоял на воротах. Это потому что был он очень неуклюжий и мог только отбивать мячи своими большими руками. Еще у него был дефект речи, из-за чего все мы его постоянно дразнили, а он ловил нас по двое и бил. В общем, все как в детстве.

Как-то раз Циклоп пошел со своим одноклассником на озеро. Зимы в Тбилиси теплые, лед тонкий, а Циклоп огромный. Так они вдвоем и утонули. Я помню, что в тот день я пришел из видеосалона, где опять смотрел про Шаолинь. Воодушевленный, я вернулся во двор и встретил друзей, которые мне сообщили новость. Я не поверил, — как можно этим идиотам верить? Но когда они даже не захотели слушать пересказ фильма, я все понял. На следующий день их двоих принесли в гробах во двор нашей школы. Мы все торчали в окнах и смотрели на них и на толпу плачущих родственников вокруг. А вечером кто-то сказал, что надо обязательно зайти к нему домой, чтобы попрощаться. Мы, как были лохматые, с грязным мячом в руках, так и пришли к нему. Людей там было много, и как только мы зашли, весь дом взорвался рыданиями, и бабка его чуть голову не расшибла, так тряслась. Мы обошли вокруг гроба, и я смотрел на Циклопа — какой же он был страшный! Вздувшееся синее лицо — все в пятнах и язвах, да еще и эта дурацкая расческа в кармане его пиджака. Казалось, он сейчас одной рукой схватит всех нас за горло и утащит с собой под лед, но он был мертв, как никто из нас. Впрочем, страх прошел как только мы вышли из его дома, и вообще забыли мы о нем довольно быстро, кажется, в тот же вечер играли все вместе в футбол, вот только не помню, кто тогда встал в ворота.

В том же году к нам в класс перевелся Алёша Тобидзе — чудик с бабками на кармане и рыжей копной курчавых волос на голове. Высокий, сильный и болтливый, он сразу стал нашим другом. Его отец был военным, и Алёша постоянно приносил с собой что-то взрывоопасное. И, главное, он знал, как это грамотно упаковать и взорвать. Сколько самодельных бомбочек мы запустили из окна нашей «биржи» на лестничной площадке тринадцатого этажа, не сосчитать... И конечно, я потом никак не мог поверить в то, что Алёшу убили, пырнули ножом в армии, где он служил. Я, черт, чуть не заплакал, хоть и жил уже в другом городе и даже другой стране. И главное, я не знаю, что он натворил, понимаете? Он был гигантской и абсолютно сумасбродной детиной, воровавшей полные карманы пороха у своего отца. Когда Алёше было смешно, ему было смешно так, что стены нашей «биржи» дрожали. Он сам был, как бикфордов шнур, который мы собирали из трубочек для питья и серы от спичек. И кто его знает, что он там устроил, в армии голодающей страны. Когда я узнал, что его убили, конечно, я представил себе его убийцу негодяем. Но кто знает, что там было, понимаете? Я не знаю... И все равно я по нему скучаю, по его тупой рыжей башке, по его нескончаемой болтовне и страсти к приключениям.

Очень маленький крестообразный шрам на руке до сих пор напоминает мне о толстяке Мамуке, который научил меня воровать деньги. До этого я не знал, что так

можно, но Мамука с такой легкостью и самодовольством рассказывал об этом, что я не мог не заразиться, поддался. На кухонном окне у нас стояла бутылка из-под шампанского, в которую надо было кидать по десять копеек. По легенде, в полной бутылке помещалось ровно триста рублей — большие деньги. Но я не дал эксперименту закончиться. Когда дома никого не бывало, я иногда вытряхивал оттуда по рублю и сразу бежал в видеосалон. Однажды отец посадил меня и предупредил, что не будет ругать, но ему нужен честный ответ. И я не смог. Не смог быть честным, потому что знал, что воровать — плохо. По таким-то моментам потом и переживаешь больше всего, да только объясниться уже не перед кем. А шрам на руке... Да просто послал я потом этого Мамуку, в гараже у него мы сидели, а он как схватит крестообразную отвертку, да и ударил меня в руку, а я и не успел увернуться.

Говорят, медлительный я — в деда. Гаврил после войны на лимонадной фабрике в Тбилиси работал, и всегда опаздывал на работу, каждый день. И каждый день начальница цеха по имени Тамара кричала на него, грозясь уволить. Однажды Гаврил, в свойственной ему тихой манере, сказал, что кричать вредно, это ведь все нервы расходуются, давление поднимается, там и до инфаркта недалеко. Начальница цеха от таких слов побагровела и набросилась на деда с двойной энергией. На следующий день, чтобы не гневить больше Тамару, Гаврил пришел на работу вовремя. Но было поздно, инфаркт...

С Гаврилом связано мое первое детское воспоминание. Мы гуляли вдвоем по парку возле их с бабушкой дома, и я держал его за руку. В один момент я отвлёкся, заигрался и отстал, мне было тогда года три-четыре. Когда поднял глаза, я увидел, как он продолжает медленно и ровно идти вперед, сложив руки за спиной. Высокий и стройный, с красивыми седыми волосами, он до самой смерти держался спокойно и встретил ее без суеты. В общем, я побежал его догонять, а когда догнал и взял за руку, он вдруг остановился и медленно повернул ко мне лицо — на меня удивленными глазами смотрел совсем чужой дед. Мой стоял дальше и, улыбаясь, махал мне рукой. Именно таким он и запомнился, а не лежащим в постели.

Потом он заболел, какая-то зараза сковала его ноги, они распухли, и он перестал двигаться. Говорили, что это все оттого, что они с отрядом много дней простояли в болоте в окружении фашистов. Это было в Белоруссии, он привез оттуда кучу медалей, орденов и контузию. Короче говоря, когда дед слег, никто не мог его вылечить, и так он пролежал, наверное, год или два, не меньше. Когда я приходил к ним на выходные, он просил меня принести из ванной его бритвенные приборы и медленно, тщательно брился.

В какой-то момент такая жизнь его совсем достала, и он решил с ней завязать. В один день он перестал есть и не поддавался ничьим уговорам. Спустя две недели или больше ему стало совсем худо, он уже не говорил и почти никого не узнавал. Позвонила бабушка и сказала, чтобы мы скорей приезжали. Мы с отцом приехали, и я зашел к деду в комнату. Он улыбнулся мне, протянул худую костлявую руку, но сказать уже ничего не мог. Через пятнадцать минут он умер. Как будто ждал, когда я приду, чтобы в последний раз меня увидеть и спокойно умереть. Мне потом казалось, что он и в гробу улыбался. А вечером, когда мы вернулись домой, я спросил у мамы разрешения включить телевизор, но она сказала, что нельзя, все-таки сегодня дедушка умер. Я подумал, значит, и вести себя надо как-то по-другому, но не успел додумать ту мысль.

После уроков у нас с друзьями бывала «политическая пятиминутка». Я уже не помню, кто это придумал, но собрания у нас были регулярные, время было такое. Мы встречались за забором школы, кидали портфели на землю и начинали нашу дискуссию. Первым обычно вступал Заза, наш толстый и веселый дружок: «Горбачев — пидарас!», — объявлял он, и мы накидывались на него и начинали бить. Потом кто-нибудь другой, с трудом выползший из-под кучи друзей, провозглашал:

«Шеварднадзе — шави кьле!»¹ И всё начиналось заново. Потом мы шли домой, и если удавалось найти несколько пустых бутылок, сдавали их и покупали один «тархун» и лаваш.

Как-то я заметил, что вместо хороших сигарет отец стал курить «Астру» без фильтра. То есть не совсем так. Хорошие переместились во внутренний карман, а в привычный нагрудный — «Астра». «Всё дело в карманах», — говорил он шутя и прятал болгарский Oral подальше.

Хотя дело тут было не в сигаретах и не в карманах. Что-то изменилось в лицах родителей. Они все чаще что-то обсуждали за закрытыми дверьми, скрывая от меня свою озабоченность. Я только слышал их бубнеж, лежа на своей кровати, но никак не мог разобрать слов. Потом я узнал, что маму могут выгнать с работы, если она не выучит грузинский язык.

И еще я понял, что что-то изменилось, когда мама приготовила нам с братом на ужин суп из хинкалей. Такого блюда, конечно, не существует, но в какой-то момент оно вдруг появилось под влиянием реальности. Помню, что мы с братом, как обычно, сходили с ума от восторга, когда увидели, что мама лепит хинкали на кухне. Это всегда был праздник для нас, и мы тут же начали драться — а как еще показать друг другу свое хорошее настроение? Потом опять начали спорить, кто на этот раз съест их больше. Обычно этот наш спор прерывал отец своим пошлым анекдотом про любителя хинкалей, пообещавшего съесть ровно сто штук, но мама его сразу перебивала и ругала. А сейчас у меня и у самого порой язык чешется рассказать этот действительно несмешной и грязный анекдот. И каждый раз, когда я себя внутренне останавливаю, я спрашиваю, почему мне хочется это сделать? Ведь этот действительно глупый анекдот не нравился мне и тогда, он не нравился мне и позже, я понял, насколько он банален и просто туп, — так почему мне постоянно хочется рассказать его своим детям? Это один из вопросов без ответов для меня. Но в тот день у того анекдота не было и шанса. Мама поставила перед нами тарелки с супом, в каждой из которых плавали по одной хинкалине, и приказала нам хлебать бульон... Она так и сказала: «На мясо не хватило, что вам не понятно? Ешьте что есть...»

Затем наша квартира начала понемногу меняться. Сначала исчезли книги. За ними исчез книжный шкаф, телевизор и магнитофон Sharp. Его забрал брат вместе с кассетами. Брата отправили подальше, по ту сторону перевала, и нас осталось трое. Пустота, которая все быстрее образовывалась на месте квартиры, выглядела с каждым днем все неприятней. Обнажались плохо сбитые края плинтусов на полу, лезли в глаза ободранные стыки обоев, которых не было раньше видно, цеплялись за ноги загнутые края линолеума. Реальность растворялась прямо на моих глазах, и комфорт детства рвался на мелкие кусочки. В один из таких дней, сидя посередине зала вдруг ставшей непривычно большой квартиры, мама мне рассказала, как меня принесли сюда из роддома. Не знаю, что ее натолкнуло на это воспоминание, но она рассказала о моем первом дне в квартире, которая станет моей родиной и бесконечным источником воспоминаний. Так вот, я жутко кричал. И брат, которому было три года, спросил, что со мной. Мама сказала, что я голоден. Тогда он кометой понесся на кухню, схватил кусок черствого хлеба и стал тыкать мне им в рот. Забота, которой укрывают наши старшие нас от реальности, порой бывает неприятна на вкус.

Вскоре в квартире не осталось ничего, кроме голых стен и двух раскладушек. Между ними громоздились высоченные стопки журнала «Иностранная литература» за много лет подписки. Эта картина из последних дней жизни моей семьи в Тбилиси так и осталась в памяти. Люди все еще продолжали приходить, просить таблетки от сердца и померить давление, но от друзей на улице я узнал, что многие соседки «шьют флаги». Я сначала не понимал, что плохого в том, чтобы шить флаги, но оказалось, что эти

¹ шави кьле — чёрный член (груз.).

флаги были не для всех из нас. И те, кому они не предназначались, отныне должны были бояться. После этого истории о том, как кого-то убили из-за фамилии, сильно участились.

Один парень из соседнего подъезда, грузин, который был на пару лет меня старше, сказал, что если меня поймают в городе, мне нужно сказать, что я грек. «Все равно греческий никто не знает, даже греки. Только имя себе другое придумай». Я не помню, как звали этого парня. Я только помню, что он был толстый, но еще толще был его отец, который вечно сидел у подъезда и мог за одну затяжку выкурить с полсигареты. А больше не помню, как ни стараюсь...

Затем лицо отца начало зарастать бородой. Это было странно, потому что, несмотря на природную лень, он всегда начисто брился. Проснувшись утром с похмелья, он стоял перед зеркалом и спрашивал меня: «Как думаешь, электробритвой или опасной?». Я всегда советовал ему электробритву, мне нравилось, как она трещит, но он чаще выбирал опасную, — ведь она чище снимала щетину. При этом он не стеснялся при мне повторять фразу, которая для него была девизом, в каком-то смысле: «С утра мужчина должен быть чисто выбрит и слегка пьян». Отец приписывал ее Хемингуэю, но он ошибался. В любом случае, спиваться под девизом — сомнительное достижение. Но тогда отец вдруг отрастил бороду, взял больничный и целыми днями, лежа на диване, штудировал цветной учебник по вождению.

Была весна 1991 года. Первым уехал Андрей Глушаков из параллельного класса. На моих глазах его со всей силы сзади ударили по голове палкой, и он пару недель пролежал дома не вставая. Сразу после этого бабушка, с которой он жил, увезла его куда-то в Россию, и больше мы не виделись. Манана, моя соседка по парте, которая так нелепо бегала на физкультуре, раскидывая ноги в разные стороны, уехала в семье в Израиль. Братья Шевцовы, с которыми мы ходили на карате, — в Ростов. Пустеть стало не только в квартире, но и вокруг нас.

В школу тогда пришла новая преподавательница грузинского языка. На первом уроке она перечисляла фамилии учеников, и когда дошла до моей, вдруг спросила меня на грузинском: «Алана Чочиева знаешь?» — «Диах»¹, ответил я зачем-то, хотя всего лишь слышал его имя в разговоре родителей и даже приблизительно не понимал, кто это. Учительница тогда долго смотрела на меня, не меняясь в лице. Я не понимал ее взгляд да и сейчас не понимаю, запомнил просто.

Когда наконец наступили весенние каникулы, объявили, что мы едем во Владикавказ к бабушке. Это было очень странно, потому что меня никогда не отправляли туда на короткие весенние каникулы, только на летние. Наутро спустившись вниз, я был поражен — перед подъездом стоял наш светло-зеленый «Запорожец» с накачанными колесами и тархтел, как трактор. Это было все равно что увидеть чудо, это было исполнением мечты, ведь наконец наша машина могла ездить! Тот самый «потерянный ключ» нашли! В диком возбуждении от этого я носил вниз остатки наших вещей, коробки с журналами, что-то из одежды... Наконец мы забрались в него втроем и двинулись в путь. Постепенно возбуждение прошло, погода стала портиться, пошел дождь, я смотрел в окно на унылые сельские дома, расположенные вдоль военно-грузинской дороги, и почему-то вспоминал своих друзей. Чем, интересно, они занимаются прямо сейчас? Пошли играть в футбол и или играют в карты на «бирже»? А может, забрались в подвал универсама и сидят там на этих теплых трубах? Или разбирают старый аккумулятор и разводят костер?

В молчании мы ехали все дальше, и в какой-то момент дорога стала уходить круто вверх. Дождь к тому времени уже перешел в мокрый снег, и машина едва справлялась. На одном из поворотов нас остановили гаишники и сказали, что дальше дороги нет, только на цепях. Пришлось возвращаться в ближайшее село и там покупать цепи у

¹ да (груз.).

какого-то мастера. В гараже у него все было увешано железками сверху донизу. Поговорив с ним коротко на грузинском, отец выбрал пару цепей, и они натянули их на колеса. Очень медленно мы снова двинулись в путь. Вначале цепи громко бились об асфальт, повторяя один и тот же ритм. «Дворники» то и дело снимали со стекла налипшие комья снега, оставляя жирные просветы. Я вдруг вспомнил сцену из того фильма, сильно разозлившего папу, ну когда те трое долго едут на дрезине, молчат и ничего не происходит. Мы точно чем-то были на них похожи. За окном медленно проплыли гаишники, которые развернули нас. Они оценивающе посмотрели на наши колеса, и отец им зачем-то махнул рукой.

Понемногу наст стал толще, и цепи перестали так невыносимо греметь, но родители продолжали молчать, а мама крепко сжимала дверную ручку, хотя нужды в этом не было. Старый «запор», оживший из небытия, преодолевал зигзаг за зигзагом, поднимая нас все выше. И тут отец, решив, видимо, снять напряжение, вдруг заулыбался и, как плохой актер, громко и с пафосом сказал: «Там вверху перевал, за ним все будет по-другому!» И от пошлости этой метафоры и осознания того, что обратно я уже не вернусь, мне вдруг стало так мерзко и противно, что я опустил окно и подставил лицо морозному воздуху.

Первое время во Владикавказе мне пришлось жить с бабушкой и дядей Вовой, маминым братом. Дядя был военным человеком. Он не занимал громких постов, но его знало полгорода. Служил он в народном ополчении — вооруженном формировании Северной Осетии, которое во многом сам и создавал. Он никогда ничего не рассказывал о своих делах, но если пропадал на неделю, это значило, что он на войне. В Южной Осетии или Пригородном районе. Он мог вдруг появиться, положить в углу автомат, поспать пару часов и снова уйти. Все это время я рассматривал его оружие, перетянутые синей изолентой закругленные рожки и другие детали. Поначалу я был немного шокирован, но потом привык и даже потерял интерес. Конечно, стрелять в воздух на Новый год из его «макарова» было весело, но постоянно чистить его карабин я ненавидел. Там были какие-то щетки типа шомполов разных размеров и специальные масла. Разрядив ружье и сделав контрольный выстрел в окно, я полдня вычищал из ствола остатки пороха. Это было скучно. Тем более что в зале у меня тогда была спрятана видеокассета с «Пентхаусом».

Очень строгий в вопросах воспитания, с характером настоящего мужчины, он всегда оставался очень веселым и добрым человеком. Мне не забыть, как он звучно смеялся в свои густые усы, смотря по телеку любимые советские комедии. Несмотря на все это оружие, которое его окружало, он никогда не старался привить мне любовь к военной эстетике. Но зато заставлял меня вставать с рассветом и идти на пробежку, чего ранее я не делал. Я спал в зале на полу, и он, проходя мимо, просто выдергивал подушку из-под моей головы и коротко бросал: «Сыст улама»¹. Надо было бегать по стадиону, что был рядом, а потом заниматься на турнике. Это было ужасно, хотя я не отрицаю пользы, которую это мне принесло — я слегка окреп.

Часто, когда он приходил домой, я прятался в дальней комнате, чтобы он не заставил меня отжиматься или что-нибудь еще. Он со своей стороны понимал, что я не в восторге от всего этого. Конечно же, это был больше мой личный, детский конфликт, но он тоже определял меня и линию моего поведения в будущем. Так продолжалось какое-то время, а потом...

Как-то ночью за ним пришли, он взял пистолет и ушел с этими людьми. На утро его нашли за городом с простреленной в нескольких местах головой. Там, где оружие, там и смерть. Для нашей большой семьи это был сильный удар. Казалось, что люди теперь будут плакать всегда. Даже у меня на глазах вдруг появились слезы, и это было

¹ Вставай (*осет.*).

первый раз, когда я плакал, не как ребенок, а как взрослый человек. Что я запомнил, так это его лицо, не имеющее ничего общего с тем, каким оно было при жизни. Следы смерти — большие швы на тех местах, где прошли пули. Помню, что довольно долгое время после этого я видел его во сне. Потом это прошло. Понемногу я перестал о нем думать. И только спустя несколько лет я вернулся мыслями к Вове, человеку, пытавшемуся сделать из меня мужчину.

Однажды я вдруг подумал, что тот самый внутренний конфликт, имевший место между нами, — он вдруг закончился. Я подумал, что мы бы сейчас отлично поладили, может быть, я бы даже сходил с ним на охоту или дал бы ему почитать свои рассказы. Оказалось, что каким-то образом все это время я невольно сопоставлял свое поведение с идеями и идеалами Вовы. Не то чтобы я руководствовался ими, но все же что-то ему в меня заложить удалось, это точно. Как если бы он был жив все это время и наблюдал за мной, и в один день мы поняли, что, несмотря на то, что я пошел своим путем и не стал таким, каким хотел меня видеть он, все же противоречия между нами больше нет. Это была приятная мысль. Кажется, я тогда сильно захотел его увидеть, но к тому моменту он уже несколько лет лежал под землей на «Аллее Славы» во Владикавказе.

Наконец, родителям удалось обменять нашу тбилисскую квартиру. Одна грузинская семья обменялась с нами, и мы переехали на базарную площадь Владикавказа. И в какой-то момент я обнаружил себя стоящим с отцом на улице нового города по северную сторону Большого Кавказского хребта. Была зима, валил снег, и мы продавали с багажника того самого «Запорожца» «дока-хлеб». «Батоно Игорь» продавал батоны. Но он не отчаивался, переступал с ноги на ногу и пытался развлекать меня историями:

- А ты знаешь, что у Гарринчи одна нога короче другой была?
- Ты рассказывал.
- А как Марадона один всю команду обмотал?
- Знаю.
- А ты вообще знаешь, что Бахва Тедеев наш родственник?
- Да ладно, серьезно?!

Бахва тогда только перешел из тбилисского «Динамо» во владикавказский «Спартак» и был главной звездой молодой команды, которая триумфально вернулась в высшую лигу СССР. В ее самый последний розыгрыш, перед тем, как большая страна развалится. А мне и в голову не приходило, что Тедеевы — это фамилия нашей бабушки. Так мы и стояли, периодически продавая хлеб прохожим.

«Доктору Заире» тоже пришлось меняться. По утрам она теперь готовила свои фирменные пирожные «трубочки», аккуратно складывала их в фарфоровую посуду, обматывала полотенцем, а я вез их на троллейбусе на другой край города. Там я сдавал их в какой-то бар с тусклым светом внутри, где их вечером съедали местные рэкетиры.

Очень часто мама получала письма. Они были из разных городов, но все начинались одинаково: «Моя дорогая доктор Заира!» Письма были от тех людей, кто приходил к нам домой за таблеткой от сердца или померить давление. Их сердце все еще болело, вот только мама уже не могла им помочь. Пожелтевшая пачка с этими письмами до сих пор лежит у меня в столе. Иногда, правда, очень редко, я их перечитываю. Они очень скучные. В основном, там воспоминания в духе: «А помните нашего соседа Таризла, он жил в «чешских корпусах», возле детской площадки, у него еще жена в музыкальной школе преподавала, интересно, где он сейчас...» Ну и другие подобные детали, которые теперь уже никому не интересны, а когда-то были целым миром, вмиг потерянным.

А еще через год или около того, нам сообщили, что отец того грузинского семейства, которое уехало жить в нашу квартиру, в ней же и повесился, не вынеся

новой жизни и всех проблем, которые она принесла. Для нас, детей, все происходившее тогда было в какой-то степени игрой, но только не для наших родителей, выросших в эпоху застоя и встретивших развал страны во взрослом возрасте. Их травма была настолько сильной, что кто-то выбирал себе немедленный конец в петле, а кто-то предпочитал медленное самоубийство.

В середине девяностых мой отец, к тому времени уже законченный алкоголик, в результате ночной пьяной драки получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу в состоянии комы. К тому времени мнение отца в семье уже настолько обесценилось, что, кажется, он и сам себя не слушал. Сказать, что наши отношения с ним были натянутыми, было бы не сказать ничего. Дело доходило до того, что я закрывал его дома на ключ, а, вернувшись, находил его пьяным, а свой одекolon пустым. Однажды, придя домой и обнаружив, что отец сбежал из дома, я в бешенстве рванул в соседний магазин, где он покупал водку, вытащил его оттуда и при помощи рук и ног загнал домой. Я бил своего отца кулаками по лицу.

В общем, к моменту травмы мы с отцом уже пару лет не разговаривали, только когда кричали на него или он на нас. Когда ему проломили череп и врач, делавший операцию, сказал, что, скорее всего, он умрет, я не почувствовал ровным счетом ничего. Уже несколько лет, по ночам, я искренне, по крайней мере, мне так казалось, желал его смерти. Если бы это случилось в тот момент, я бы не испытал никакого эмоционального волнения, — так я его презирал. Это было заметно по моему поведению, и родственники начали упрекать меня в жестокосердии. Отчасти они были правы, но только это не они с ним жили.

После первой операции состояние отца не улучшилось, и еще около месяца он продолжал лежать в коме. Потом врачи решились на вторую операцию, но предупредили, что шансов, практически, нет, и, возможно, он скончается прямо на операционном столе. Мама плакала. Она прощалась с теми днями своей молодости, когда она его любила, а до меня плохо доходило, кто этот человек на койке с закрытыми глазами и перебинтованной головой. Родственники купили строгий костюм черного цвета, специально, чтобы одеть в него отца, когда его понесут в гробу. Я отчетливо помню, что в день второй операции я с друзьями покурив анаши прямо во дворе больницы. Мы громко смеялись какой-то услышанной песне. Потом друзья ушли, и мне пришлось подняться в операционную.

Весь коридор был забит родственниками, некоторые из которых смотрели на меня как на не человека. Я мысленно пожал плечами и стал в углу дожидаться конца. Спустя какое-то время, из операционной выкатили носилки с накрытым простыней человеком и увезли обратно в реанимацию. Потом вышел доктор и сказал, что трудно сказать, выживет ли, но если даже это случится, то ходить и говорить он не будет. Все пришли в ужас. Кроме меня. Может быть, поэтому он и выжил. Но сначала он еще полгода пролежал в больнице без сознания, кормили его через отверстие у основания горла, в которое была вставлена трубка. Потом он научился питаться через рот, начал понемногу шевелить пальцами, рукой, сгибать ногу, ругаться матом. Затем его перевезли домой, и здесь, в домашних условиях, он начал довольно быстро осваиваться.

С речью пока были большие проблемы, но не прошло и года, как он научился подниматься с кровати, пересел в инвалидное кресло, и я помню тот момент, когда он впервые после травмы, подобно астронавту на луне, смог сам сделать несколько шагов по квартире и, радуясь как ребенок, упасть в наши общие объятия. В тот день для всех нас родился новый отец. В двадцать два года я, наконец, обрел нормального отца, прожив с ним всю жизнь, — забавно, не правда ли? Он начал работать над собой и через год уже сносно ходил и мог объяснять свои простейшие желания. С детской радостью я вспоминаю сейчас те дни, когда я, накинув ему на колени плед и надев ему на нос солнечные очки брата, катал его в коляске по улицам Владикавказа. Он

выглядел, как Марлон Брандо в «Крестном отце», не иначе, и когда мы встречали его знакомых или бывших собутыльников, он, не в силах вымолвить слова приветствия, лишь строго кивал им головой, а вслед за ним кивал головой я и толкал коляску дальше. Встав на ноги, отец стал ходить на тренировки и спорт заменил ему алкоголь до конца его дней. И он все же заставил меня плакать по себе, понимаете? Через пятнадцать лет после травмы головы, когда гребаный рак свел-таки отца в могилу, я плакал, как маленький мальчик. Он заставил меня снова полюбить его. Сгинь он тогда, в 96-м, я бы и не почувствовал ничего, и сейчас вряд ли бы что вообще мог вспомнить про своего отца, а теперь вот сидишь и только и дело, что вспоминаешь. И то плачешь, то смеешься, и сам черт не поймет что хуже.

Порой я смотрю на нашу с ним общую фотографию, которую прицепил к холодильнику, и не могу оторвать глаз. Это был редкий случай, когда он весь день гулял со мной по Тбилиси, а потом мы втиснулись с ним в фотокабину и прижались поближе лицами, чтобы влезть в кадр. Так вот, я смотрю на эти три одинаковые карточки в ряд и думаю — может, этого всего и не существовало вовсе? Не может так быть, чтобы весь этот огромный мир рухнул в одно мгновение и исчез, оставив после себя лишь черную дыру, продолжающую поглощать тех, кто выжил.

Они уходят, а с ними исчезает, становится мутным и расплывается, теряя четкие границы, то далекое время. Иногда, ночью, свернувшись, как в детстве, под одеялом, я вспоминаю родителей и всех этих людей из прошлой жизни. Я бы, может, с радостью и перестал это делать и избавился от этого груза, но они, как призраки, засевшие в моей голове, не собирающиеся оттуда никуда уходить. И чем больше я о них думаю, тем четче они проступают в моем сознании, подобно бледным пятнам на черно-белом рентгеновском снимке легких моей мамы.

И еще я думаю о том, до чего же порой хочется вернуться в тот кабинет со свинцовыми листами на стенах. И мять свинец, мять со всей силы, ровно, один к одному соединяя края, и чтобы ни один луч, ни один луч!..

Александр Францев

Над равнодушной державой

* * *

Не придёт с работы уже никто,
хмурый и помятый.
Потому что папа — «кобель в пальто»
и пропал с зарплатой.

Подождёшь его ещё пару лет
и узнаешь вскоре,
что на самом деле им был сосед —
энвэпэшник в школе.

Вспомнишь, как конфетами угощал
и журил нестрого,
но в квартире Тонечку прописал
из Владивостока.

Там уж и захаживать перестал,
а который — после,
похмелившись, в прятки с тобой сыграл —
не нашёлся вовсе.

* * *

В чужой квартире, в городе чужом,
где прошлое завешено бельём
и мебелью заставлено — в облезлой
хрущёвке, на четвёртом этаже,
где всё сбылось — мне нечего уже
нашарить в памяти нетрезвой.

Францев Александр Викторович — поэт. Родился в 1981 году в поселке под Архангельском. Работал грузчиком, кочегаром в котельной, разнорабочим на стройке, сторожем. Печатался в журналах «Двина», «Новый Мир», «Сибирские Огни», «Номо Legens», «Кольцо А». Живет в Архангельске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Там, в деревянной раме, круглый год
в окне затянут марлей небосвод,
и хмурый день насквозь прокурен.
На лестнице знакомая герла,
по кругу вермут из горла —
Кириллов, Мерц да Хабибулин.

Прими давай, наколки разверни.
Давно уж где-то сгнули они,
дурь нюхая в притонах гонорейных,
на скверных адресах родной страны
среди обкуренной шпаны,
не слышавшей о кушнерах и рейнах.

Лишь ты своё бубнишь который год.
И только прожитого полон рот,
как печень — давешней отравой.
А во дворе вчерашний снег горчит,
и ни одна звезда не говорит
над равнодушною державой.

* * *

Видно, не спрятать родимые пятна
за наготою листа,
вышед из литературы обратно
в гиблые эти места.

Грузчиком в «Макси», бабло на сберкнижку,
хату задёшево снять,
чтобы соседи, хватившие лишку,
выли за стенкой опять.

Отговорила и проч. золотая...
Да не пори ты херню,
тленья в промозглой дыре убегая.
Грузчиком значит? Ну-ну...

Заполночь в рифму бубня — не равно ли,
думаешь, где истлевать?
Это ли нам с тобой вешали в школе?
Полно бумагу марать.

* * *

Люди, обречённые на счастье,
обживают коммунальный ад.
Водку глушат, костерят начальство,
песни сдуру голосят.

В толчее томятся коридорной,
своей очереди ждут.
И сорвав крючок в уборной,
из петли соседа достают.

И какого, думаешь, рожна,
это что ли то, что мы хотели,
глядя в телевизор, где страна
вырасти не может из шинели.

Я не помню, чем она берёт,
и другой не знаю, где так больно
на разрыв черёмуха цветёт,
словно ей скомандовали: вольно.

Наталья Явлюхина

Точка невозврата

Рассказы

Октани

Первое сообщение от Октани мы получили ранним вечером тринадцатого мая. После ужина тетя с бабушкой отправились прогуляться под ручку до околицы и обратно по смутно-белой, как дневное сновидение, брошенной в пасмурные поля дороге — предполагалось, что в их отсутствие мы приберемся на кухне, а затем, вооружившись ковшом и коричневым бруском хозяйственного мыла размером с коровье сердце, вымоем, переругиваясь, ноги в страдающем ливедо овальном оцинкованном тазу.

«Помогите. Мы слишком долго летим. Помогите, я хочу писать», — выплыло из чесучового сумрака под вишнями. Мы с братом прочитали это одновременно и отложили хозяйственное мыло — от контакта с водой оно выпустило млечный одуванчиковый сок, в который тут же влипла муха — подальше, на доски за занавеску.

— Детский голос, — сказал брат. — Лет семь-восемь. Девочка.

А нам было двенадцать и четырнадцать, чем мы могли ей помочь? Но я вспомнила какой-то фильм, где сотрудница горячей линии для самоубийц разубеждала впавшего в интригующую задумчивость абонента вешаться на дверном крючке и говорю: «Успокойся и назови свое имя и возраст». В двенадцать меня вообще ничего не волновало, разве что вероятность загреметь в музыкальную школу или летний лагерь, и если где-то мучают кошку. Сейчас я бы так не смогла.

— Мне семь... или восемь, не знаю. Меня зовут Октани.

— Октавия? — заорал прямо в вишни брат, он явно этот фильм не смотрел.

— Октани, — поправила девочка и заплакала. И связь оборвалась.

В следующий раз Октани появилась через два дня, в то же самое время. Пока ее не было, я залезла в янтарный с черными подтеками румынский сервант, в глубине которого черемуховая пена оседала на сизых, как вареное яйцо на просвет, округлостях фарфора и стопках дедушкиных книг, и поискала в этих книгах что-нибудь о поведении детей в экстремальных ситуациях (если она использует напитанную водой многоярусную темноту сада в качестве проводника; если перед ее словами расступается замшевый

Наталья Явлюхина родилась в 1986 году в Подольске, окончила Литинститут им.А.М.Горького, печатала рецензии в «Знамени» и «Homo Legens». Живет в Москве.

В «Дружбе народов» ее первая публикация прозы.

шепоток мая, выдавшегося холодным, как хорошая месть, она определенно в экстремальной ситуации). Выготский, Гофман, Снежневский, Лурье — не нашлось ничего подходящего, кроме, может быть, книжки Эльконина «Творческие ролевые игры детей дошкольного возраста» с карандашным рисунком на обложке и бурыми вспученными страницами, чередующимися с другими, ломкими, как надкрылья мертвого насекомого, совершенно в целом непригодной для чтения.

Задвинув книги обратно в фотографии, тарелки и дребезжащее отражение черемухи, я вернулась к своему любимому занятию — бюрократическому конспектированию помещенного под солнечный луч с гипнагогически четкими пылинками фолианта, полного торжественно-строгих, то и дело срывающихся в курсив наблюдений за повадками русской псовой борзой, страшной многозначительно изогнутой собаки с узкой и длинной, как смычок, мордой. Я помню, что тяжело, едко и сладко — соснами на солнце — пах малахитовый том с золотым рельефным тиснением, и то знакомое только очень счастливым детям и очень несчастным взрослым оцепенение, в котором лежащий на животе человек исписывает многочисленные тетради в шершавых, как изнанка лопуха, обложках. Конечно, эта неподвижно распахнутая, напоминавшая пригвожденную бабочку книга о русской борзой, содержащая, в общем-то, техническое описание тайны, не входила в план домашнего обучения, но благодаря тем солнечным сессиям ненужного чтения я легко распознаю и другие, смежные с той, книги по детской охотничьей ловкости, с которой выворачиваешься наизнанку, чтобы взять их в руки.

Итак, пятнадцатого мая мы сидели на лавке под кухонным окном, опустив ноги в таз с крапивной изломанной водой, и с сонной ненавистью разглядывали одуванчики в вечерней траве — вульгарно-желтый, чересчур прямолинейный цветок, презрение к которому было одной из немногих вещей, в которых мы с братом всегда сходились. «Помогите. Здесь есть кто-нибудь?» — прошептала Октани.

Октани, Октани, Октани. Уже следующим летом, проходя под окнами кухни в сторону туалетного домика, я буду вспоминать тебя с нерешительной тоской, через два года, когда мы похороним бабушку — с укрепившимся недоверием, через три — наконец, почти о тебе забуду. Я остановлюсь, вытащу наушник из левого уха и внимательнее посмотрю на разрыхленные грозой одуванчики, что-то припоминая, но ничего особенного не припомню и продолжу свой путь по вымощенной кратерным лунным камнем дорожке. Эти наплывы пощипывающего чувства, эпизоды незавершенного узнавания, от которых слабеют ноги и коченеет живот, будут случаться все реже и реже и постепенно сойдут на нет, и я понимаю это заранее, прямо сейчас это понимаю, когда говорю тебе: «Октани, что случилось? Расскажи, что случилось».

— Я не знаю, я не знаю. Просто мы уже очень долго летим.

— Где летите? Вы — это кто?

— Я не знаю. Я потеряла своего хамелеона.

— Она хоть что-нибудь знает? — спросил брат, у которого с эмпатией было совсем плохо. Неясно, услышала это Октани или нет, но следующая ее фраза содержала больше конкретики:

— Тетя в желтой куртке, нарисованная тетя. У нее оранжевые волосы и синее платье.

— А где эта тетя нарисована, Октани?

— Впереди, но я не могу вытащить. Я не могу ее вытащить. Там сетка.

— Октани, ты в самолете?

— Да, да, нет-нет-нет-нет-нет-нет.

— Если ты lupишь ногами по переднему креслу, немедленно перестань, — сказал брат и сделал мне знак, чтобы мы отошли к забору, где лает скучающая соседская

овчарка и громко зреет слива. Мы отходим, и я вежливо интересуюсь у брата, в чем проблема.

— Газеты надо читать. В отличие от тебя, я сразу понял, что «мы летим» — это про самолет. Далее я иду на почту и, в общем, да, одиннадцатого мая следовавший в Сидней «Боинг» отключил транспондеры и исчез с экранов, и до сих пор не объявился. Это во всех новостях.

— Так она из этого «Боинга»?

— Сейчас пятнадцатое мая. Если это угон, они давно сели и она бы не ныла, что надоело лететь. Если это не угон, «Боинг» выработал топливо и упал в океан на рассвете одиннадцатого мая, через восемь часов после взлета. Самолет не может лететь вечно и, кстати, умственно отсталых девочек с несуществующими именами нет в опубликованном списке пассажиров. Тебя просто троллят.

— Кто?

— Какой-нибудь нажравшийся пиццы мужик.

— С детским голосом?

— Ну пранкеры могут подделывать голоса. Предлагаю потроллить его в ответ.

— Покажи газету.

В разворотной статье, снабженной плохо пропечатанными картами и цветной фотографией «Боинга» с изрисованным вазелиновой сажей пастой фюзеляжем, к которому прилипли гофрированный лепесток вишни и салатная гусеница, говорилось, что прекрасно себя зарекомендовавший дальнемагистральный лайнер вылетел в первых минутах одиннадцатого мая, набрал эшелон и, пожелав авиадиспетчеру спокойной ночи, перестал выходить на связь. По всей видимости, рассуждал автор, он целенаправленно сошел с маршрута в «слепую зону», которую не читают даже военные радары — в комковатый фиалковый мрак над Индийским океаном, в нагретую электрическую тишину, какая бывает в человеческих кошмарах и на верхних этажах горящих торговых центров, — и направился в самый дальний угол этой тишины, в точку максимального сгущения типографской краски, туда, где остриженный висок разбедает струйка пота и приборную панель — дремотный алый свет, дымится кофе в стаканчике и затопляет кабину, в которой никогда уже не проснется второй пилот. Предположительно, семь часов он сосредоточенно двигался к этой точке, не реагируя на звонки и письма с земли («немедленно объяснитесь» или что-то такое), а когда поочередно, с разницей в несколько минут, отказали двигатели в фарфоровых сизых на просвет обтекателях, спикировал в океан так, что на ветреной синей воде не осталось ни одного обломка, то есть в прямом смысле слова бесследно исчез. Вертикальное пикирование, хотя автор подчеркивает, что это только версия.

— То есть падения не было? — говорю я, откидывая проволочную застёжку на пронзенной орешником калитке, чтобы тетя с бабушкой вкатились в сад, не сбавляя темпа.

— Было, не могло не быть.

— Но нет никаких следов, ничего?

— Дело времени.

— Сколько весит самолет?

— Двести пятьдесят тонн.

— Сколько стран его ищут?

— Десять. Если он действительно вошел под прямым углом, от него могло ничего не отломиться.

— Почему они уверены в том, что он покинул «слепую зону»?

— Тебе именно это кажется странным? А не то, каким способом она общается?

— Способ не кажется странным и тебе. Она в слепой зоне, а слепая зона проступает пятнами по всему миру, где-то более интенсивно, где-то менее; в нашем

почти очищенном от ужаса случае — это островки сажистой темноты под вишнями, где по вечерам и звучит ее голос.

— Ладно, это и правда было очевидно, — сказал брат.

Родная кровь все-таки много значит.

Начался дождь, и мы пошли сидеть со взрослыми на неоновой голубой веранде и зачарованно смотреть в окно. Бабушка сделала нам бутерброды с шоколадным маслом, которое она, экономное дитя войны, наносила на подсохшую крахмалистую мякоть нарезного батона исчезающе тонким слоем, таким тонким, что он впитывался в хлеб раньше, чем мы доносили кусок до рта. Я попыталась отследить, куда она прячет шоколадное масло, но бабушка предусмотрительно задернула брусничную в белый цветочек шторку, отделявшую веранду от кухни.

Хотя отец и отключил нам с братом интернет за то, что мы целыми днями читали про авиакатастрофы и слушали записи черных ящиков вместо изучения составляющих политическую историю монотонных зверств и выискивания в географическом атласе бликующих черных квадратиков, символизирующих залежи каменного угля, а тема самолетов была в семье под запретом, я все-таки спрашиваю тетю, раскладывающую на журчащей скатерти в льдистых грозовых узорах пасьянс, в котором снова и снова выпадают три семерки, известно ли ей что-нибудь о лайнере весом в двести пятьдесят тонн, идущем дни и ночи напролом по тишине того же рода, что прямо сейчас медленно наводняет сад.

Тетя, в отличие от отца не склонная драматизировать нашу заикленность на самолетах, говорит, что, конечно, слышала о пропавшем рейсе, и что ей очень жаль всех, особенно детей, но все-таки она считает, что мы вполне можем слетать в августе в Турцию, не боясь разбиться, потому что снаряд не падает в одну воронку дважды и потому что в общем и целом, как ей кажется, Господь любит самолеты. Когда она снова склоняется над пасьянсом, мы с братом переглядываемся. Она не знает о том, что Господь ненавидит пассажиров.

Ночью, когда все уже спят, я спускаюсь со второго этажа и, надев на крыльце отцовские охотничьи сапоги в окаменевших наростах глины, иду к измотанным грозой вишням. «Октани, — говорю я, — ты здесь?»

— Да, — отвечает Октани и, кажется, ударяет ногой по креслу впередисидящего пассажира.

— Вы все еще летите?

— Да.

— Скажите, зачем вы это делаете? У вас что-то случилось в жизни? Или вам просто кажется, что это смешно? Зачем вы выдумали эту девочку несчастную?

— А зачем ты выдумала брата? — говорит Октани и опять ударяет ногой.

— Чтобы было с кем разделить предательство.

— Я хочу к маме, — говорит Октани.

Я не слушаю ее. Я иду обратно к дому, чьи тесные выступления розовеют в мокрых сумерках, — светает над кружевными деревянными дачами в петухах и оврагах, — но возвращаюсь с полдороги.

— Октани, послушай меня. Ты можешь спросить у него одну вещь?

— Какую?

— Спроси, почему он не разбил самолет сразу? Почему вы должны лететь так долго?

— Он не отвечает, — говорит Октани после паузы, заполненной плотной текстурной тьмой.

Перед тем как заснуть и проспять в своей маленькой, пахнущей сливочным маслом и сосновой стружкой комнате до обеда, я думаю о том, что кем бы ни была Октани и как бы ни сложились наши судьбы, мы больше никогда не поговорим — это был последний сеанс связи. Еще я думаю о том, что самолет может лететь вечно.

Переезд

Зоя-1 и Зоя-2 (родители называли их одинаково, словно старшая дочь была черновиком младшей, и умерли, так и не развеяв эти подозрения) жили в Утреннем слишком долго, чтобы продолжать тянуть с отъездом. С детства они держались подальше от своей судьбы, напоминая чересчур инициативного соседа, но низко гудящая, как июнь в саду, интенсивного типа дистанция сокращалась, и в день, когда Зоя-младшая написала в дневнике: «По-моему, мне уже все равно. Мой дербенник!», Зоя-старшая прочитала это и подумала: «Приехали». Надо было уезжать, пока среди этого розового, в кипрее и ящерицах, пристанционного кирпича и елово-желтых примул, растущих под грушами «Северянка» и просвеченных, как анемичная кожа, вагонеточной тенью холода, они окончательно не превратились в самих себя.

О том, чтобы «найти себя», «стать собой», мечтали все их ровесники, начиная от стриженного ежиком Дениса, который жил через дом в таком же похожем на осиное гнездо бледном заштукатуренном бараке в кошках и георгинах (по вечерам он приходил к Зоям пить кофе из цикория и с мучительным достоинством играть на тромбоне, отчего на его смуглых шелковых щеках выступали пунцовые пятна и хотелось вешаться), и заканчивая русоголовой Альдиной, певшей, рисовавшей, танцевавшей, сочинявшей стихи и за последний учебный год последовательно обвинившей в сексуальных домогательствах классного руководителя, физкультурника, соседа, обоих своих младших братьев, отца и приехавшего из райцентра психоаналитика. Психоаналитик записывал их беседы на диктофон и китайскую мини камеру, замаскированную под итальянскую запонку, и заявление на него стало единственным, которое Альдина никуда не отнесла. Вместо этого она завела страничку в интернете, где рассказывала о своей «борьбе с системой» и обещала не сдаваться и «пройти весь путь до конца», но быстро впуталась в какую-то историю с футболками и деньгами, и отец, потерявший, наконец, терпение, отправил ее к бывшей жене в Турцию, под Айвалык. Скоро он раскаялся, но было поздно: Альдина, к ужасу матери, с первых дней флиртовавшая с отчимом, писала липким от апельсинов и инжира капслоком, что нашла себя и отказывается возвращаться «в эту страну».

Да, все вокруг томились по воплощению, и только Зоя-1 и Зоя-2 знали, что воплощение — это аверс, а исчезновение — реверс монеты, и что они не хотят исчезать. Еще они знали, что электричка в город, расположенный уже в другой, холодной и чистой, как льняная наволочка в проветренной комнате, стране, ходит из Утреннего раз в день, в шесть утра, и что скоро рабочие в комбинезонах цвета календулы, освещенной ночным фонарем, начнут пересобирать суконно-зеленое от дождей железнодорожное полотно, и этот маршрут навсегда отменят. Рукописные объявления, в которых желающим пересечь границу советовали поторопиться, с лета висели на дверях подъездов, на остановках, на ноздреватых, как мартовский снег, столбах, ангелических мачтах молчания, от которых перехватывало дыхание так же, как от цикадно-зеленых поездов, трансформаторных будок и анкерных опор ЛЭП, просеивающих поземный туман и дальний свет фар. В душистой орнаментальной темноте, какая бывает накануне долгой зимы, за двухэтажными бараками, в сумрачных волнах зверобоя и крапивы белел, как яйцо на столике в ночном купе, покатым бок дороги, и по этой дороге шла, тяжело передвигая гудящие лиловые ноги, тетя Паша, иногда останавливаясь, чтобы переложить пакет из одной руки в другую или быстро выкурить под фонарем медную и мокрую, как раздавленный таракан, сигарету.

Десять лет назад у тети Паши пропала семилетняя дочь Рая — оттепельным февральским днем, возвращаясь из школы, буднично простилась с подругами у Дома культуры, и с тех пор ее никто не видел. Сначала местные жители, потом волонтеры и милиция перевернули Утренний вверх дном: обыскивались квартиры и дачи,

подвалы, гаражи, колодцы, собачьи будки; в марте из городского пруда, обложенного мотопомпами, выкачали воду, но не нашли даже детской варежки. Всех мужчин старше восемнадцати допросили при первом следователе, а при втором, присланном из столицы, всех подростков мужского пола от двенадцати до восемнадцати. Двое подозреваемых, школьный друг Зоинных отца и дальний родственник Дениса, стоявший на учете в ПНД и живший с мамой, тоже стоявшей на учете в ПНД, повесились, и расследование заглохло на десять долгих лет, в течение которых тетя Паша добивалась его возобновления всеми доступными ей способами. Зимой на круглую дату в газетах прошла волна укоризненных публикаций, и к лету в Утренний откомандировали третьего следователя, который, взяв неделю на ознакомление с делом, предложил еще раз осушить пруд. Администрация, занимавшая облепленное настурциями здание в стиле неоклассицизм, с колоннами цвета топленого молока, сначала отказала, но тетя Паша позвала телевизионщиков, и пруд не только осушили, но и впервые перекопали ил. В нем нашли строительный мусор, велосипедные покрышки, сломанные удочки, путевой домкрат и мешок с костями, оказавшимися собачьими — кто-то топил щенков. Зоя-младшая, по утрам приходившая к пруду рвать горец для птиц, с сожалением смотрела на сломанные водолазами мостки и затоптанный дербенник.

В то же лето Зоя-старшая, которая никогда особо не думала об этой истории, проснулась ночью от мысли, что единственным местом на многие километры вокруг, где Раю никогда не искали, была квартира тети Паши. До утра, пока канарейки не начали распеваться и драть, сотрясая пролетку, просунутые в решетку пучки одуванчиков и горца, она лежала на боку, вглядываясь в ГДРовский настенный ковер, в оборванные корни валежника с пыльной темнотой под ними и в такое же пыльное и плотное, лишенное цветовых переходов пятно, означавшее медведицу, но ужас прошел не до конца, и желание избавиться от его неисчезающего остатка, который Зоя-старшая носила в себе с той ночи — и она знала то же самое о второй Зое — гнало сестер на станцию Синие Углы, где их отец когда-то работал мастером железнодорожного полотна, а мать секретарем начальника участка производственного питания. Участок этот состоял из раздаточной столовой и двух буфетов, работавших по очереди.

Родители погибли в год исчезновения Раи, влетев на «жигуленке», который одалживали у папиной сестры, в бетонный отбойник утренней скоростной трассы. Считалось, что они ездили собирать чернику, но тетя, оформившая опеку над девочками, рассказывала другое. Якобы в последние месяцы перед смертью отец искал в окрестных лесах какое-то дерево, некогда спрятанное им же самим так искусно, что нельзя было ни забыть о существовании этого дерева, ни вспомнить, где оно находится. Можно было, как говорил отец, только знать, что нечто было спрятано, и методично обследовать древостой — простой, сложный и смешанный. «Переборщик с маскировкой», — виновато шутил он, в очередной раз выходя из подлеска к машине, где сидела мама с бутербродами в сумке и камвольной пряжей на коленях. Отец начал брать ее с собой на третий месяц поисков, вспомнив, что они полюбили друг друга до того, как он переборщик с маскировкой. Как позже догадались сестры, мать с ее мечтами о покое и синельной пряже была чем-то вроде неисчезающего остатка, к которому возвращаются из любого леса, не сумев заблудиться. По этой же причине она исчезла вместе с ним.

«Как думаешь, в тот день они его нашли?» — спросила Зоя-младшая, когда в ноябрьских утренних потемках они подходили к Синим Углам. В лиственничнике у поворота на станцию проступали очертания кирпичной водонапорной башни, похожей на выпавшую из шахматного набора гигантскую ладью, не понимающую, ходить ей или нет. С ней нужно было попрощаться отдельно. Зои особенно любили ее летом — когда васильковый от старости кирпич озарялся нашатырным холодом лиственниц, в башне селились аисты и гадюки; о простоте первых и мудрости вторых Денис сочинил партию для тромбона, которую невозможно было слушать. Зоя-старшая пожалала

плечами. Она шла и представляла, как канарейки беснуются в подвешенных к клеткам купалках, вымытых и очищенных от известкового налета и пропускающих голубое майское солнце — брызги долетают до подушки, Зоя-старшая, покрутившись и поморщившись, говорит с обожанием «достали» и, повернувшись к сестре, добавляет: «Или перепрытали».

— Дерево? — уточняет Зоя-младшая.

— Тело, — отвечает Зоя-старшая.

— Что? — говорит Зоя-младшая.

— Забей, — говорит Зоя-старшая. Она снимает рюкзак и садится на ступеньки пешеходного моста ждать в молочном свете щебенки электричку, которая никогда не придет, потому что последняя на свете электричка, следующая по маршруту «Утренний — Точка Невозврата — Вечерний» вышла из Синих Углов двенадцать часов назад, черным до сапфировой синевы ноябрьским утром, таким же, как этот вечер, и потому что людям, которые стали собой так давно, как это сделала Зоя, нужно только вспомнить момент, когда день и ночь поменялись местами — не сейчас, конечно, сейчас мы уже ничего не вспомним. Когда-нибудь потом.

Пустое дыхание

1

Сон, открывавшийся в любое время, как комната, чем-то вроде комнаты и был — дополнительным помещением в до треска реалистичной квартире (электрический треск воцарившегося вещества), в которой Рогозов с женой проживал, по ощущениям, уже около вечности. Проблемы начинались при попытке вернуться: всё валилось из рук, поскальзывался на мокрых досках, ронял ключи в траву и не находил, и начинал паниковать, и вместо ключей нащупывал то пузырек со снотворным, то седую мучнистую устрицу на тусклом блюде, то лоб в издевательски крупной испарине (брезгливо отдергивал руку: это я? это что, я в детстве?), то совсем какую-то гадость — сгусток волос и слизи, упругий, как каучуковый мячик, гипоталамус, выпуклую в неожиданных местах плоскоклеточную карциному; вытирал руку о штаны, прислонялся к забору и вдруг вынимал изо рта длинный, как градусник, ключ без резьбы, с тупым концом, и он подходил, подходил, и уклончивая ветка смородины, боднув напоследок дверь сарая, и сарай, и крапива в жирных солнечных кляксах, мешаясь с сердцебиением и птичьим щебетом, рывками смещались в горячий зернистый мрак, и постепенно оставалось только ровное дыхание, хрустально ясная схема тела, надменное, как перед расстрелом, лицо в зеркале над раковиной.

Выходить можно было по-всякому, не обязательно через сарай, это могло быть что угодно: кладбищенская калитка, на которую навалились с той стороны, со стороны тишины и звона, комья грушевых веток с крепкими, в резких латунных бликах, плодами, какая-то хижина в акациях (резались в дурака или раскладывали витиеватый, непонятно кем придуманный пасьянс, расчесывая в минуты сосредоточенного молчания лодыжки в комариных укусах), дверь в подвал, дверь гостевого домика с прислоненными к ней удочками, вообще любая дверь; пахнущий брусникой и бензином багажник дедушкиной «Нивы», сундук с задумчивой трещиной в лакированной крышке, музыкальная шкатулка с заедающим механизмом, тренькавшая натужно, со вздохами и перебоями, голубые и желтые параллелепипеды пчелиных ульев в жухлой, просвеченной солнцем траве под яблонями — все, что закрывалось, запиралось, задвигалось и защелкивалось в последний момент, оставляя

в пальцах пульсирующий абрис твердого предмета и нашатырную легкость в теле, было способом вернуться.

Жена сначала старалась не замечать этот бледный ветвящийся сон, относясь к нему как к ошибке восприятия или колкому подтексту поздравительного послания, на котором не стоит заикливаться — выспишься, и пройдет само; но ничего не проходило; она стала раздражаться, зарастать изнутри чугуном вопросительным молчанием, тяжелым, как олимпийская штанга, она стала швырять столовые приборы в раковину так, чтобы наделать побольше шума или что-нибудь разбить, тарелку или стакан; наконец, она стала курить, глядя сощурившись в окно и подолгу задерживая в легких волокнистый дым с химической цветочной отдушкой. Он посадил ее за стол, сел напротив и рассказал, как мог, пока не забыл, потому что он все время это забывал, про свое детство, про Викторину, про лягушачий заговор, про то, что, даже если допустить в недовоплощенных существах, блуждающих друг в друге, как в тумане, сливающихся в одну тенистую снежную душу, сразу начинавшую волноваться и дышать, и вдруг бессильно распадающуюся на скрипучие калейдоскопические многогранники — так вот, даже если допустить в этих нестойких существах тайное присутствие сумеречного веского бытия (на слове «бытие» она шумно выпустила дым и начала, вскинув брови, с ненавистью вминать бычок в пепельницу), или, ладно, хотя бы нагретой ямки в месте его многозначительного отсутствия, смерть физическая никого из нас не довоплотит («включи чайник», — сказала она рухнувшим голосом), а только поспособствует моему окончательному и, я тебя уверяю, совершенно триумфальному распаду на шум и блеск, огонь и воду в том сквозистом утреннем саду, чьим единственным живым обитателем и ныне, и присно, и во веки веков будет Виктория, пучеглазая сонная дылда с подгнившими васильками в белых пушащихся волосах, которая, если подумать, виновата лишь в том, что не хочет провести жизнь в дурдоме, и которая... ты хочешь знать, кто такая Виктория?

Она была сестрой кого-то из нас, кажется, двоюродной, в некоторых случаях троюродной или вообще приемной. Как мне в конце концов удалось выяснить, то ли из Севастополя, то ли из Симферополя, я эти названия всегда путал: и там, и там желтая с зеленцой «с», лимонница в капустных грядках, шершавая теплая «п» — ночная июньская вещь вроде фонаря или тополя, доверчивая, как теленок; стеклянная «о», и «л», как белая лайка и сугробы из советской книжки, вернее, не совсем белая, а такая, как сказать... Неважно, какая точно, потому что тон задают «с» и «п», получается облачный полдень, георгины в бушующих палисадниках, тропинки в крапиве, доски с вытарашенными гвоздями, шалаши и помойки в пологих оврагах. И никакого моря. Там рядом есть море? Хотя да, «о», округлая махина волны, что-то такое... Нет, «ф» в этой ситуации роли уже не играет, и нет, «ф» не фиолетовая, это вообще не так работает.

Никто из нас никогда ее не видел, мы только знали, что она целыми днями играет в саду, что на улицу ее не выпускают, так как то ли с ней, то ли с нами что-то немного не в порядке, скорее всего, конечно, с ней. Ее привозили на лето из этого самого Симфестополя, где бесновался черный солнечный шторм, но никто не просыпался, потому что пена на мраморе, листики с размахившимися краями, вспоротые прожилки, постаменты, георгиевские ленточки, колыхание ткани, открытки, сквозняки — от такого человек только еще глубже засыпает, и это совершенно естественно. А тем более ребенок. Она и здесь не просыпалась, я это понял сразу, как только ее увидел.

Но ты же говоришь, что ты ее не видел?

Да, но я имел в виду — физическим зрением, а так я сразу ее увидел: круглое лицо в расплывчатых веснушках, дымчатые глаза навывкате, светлый туман наэлектризованных волос, дынное тело сомнамбулы с рыхлым животом и, напротив, тугими голеньями в голубой сосудистой сетке. Но эта лунная слоновья анатомия на солнцепеке

дополнительной дивной физики — фосфорическое свечение кожи, волос, дыхания — истончалась, как подожженная береста, и уже не имела значения. Целыми днями она сидела в стеклянной ловушке немыслимой буквы «о», шевеля мокрыми пунцовыми губами, питаясь настурциями, брюквой и черной каменной водой, и никакой угрозы не представляла.

Неудивительно, что мы ее проворонили.

Я клянусь, что она не представляла никакой угрозы, а если вы сомневались, пошли бы и проверили сами, господа, какая уже разница, кто виноват, идиоты несчастные.

«Я просила тебя включить чайник», — несколько нараспев сказала жена, не отрывая взгляда от скатерти.

2

Наша кобальтово-синяя, с медным отливом река в желтых и белых кувшинках была глубока, угрюма и плодоносна, как языческая ночь. В полосах сияния, как в фотовспышках, стояли навсегда запечатленные камышовые заводы и поросший дубами и орешником остров, о котором мы знали, что у его погруженных в воду подножий, в темных извилинах корней лежит утопленник с открытыми глазами и не мигая смотрит на нас.

Для раколовок требовались лягушки, которых мы каждый вечер лупили палками в зеленых, как яблоки, комьях осоки. Мокрый бурелом искрил будто неисправная проводка, где-то мычала обожравшаяся росы и сена корова, бились о щеки комары и нестерпимо, как во сне, чесалась выемка между ладьевидной и пяточной костью. С мертвых лягушек сдирали кожу, обжигали мускулистые, с длинными жемчужными мышцами трупки на костре и прикручивали к сетке раколовок, инкрустированной живыми судорожными каплями речной воды в форме усеченных сфер, напоминавших улиток на виноградном листе.

Обжигали на костре? Да, это вообще ключевой момент. Я так понимаю, контакт с огнем — ей это было принципиально, ради этого вообще все затевалось. Честно говоря, довольно умно.

— А знаешь, что еще умно? — спросил бубнящий голос, такой, словно говорили в пустую банку из-под огурцов.

— Аисты? — почему-то ответил Rogozov. Он понятия не имел, при чем тут аисты.

— Самоубийство, — спокойно поправил голос.

— Я тебя не слушаю.

— Зря. Идея отличная. Лучше, чем все предыдущие.

Сигарет нигде не было, хотя он точно помнил, что оставались две почти полные пачки: вторую он купил утром, когда не смог найти первую, купленную вечером. Беглый осмотр висящей в коридоре одежды ничего не дал: фантики, скомканные чеки, зарядка от телефона. На кухне, пока он отходил от скандала, жена навела чистоту — видимо, на прощанье. Оставалась, собственно, спальня, но сил на вдумчивый поиск не было никаких.

— Почему? — брезгливо спросил Rogozov и сел на край перебуровленной кровати. В одеяле не было тоже.

— Потому что кое-кто виноват, — пояснил голос и выжидательно замер.

— В чем?

— Во всем.

— Конкретно.

— Эскалация ближневосточного конфликта, ужесточение трудового режима в концлагерях Почефструме, Йоханнесбурга; невыделение средств из федерального бюджета на хозяйственные нужды детских садов Воронежа...

— Средства были выделены, в Воронеже точно были выделены средства, — Rogozov встал, включил большой свет и начал расчищать стол от скопившегося хлама. Пока он громадными, налитыми чугуной огородной водой руками перекладывал с места на место засохшие кисти, папки с чертежами и художественные альбомы в порванных суперобложках (вместо сигарет под альбомами обнаружились смазанные прямоугольники пыли), собеседник солидарно молчал, но, как только Rogozov опустился в кресло, парировал: «Если бы в Воронеже средства были выделены, мы бы с тобой сейчас не разговаривали». Rogozov взял карандаш и застучал тупым концом по столу.

— А мы и не разговариваем. Я не разговариваю с бесами.

— Никаких бесов здесь нет.

— Я знаю, что нет.

— Кроме одного маленького беса.

— Легко навешивать ярлыки.

— Йоханнесбург, 14284 ребенка.

Он знал, что у съехавшего режима (так съезжает с груды книг в скользких суперобложках самая верхняя книга, с омерзительным ускорением устремляясь в труднодоступную щель между креслом и батареей) есть точка невозврата: на последнем витке нехорошей метаморфозы, когда день с ночью после серии шуточных подходов окончательно меняются местами, как добро и зло в голове у помешанного, не поможет уже ни снотворное, ни аптечные травы, ни манипуляции с силой воли; вошедшая в штопор психика, сверкая алюминиевыми подкрылками, вращается в серебрищемся потоке воздуха и света, и, как земля, приближается апрель — слепящие пространства в слюдяном блеске, посудный звон пробки на Тверской, кристаллы теплого серого льда, сложенные кем-то в сиротливые горстки на гранитных парапетах в знак виноватой признательности непонятно за что. Все, что остается в этой ситуации — зажмуриться и ждать развязки.

Он вдруг понял, что стоит на кухне перед плитой, зажав кнопку поджига указательным пальцем, и равнодушно смотрит на ужимки дрыгающегося на сквозняке огня. Закрыл окно, потом почему-то присел на корточки и вытащил из-под стола накрытую полотенцем коробку с пустыми банками. Взял первую попавшуюся, из-под маринованных помидоров, с торжественным уведомлением «Сделано в Беларуси!» на красно-зеленой этикетке. Вот так, с восклицательным знаком. Поставил на пол перед собой, побарабанил пальцами по крышке, как бы на что-то решаясь.

— Детские сады в Воронеже — с чего ты взял, что не были выделены средства? Они были выделены. Все дети были счастливы, — Rogozov старался говорить обстоятельно и немного нехотя, как хорошо подготовившийся чиновник.

— Прямо все? — тут же вцепился голос.

— Большинство были, — он доставал из коробки и выстраивал в ряд между ножками стола осклизлые банки с такими толстыми стенками, что стекло в глубине сгушалось до черноты, как патока.

— А меньшинство?

— Я не знаю. Может, какие-то и не были. Это нормальная статистика. Некоторых из них вообще уже нет... Детей уводят с детских площадок, регулярно. Знаешь, куда?

— Нет. Но ты знаешь.

— Это все знают.

— А ты знаешь лучше всех.

— Это я их увожу, что ли?

— А кто же? Здесь больше никого нет.

— Где больше никого нет?

— Только ты и дети.

— Ты когда-нибудь заткнешься? Вообще, в перспективе?

Он вытер руки о штаны, поднялся, привалился к холодильнику, чтобы переждать головокружение. В окне блистала страшная, как крышка рояля, январская ночь, и где-то во дворах истерично звякала болонка.

— «Нормальная статистика». 14284 ребенка — тоже нормальная статистика? — голос стал глухим и доносился теперь как будто из-под стола, куда Rogozov задвинул пустую коробку, с силой вдавив внутрь створки в змеящихся изломах (прошла по душе судорога узнавания и за ней короткий быстрый ужас, шершень остановился над лоснистым цветком шиповника с размокшей сердцевинкой и после некоторых раздумий торжественно, как трамвай, взял вправо).

— Почему мы берем Йоханнесбург? Почему не Намибию? Бухенвальд? Освенцим?

— Тебе хорошо известны эти названия, да?

— Они всем хорошо известны.

— А тебе лучше всех.

Отпираться дальше было бессмысленно; невероятно хотелось курить. Rogozov попил из-под крана, постоял, глядя на себя в зеркало.

— В Воронеже было все нормально.

— Не ври.

Выдохнул, сел на стул, электрической рукой взъерошил волосы. Голова была мокрая и еле теплая, как погибающая птица.

— Смотри, ты же специально передергиваешь. Не может быть всегда все гладко. Не бывает абсолютно счастливых детей. Бюджет не резиновый, что могли — мы сделали. Мы не в идеальном мире.

— Пока ты здесь — это точно.

Через рот в него пропихивали фанерный лист размером с баскетбольную площадку — и слезились глаза, и коченели ноги, и где-то далеко, на другом конце земли, как собака в колоде, бултыхалось сердце. Ежась, притянул колени к подбородку, и из штанов на сидущку стула выпала золотистая пачка. Курить можно в раковину, он будет курить в раковину, но где зажигалка? Нельзя возвращаться в комнату — там, за столом, спиной к нему, сидит в налипшей рубашке, в рыбацких сапогах... Куда мне пойти, чтобы не встретить тебя? От плиты, от плиты, господи, слава богу. Хоть за это спасибо. Какая черная ночь, но успокоиться нужно немедленно.

— Йоханнесбург — за него вообще другие отвечали, если тебе интересно, — он говорил теперь вслух, голос был как избитая псина.

— С этими тоже разберемся.

— Я верну часть детей.

— Каких детей?

— Тех, что увели с детских площадок, — споткнулся о банки, пробираясь к плите за огнем.

— Вот как мы заговорили.

Он издевается, он просто издевается. Но что же делать. Тот, другой, сидит за столом, и лужа натекла под ним. Или уже стоит в коридоре, и мне не выйти отсюда: я умру, как только его увижу. Или сидит на унитазе, опустив облепленную илом голову; я включу свет, и он поднимет к лампочке свое чудовищное лицо.

— Мне бы очень хотелось вернуть всех, но получится только часть, и я сразу предупреждаю, что там может быть такая ситуация, что у Вани, например, будет Петина нога, а у Пети — Машина голова. Ну, ты понимаешь, — Rogozov перешел на лязгающий лай: — Скорее всего, на это уже никак нельзя повлиять, но если можно, я сделаю все, что в моих силах. Я выясню, можно или нет.

Голос помолчал с минуту, а когда заговорил снова, стало ясно, что он сменил банку на ту, что сварена из верхних пластов холодного, как какая-то страшная плоскость, песка заунывной осенней реки и мельтешащего снега — то есть, что надежды нет никакой.

— Ты знаешь, я уже выяснял, — сказал этот северный прибрежный голос. — Ничего нельзя сделать, и вернуть никого тоже нельзя. Ни Машу, ни Петю, ни с головами, ни без голов. Не обманывай себя.

— Не может быть.

— Может.

— Никого нельзя вернуть?

— Никого.

— Какая-то просто невыносимая мысль.

Снова смотрел на припадочную астру огня — окно пришлось открыть, чтобы выветривался дым. Оборачиваться было нельзя, потому что тот уже стоял в дверях, обдавая кухню погребным холодом.

— А ты кто?

— А ты?

— Не знаю. Меня как будто нет. Мы ходили за лягушками, и...

— Ну и дальше бы ходили.

— Я не убивал детей.

— Убивал. Сам знаешь.

— Знаю.

— Психотический эпизод с идеями виновности. Я тебя поздравляю.

— Я не хочу в психушку, — быстро прошептал Rogozov, который сразу увидел всё: ухающую вверх-вниз косматую тень ветки на желтой стене, янтарный линолеум в черных потертых ромбах, стеллажи с медкартами, напоминающие отбуксированный на запасные пути поезд с фатальной, никому не ясной неполадкой. Мутные холмики алоэ в издевательском свечении дня. Голос сказал: «Она тоже не хочет».

— Кто — она?

— Виктория, твоя сестра.

— Она сумасшедшая?

— Она не сумасшедшая, а вот ты — да. Столько смертей.

— А она что?..

— Слушай сюда. Тебя зовут Илья, тебе десять лет, и ты из Питера. За лягушками надо ходить каждый день, иначе — всё. Понял?

— Понял. Я не знал, что она моя сестра.

3

Никто не знал, чья именно она сестра, и где этот чертов сад. В понедельник мы понимали, что она сестра Наташи Осокиной, которая вообще-то была моей соседкой: наши участки разделяли заросли смородины и кряжистые сливовые деревья, под которыми слиплись в текучий ком осиные трупы и лиловые каспулы слив с горячей пряной начинкой. Бабушка Наташи, моложавая пенсионерка со смолистым пучком на голове (Нина Васильевна? Василиса Леонидовна? Елена Виленовна?), не расстававшаяся с белой пластиковой лейкой, засадила весь участок пионами, которые на топливе из рыбьих пузырей, козьего молока и крысиного яда вымахали под два метра, образовав идеальное укрытие для Виктории. Она возится с куклами в витражной тени пионов, думали мы, там, где в слоистом облаке листьев громоздились друг на друга твердые ажурные шары: канареечно-желтые, карминные, кремовые; по рыхлой земле, по коленкам, по натянутому влажному ситцу, как по стенкам калейдоскопа, плыли дремотные рубиновые блики. Или, может быть, она сидит в гостевом домике, окруженном кучными созвездиями черемши и бархатистыми зонтиками укропа, сквозь которые проходят одна за одной содрогающиеся волны зноя, ест чернику с молоком из алюминиевой миски и листает советскую книжку про полярников, скользя по строчкам кошачьими сонными глазами.

Вторник мы проживали в спокойной уверенности, что Виктория — пятая сестра Леша Морощкина, причем об этой версии Виктории мы знали больше всего: между вторым и третьим ребенком Лешин отец сошелся с любовницей, а когда вернулся в семью, к беременной четвертой девочкой жене Ангелине, родилась большая наспуленная Виктория с диатезными пятнами на щеках (здесь какой-то сбой во времени, в котором так никто никогда и не разобрался), и сразу никому не понравилась, кроме блескучей, как паутинка, бабушки Елизаветы в конусообразном дермантиновом плаще, из которого торчали снежно-розовые запястья и фарфоровые косточки ног, обутых в огромные стоптанные башмаки. Проблемы, якобы, начались сразу: плохо спала, не брала грудь, никого не узнавала; позже наотрез отказывалась общаться с другими детьми, а если пытались заставлять, запиралась в кладовке и швыряла в дверь банки с маринадами, рыдая и задумчиво колупая в перерывах между рыданиями болячку на коленке. Бабушка Елизавета стояла под дверью, стучая в нее кулачком и что-то нашептывая. Врач с холодными, как подснежники, руками долго, невыносимо долго разувался в прихожей и потом так же долго обувался. Если Наташа о сестре не вспоминала вообще, Лёша помнил о ней все время (весь светящийся, как отмель на солнцепеке, хлорофиллово-зеленый вторник), но пресекал любые разговоры на эту тему.

В среду, подобострастную, как пойманная лиса, Виктория была моей сестрой, и я знал, что она сидит в малиннике за баней и сквозь початки рогоза, облепленного паутиной и стрекозами, смотрит на снующих в синеве водомерок. В четверг она становилась сестрой Игоря, а в пятницу — твоей. Суббота — банный день. Воскресенье — день несостоявшихся самоубийств. В понедельник все начиналось сначала.

4

А действительно, при чем тут аисты? Аисты, «один из символов Беларуси», долгими продувными днями, предвещавшими осень, которая никогда не наступит, стояли, как свечи, в темных полях за деревней; над полями громоздились бурые, с фиалковой изнанкой тучи, и было ясно, что хлынет дождь, а утром в смородиновых кустах встанут цветные спектральные лучи, и занавеска накалится на солнце — в комнате запахнет уюгом и пылью — и по холодной и гладкой, как картофелина, земле сада мы пойдем к рукомойнику под сливами, многократно отраженному в зеркалах сырой травы.

Аисты глотали студенистых, в налипших травинках, лягушек, вот при чем тут аисты. Конечно, до ритуала с огнем не доходило, но не сочти это за недоработку: аисты (и, между прочим, выдры; выдра, которую я долго принимал за кошку, бегала к нам на участок, на помойку под старой черемухой, разбитой грозой и с тех пор переставшей плодоносить привычным способом, а вместо этого непрерывно выпускавшей из точки раскола столб слизистых черных молекул; а чем, как ты думаешь, питаются выдры?), хоть и были лишь заметками на полях, обедками ее фантасмагоричной мысли, все-таки свидетельствовали о полноте, даже избыточности замысла. Избыточности, моя милая, а не отсутствии.

Я говорил, что она поступила умно: всё — деревня с рекой и тополиной аллеей, рывками, как ртуть, скатывающиеся с валунов ящерицы, песчаные карьеры с горящими на солнце озерами, на дне которых в чересчур прозрачной даже для рая воде лежали вогнутые тени сосен, проселочная дорога в сизых вмятинах и напоминающих телевизионные помехи наплывах свечения с полей, раскаты иван-чая, не достающие до березняка на пригорке — всё, я повторяю, держалось на нехитром ритуале с лягушками, соучастниками которого она нас сделала, заселив реку раками и вложив в наши руки бересту и спички. Получился перпетуум мобиле, самовоспроизводящаяся

программа, фантазия, генерирующая сама себя — идеальное убежище для тех, кто не при каких обстоятельствах не собирается покидать кладовку. Я нашел в своем блокноте записанное в столбик: «лимнада миланда милдана марфа мара марта», потому что во дни озарений, по воскресеньям, обложившись энциклопедиями, пытался вычислить ее имя.

5

Рогозов много раз брался за такой текст, который стал бы чем-то средним между провинностью и объяснительной, но быстро застревал в нем с пересохшим ртом и нарастающим сердцебиением, как если бы блуждал в лесу, по крайней мере частично составленному из тех наиболее удачно спрятанных деревьев, которые не найдет уже никто, включая самого прятавшего, все больше догадываясь, что он и есть Сам Прятавший, то есть тот, кто трогает шершавую поверхность ночной доверчивой вещи и оступается в мокрой крапиве и вдруг с клоунской ужимкой вынимает изо рта совершенно сухой ключ, и все хочет и не может заплакать. Кроме того, с годами он все яснее ощущал, что в языке в буквальном смысле не хватает слов — также как в легких не хватает воздуха на большой высоте. По всей видимости, — рассуждал он — язык оснащен защитным механизмом, обеспечивающим соскальзывание, пустое прокручивание там, где между человеком и истиной критически сокращается дистанция. Действительно, на последних секундах сближения начиналось какое-то проваливание, пьяное шатание, вихляние души, не хватало воздуха, одного точного, как поворот ключа, слова; «возникает феномен “пустого дыхания”, когда сказано почти то, но никогда не то самое, и ясно, что то самое сказать никогда нельзя, а сказанное *почти то* лишь ссылка на несказанное, доказательство присутствия, тень на стене, тень ветки на летней воробьиной стене», — вот такие записи он находил в своих бумагах, когда, содрогаясь от усталости, с палкой в руке, стоял по колено в тумане и пытался отдышаться. В сапоги набиралась вода.

«И если воплощение мне не светит, — писал Рогозов, теперь это была заметка в телефоне, — если чудовищное усилие дорваться до самого себя — так какой-нибудь зверь пытается допрыгнуть до слишком высоко подвешенной приманки — совершалось напрасно, если я навсегда оставлен с той стороны вещей, со стороны тишины и звона, если я не выбыл из мира, как ей, наверное, казалось в той фазе отчаяния, когда оно еще предприимчиво (все эти разговоры про врачей и так далее), а просто не присутствовал в нем изначально, если, понимая это в конце концов, она смотрит на меня с брезгливым сожалением, потому что знает, что когда-нибудь я спокойно забуду ее и себя, как послеобеденный сон; если все это так, то будь по-твоему, маленькая жирная ведьма. *Подавись своими раками*». Последняя фраза была напечатана курсивом — он долго возился с настройками документа, мокрый палец скользил по экрану, но в итоге удалось.

Дописав и бросив телефон в одеяло, Рогозов выбрался из кровати, покружился на месте, оступаясь в прохладных струях психоза, остановился, отдышался, шагнул в ослепительный щебет и наконец-то заплакал.

Сергей Муратов

Два рассказа

Дёма

В метро Дёма бывал только с мамой, когда они ездили в гости к тете Наташе. Вообще-то его звали Андреем, но фамилия у него была Дёмин, и потому все звали его Дёмой. Даже его мама, но только когда сердилась. И ему нравилось быть Дёмой, да он и сам был, как это слово, — белобрысый, веснушчатый и ладный, как речной голыш. В метро Дёме ужасно нравилось, но тетю Наташу он не любил. Дёма хоть и был второкласником, но уже понимал, что никакая она не тетя, а дальняя родственница, а маме просто нужно занять денег до получки.

Тетка жила одна в большущей квартире, и все у нее стояло на своих местах, как в музее, а трогать ничего нельзя. Это бы ладно, но еще у тетки была старая визгливая болонка. Она выкатывалась из-под дивана, переворачивалась на спину и, дрыгая задними лапами, ждала, что ей будут чесать живот. И тетка умилялась, думая, что Дёме это очень нравится. А Дёма терпеливо чесал заросший желтой свалявшейся шерстью живот и мстительно воображал, как он встретит эту псину на улице. И тогда, тогда, животное, ты от Дёмы и на дереве не спрячешься! Ты же не кошка!

Но зато у тетки откуда-то были большие альбомы с морскими гравюрами и картинами. И Дёма подолгу разглядывал их. Вот плывут в бушующем море трое смельчаков, ухватившись за обломок мачты с красным парусом. Огромные волны бросают их с гребня на гребень, но они — отважные и сильные моряки, и погубить их не так-то просто.

А вот весь в дыму и в огне сражается парусный русский фрегат с целой эскадрой под флагами с хищным полумесяцем и звездой. Палят пушки, летают тяжелые ядра, свистят пули, гибнут в огне и тонут в пучине матросы и офицеры. Много пробоин в борту у нашего фрегата, одна мачта сломана, на двух других паруса пробиты и разорваны, прострелен и порван красивый Андреевский флаг. Но и у турок один большущий корабль уже тонет, и вряд ли там кто спасется, два корабля поменьше горят, а еще два уже повернули в свои турецкие свояси!

В вагоне метро было только два свободных места и в разных концах. Мама сказала Дёме, что он уже не маленький и посидит один, а она будет недалеко — вон там. И ушла. Дёме это очень понравилось, выходило, что он едет почти что один, как большой. Надо будет приврать друзьям, что они с мамой вообще в разных вагонах

Муратов Сергей Афанасьевич родился в 1967 году в Чебоксарах. Окончил Московский строительный техникум (1986). Автор сценариев к фильмам «Мешок», «Салам, Масква» и др. Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

ехали. Вагон мчался со свистом и скрежетом, за окнами было темно, только тянулись бесконечные провода. А окна в вагоне — как иллюминаторы у подводной лодки, и это, конечно, никакие не провода, а самые настоящие глубоководные водоросли. Дёма где-то читал, что в некоторых морях водорослей ужасно много, и за одну ночь они могут корабль так опутать, что ему уже и не сдвинуться.

Но подводная лодка — совсем другое дело, на такой скорости ей ничего не страшно. Любая глубина и любые водоросли — все нипочем. Дёма осмотрел команду вагона, и действительно — все были спокойны, а некоторые даже дремали. И тут Дёме захотелось сходить к маме. Нет, дела у него никакого не было, но ему ужасно нравилась сама идея: он едет в метро, у него есть свое место, и он даже может сходить к маме и вернуться обратно. Класс!

Но мама была все-таки не рядом, а вдруг его место займут? Хотя в вагоне почти все сидели, Дёма все же беспокоился, он же видел, как вошедший на станции военный занял место очкарика с букетом, который пошел посмотреть карту метро да так там и остался. Можно, наверное, кого-то попросить. Дёма посмотрел на соседей, но тетка, которая слева, уж очень была похожа на дворничиху Семёновну, а ту просить бесполезно. Сколько раз они всем домом плакали — просили не забирать котят у дворовой кошки Маруси. А сосед справа был вообще негр, и он спал.

Тогда Дёма слез с пружинистого диванчика и многозначительно оглядел всех, кто сидел на его стороне, а также и сидящих напротив, словно говоря им — вот видите, это мое место, я сейчас уйду к маме, а потом вернусь. Все тоже посмотрели на него, даже негр приоткрыл глаза и снова закрыл. Дёма решил, что они все поняли, и смело двинулся к маме.

В этот момент вагон сильно качнуло, и Дёме пришлось бы худо, не ухватись он за блестящие поручни капитанского мостика. «Что бы это могло быть?» — забеспокоился Дёма. Даже если это гигантский кальмар, все равно, главное, в такие минуты сохранять спокойствие и быть для команды примером. Твердо стоять на своем месте, будто ничего не случилось и все идет по плану. Дёма пошире расставил ноги, крепко сжал поручни обеими руками и бесстрашно посмотрел в иллюминатор — там была все та же бездонная пустота и виляли вверх-вниз толстые канаты водорослей. Вскоре вагон бросать перестало и движение выровнялось. «Наверное, прошли под стадом кашалотов, вот вечно они болтают своими хвостами», — подумал Дёма. Он отпустил капитанские поручни, засунул руки в карманы и вразвалочку, как матросы в фильмах, двинулся к маме. Но тут Дёма оглянулся на свое оставленное место, и на глаза мгновенно навернулись слезы. Нет, он не заплакал, но в груди народилась и прочно сидела толстая, плакучая обида, готовая вот-вот прорваться наружу. На его законном месте сидела незнамо откуда тетенька в больших очках и в маленькой шляпке. На коленках она держала корзинку, покрытую клетчатым платком, из-под которого высовывал разбойную морду рыжий кот. Он подозрительно нюхал воздух и снова прятался. Дёма выпятил губу и решил, что до мамы он, конечно, дойдет, но возле нее точно расплачется. И тут подводная лодка на полном ходу вынырнула на поверхность. Мимо проносились кусты, за ними березовая роща, и солнце, пробиваясь сквозь деревья, залило все своим светом, и Дёмины слезы сами собой высохли. Он еще раз посмотрел на рыжего кота, на теткину шляпку, улыбнулся и по-матросски, вразвалку, пошел к маме. Она тоже улыбалась ему и вынула его руки из карманов, а Дёма нагнулся к ней и сказал: «Мам, а я тете с котом место уступил».

Прощание

Всё произошло неожиданно, как в каком-нибудь незатейливом фильме. Утром позвонил брат, и, не поздоровавшись, объявил Андрею о смерти деда таким тоном, будто обвинял в случившемся. Это у него привычка такая, он ведь старший брат, хотя три года для взрослых вроде бы никакая не разница. Наверное, от этого тона Андрей почувствовал лишь досаду, а горечи почему-то совсем не было.

Поздно вечером, на вокзале, встретился он и с братом, и с родителями, и с другими родственниками. Ехать всем вместе не получилось, и Андрею достался билет на самый последний поезд, что его и утешило. Честно говоря, ему совсем не хотелось ехать с кем-то вместе, родственных связей он не понимал и не ценил. Ему казалось, что все это неискренно, напоказ, для семейных юбилеев или вот для похорон. Чтобы раз в несколько лет, сидя за многолюдным столом, окинуть всех нетрезвым взглядом, толкнуть в бок ближайшего из родственников и негромко заметить: «Черт возьми, а ведь не мало нас — Ивановых (Петровых, Гвоздёвых и т.д.) на свете...» Но в жизненной суете даже с родным братом Андрей созванивался и виделся очень редко. А уж про всяких двоюродных дядьев или племянников годами ничего не слышал, да и не спрашивал.

Вагон оказался последний. Андрей стоял в тамбуре и глядел на убегающие рельсы, хотя рельсы как раз оставались, а он уезжал. Вспомнилось, как перед самой армией захотелось вдруг съездить в деревню. В юности служба в армии представлялась ему каким-то рубежом, важным жизненным перевалом. И он поехал, так сказать, напоследок. Было это в конце зимы, еще стояли морозы, и опаздывая на поезд, Андрей бежал по скользкому, как каток, перрону Казанского вокзала и еле-еле успел запрыгнуть в последний вагон. И так же, как и сегодня, долго стоял в тамбуре и зачарованно смотрел на убегающие рельсы.

Дед тогда лежал в единственной на весь район больнице, и Андрей сделал крюк, чтобы повидаться с ним. За ночь началась оттепель. Дороги развезло, сугробы почернели и пошли проталинами, отчего вся красота зимы исчезла. Больница была деревянная, черная от старости и задней своей частью нависала над оврагом, на дне которого зимовала чуть живая, но упрямая речка. Глядя на этот двухэтажный почерневший от времени покосившийся дом под серой цинковой крышей, нельзя было поверить, что отсюда может исходить хоть какая-то помощь. Андрею не доводилось бывать в сельских больницах, и войдя, он оторопел и не сразу понял, что ничего необычного не происходит. Сразу за входной дверью, обитой стеганым одеялом, располагался неосвещенный холл. Вдоль стен сидели на корточках небритые мужики в валенках и телогрейках, женщины с грудниками на руках и больные в серых халатах с бледными лицами.

Вспомнились и Булгаков, и Чехов. И стало страшно: ведь и его дедушка здесь. И, наверное, как и эти люди, верит и надеется, что здесь помогут, избавят от болезни, от боли. И стало жалко, до слез жалко всех этих... Андрей не находил нужного слова, но откуда-то вдруг пришло «прихожане», и оказалось единственным, необходимым и точно выражающим их положение.

Палата находилась на втором этаже. Узкая комната с грязным окном в торце. Вплотную стоящие металлические койки. И вдруг на ближайшей — дедушка... его дедушка... Серая простыня с синей печатью на рваном углу. На тумбочке кружка-поилка с фотографией Ессентуков, возле кровати — согнутый в колене, одетый в пижамные брюки, такой знакомый и родной дедушкин протез. Андрей присел к кровати, взял деда за темную жилистую руку, посмотрел ему в глаза, и внутри у него все сжалось. Дальнейшее он помнил неясно, какими-то урывками.

Андрею почему-то казалось, что дедушка, увидев его, обрадуется, оживет и оправится... Это было наивно, но он еще никогда не видел деда беспомощным. А дед молчал. Он даже не улыбнулся. Не переменял позы, так и сидел, покачивая седой, коротко стриженной головой и время от времени протяжно выдыхал: «Да-а-а...» Словно укорял кого-то. И тогда Андрею захотелось поднять деда на руки, завернуть в одеяло и скорее унести отсюда, в деревню, домой, к бабушке. Туда, где мир понятен и прост; где весь порядок жизни подвластен деду, и без его ведома никогда ничего не происходит. Туда, где деда любят и уважают, где одних внуков летом съезжается больше дюжины; где вся деревня ходит к нему за советом и помощью. Одним словом, надо было немедленно восстановить нормальное положение вещей в этом больном, покосившемся мире...

Андрей шел по скрипучим полам полутемных коридоров к какой-то заведующей, чтобы объяснить, что дедушке здесь нельзя, невозможно... А заведующая, узнав, что Андрей из Москвы, вдруг обрадовалась и бойко заговорила, показывая историю болезни, результаты анализов... Андрей смотрел на нее и не мог поверить, что перед ним — живой человек, а не актриса. Так фальшиво она играла, не владея ни ролью, ни голосом, да еще эти нелепые жесты с градусником в маленьком красном кулачке... Ну какие, какие анализы! Если в палатах накурено, грязь, тараканы, а туалет и вовсе на улице... Было слишком понятно, что этой женщине совершенно неинтересен ни дед, ни его здоровье. Но для чего же, для чего она говорит все это? Этот вопрос так и остался тайной. Позже, когда жизнь снова сталкивала Андрея с такими людьми, он уже не пытался вникать в смысл слов, а только пристально вглядывался, надеясь разгадать — что движет человеком в такую минуту? Зачем, чего ради продолжает он представляться каким-то персонажем, неужели не чувствует, как фальшиво и нелепо это выглядит? Ведь всего-то и нужно было тогда деду — домашняя обстановка и родные люди. Только и всего...

Поезд стоял на станции. Вагон спал, а за окном шел затяжной дождь. Свет прожекторов и семафоров блестел на мокрых рельсах и черных лужах. Даже в вагоне чувствовалось, как снаружи сыро и холодно. Сквозь стекло, по которому текли капли дождя, различались мешковатые фигуры в капюшонах, они медленно брели вдоль состава, шлепая по лужам. И через равные промежутки времени под вагонами раздавались короткие металлические удары. Потом пауза, хлопанье по лужам и стук под другим вагоном. И так неторопливо все это делалось, что казалось, будто так здесь было всегда. Из века в век лежат тут рельсы, по ним идут поезда, останавливаются. И кто-то невидимый ходит и постукивает, постукивает, постукивает. А может, и поезда идут не оттого, что есть где-то расписание, вокзалы, билеты и пассажиры, а только от этого вот постукивания. Да и все остальное, не только железная дорога, а все вообще — небо, ночь, дождь, звезды — вообще все в мире, быть может, зависит от мешковатых фигур и постукивания.

Вспомнился эпизод из «Андрея Рублева». Там тоже лил бесконечный дождь в какой-то местности, где, сколько хватало взора, только лес, грязь да вода. А люди, кучка оборванных замерзших крестьян, укрылись чуть ли не в хлеву, где и крыши-то, кажется, не было, дети и старики и козы с курами. А на лицах забитость, страх и неизбывная безнадега. Так они и жили век за веком. Если дождь — они мокли, если солнце — грелись, а приходила смерть — умирали... И ничего, ничего-то не изменилось...

Андрей пристроил на полке сумку и куртку вместо подушки и лег. Он любил ездить ночью, когда все спят и можно свободно ходить по вагону или стоять у открытого окна. Вглядываться в таинственную тьму ночи и представлять, как хоронились в лесах осторожные мурома и воинственные древляне, укрываясь все дальше и дальше в непролазные волжские болота от расширявшегося московского княжества...

Он закрыл глаза. В пять утра будет его станция, надо было хоть немного поспать. С раннего детства Андрей каждое лето проводил в деревне и всякий раз переживал приезд и отъезд как встречу и разлуку с чем-то очень дорогим и неповторимым, чего нигде в мире больше не было и не могло быть. Все его здесь удивляло и приводило в душевный трепет. Залитые солнцем темно-зеленые холмы; тенистая тишина лесных оврагов; марево жаркого полдня и прохлады туманного утра; золото топленого молока в крынке и россыпи алой брусники на покрывале зеленого мха. И потом он твердо верил, что имеет какие-то особые, таинственные, еще не раскрытые отношения с этой землей — с лесами, прудами, оврагами. На всем, что он видел, лежала печать некой тайны, но что это была за тайна он не знал, а спросить было не у кого. И всякий раз, приезжая в деревню, он ожидал чего-то, какого-то откровения или встречи, но с кем или с чем, он не знал. Однако лето кончалось, но ничего такого не происходило. Андрей огорчился, но, поразмыслив, признавал, что, пожалуй, он еще не готов, еще не созрел... И, прощаясь с деревней до будущего лета, сквозь печаль разлуки он ясно чувствовал, что в следующий приезд — обязательно что-то произойдет...

Пройдя пешком пять с лишним километров под холодным морозящим дождем, Андрей продрог и устал, словно прошел все двадцать. Хотелось в тепло и пахучего горячего супа из печи. В деревню он вошел околицей или, как здесь говорили, задами. Мимо черных покосившихся бань возле заросшего пруда. Раньше пруд был глубокий, чистый с песчаным дном, но не прошло и десяти лет, как он превратился в болото. Андрей открыл калитку и зашел в дедушкин огород. Мокрые куры сиротливо ходили по раскопанным грядкам и рылись в иссохшей ботве. Голые темные яблони, как узники земли, взывали к небу корявыми ветвями. А в небе плыли рваные серые облака, поливая дождем и без того мокрую землю.

В дом Андрей вошел через задний двор. По стенам висела старая одежда: пальто с облезшими воротниками, белые заношенные дождевики, выцветшие шляпы и кепки, сумки с тряпьем и даже лапти. Из темного угла выступал большущий сундук, куда раньше ссыпали зерно, а теперь там хранили всякое барахло, что давно вышло из употребления, но выбросить было жаль. Летом на заднем дворе всегда прохладно, и дедушка, вернувшись с полной корзиной грибов и сняв скрипучий протез, садился на пороге, поглаживая оставшуюся после ранения культю, подолгу смотрел вдаль. Деревня стояла на холме, и вид отсюда открывался красивейший: нисходящие зеленые террасы с желтыми шапками стогов, с темными перелесками и синей полосой дальнего леса. Андрею всегда казалось, что деревня здесь появилась только ради пейзажа.

Тишина, полумрак, запах сырой земли, мокрой древесины, старой одежды, все возбуждало в Андрее мысли о старине, о предках, которые Бог знает сколько жили на этом месте. Ходили этими тропами, трудились на земле, растили детей, радовались внукам, на что-то надеялись. Куда девалось все это? И что осталось? Разве только огород, дом, да и сколько он еще простоит? «Но тогда чего ради... Чего ради...» — начали подниматься вопросы, но вдруг Андрей заметил, что на веревке, протянутой вдоль стены, висят дедушкины кальсоны с одной обрезанной штаниной и толстый шерстяной чулок, который дед надевал вместо носка на оставшуюся от ноги культю. Это поразило Андрея, и он вдруг подумал, что, может, дедушка жив, просто вышла ошибка, напутали или... да мало ли что...

Бросив в коридоре сумку, он прошел в избу и, войдя в низкую дверь, сразу понял, что ошибки не было — старое зеркало, висящее напротив двери, было обернуто простыней. А на печной лежанке навалены ватники, куртки и пуховые платки. Открылась дверь в переднюю комнату, послышалось монотонное причитание и вышла мама Андрея. Она была в шерстяном черном платье и черном платке. Посмотрев на Андрея заплаканными глазами, она всхлипнула и, обернувшись в

комнату, сказала: «Андрюша приехал». Из комнаты сейчас же послышался бабий вой на несколько голосов, и мама поманила Андрея за собой: «Иди, постой возле дедушки, постой...»

Андрей с трудом стянул с себя мокрую куртку, закинул ее на печь и шагнул в полумрак комнаты. В углу горела лампада, освещая темную икону. Посреди комнаты стоял открытый гроб, и на его стенках горели четыре свечи. Андрей сделал пару шагов и остановился. Как во сне видел он бледные пятна лиц в полумраке, слышал глухие рыдания с причитанием, но сам просто оцепенел. Умом он понимал, что в гробу лежит дедушка, его дедушка, и надо что-то сделать, ну хотя бы заплакать, но не мог даже посмотреть в гроб. Ему было стыдно и неловко, как будто он был в чем-то виноват перед дедом, и это было невыносимо. Неожиданно появился брат и, взяв Андрея за руку, повел из комнаты, сказав: «Пойдем, выпьем, а то заболеешь».

За занавеской, в кухонном закутке, они с братом выпили теплой водки из граненых стаканов. Андрея подташнивало, допив до конца и взяв большой соленый огурец, ел его с черным хлебом и слушал брата. Тыча Андрея в грудь, брат с хмельной увлеченностью рассказывал, что к их тетке Тане, младшей дочери деда, как раз в день его смерти залетел на кухню голубь и побил всю посуду. Но самое главное, что голубь был белый, и этот факт особенно умилял брата. Андрей почувствовал, что захмелел, и полез на теплую печь, где пахло мокрой одеждой и сухим печным теплом.

Пробираясь сквозь мокрые заросли, Андрей идет по дну глубокого лесного оврага с крутыми, заросшими сплошным орешником склонами. Со дна оврага поднимаются могучие дубы и огромные доисторические папоротники, что наводят на мысли о сказочных чудовищах. Странная для леса тишина и ощущение, что кто-то за ним наблюдает. Неожиданно и овраг с папоротником, и дубы, и нависший свод орешника расступаются, и открывается широкая поляна, поросшая мелкой, словно подстриженной, травой, на которой лежат несколько лошадей. Андрей останавливается и в немом удивлении глядит на них, а они на него. И столько величия в лошадиных глазах, что он теряется. «Здравствуй, Андрей!» — раздается вдруг глухой низкий голос с каким-то акцентом. Андрей испуганно вздрагивает, но сразу успокаивается, поняв, что это, видимо, пастух, да к тому же знакомый, и оглядывается. Но никакого пастуха нет, а есть гневной масти лошадь, и она приветливо кивает ему головой.

«Здравствуй, Андрей!» — снова слышит он и в ужасе понимает, что это говорит та самая лошадь. Она легко поднимается и рысцой подбегает к оцепеневшему Андрею. Остановившись, лошадь нюхает его волосы и рокошет: «Не узнал? Я Звеска, дедушки твоего лошадь».

И точно, теперь Андрей и сам видит, что это она, лошадь, на которой дед возил в деревню хлеб. Сколько он себя помнил, столько лет помнил и Звеску. У дедушки на телеге был устроен фургон для хлеба. Вот эту телегу и возила Звеска, но она умерла. И потом, умерла не умерла, но Звеска не может с ним разговаривать, она же лошадь!

Андрей с испугом глядит на Звеску и чувствует себя совершенно беспомощным перед ней и другими лошадьми. И главное, он совершенно не знает, что у них на уме. Он на секунду зажмуривается, потом еще раз внимательно смотрит Звеске в глаза и обессиленно опускается на траву. Звеска призывно ржет, и к ней подбегает черный жеребец. «Это Каурый, — говорит Звеска. — Садись на него, Каурый любит всадника. Поскачем к Чёрному озеру!»

Каурый идет галопом. Андрей, обхватив его сильную шею руками, с трудом держится на спине этого большого, сильного животного. Он уже не знает где находится, все смешалось в этой скачке, и небо, и земля, и время... Словно изнутри доходят до него слова Каурого. Грубые и мощные, в невозможном лошадином произношении они звучат страшно и убедительно. Иногда Каурый делает неправильное

ударение или раскатывает букву на целое слово и тогда смысл фразы разрывается и зияет пропасть, что от начала положена между животным и человеком.

«Пойми, человечество хорошее, но вы слабы... но теперь мы ваши друзья! Ваши разумные помощники, ведь вы так долго мечтали о цивилизации, которая помогла бы вам... нашу верность и терпение наше вы знаете не одну тысячу лет... Без нас вы исчезнете, как атланты».

Каурый умолкает и прибавляет хода. Андрею становится совсем худо. Он чувствует себя не человеком, не гомо сапиенсом, а какой-то обезьяной. Ему уже плевать и на цивилизацию, и на человечество, и в какой-то момент он ослабляет руки, соскальзывает с Каурого и летит куда-то вниз, вниз, вниз...

Андрей проснулся, словно из омута вынырнул. Был он весь мокрый, тяжело дышал и в полутьме не сразу смог сообразить, где находится. Во рту было гадко и что-то твердое упиралось в спину. На ощупь он опознал валенок и вспомнил, что лежит на печи. С потолка, как гигантские гусеницы, свисали набитые луковицами чулки. Вдоль стен, на отполированных деревянных шестах, висели застиранные кофты, платки и рубашки. Печная лежанка была отгорожена от кухни занавесками, и сквозь щелочку Андрей видел, что возле самой печи и вдоль стен, на лавках, сидело несколько старушек. В черных платках, сложив на коленях темные морщинистые руки, вели они неторопливый разговор.

— А теперь, то не знай, будут, что ль, возить хлеб, ай нет?

— Ох хо-хо... Да и кому возить-то, все уж помрем скоро!

Старушки помолчали.

— Все там будем... кто раньше, кто позже... Не знай, на том свете хлеб-то свой? Или тоже привозят?

Старушки посмеялись.

— Да какой там тебе хлеб? Хлеб! Сгниешь и всё! Трава вон только вырастет... или дерево...

— Что это? Теперь вон, говорят, душа-то не гниет, она на небо летит... к Богу! А там уж сразу и суд!

— Это ты отколь знаешь?

— Да по телевизору так-то говорили, да и везде теперь так говорят...

— Ну да! Нынче не знай, кому и верить... Один так говорит, другой этак... Не знай...

— А я вот от Нины слыхала, ну от Нины! Что в церкви-то полы моет...

Открылась дверь, оттуда выглянула мама Андрея и сказала: «Ну, пойдемте, бабоньки, поплачем, монашка всё вычитала, в церковь ехать пора». Старушки, кряхтя, поднялись, крестясь, зашли в комнату, и тут же послышались плач и причитания. Андрей был потрясен, неизвестно почему, но он всегда думал, что именно в деревне, в глубинке, среди простого народа, сохраняется какое-то исконное знание о бытии, о жизни, о Боге. Но из разговора старушек было ясно, что этого и близко нет, и Андрею вдруг стало до слез обидно, словно его все время обманывали в чем-то очень и очень для него важном.

В церкви, на отпевании, Андрей стоял через силу, болели ноги, шея и почему-то сильно ныли плечи, так что даже перекреститься было больно. Андрей старался сосредоточиться на происходящем, но мысли неумовимо сворачивали и он вновь оказывался в мире своих идей и рассуждений. Молодой, лет тридцати пяти священник, широко размахивая кадилом, вышагивал между гробом и алтарем, оставляя за собой шлейф пахучего ладанного дыма. Когда хор из нескольких старушек перевирал текст или брал не из того места, батюшка сердито на них оглядывался и поправлял несильным, но приятным тенором, не забывая все же давать возгласы и продолжая кадить.

Тоненькая свечка Андрея, какие были в руках и у всех стоящих в храме, трещала и брызгалась, а горячий воск, стекая, застывал на пальцах тонкой рыжей корочкой. Рядом с гробом, на табурете, отрешенно сидела бабушка. Маленькая, худенькая, с острым носом, она словно и не понимала, что с ней и где она. Погруженная в свои мысли или воспоминания, бабушка покачивала головой и утирала платочком слезы. Словно не было церкви, полной народа, и не голосил скрипучими голосами хор.

Жалость охватила Андрея, и навернулись слезы, но он сдержался и вышел из церкви. Чуть в стороне стояли и курили парни и мужики. Это всё были соседи и приятели, родственники, знакомые и незнакомые. Слово держал брат Андрея и, судя по лицам слушателей, рассказывал что-то забавное, но увидев брата, он замолчал и усиленно задымил сигаретой. Андрей знал, что если подойти, то придется здороваться и слушать этот никчемный разговор... Он сошел с крыльца в другую сторону, подошел к куче досок, перевернув одну сухой стороной кверху, сел и натянул капюшон. Теперь он был недосыгаем и безличен. Что еще человеку надо? Было все так же сыро и холодно. По капюшону барабанили капли. Андрей глядел на облупленные стены церкви, на новые блестящие купола и вдруг подумал: «Постой-ка... а где это я был? Словно где-то далеко-далеко...» Он стал перебирать места, где он мог быть, но почему-то забыл и вдруг понял, что был всего-навсего в церкви! Вот за этой облупленной стеной. А чувство такое, что был где-то совсем, совсем не здесь... Вот и вся жизнь так, переходишь из одного пространства в другое, и не важно — сколько между ними — десять метров или тысяча километров. Десять минут или годы. Сон или явь. Вот сейчас явь, а там он чувствовал себя совсем иначе...

Отпевание закончилось. Погасили свечи. Стало темнее и неожиданно уютнее. Идти никуда не хотелось. Хотелось посидеть на лавке под белыми сводами, спрятаться от этих дней, от печальных и неотступных мыслей. Вошли мужики с крышкой гроба и хотели заколачивать, но священник остановил и громко пригласил прощаться. Сначала пошли самые близкие, а потом образовалась очередь. В число близких родственников Андрей не попал и хотел улизнуть, но ему казалось, что все на него смотрят. Он подошел к очереди, но какая-то старушка с корявым посохом отпихнула Андрея и ворчала, оглядываясь. «Я же внук...» — как-то неуверенно подумал он, но промолчал. Подходила очередь Андрея, а он все никак не мог уяснить, что этот вот мертвец, лежащий в гробу, которого целуют в лоб незнакомые старики и старухи, это и есть его с детства любимый дедушка — дедуля, как называли внуки. И, стоя уже у гроба, Андрей наконец заставил себя посмотреть на дедушку и не узнал его. Тот вдруг стал похож на многочисленных деревенских покойников, которых Андрей видел на снимках, которые зачем-то хранились в дедушкином фотоальбоме. А самое главное, что и было дедушкой, исчезло. Теперь он думал только о том, что не хочет и не сможет поцеловать этого мертвеца. Но еще больше боялся, что об этом догадаются, и когда очередь подошла, он наклонился и сделал вид что поцеловал. Ненавидя себя, Андрей отошел и встал в сторонке...

Гроб закрыли и стали заколачивать. И вдруг волна громкого плача захлестнула церковь — завывли бабы, тут же подхватили старушки, и пошло рыдание. А мужики стояли, опустив руки, и глядели на них удивленно, как будто только сейчас поняли, что это похороны... Бабушке стало плохо. Принесли нашатырь. Рыдания утихли. Мужики подняли гроб на плечи и понесли к выходу...

Моросить перестало, но все равно было серо и холодно. «В такую погоду и помирать-то не жаль», — услышал Андрей сзади. Вынесли гроб, поставили на табуретки и вдруг громко, с руганью заспорили — грузить его на телегу или нести на полотенцах? Решили, что сначала понесут, а когда устанут, тогда уже на телегу... Понесли... Все потянулись следом. Кладбище было рядом — перейти через речку и подняться на холм. Проходя по узкому мостику, все почему-то боялись — не уронить

бы гроб в воду. Перешли мост и сразу оказались в воротах кладбища. Но теперь предстояло самое тяжелое — забраться на мокрый кладбищенский холм. Наверху, возле кучи мокрой глины, стояло трое парней. Опершись на лопаты и открыв рты, они с интересом смотрели на подошедшую процессию.

Гроб поставили на табуретки. Мужики закурили, примеряясь, как лезть на холм — и трава мокрая, и грязь... докурили, подняли гроб на плечи и полезли. Передние сразу оскользнулись и встали на четвереньки. Все заволновались. Кто был ближе, подхватили гроб с боков. Парни от могилы спустились и тоже взялись помогать. И так медленно, оскальзываясь и спотыкаясь, всем миром подтянули гроб к могиле. Поставили на табуретки. Стояли, переводили дыхание и вдруг снова заспорили — не узка ли могила? Кто-то начал деловито замерять гроб... И снова отчаянный плач и рыдание охватили всех. И в плаче спор потонул сам собой. И опять Андрей удивился, как внезапно началось и оборвалось рыдание. Словно большая волна накатила и отхлынула. Табуретки убрали, положили на могилу веревки и на самом краю поставили гроб. Разобрали концы веревок. Подняли гроб и осторожно, чтобы не перевернуть, опустили его в могилу. Женщины тихонько подвывали. Мужики взялись за лопаты, но их остановили и стали бросать землю руками. Андрей совершенно ооченел, но, главное, все никак не мог понять — зачем он участвует во всем этом... Люди ходили, разговаривали, плакали, рыдали, но ему казалось, что все это странный ритуал, никому не нужный, но неотвратимый. И, повинувшись общему движению, Андрей тоже подошел к самому краю могилы, взял кусок холодной и мокрой глины и, подержав, бросил его вниз, на обитый красной материей гроб. Глина глухо ударилась о крышку и развалилась. И в этот момент до Андрея наконец-то дошло. Словно разом включили звук, цвет и резкость происходящего. И тут уже на него одного нахлынула волна отчаянной жалости к себе и упреков к кому-то. И он зарыдал в голос горько-горько, как ребенок, которого незаслуженно наказали, и пошел между могильных оград куда-то вглубь кладбища. И все смотрели на Андрея, удивляясь. Но ему было все равно, он рыдал, ухватившись за березку, и не мог остановиться. Мама, и сама заплаканная, подошла к нему и тихонько позвала его. Он обернулся и, всхлипнув, уткнулся ей в плечо: «Дедушка умер...»

Ирина Костарева

Волосы

Рассказ

I

Горячей воды в квартире не было, поэтому летом мыться ходили на речку, а в межсезонье — к бабушке, которая держала у себя огнедышащий титан. Зимой никуда не ходили, а тянули из комнаты через коридор черный шланг и впускали в ванну горячую, высосанную из отопительных систем воду. Вода была желтая, и вылизанная ею керамическая лодка-ванна тоже быстро лишилась своей первозданной белизны — небольшая плата за возможность мыться в горячем. Бывало, натаскавшись по сменам, Галя устраивала себе релаксы: приносила из лесочка за огородами пахучие сосновые ветки и запаривала их кипятком. Алёнке такие дни были дороже праздников. Окутанные живым облаком хвойного марева, они делили одну ванну на двоих: расчесывали друг другу волосы, приправляли их шампунем и умасливали скидочной оливкой, экономно растирая капельку масла между пальцами.

Поле к зёрнышку,
Свет к солнышку,
Темя к гребешку,
А волос к волоску.

У Гали волосы черные и длинные — настоящие змеюки в запястье толщиной, но Алёнке материнских волос не досталось. Она родилась совсем лысая, а потом хоть и обзавелась волосиками, но тонкими и хрупкими, не то землистого, не то пепельного цвета. Одну-единственную отсебятинку отец даровал, и та нескладная.

Были у Гали волосы и в других местах (а у Алёны опять не было) — жесткие под животом и под мышками, тоненькие, вроде пушка, на руках и ногах. Женщина и девочка жили без мужчины, и ни к чему им было скрывать свое естество, выхолащивать себя до образа пластмассовой куколки. Так лежали они, каждая в своем углу лодки-ванны, каждая в своем теле — одна в назревающем, молодом, другая в дозревшем, спелом.

— А я буду такая же красивая, когда вырасту, мама? — спрашивала девочка, с интересом разглядывая материнское тело: овал живота и выступающие над водой гладкие камни груди.

Ирина Костарева родилась в 1989 году в п. Приволжский (Тверская область), окончила филологический факультет Тверского государственного университета по специальности «Журналистика». Живет в Москве.

— Ты будешь ещё красивее, — отвечала Галя.

Удобрённая лесным духом вода ворчала и убегала в вонючий слив, а вместе с ней бежали дни: сначала одной общей жизни, а потом двух разных. Девочка скоро своими нательными волосиками обзавелась, а женщина стала их срезать под корень — появился в ее жизни мужчина, разнорабочий с именем Максуд, что значит «желанный».

Максуд приехал из утопленного в солнце Азербайджана, куда каждый месяц исправно высылал большую часть небольшой зарплаты — там остались жена и две дочки на выданье. В черных Галиных косах он видел полосы чернозема на окраине родного села, в молодом светлом лице — полуденное солнце, а в губах — и вовсе женины алые губы, и была она для него не сообщницей в измене, а живой памятью о семье и доме. Гале Максуд тоже служил напоминанием — о красоте и молодости, которых все еще было у нее в достатке. Оберегая свою тайну, они любили друг друга, хороня крики и стоны внутри себя, тихо и неистово, как пляшет на степном ветру пламя вечно горящей горы Янардаг. Гале такая любовь была в новинку и, распробовав ни к чему не обязывающее удовольствие, она с удивлением открывала возможности своего и чужого тела.

Последние пятнадцать лет женщина работала на заводе: в девяностые здесь разливали водку, но когда старое здание выкупил богатый москвич, начали делать другое сомнительное лекарство — гомеопатические мази, которые потом развозили по московским аптекам. Единственная в районе работница с образованием биохимика, Галя сама варила смеси, раскладывала их по баночкам и клеила этикетки. Большое заводское здание работало только на четверть — остальные помещения пустовали. Западные окна последнего этажа выходили на застроенный старыми лодочными гаражами берег реки и, налюбившись, Галя и Максуд выходили смотреть, как солнце поджигает макушки сосен на том берегу. Он читал ей по памяти:

— Мне каждый день беду сулит волна твоих волос, источник счастья и обид, волна твоих волос¹.

В один из таких дней они увидели зверя. Озираясь по сторонам, он пробирался между ржавыми ракушками, не ведая как выдает его золотистый луч, выхвативший поджарую фигурку из темноты, отметивший ее. Это был лис. С тех пор они видели его постоянно, и скоро Максуд начал потихоньку ходить к гаражам и оставлять зверю еду. Вечерами, прощаясь с бабами, Галя спешила неприметной тропкой к реке и часто заставляла их вдвоем — мужчину и лиса, который благодарно верил свою жизнь человеку.

— Вот погляди, опять пришел, — как бы оправдывался перед Галей Максуд, жестом показывая в сторону куста, где прятался лис. Так извинял он и себя, не устоявшего перед непрошенным подарком судьбы, пусть оно и претило его природе — не зверя, но мужа.

II

Замещенная в Галином бытии Максудом и впервые за жизнь предоставленная себе, Алёнка проводила свободные от школы отрезки дней, впервые осознавая свою некрасивость. В спальне, стащив с себя ситцевое платье, она подолгу всматривалась в зеркало шифоньера. Не сбылись материны предсказания — девочка пошла в отца. Странно это было: походить на неведомого человека, существовавшего за пределами знакомой реальности; странно и несправедливо, как и не походить на женщину, в чьей утробе оформилась, плоть от плоти которой появилась на свет, под чьим взглядом

¹ Цитата из стихотворения средневекового азербайджанского поэта Хабиби в переводе Татьяны Стрешневой.

выросла. Долговязая, плоская, как трафарет, да еще и волосы — бесцветные и жидкие, как у старой куклы... Если бы только добавить им цвета!

В поисках разного рода красителей Алёнка сначала перепробовала все доступные средства — помада делала пряди похожими на грязные пакли, зеленка пачкала лицо и руки (как и чернила), пудра не давала ощутимого эффекта, необходимого для преображения, — а потом, наконец, нашла, что искала. В старом, выставленном на лоджии буфете она обнаружила банку серебрянки. Запустив в пластмассовую горловину ладонь, девочка решила, будто погрузилась в смолотый в песок камень, но когда вытащила руку на свет, та блестела, как первый снег. Зачерпнув из банки крупную горсть, она посыпала порошком волосы, и они заискрились, засияли. Девочка была в восторге, и стала дожидаться мать на табуретке в прихожей — на всякий случай не шевелясь, чтобы не растерять серебро. Мать пришла в ужас: серебрянка, коснись ее солнце, сразу бы вспыхнула. Произошедшее Галя прочитала как божественный знак-предостережение. Целую ночь она мучилась раздумьями, а следующим днем, как тому ни противилась внутри, решила больше не пытаться судьбу и прекратить свои встречи с хоть и желанным, но не принадлежащим ей мужчиной.

Пожар все-таки случился. Тем летом Алёне исполнилось пятнадцать. На каникулы к скандалистой бабе, что жила на лестничной площадке, приехал погостить сын с новой женой и падчерицей — двенадцатилетней Наташей. Когда она прыгала по вонючим, пропахшим кошачьей мочой ступенькам подъезда, выжигала искры: собранный бархатный резинкой высокий хвост ее медных волос пылал, как костер. Встречая ее, Алёнка замирала в изумлении — все равно что обнаружить золотой перстень в животе огромной пятнистой щуки, вроде той, что Галке по дешевке отдает приятельница, потому что сама терпеть не может разделявать рыбу.

Сначала Алёнка любовалась Наташей издалека, а в один из дней спустилась в подвал, чтобы взять там банку клубничного варенья — его ели с чаем вместо не водившихся дома конфет и прочих магазинных сладостей, — и услышала в сырой темноте три голоса. Первые два принадлежали Рыжему и Серому — сводным братьям из соседнего подъезда, которых запихнули в один класс, хотя у них была разница в год или два. Третий голос был Наташин, но она не говорила, а хныкала — мальчишки прижали ее к стене.

Скованная по рукам, она выглядела такой напуганной, что Алёнка подскочила к ребятам и тряхнула Рыжего за плечо. Серый попятился в глухую черноту и сразу растворился в ней, но Рыжий отступать не собирался:

— Тебе что тут надо, манда!

Вместо ответа Алёнка шагнула к Наташе и сжала ее холодную ладонь своею — гораздо теплее. Животное, успокаивающее чувство добралось до самого локтя, расслабило его.

— Пошли-ка отсюда, — сказала одна девочка другой.

В квартире Алёнка усадила Наташу на табуретку, распустила ее благоухающие карамельками и подвальной сыростью волосы и взялась за расческу. Деревянная массажка скользила по блестящим локонам, как лодочка.

— Что они делали? — спросила Алёна.

— Ничего. Просто целовали, — ответила Наташа.

Рассердившись почему-то ее ответу, Алёна сильно дернула расческой по Наташиным волосам, но Наташа, хоть и зажмурилась от боли, промолчала. Придя в себя, Алёна ласково погладила подругу по голове, а потом заплела ее волосы аккуратными колосками. С тех пор они виделись постоянно, и странная эта дружба продолжалась месяц. В конце лета Наташа уехала и больше не вернулась — улетела в Америку вместе с матерью, которая бросила временного мужа, как только нашла заграничного.

III

Лиса начали видеть в поселке — говорили, будто он таскает кур, а однажды его чуть не поймали с жирным гусем в зубах: дорога, меченая испачканными красным перьями, терялась за заводским забором.

Максуд боялся, что люди, жалея свою птицу, убьют, не жалеючи, зверя, и решил отвезти лиса в лес. О машине договорился с заводским водителем Степаном, обязанным Максуду за то, что тот не единожды прикрывал запойного пьяницу перед начальством. Оставалось только поймать зверя. Он, по-животному остро чувствуя любую опасность, хотя и безрассудный с домашней птицей, с человеком держался осторожно. Про подмогу Максуд загодя не думал, но увидев в дверях Галя, которая уже собиралась домой, вдруг выдал ей свою затею. Женщина все поняла и сама предложила помощь — все-таки лис был как бы их общим.

Выманив лиса, они затолкали его в клетку и, погрузившись в дребезжащую машину, поехали к лесу. Солнце уже село, и в лесу было темно, поэтому когда мужчина и женщина выпустили зверя, он сразу исчез, впитанный чащей.

До того стояли дожди, и напоенный небесной влагой лес пах землей и сырыми деревьями. Глядя перед собой, Галя сказала:

— Это было правильно.

— Ты этого знать не можешь, — возразил Максуд.

Тот вечер был для них последним — прошли выходные, а в понедельник Галя узнала, что разнорабочий с именем Максуд, ссылаясь на семейные обстоятельства, уволился.

Тем же днем в брошенном кабинете, где раньше они бывали вдвоем, она нашла на подоконнике оставленный ей подарок, маленький блестящий кулон с фигуркой стрельца — Галя была стрельцом по зодиаку. Подвеска, отнявшая часть причитающихся чужой семье доходов, стала для нее вроде натального крестика, что носят православные, забытые своим богом, как она — любимым.

Остались девочка и женщина снова вдвоем — волосы свои растить, косы друг другу заплетать. Вечерами Алёна забиралась на материнскую кровать, продрогшая от вечной квартирной сырости, и принималась Галиных змей укрощать. Придушит их у основания, завяжет в узел, голову змеиную подоткнет, и получится цветок вроде черной розы — розы ветров, миров и реальностей.

К концу девятого класса, пока одноклассницы превращались из утят в лебедей, Алёнка походила на фламинго: высокая, тощая, с неистово розовыми перьями волос. Когда этого ей показалось мало, она вставила в губу кольцо, подоткнула белесую бровь металлической штангой, и тогда начала себе нравиться — наконец-то яркая, наконец-то заметная. Учителя кривились, осыпали жалобами Галя, но та только пожимала плечами: учебе же не мешает. Но учебе мешало — Алёнка возненавидела школу, и все ее тетрадки пухли не диктантами и упражнениями, а рисунками диковинных красавиц с цветами в волосах. Классная сказала прямо:

— Давай, думай, куда пойдешь, потому что учиться в десятом классе тебе смысла нет — только статистику портить.

Стали думать, и однажды, бросив взгляд в зеркало, Галя как-то по-новому посмотрела на собранную дочерью прическу и совершенно серьезно сказала: «Тебе в парикмахеры надо». Так и решили.

Волосы в Алёнкиных руках оживали, и позарившиеся на бесплатную, пусть и ученическую, стрижку бабы уходили от нее преображенными — впервые не то что взглянув на себя, а увидев. Галя тоже была волосами увлечена. Один седой волос, другой — начали змеи ее серебриться, шептаться, что красоту потерять как вздохнуть,

одно мгновение. Перестала тогда женщина по желанному своему тосковать, по себе стала, и появился у нее новый ухажер — электрик Санька.

Санька был на семь лет младше Гали, и казался двадцатилетним. Длинный, щуплый и эластичный, он напоминал скорее тень, чем живого человека. Александр — победитель, это с греческого, но Санька Александром был только по паспорту, и числилась за ним только одна победа. Пошел он как-то на почту за материнской пенсией, а купил лотерейный билет и выиграл сто тысяч рублей. Тут же, в местном магазине, под косым взглядом продавщицы Надьки, он накопил гостинцев, с которыми заявился к Гале. Галя — красавица, особенно в сравнении с местными бабами, — никаких особенных видов на Саньку до того не имела: слишком беспомощным он ей казался. Но живые деньги в руках совершили в нем странную метаморфозу. Он вдруг почувствовал себя способным если не на все, то на многое, и его тело миготом откликнулось на этот позыв: распрямилось и приосанилось. Перебросив толстую косу-змею на плечо, Галя благодарно приняла пакеты и принялась готовить обед. Санька разулся, по-хозяйски прошел в комнату и, приняв форму кресла, потянулся за пультом.

В своем желании заполучить в объятия эту женщину забыл он только об одном — о ее дочери, но и с нею сложилось по-мирному. Неизвестно, как повел бы себя мужчина, оказавшись в его власти ладненькая семнадцатилетка вроде тех девочек, что собираются вечерами на детской площадке и, придерживая сигаретку красными коготками, пробуют на вкус озорные слова. Но Алёнка с ее нелепыми волосами и андрогинным телом его не влекла — избавленный от всяких внутренних терзаний Санька был чрезвычайно доволен тем, что обходится Галей.

Обходился, как и положено, ночами, и, вслушиваясь в доносившиеся из спальни тихие всхлипы и скрипы, Алёнка представляла мать в объятиях постороннего с неудовольствием, от чего утром бывала с нею злее и говорила обиднее.

— Подстрижешь, может, Саньку? — просила Галя, запуская пальцы в копну плохо причесанных волнистых волос.

— Сама стриги, — огрызалась Алёнка, снимая с крючка над мойкой ножницы, которыми Галя обычно отстригала рыбки плавники, — ножницы дать?

IV

Выигрышные Санькины деньги утекли, но он, избалованный один раз счастливой случайностью, искать настоящую работу не спешил и перебивался тем, что вправлял соседям поломанные розетки и перематывал покусанные собаками и другим зверьем провода. Стать его, впрочем, никуда не делась — уверенность теперь давали ему не деньги, а наличие рядом присутствие Гали, и Галю это по первости устраивало. Но время шло, и она начала замечать: заплывшую раковину, которую только помыла, грязь на полу, который только вытерла, пустой чайник, который только пополнила водой и, наконец, пустой холодильник. Растерянная в своей беспомощности, она пробовала говорить — регулируя настройки тона и степени громкости, — но каждый раз натывалась на монолит полного Санькиного непонимания. Он в упор не видел ни беспорядка, ни проблемы.

Обида копилась в Гале, как нестираное белье в барабане стиральной машинки. Одним днем, когда они лежали в спальне и Санька перебирал сухими пальцами ее ползучие локоны, она в задумчивости потеряла цепочку на шее и вдруг спросила:

— Нравится мой кулон?

Она рассказала ему о своей любви, сделав ударение на романтических Максудовых жестах и даже добавив кое-что от себя. Все это звучало укором, после которого Санька стал молчалив и отчаянно грустен — Галя даже подумала, что переборщила с откровениями. Вид несчастного мужчины пробуждал в ней инстинкт, который она

как мать, никогда не проявляла в отношении своей дочери: та с малых лет была для нее скорее ровней, чем подопечной. Но маленькая эта хитрость сработала, и одним вечером Санька обрадовал новостью: устроился на работу. Изумило Галю не столько это событие, сколько собственная женская мощь — никогда прежде она не пробовала манипулировать мужчиной. Поэтому когда Санька сказал ей снять цепочку и навсегда забыть о желанном своем Максуде, она согласилась, радуясь тому, что сама взрастила в нем эту уверенность и силу.

Алёнка в семейные дела не вникала. В колледже готовились к конкурсу причесок: девочки наконец получили возможность сделать что-то посущественнее химзавивки. В тетрадке Алёна нарисовала устрашающую лесную воительницу с вплетенными в волосы ветвями и спадающими с них прядями. В лесу она собрала разлапистых веток, отмыла и отполировала их шкуркой до янтарного блеска; заказала на китайском сайте настоящие волосы. Они были блестящими, скользкими, как атлас, и живыми — будто только-только с головы китайской красавицы. Носить их могла только одна девушка — бывшая одноклассница Ленка, высокая плотная брюнетка с внушительной грудью и совершенно детским лицом, которое не шло телу: острый носик и большие, как у новорожденного, голубые глаза. У Ленки не было отбоя от ухажеров, но она никому не отвечала взаимностью. Она жила в соседнем подъезде и проводила вечера на детской площадке под окнами. Там Алёнка ее и нашла. Ленка сидела на качелях и раскачивалась, упершись ногами в землю. Металлическая цепь качелей вдавливалась в обнаженное бедро — короткая юбка смялась складками.

На предложение она отозвалась не сразу и вместо ответа спросила:

— А фоточки будут?

С того вечера она приходила к Алёнке дважды в неделю, и та усаживала ее на табуретку перед зеркалом, как когда-то Наташу, расчесывала волосы, пускала между пальцами, сплетала с покупными, которые давали нужный объем. Гладкие локоны она подвешивала на торчащие, как рога, ветви, и те падали с них атласными лентами; у корней высаживала мхи, украшала их бисером. Наконец, все было готово, и в зеркале вместо Ленки вдруг появилась лесная колдунья. Ленка вздрогнула:

— Как-то жутковато, — а потом добавила: — Но красиво, блин.

За то время, что две разные девочки с одним именем провели вместе, каждая разглядела в другой то, чего раньше не видела, и обе были рады своим открытиям. Галя в эти дни переживала другое — устроенный и всем вроде бы ладный Санька был ей противен. Не имея возможности и дальше списывать раздражение на домашний беспорядок или мужнину неустроенность, Галя осознала, что вовсе никогда его не любила.

Санька нелюбовь и безразличие ощутил остро: ощерился, начал попрекать Галю невниманием, а потом еще хуже — возрастом. Ругались запойно и рьяно, но не до драк — словами все равно выходило больнее. Кончилось тем, что в один из дней Галя собрала скудные Санькины пожитки — двое безымянных штанов, две безымянные футболки, олимпийку «Адидас» и три пары застиранных носков, — побросала их в пакет из «Магнита» и выставила за порог. С семейной жизнью было покончено.

* * *

В первую ночь без мужчины Галя видела во сне лес. Сосны, высокие и стройные, с гладкими, как китайские палочки, стволами, скрипят от ветра. Она идет вглубь леса, и высокая трава щекошет гусиную кожу на коленках. Она вышла из дома, как была, в ночной рубашке в мелкий цветок. Вдруг из лесной чащи выходит лис. Она не сразу его замечает, только видит, как помахивает растопыренными лапами встревоженный папоротник. Но вот появляются медный мех и острые уши. Она машинально опускает руку себе на плечо: упокоенную на нем косу она поглаживает в моменты замешательства, как мудрецы — бороды. Рука скользит по голой шее и касается ключицы.

* * *

Санька появился в ночь перед конкурсом. Изгнанный Галей за две недели до этого, он скрылся в материной квартире и выбирался из нее, как вампир, только в сумерках; в растянутых трениках он мчался до ларька через дорогу, где покупал полторашку пива, от которой тут же улетал. Он и теперь был поддатый, а Галя этого не выносила. Она проводила его в кухню и налила стакан воды. В окно светила громадная бляшка луны, и в этом бело-сизом свете Санька отчетливо видел очертания Галиных грудей под ночной рубашкой. Охмеленный нежностью, он притянул ее к себе, и только теперь заметил крошечного золотого стрельца, уже натянувшего тетиву. Уязвленный, Санька пришел в бешенство. Он вскочил с табуретки и схватил первое, что попало на глаза — висевшие над мойкой ножницы. В следующую секунду щелкнула сталь, и на пол разомкнутым кольцом упала и застыла неподвижно черная змея — Галкина коса.

V

Вцепившись искусанными ногтями в портьеру, Алёна всматривалась в темноту зала. На сокурниц ее прическа эффекта не произвела — а может, они просто не подавали вида, — и она впервые подумала, что задумка, видимо, не так хороша, как ей казалось. Да еще и Галя не пришла — утром она почувствовала себя плохо и осталась в постели — не прошел даром разрушительный Санькин визит. Алёна тяжело, всей грудью вздохнула, потом выдохнула, и так трижды, каждый раз повторяя про себя простенькую мантру: «Вдыхаю, отпускаю». Теперь все зависело только от девочек. В ожидании выхода они сползали по стене под тяжестью своих париков и в белом свете люминесцентных ламп были, как выхваченные светом фар ночные животные, — слабые и дезориентированные.

— Бу? — Ленка вытянула из крохотного рюкзака горлышко бутылки, и стекло блеснуло, подмигивая.

— Ого, откуда это? — удивилась Алёнка.

— Да так, дядя Максим задолжал, — съязвила Ленка.

В бутылке был настоящий, едкий и густой портвейн. В девяностые Ленкин дядя, еще совсем пацан, перегонял иномарки, а, подзаработав, эмигрировал в Европу. Чем он там теперь занимался, никто в семье не знал, но приезжал он всегда с заграничными гостинцами. Перепадавшие Ленке дары в свое время буквально сделали ее звездой класса: больше ни у кого из девочек не было ни трусов «неделька», ни блеска для губ с блестками.

Портвейн отдавал сырой землей и мокрыми деревьями — будто глотаешь лес после дождя, — и, разливаясь по желудку, ударял в голову. Затопленная светом сцена «Дворца молодежи» походила на корабельную палубу, и старые доски стонали под напором высоких каблучков, как в шторм. Ленка была великолепа: сложная прическа уравнивала всю ее фигуру. Так единственно верное слово помогает выразить мысль. Алёнка смотрела на нее, как когда-то на Наташу — загипнотизированная ее величием, несовместимым с привычной реальностью. Сейчас она скорее бы поверила, что находится в таком сне, после которого просыпаешься в слезах, не в силах продлить намечтанное и только что осязаемое счастье. Но счастье было рядом — руку протяни.

Час спустя они сидели в кафе «Кафе», высасывая из трубочек сладкую густоту молочного коктейля, вдыхая липкий запах ванили и портвейна и безостановочно хихикая. На конкурсе Алёнка стала третьей, но это было неважно. Опустевшая наполовину бутылка все еще лежала в Ленкином рюкзаке, и когда, пьяные, они вывалились на улицу, та достала стеклянный флакон и припала к нему губами.

— Эй, хватит, — запротестовала Алёнка, вытягивая бутылку у подруги из рук. Вырвавшийся из красного Ленкиного рта глоток плюхнулся на дорогу.

— А знаешь, Максим скоро опять приедет, — вцепившись в бутылку, сказала Ленка, — на папин юбилей. А знаешь, что еще? Я из дома убегу к тому времени. Потому что иначе... Иначе я его убью.

На ледяной скамейке сквера она рассказала Алёнке про то, как с самого детства дядя Максим заставлял ее мерить при нем трусы в обмен на подарки, и как вlepил ей звонкую оплеуху в последний свой визит — первый раз, когда она его не послушала, как, перепуганная, она рассказала об этом маме, и как та посмеялась над ней: «Трусы не жопа, а жопа не брильянт».

— Не-на-вижу. Ненавижу их всех, — промычала, закатывая глаза, Алёнка.

По дороге домой она думала, согласится ли Галя, чтобы Ленка жила с ними, и сколько нужно денег, чтобы уехать наконец из ненавистного города. Злость прочищала голову, как пылесос. Но оказавшись в квартире, девочка вдруг нырнула в непривычную для этого времени дня тишину и поежилась. Что-то было не так. Не разунаясь, она прошла в материну спальню и обнаружила Галю в постели, с красными отметинами на переносице и щеках. Точки напоминали следы волчьих зубов.

Следующие пять дней женщину почти все время тошнило, но больше всего мучили суставы: они распухли и болели, будто приделанные наспех неумелым кукольником. Вызвали врача, он измерил температуру и, объяснив недомогание лихорадкой, прописал покой и много жидкости. Когда пятна распространились на шею и грудь и множественные красные узелки начали покрываться чешуйками, вызвали скорую. Галю положили на обследование в районный центр, но в больнице держали недолго: врачи только разводили руками, будто они были не в медицинском учреждении, а в общественном бассейне. Но Галя и не нуждалась в их ответах: она во всем винила Саньку, лишившего ее косы, а с нею — жизненной силы и, возмущенная, цедила проклятия ему и всему его роду. Алёнка успокаивала мать, гладила ее по голове, повторяя знакомый с детства стишок.

Поле к зёрнышку,
Свет к солнышку,
Темя к гребешку,
А волос к волоску.

Она ухаживала за матерью вместе с Ленкой, которая теперь бывала у них чаще, чем у себя. Ленка-то и предложила примерить Гале конкурсный парик, и тогда Алёнка достала из ящика стола отрезанную Галкину косу и приладила ее к проволочной конструкции. Заготовку пришлось переделать. Вместо того чтобы закреплять ее на голове, вплетая в настоящие, живые волосы, Алёнка сделала подобие короны. Галя в ней походила не столько на человека, сколько на существо вроде оленя: обтянутые кожей скулы и большие, на пол лица грустные глаза.

Тем вечером отключили свет — провода порвались под тяжестью снега, — и двухэтажка провалилась в темноту. Наощупь Алёнка добралась до кухни, нашарила в буфете, свечи и старую керосинку — подожженный фитиль зацадил, но потом оправился, вздохнул, и пламя застыло на тонкой веревочке уже совершенно ровное, как бумажное. Расставленные на серванте свечи множились в отражениях зеркальных створок. Галя сидела на кровати, опершись на подушки — в высокой короне из веток, с черной змеей, обвивающей голову. Девочки сидели в ногах: Алёнка заплела Ленкины волосы в тяжелые полуколыца, подоткнула их сухими, бог знает с каких времен сохранными розами.

Когда в дверь позвонили, воздух дрогнул, как бывает, дрожит стекло, неплотно втиснутое в расшатанную деревянную раму. Вооружившись керосинкой, Алёнка пошла открывать. На пороге, в абсолютной подъездной темени, стоял Санька.

— Я это... узнать, как мать, — замялся гость, заглядывая девочке через плечо.

Подсвеченное прямым светом, лицо его казалось плоским — как маски актеров в японском театре Кабуки. Но потом вдруг рот поплыл вниз, а щелочки глаз расширились до размера пятирублевой монеты. Санька попятился назад, столкнулся спиной с дребезжащими перилами и бросился вниз. Оступившись в темноте, кубарем покатился вниз, а вписавшись в стену, поднялся снова бросился наутек с криком: «Ведьмы!». Финальным аккордом грохнула тяжеленная подъездная дверь. Завороженная этим перформансом Алёнка опомнилась только когда все смолкло, и тогда же увидела, что все это время за спиной ее стояли две совершенно inferнального вида темные фигуры: с цветами и ветками в волосах и лицами, искаженными дрожащим пламенем свечи.

VI

Галя умерла через три дня, и Алёна сама готовила тело к похоронам. В лесу она набрала сосновых веток и заварила их кипятком. Сосновый дух напитал комнату, вобрал в себя плотный запах мертвого тела. Галя, свежая и прекрасная, лежала в гробу в голубом ситцевом платье, которое осталось у нее еще с выпускного, когда она забеременела Алёнкой. Голову ее обвивала толстая черная змея — отрезанная Санькой коса.

Процессия была недлинной — в городке судачили про ведьм. Впрочем, сам Санька, в сердцах бросивший этот глупый слухок, пришел. Эластичное его тело смялось, как погнутая проволока. Из провалившихся глаз вытекали слезы, и он смахивал их рукавом. Видела Алёна и другое, странное: когда приехали на кладбище, из леса показался зверь — рыжее пятно на грязном снегу. Ленка, впрочем, ничего такого не заметила, так что, может, и померещилось.

Александр Амчиславский

МЫ ЖИЛИ ТАМ

* * *

Нас было много — безымянных,
слова ловивших на лету,
иванов бен-ионафанов,
уже не помнящих беду,
мы, бог не выдал, умещали
себя самих под образа,
и пахла пряником и щами
простая девичья краса,
она плыла забытой манной,
и мы, голодные зэка,
перешивали наши ямбы
под местный выкrest языка,
блаженствовали и слабели
в одной из лучших из неволь,
лишь бедный гений еле-еле
ещё поддерживает боль,
ещё подначивает, ноет,
как будто в силах ускакать,
и бродит призрак метанойи
у шконки старого зэка.

* * *

А прошлое кончилось. Если и было, то сплыло —
к далёкой, ну скажем, стране заходящего ила
тугие несёт короба,
а тут, как ребёнка за руку, к родимому парку,
где тварное счастливо бродит и дышит попарно,
подводит тропа.
Да, прошлое кончилось. Если и было, то сплыло,
поспел пирожок настоящего с жару да с пылу,
зовёт среди белого дня,
авось кто из певчих, знакомый с тоской горловою,
усядется рядом и звякнет ответной любовью,
увидев меня,

Александр Амчиславский — поэт. Родился в 1958 году в Москве. Окончил филфак пединститута, учился в Академии Художеств им.И.Е.Репина (Ленинград). Работал учителем, художником-реставратором в Политехническом музее. В 1990—1998 гг. жил в Израиле, с 1998-го — в Канаде. Лауреат премии Эрнеста Хемингуэя (Торонто) за сборник стихов «За тонким полотном» (М., 2017), премии Дон Кихот (Барселона) за сборник стихов «Узлы мирские» (2019).

так не было раньше, а может и будет-не будет
в каком-нибудь времени, городе, временном пункте,
в лесу ли весеннем от сока, на полном газу,
когда-никогда, распахнувшись, как двери в парадном,
и светом сыграет попутным, и светом обратным
хрусталик в глазу.

Романс

Стоим и стоим на проходе,
приличья пытаюсь блюсти,
едва ль о кино и погоде
сумею беседу вести,
такой разговорец едва ли
отныне возможен для нас,
пока мы, касаясь губами,
молчим, шелохнуться боясь,
и оба, ей-богу, впервые
угадываем по губам
признание, что нет, не любили
да, в общем, и не жили там,
где было по сосенке с бору
на месте родного угла,
и вдруг с Божьей помощью скорой,
как будто в чём мать родила,
мы встали друг друга напротив
и, веря, что это не сон,
ни глаз и ни губ не отводим,
да так, что светлеем лицом,
да так, что не страшно, не страшно —
пока я с тобой, ты со мной,
и всё, что возможно, подаждь нам
Ты ради любви самой.
Мы сядем под липой столетней
у синей реки на виду,
и лодочки узких коленей
с ладоней моих уплывут.

* * *

Маленькая женщина курит кэмел и не любит духи,
предпочитает чёрную обувь и рубашки навыпуск,
пишет мужские стихи
и не прячет большие руки и неправильный прикус.
Маленькая женщина рубит слова кубиками на борщ,
ни длиннот, ни платьев, ни серёг висячих,
нимф убегающих, свирелей из раскидистых роц —
ничего, только суть, которая значит.
Ночью, пока над ней трудится муж,
она подсчитывает ударные в строчке и дни до паузы,
потом размышляет, уже спиной к нему,
о неслышанной простоте и неизбежности мужской клаузулы.
Под утро кофе, блокнот, кэмел и тот же горб,
маленькая женщина у окна в халате —
я всё такая же, Господи, с давних пор,
только, ради бога, скажи — чего ради.

* * *

Уезжать возвращаться
только даты менять
ни единого шанса
у тебя у меня
что в отлучке что подле
на спокойном огне
концентрация боли
выше света в окне
из которого камнем
безупречен полёт
и чужая слеза мне
что мышиный помёт
что мышинная сладость
половицей шуршать
в находящую старость
первым делая шаг
от порога до бога
под ногами слюда
ни трубящего рога
ни греха ни стыда
над кирпичной равниной
тот же воздух на вид
ни ствола ни трамплина
для последней любви.

«Песни, песни, о чём вы кричите?..»

*Сергей Есенин в эпоху новой политкорректности,
аватарок и эмодзи*

В заочном «круглом столе» «ДН» принимают участие:

*Иван ВОЛОСЮК, Надя ДЕЛАЛАНД, Бахыт КЕНЖЕЕВ,
Константин КОМАРОВ, Марина КУДИМОВА, Анна МАРКИНА,
Роман РУБАНОВ*

Иван Волосюк, поэт (г.Донецк)

Поэтическая эпидемия

Поначалу я категорически отказывался сделать для «Дружбы народов» даже пару абзацев текста о Сергее Есенине. Действительно, что можно прибавить к сказанному специалистами по теме — тем же Захаром Прилепиным, написавшим о советском классике несколько солидных томов (и книгу, вышедшую в серии «ЖЗЛ»)? Тем более, что с отношением к Есенину у меня, говоря языком социальных сетей, «всё сложно».

В таких вещах обычно не признаются, но одно стихотворение Маяковского «Сергею Есенину» мне всегда казалось более ценным литературным событием, чем само творчество Сергея Александровича. Не знаю, насколько корректна эта аналогия, но живет же в Екатеринбурге (и пишет замечательные самобытные вещи) поэт Дмитрий Рябоконь. А между тем широкому читателю он известен прежде как персонаж хрестоматийного стихотворения Бориса Рыжего — и с этим ничего нельзя поделать. Логику примерно такого восприятия поэта через другого поэта я распространил и на Есенина.

В провинциальном шахтерском городке, где я жил до поступления в университет, была литературная студия, которая называлась (вы никогда не догадаетесь!) — «Муза». Одним из студийцев был слепой композитор и поэт Евгений Седнев, очень добрый и, несомненно, талантливый человек, к сожалению, ныне покойный. Мне, молодому и дерзкому стихотворцу, казались чрезмерно незамысловатыми такие строки «дзержинского Гомера», тем не менее, в память врезавшиеся (цитирую их неточно).

...Что я не Маяковский, не Есенин,
Не Лермонтов и даже не Шукшин.
Какое твоё место, Е.Седнев,
В когорте поэтических вершин?

Почему же меня тогда не раздражали многочисленные попытки подражать Мандельштаму (в том числе собственные), но просто взрывала «есенинщина»? Два десятка лет я бежал от Есенина, выбирая себе в качестве титанов, на плечи коих имеет смысл взгромоздиться, сначала Осипа Эмильевича, а затем Бродского, Чухонцева, Гандлевского, Цветкова или Веденяпина.

А как быть с тем, что в программном тексте Цветкова «Было третье сентября...» явственно присутствует прямая отсылка к «последнему поэту деревни? Сравните «со святыми не пойду/соглашаюсь жить в аду» и «Я скажу: «Не надо рая,/Дайте родину мою»?

Давид Самойлов говорит о «ста тыщ графоманов» и несметных полчищах одиноких девиц и влюбленных юнцов, сающихся писать стихи, но не создающих ни единого стихотворения. Мы понимаем, что большинство из них рифмует в столбик «под Есенина», и в силу заразительности (в рамках тех же литстудий) это явление давно призывают признать национальным бедствием, этакой «поэтической эпидемией». И виноват в этом не Есенин.

Одному донецкому ученому-филологу принадлежит следующее афористическое высказывание: если некий прибор показывает, что высшей точкой Кавказа является Машук, а не Казбек, значит, этот прибор испортился. Когда мне было 16 лет, мне в руки дали книжку «горняцкого лирика» Виктора Руденко и посоветовали использовать ее в качестве проводника в мир поэзии. Представляю, в какие болота вторичности молодого поэта может завести такая «путеводная звезда». А ведь тысячам начинающих авторов на местах (где имя Есенина используют, как знамя) в качестве вершин предлагаются Машуки, а нередко и расположенные по соседству холмы и пригорки. Вот это уже — настоящая проблема, и о ней нужно говорить со страниц литературных журналов и в юбилейные, и неюбилейные годы. Говорить неустанно.

Надя Делаланд, поэт (г.Москва)

Каминг-аут о Сергее Есенине

За Серёгу Есенина или Андрюху Шенью
По традиции пропили очередную зарплату.

Сергей Гандлевский

Лет в девять я принялась увлеченно осваивать поэтов, которые входили в круг читательских предпочтений моей мамы: Омара Хайяма, Расула Гамзатова, Евгения Евтушенко и Сергея Есенина. Мама активно отрекомендовывала мне их как хороших, а я была исключительно послушной и прилежной девочкой: сказали — хорошие, значит, надо их внимательно прочесть. И я читала каждую книгу от корки до корки с карандашиком, и, конечно, ценила афористичность Хайяма, по-разному дидактический месседж Гамзатова и Евтушенко, напевность Есенина, но смутно ожидаемого от великой поэзии озарения не испытывала.

И теперь, оглядываясь назад, я думаю, что с первыми тремя все более-менее понятно — их стихи были рассчитаны на рациональное восприятие, обращены к логическому мышлению и не предполагали никакого особенного выхода за пределы самостождественности. Но что с Есениным? Он же — другой.

Вот я все время ратую за то, чтобы рацию не опережало более глубокого и целостного восприятия стихотворения, чтобы прежде, чем научиться понимать поэзию, мы научились ее не понимать. И, казалось бы, стихи Сергея Есенина так

напрямую апеллируют к чувствам, настолько контр-интеллектуальны, что я могла бы часто прибегать к ним на занятиях арт-терапией. Или хотя бы просто любить. Однако этого не происходит. В чем тут дело?

Во-первых, ум никому не обещал, как ни парадоксально, быть умным. Ум может быть всяким. Здесь маленькая языковая ловушка, ложный друг переводчика на язык смыслов, но мы в нее не попадем. Стихотворение, обращенное к рациональному сознанию, не обязано быть перегружено различными философскими кунштюками. Вполне довольно, чтобы оно просто включало причинно-следственные связи, то есть само содержало эти связи на уровне, скажем, истории, сюжета («Песнь о собаке», например).

Во-вторых, идя в обход рационального сознания, стихотворение должно заключать в себе на языковом и просодическом уровне нечто большее, чем поверхностная смысловая канва. Иначе ему просто будет нечего предъявить тому, кто его читает. И стихи Есенина содержат это большее, но оно залегает не в области компрессии смыслов, а в сфере чувств и эмоций. То есть стихи Есенина «подключают» читателя не столько через логику, сколько через эмпатию, способность сопереживать, узнавать и подхватывать в эмоциях, транслируемых поэтом, собственные. Для меня многие стихи Есенина в этом смысле избыточны — отпущенная мне природой впечатлительность не позволяет получить эстетической наслаждение от боли. Мне кажется, все это предназначено менее чувствительному читателю. И я даже подозреваю здесь некоторую подмену — возможно, эти стихи и не планировали доставлять эстетическое наслаждение, их целью было тронуть любым способом. И разные способы достижения чувств читателя в определенном смысле служат компенсацией дефицита художественности.

Эмоции, заложенные в поэтическом тексте, могут и часто оказываются мостиком, ведущим к максимально полному совпадению со стихотворением, но, на мой вкус и мой взгляд, маловато, когда этот мостик никуда не ведет, когда он самоцель и основная ценность. Все, что открывает такая поэзия, и так открыто, она просто напоминает нам о нас, о нашей способности чувствовать (что тоже, конечно, много и для многих актуально), но не обнаруживает новых смысловых пространств, не создает смыслового приращения.

Должна признаться, что не только поэтому я так и не сумела полюбить поэзию Сергея Есенина. Хотя, в первую очередь поэтому. Еще он не близок мне по складу личности. Хотя и Марина Цветаева не близка мне, но в ее случае гениальность затмевает и оттесняет все несовпадения, они перестают иметь значение. А в случае с Есениным несовпадения ощущаются первостепенно, что тоже о многом говорит.

Правда, я знаю для себя один способ отнестись к стихам Есенина теплее. И я его тайно практикую. Нужно просто начать считать их песнями. Тогда для меня все становится на свои места, преображается и сияет.

Бахыт Кенжеев, поэт, прозаик, эссеист (г. Нью-Йорк, США)

«По трагедийности не уступает Блоку»

Разный поэт Есенин. Начинал с милого лубочного патриотизма (которым, собственно, и купил петербургских высоколобых), поиграл с мистикой (довольно, впрочем, наивной), на некоторое время надел, как у Высоцкого «маску алкоголика», придумал какой-то смешной «имажинизм», попробовал эмигрировать в «железный Миргород» — и так и остался в русской литературе голубоглазым, черно-белым, простодушным юношей, эдаким русским Робертом Бёрнсом.

Он и сейчас знаменит, во всяком случае, среди читателей постарше, но проходит скорее по ведомству шансона. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» — поют под гитару. И никто, кажется, не замечает, что эти стихи — гениальный римейк еще более классического лермонтовского «Выхожу один я на дорогу».

Я к тому, что Есенин глубже и сложнее, чем представляется широкой аудитории. В лучших вещах он маскирует истинную трагедию мелодраматическими интонациями и «народными» образами, но по трагедийности не уступает Блоку (которого тоже когда-то любили за побрякушки типа «девы радужных ворот» и прочих «чёрных роз в бокале»).

«Пугачёв» и «Чёрный человек», несомненно, написаны великим поэтом. Да и что греха таить, пронзительных лирических шедевров у Есенина тоже хватает. Что до привкуса жестокого романа под балалайку — это такой художественный прием, к нему привыкаешь быстро.

Добавлю еще, что при всем своем житейском разгильдяйстве Есенин на редкость точно обозначал свою, так сказать, гражданскую позицию. Понятно, что «не расстреливал несчастных по темницам», а вдобавок «отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам», да и «задрал штаны, бежать за комсомолом» через сто лет звучит куда привлекательнее, чем модное в ту эпоху воспевание «чекистов и рыбоводов».

Словом, Есенин по-прежнему входит в число лучших русских поэтов прошлого века. И, в виде бонуса, запредельно популярен в интернете. Ну и слава богу.

Константин Комаров, поэт, литературный критик (г.Екатеринбург)

Встреча впереди

«Сергей Есенин» — неизменный ответ отечественного коллективного бессознательного на запрос «русский поэт». Думаю, чаще на этот вопрос отвечают только именем Пушкина, да и то — не факт. Но «перекликаются» ли «в наступивших сумерках» (а они, очевидно, наступили) Есениным, подобно тому, как перекликались, по словам Ходасевича, в начале двадцатого века именем Пушкина? Думается, что нет. Не уверен, что в нынешних «сумерках» вообще «перекликаются», и уж совсем маловероятно, что именами поэтов.

Всенародная любовь к Есенину столь же обширна, сколь и поверхностна, ибо основана на мертворожденных стереотипах и клише. Любят не Есенина, а его образ, надо сказать, любовно выпестованный самим поэтом. Есенин, пожалуй, первым в русской поэзии (в прозе — Горький) проявил себя талантливым имиджмейкером, сознательно и последовательно «делавшим» свою биографию, создававшим автомиф. Есенинолюбые привычно умиляются матери-старушке в «старомодном ветхом шушуне», не задумываясь, почему бы биографическому лирическому герою не купить матери (а гонорары и кафе «Стойло Пегаса» с кинотеатром в собственности — позволяли) новомодный, шегольской «шушун». Восхищаются верности поэта своим крестьянским корням, не сильно переживая, что родное Константиново Есенин навещал по большим праздникам, смертельно там скучал и при первой возможности возвращался в столичную пучину со всеми её губительными соблазнами: такую показательную «поездку» на малую родину, начавшуюся и завершившуюся пьянкой на московском вокзале, описывает Катаев в замечательной книге «Алмазный мой венец».

Значение же Есенина для многочисленных самодеятельных стихотворцев «от сохи» и вовсе трудно переоценить. Эти авторы бесконечных сочинений о живородящей пшенице, рожавшейся ржи и прочих дарах матушки-земли любят «рязанского Леля» исключительно за то, что он является бессрочным легитимизатором их собственной графомании. «Под сенью» Есенина пышным цветом расцветают самопальные премии, в положениях которых обязательны «следование традициям русской классической поэзии», «нравственные ценности» и пр., а в их названиях звучная фамилия Есенина истрёпана уже до полного неприличия. Кстати, интересно: столь же б сильно любили бы Сергея Есенинова — именно такая фамилия была у его предков, и сокращение на слог произошло по чистой случайности (но поэтам Серебряного века вообще с фамилиями и их органичностью стихам повезло, и Есенин здесь — не исключение).

Есенин считается простым поэтом, внятным сердцу человека «из народа», и мало кто задумывается о сложной, модернистской структуре даже самых растиражированных его образов (вроде «зёрен глаз» или «сини, сосущей глаза»), не говоря уже о поэмах начала 1920-х годов, вроде «Сорокоуста» или «Кобыльих кораблей», чья сюрреалистическая образность даст фору многим авангардистам. Вспомним хотя бы знаменитый зачин «Чёрного человека»: «Голова моя машет ушами,/ Как крыльями птица,/ Ей на шее ноги/ Маячить больше невмочь». И пусть графологи до сих пор спорят — «шее ноги» или «шее ночи», психоделической мощи образа это не отменяет. А «деревья, как всадники, съехались в нашем саду» вообще представляется мне одной из самых страшных строк в русской поэзии. Далеко от сюсюкающего умиления исконной-посконной Русью, согласитесь...

В общем и целом массовую рецепцию творчества Есенина подытожил ещё Евтушенко во вступлении к поэме «Братская ГЭС»: «Есенин, дай на счастье нежность мне/ к берёзкам и лугам, к зверью и людям// и ко всему другому на земле,/ что мы с тобой так беззащитно любим». Вот этой нежностью, тем, что «братьев наших меньших никогда не бил по голове» и мил Есенин до сих пор русскому сердцу. А что людей он любил не так сильно, как животных (измывался, например, над беззащитным Хлебниковым, торжественно вручив ему кольцо Председателя Земного Шара, а потом под гиканье и улюлюканье сотоварищей-имажинистов отобрав, заставлял «плясать» несчастную Айседору и т.д.), — это ладно, это проходит по разряду стихийности и «широты — я бы сузил — русского человека», жизнотворчества, смертостроительства и героического самосожжения.

Всё это я только к тому, что прежде, чем любить (или ненавидеть) поэта, надо попробовать этого поэта понять. Разобраться в трагических противоречиях личности и судьбы Есенина, уяснить подкладку его послереволюционной раздвоенности («остался в прошлом я одной ногою»), отчаянную обречённость желания «задрать штаны бежать за комсомолом». Прочувствовать всю эту тяжелую «выбель-гибель», чарующим и пугающим маревом окружающую многие строчки Есенина. Такое понимание даст объёмную фигуру поэта, и уже по отношению к ней можно спокойно определяться в любви-нелюви. Но к такому пониманию нынче, по моим ощущениям, мало кто стремится. Гораздо проще и душеполезней воздыхать над глянцевыми берёзками, которые Есенин «отработал» еще в юности — в стихах типа «Родился я с песнями в травном одеяле, воды меня вешние в радугу свивали»...

Только так может произойти полноценная встреча с поэтом, которую он предсказывал в предсмертных строках: «Предназначенное расставанье обещает встречу впереди». Пока до этого далеко, о чем свидетельствует хотя бы невыносимая пошлость открытого к 125-летию поэта в Москве памятника. Это памятник не поэту, а поверхностности и дежурности отношения к нему. Пока большая часть почитателей таланта Есенина недалеко ушла от его разной степени безымянности дружков-собутельников, окруживших его дешёвой, удушающей лестью («Серёжа — ты наш гений», «Серёжа, ты всех съешь»), цель которой замыкалась на халявной выпивке.

Таких «поклонников» прекрасно представил Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»: «к решёткам памяти уже понанесли посвящений и воспоминаний дрянь». Маяковский, хоть и был главным эстетическим оппонентом Есенина (называл его «из хора балалаечник», цикл «Персидские мотивы» окрестил «восточными сладостями» и т.д.), но как большой поэт к гибели другого большого поэта отнёсся с живой болью. Потому что понимал.

Но не будем отчаиваться: в конце концов, фигуру Николая Некрасова актуализировали, казалось бы, бесконечно далекие от него символисты, уловившие и расслышавшие изощренность его поэтической просодии. Может быть, и к Есенину найдутся ключи с самой неожиданной стороны, и «встреча впереди» произойдет. Большой русский поэт Сергей Есенин этого заслуживает.

Марина Кудимова, поэт, переводчик, литературовед (г. Москва)

Иль вас не стряхнуть?

«Нигде, кроме как в первом томе», — мрачно шутили в моем молодом филологическом окружении о Маяковском. «Везде, кроме как в первом томе», — так можно перефразировать бесцеремонный каламбур, формулирующий тогдашнее наше отношение к знаменитому пятитомнику Есенина 1961—1962 гг. В библеизмы и мифопоэтику его ранних стихов я погрузилась гораздо позже. Не скажу, что полюбила, — слишком много насчитала влияний. К тому же в «Библиотеке поэта» малыми дозами вышли корифеи Серебряного века и выстроились аналогии. Но, кажется, кое-что я поняла — и в Есенине, и в себе.

Касаемо рассыпающихся на блоки от зачитанности остальных томов заветного малоформатника, к ним в пору моего отрочества применим анамнез Ю.Мамлеева из «Крыльев ужаса»: «...есть лишь два писателя, которые могут довести до сумасшествия... Достоевский и Есенин. Причем на почве Есенина больше. У нас есть целая группа детей, возраст примерно 14-15 лет... Вся их жизнь проходит в том, что они до конца погружены в поэзию Есенина. Они не хотят жить, не хотят что-либо делать, кроме того, чтобы читать наизусть стихи Есенина... Они читают эти стихи целыми днями, плохо спят, встают по ночам и тоже читают вслух или про себя стихи, бродят по палате, что-то думают. Их очень трудно вывести в мир, почти невозможно. Что-то надорвалось в их душе от этой поэзии...»

Трагедия самого Есенина и драма «бродящих по палате» недорослей имеют общую природу, хотя и разную результативность. Это последовательное жертвование начатками духовного в пользу душевного в поиске «истинных чувств». Человек в стадии молочной спелости остается наедине с собой — или со стихами поэта, с которыми он себя отождествляет, без всякой метафизической защиты. Сумасшедших как в России называли? Правильно: душевнобольными. Дохождение до нерассуждающего фанатизма в конце предыдущего века случилось в отношении Надсона. Он далеко уступал Есенину в даровании, но интенции совпадают.

Роковой надлом в Есенине произошел после весьма удачной — можно сказать, триумфальной поездки в Петроград. Внутренней трещине сопутствовал резкий версификационный скачок. Слабое и вторичное «Наша вера не погасла» с декларацией «Не одна ведет нас к раю/ Богомольная тропа» соседствует с уже вполне есенинским по поэтике «В том краю, где жёлтая крапива»:

Я одну мечту, скрывая, нежу,
 Что я сердцем чист.
 Но и я кого-нибудь зарежу
 Под осенний свист.

Написаны два стихотворения в одном и том же году — 1915-м. Причем второе предопределило неиссякающую любовь к Есенину «блатных», отмеченную еще В.Шаламовым, и следом за ними — стремительно приблатняющейся интеллигенции. Всего через три года бывший «смиранный инок», ныне — «пророк Есенин Сергей» напишет «Инонию» с исторгнутым причастием. «Железный Миргород» с рацпредложением оборудовать в церквях отхожие места появился в 1923-м. Предложение в целом было встречено заинтересованно и нашло широкий отклик.

«Есенин никого не любил, и все любили Есенина», — сказал Мариенгоф. Поди проверь, насколько прав был лучший друг и что было лицом, а что маской — «хулиган» или «вербочный херувим». В 60—70-е годы, в только начинающем ионизироваться религиозными порывами воздухе проникновенность Есенина заполняла вакуум «научного атеизма».

Почему именно Есенин с его скандальной славой и поэтикой, мечущейся от символизма к имажинизму и от традиционализма к романтизму с приставкой «нео», сделался образцом для сонмов лишенных дара, но инфицированных вирусом знаменитости? Может, они сосредоточились как раз на первом томе? Или выбрали наугад только «Стихи скандалиста»? Нет, дело здесь явно не в легкости имитации стиля и способа рифмовки. Никто не зацепит, как «Отговорила роща золотая» или «Ты запой мне ту песню, что прежде...», хотя, казалось бы, все лежало в свободном доступе. И не в «простоте языка» секрет. Что, например, означает в стихе, ставшем заголовком опроса, глагол «кричите»? Усиление голосового сигнала? Лишь отчасти. На Рязанщине «кричать» — синоним «плакать». «Простота» в хороших стихах вообще иллюзорна, манипулятивна, рассчитана на незаметное эмпатическое подключение, а у Есенина она еще и часть личного мифа. По силе душевного импульса его в XX веке не превзошел никто. Черный человек, несмотря на все уловки, не одержал окончательную победу. Но приемы его стали куда изощреннее. «Желтый тлен и сырость» (столько, сколько Есенин, о смерти мало кто размышлял и писал) подернули таинственный орган восприятия поэзии, оставленный человеку после потери Бога.

Что же ожидает эту поэзию в прекрасном цифровом мире, первым делом снова ревизующем Бога, а заодно и глушащем эмоции и равнодушном к любой смерти, кроме своей? Вопрос, звучащий в стихотворении 17-18 годов, с каждым днем становится актуальнее: «Песни, песни, иль вас не стряхнуть?..» И все чаще мнится, что очень даже «стряхнуть!» Что «лирическое чувство», по самоаттестации Есенина, да и простая эмоциональность иссякают, словно Аральское море. Что визуализация и осмайление «контента» уводит от подарка солунских братьев Кирилла и Мефодия к блогговому асемическому письму, лишенному как смыслового, так и тем более чувственного содержимого. Но задушевность по-прежнему растворена в русском пространстве.

«Его не вырвешь из полей и рощ», — заметила в разговоре Анна Ахматова о Есенине. И мы любим его не за то, чего он лишил себя и чего мы сами охотно лишились, а за то, что он такой страшной ценой, так безоглядно саморазрушительно отдал нам. Более того: мы вдолгую живем в мире есенинских образов, даже независимо от того, любим ли его. Борис Примеров сказал:

И грустят мои мгновенья,
 Улыбаются века,
 Как задумал их Есенин
 Издалёка-далека...

Анна Маркина, поэт, со-редактор журнала «Формаслов» (г.Люберцы)

Месторождение русской души

Пожалуй, нет для русского народа поэта более драгоценного. Его учат наизусть школьники, цитируют трактористы, носят у сердца влюбленные женщины и исполняют рок-звезды. Если пытаться ассоциировать с камнем или металлом, поставить в ряд, где цветаевские стихи — рубиновые, пушкинские — увесисты и прозрачны, как хрусталь, тянутся фарфоровые строки Гумилева и бьет плотная мандельштамовская нефть, стихи Есенина — чистое речевое золото. Месторождение самой русской души.

У нашего журнала есть канал на «Яндекс-Дзене». Среди сотни постов на разные темы самый популярный материал — статья о Сергее Есенине. В то время, как обычные новости набирают тысячи-десятки тысяч показов, эта скоро переберется за пятьсот тысяч. Полмиллиона показов. Настоящее поле боя в комментариях. Ломаются копья, звенят кольчуги рифмованных переживаний. Развертываются фантазмагорические вариации на тему смерти поэта. Люди не могут вынести упоминания о том, что медицинский эксперт А.Г.Гиляревский 29 декабря 1925 года указал: смерть наступила от асфиксии через повешение. Людей возмущает не только версия о самоубийстве сама по себе, но и просто упоминание конца. «Зачем вы включили это в биографию?» — с искренним непониманием возмущались наши читатели. Это как будто чужой прикоснулся к урне с прахом близкого родственника или потоптался на отцовской могиле. Любовь народа — как наводнение, она смывает все, не разбирая дороги. Есть только ослепительный высокий образ певца несвятой Руси, удалыца и хулигана, романтика и светлого отрока, ведущего спор с божественной тайной.

Серебряный век подарил нам столько больших имен! Почему же широкое всенародное признание обрушилось именно на Есенина? Разве мало в русской поэзии узнаваемых подробностей быта, «калиток осеннего сада» и «опавших листьев с рябин»? Разве мало «голубого огня», лебединых рук и «нежностью пропитанного слова»? Что же тогда? Надлом и боль, эхом отдающиеся в читателях? Но первая половина XX века вся есть открытый перелом на теле прежнего мира. Время, ошпаренное революциями, войнами и репрессиями. Разве мало боли и тоски об идеальном мире у других? Очень даже много. Но, может быть, с меньшим количеством тепла? Есенин не просто фиксирует солончаковую тоску, которую тащит с собой через всю жизнь обычный русский человек, он протягивает ему руку, он не бросает своего героя наедине с тоской, а окружает его сочувствием. Он признает в себе темную сторону, черную человечность и рогожинскую готовность зарезать того, кто ближе.

Мы рождаемся с болью и с болью идем к свету по «богомольным тропам». И спустя век большинство из нас продолжает жить среди драк, кабаков, изб и подгнивших крестов. Именно про эту больную Русь есенинские «ветровые песни», как можно было бы их окрестить по Блоку. Песни от земли до неба. Где непутевая жизнь окрыляется раскаянием. Где интонация теплой грусти окутывает весь живой мир: небитых тварей, милых птиц и щенков в мешке. Лирический герой марширует неприглядной дорогой к выстрадавшему прощению и ему сопутствует божественное: молитвословный ковыль, «скит синих рош», «чисточетверговая звезда». Он продолжает идти, «радуясь, свирепствуя и мучась». И несет в себе большую, сокрытую, околосемляную веру в то, что придет он «по равнинам к правде сошьяго креста».

И до тех пор, пока мы не вырастем, на научимся жить спокойно и счастливо, не «терять свою жизнь без оглядки», Сергей Есенин будет с нами. Золотой отблеск, осеннее предчувствие гибели и весенняя надежда на преображение.

Роман Рубанов, поэт, режиссёр (г. Москва)

Знакомый ваш Сергей Есенин

«Знакомый ваш Сергей Есенин» — название не оригинальное. Это уже штамп №339. Но другого названия для спектакля у меня не было. В этом названии сошлись узнаваемость (знакомый) и неизвестность (а знакомый ли?). Зритель ожидал стандартный набор текстов памятных со школьной скамьи, перепетых эстрадными исполнителями, прочитанных артистами... А тут — он столкнулся с другим Есениным. Не с тихим и ожидаемым лириком, плачущим о деревне, вместе с клином журавлей пролетающим над полем, а с... ну, можно сказать, что жестоким, жестким, ироничным... Я должен был огорчить зрителя, что спектакль, с моей точки зрения, совершенно не дает представления о Сергее Есенине. Потому что это не истина, это попытка подсказки, попытка помочь в подборе ключей к сердцу поэта, которое, конечно, есть его стихи.

Итак — выбраны тексты, определены персонажи. Персонажей двое: Есенин и Бениславская. Почему Бениславская? — спрашивали меня много раз. Почему не Мариенгоф? Потому что хотелось хотя бы здесь, раз уж в названии не удалось, уйти от штампа. К тому же мне важно было, чтобы зритель увидел поэта одновременно и глазами поэта (самого), и глазами женщины, его любившей. Есть в спектакле и мать Есенина, но она нарисована условно, как и должно быть в театре, без явного натурализма и излишней ботаники. Зритель (я имею в виду профессионального зрителя) поймет, что натурализм к искусству никакого отношения не имеет. Как говорил Михаил Чехов: «художник ничего не может привнести от себя в натуралистическое “произведение искусства”», задача его при этом «ограничивается умением более или менее точно скопировать “натуру” и, в лучшем случае, привести в новое соотношение то, что существовало и существует без него, вовне. Он поймет, что заниматься натуралистическим искусством — это быть не более как фотографом “натуры”. И безотраднa будущность натурализма в театре». В театре всё условно. Но вернемся к этому позже.

Диалог с матерью происходит примерно так: Есенин сидит спиной к зрителю, мать — лицом. Она читает письмо — «...если можешь ты, то приезжай...» Происходит диалог с пустотой. Потому что для Есенина (моего) нет матери. Уже нет. Нет ничего. Она говорит в пустоту. А он говорит со временем, с которым не может никак договориться.

В другой сцене, где он возвращается «в край осиротелый», у него происходит еще один разговор, но уже с двумя временами одновременно, с двумя странами. В момент, когда «крестьянский комсомол» отплясывает под «агитки Бедного Демьяна» (аранжировку я взял современную), Есенин говорит: «Вот так страна...» — и говорит он не только РЭСЭФЭСЭРУ, но и современной России. В которой ничего не изменилось с тех пор. Агитки актуальны, они на слуху, они легко воспринимаются. А поэзия... что поэзия? Поэзия — это о другом.

Условность пространства была решена множеством вешалок. Это символ. Не нужно обживать комнату рукоятником, патефоном, окном с занавесками. Вешалки. Это говорит зрителю и о судьбе поэта, и о судьбе эпохи в целом. Изначально я хотел их подвесить, но технические особенности малой сцены не позволили. Я всегда стараюсь уходить от натурализма. Вообще, натурализм сотворил, взрастил интересную публику, которая утратила ощущение реальности. Парадокс? Не думаю. Условность заставляет думать, подключаться всему организму, вламываться в действие. Натурализм выдает копию. Я не собирался заниматься ботаникой.

Репетиция — любовь моя, — сказал Анатолий Эфрос. Я это усвоил. И начал свою репетицию еще задолго до появления сценария, музыки, декораций, самого спектакля. Еще в школе, пожалуй. Мне был любопытен Есенин. Не его рябиновые кисти, хотя и они тоже, но поэт, с его отношением к миру. С его пониманием мира. Я пытался уловить нерв.

Всё это до определенного времени во мне жило и копилось. По роду профессии я много стихов знаю наизусть. И в один прекрасный момент я просмотрел Есенинские стихи у себя в памяти и понял — это спектакль. Спектакль о поэте, которого я вижу несколько иначе, чем остальные. Наверное. Образ создавался по частям.

Есенин мне представляется перегорающей лампочкой. Вот она мерцает, а вот разгорается ярче, из последних сил. И в этом задача моего Есенина. Он уже, как и перегорающая лампочка, не видит кружащих мотыльков, не видит людей, находящихся под его светом. Он знает только одно — надо выдать максимум света. И выдает его.

Движений Есенина я не видел, но голос слышал и начал отталкиваться от его речи, начал проникать в этот прорвавшийся голос. Начал понимать его сквозь стихи, которые, на мой взгляд, актуальны до сих пор. Они живые. Они болят. Они звучат так, как будто написаны сегодня. Вот совсем недавно. Человеком близким и знакомым. Потому что — «Знакомый ваш Сергей Есенин». Человек, который мне знаком и не знаком одновременно. Поэт, которого я заново открываю для себя с каждым спектаклем.

Дмитрий Рубашкин

Школа — второй дом. Дом — вторая школа

Жизнь заставляет человека многое делать добровольно.

Станислав Ежи Лец

— Не могли бы вы — как эксперт — объяснить родителям, в чем суть реформ, которые проводятся в российской школе?

— Наверно, мог бы. Я этой темой занимаюсь много лет.

— Вот и прекрасно! Только очень коротко. Минут на пять-десять, не больше.

— Нет, так коротко у меня не получится.

— А дольше аудитория слушать не захочет.

— Я тогда лучше напишу.

— Что вы, что вы! Это для родителей вообще не вариант. На смартфоне экран маленький, а на бумаге сейчас никто не читает.

Тут поневоле задумаешься. Слушать никто не захочет, читать никто не будет. Как же тогда быть? Разве им это не интересно? Ведь сегодняшняя школа — это то будущее, которое мы строим. Нельзя же всерьез считать, что школьные будни детей сами по себе, а родители — где-то в стороне. Но даже если многие и были так настроены, теперь придется посмотреть на школьную жизнь с других позиций. Предыдущий учебный год закончился, но никто еще не знает, как будет развиваться ситуация, связанная с пандемией¹. Большинство пока не верит, что дистанционное обучение — это надолго. Весенний кризис был случаен и больше не повторится. Может и так, но никто не даст гарантий. И если все же карантин вернется, школе придется признать, что без помощи семьи ей не справиться...

Похоже, родителям пора побеспокоиться. И потратить на изучение вопроса не пять минут, а побольше. Или даже почитать что-нибудь по теме, осмыслить, что собой представляло дистанционное обучение весной этого года...

Рубашкин Дмитрий Давидович — директор инновационного центра «Технологии современного образования», кандидат технических наук, специалист в области проектирования информационно-управляющих систем. С 1992 года занимается инновационными проектами в сфере образования и культуры. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 11.

¹ Статья написана в июле 2020 года.

Образование навынос

В условиях «повышенной готовности» многие учреждения вывесили таблички: «Работаем только навынос». Реально я подобных объявлений на дверях школ не встречал, но суть от этого не меняется. Продукт, который раньше был предназначен для совместного употребления в школьных стенах, теперь предлагают с доставкой на дом.

Теперь многие приспособились все заказывать в Интернете. Сидишь перед монитором, а продукты, театральные спектакли, музейные экскурсии сами приходят в дом. Даже удивительно, почему подобных услуг не было раньше. Хорошо бы сохранить такой сервис на будущее.

Есть вероятность, что и со школой так получится. Пройдет первый шок от неожиданности, все привыкнут к дистанционному обучению и перестанут отправлять детей в школу. Может и так, но тогда надо срочно разобраться, как работает образование навынос, что оно дает детям и чем грозит родителям¹.

Долгие годы нас не допускали на школьную кухню. Да мы особенно и не стремились проникнуть в эту закрытую от посторонних зону. Там хозяйничает школьный персонал и готовит кушанья по утвержденным свыше рецептам. Нам остается верить, что диета полезна, по-научному сбалансирована и подходит всем без исключения. Правда, иногда кажется, что кухня не столь уж привлекательна: многие дети жалуются, что все это не слишком аппетитно и плохо усваивается. Родители пробовали разбираться, задавали вопросы частного характера, но в целом не посягали на право школы кормить детей по своему вкусу.

И вот ситуация изменилась: кухня закрыта, а все, что там варилось, будут доставлять на дом. Родители должны сами позаботиться, чтобы дети усвоили все, что положено. Тут хорошо бы понять, что же система образования готова предоставить навынос: готовое блюдо или продукты, из которых эти кушанья только предстоит приготовить. Или что-то среднее: полуфабрикаты? И что придется со всем этим богатством делать: достать из коробок и поставить на стол, просто разогреть или приготовить на собственной кухне по рецептам, которые тоже, видимо, будут предложены?

Весной была проведена первая дегустация. Она оказалась скомкана и поспешно прекращена. Большинству потребителей образовательных услуг было предложено разойтись на каникулы, не дожидаясь «продолжения банкета». Что и произошло. Теперь, когда мы все это с грехом пополам переварили, стоит задуматься о том, что будет происходить после летних каникул. К чему готовиться?

А теперь по существу. Что не понравилось?

Все, что предложила школа, когда пришлось отказаться от занятий в классах, — переход на дистанционное обучение с использованием компьютерных технологий и Интернета. Идея «цифровизации» образования принята на государственном уровне как стратегическая линия, но в родительском сообществе, мягко говоря, популярностью не пользуется. Многие опасаются, что увлечение цифровыми технологиями не пойдет на пользу детям и подросткам, которые и так слишком много времени проводят в виртуальном мире. Но весной было не до споров о стратегии. Да и альтернативы-то не видно.

И раньше случалось, занятия в школе прерывались на карантин или по другим причинам. Это никогда не рассматривалось как угроза учебному процессу в целом. В конце концов, у каждого школьника есть все необходимые учебники и пособия.

¹ Кстати говоря, навынос — это наречие, пишется слитно. А существительное вынос нам знакомо по устойчивым словосочетаниям: вынос мозга и вынос тела. Хорошо бы школьникам не пришлось в этих грамматических нюансах разбираться на практике.

Напечатаны за государственный счет. Они по идее содержат все, что требуется, чтобы пройти курс соответствующей дисциплины. И если по учебнику нельзя самому, без помощи учителя, разобраться в учебном материале за последнюю четверть, зачем он такой вообще нужен?

Сейчас о существовании учебников как будто забыли. Так же, как совсем перестали повторять многолетнюю страшилку про то, что детям нельзя больше пятнадцати минут находиться перед экраном компьютера. Такое лет тридцать назад было записано в санитарных нормах, которые по-прежнему обязательны для исполнения. Тогда боялись излучения от мониторов с электронно-лучевыми трубками (как у старых телевизоров). Таких мониторов давно уже нет, а ограничение сохранилось и продолжает служить барьером на пути компьютеризации школы. Но как только пришлось перевести занятия в дистанционный режим, о требованиях гигиены никто и не вспоминает. Противники компьютеров из учреждений управления образованием как по волшебству куда-то пропали. И, согласно новым реалиям, дети, похоже, будут сидеть перед экранами урок за уроком — сколько понадобится.

Администраторы образования уверенно утверждали, что российская школа полностью готова к дистанционному обучению и учебный год будет завершен без существенных издержек. Почему же многие родители оказались так недовольны новым учебным порядком? Сразу скажу, что практика дистанционного обучения не была одинаковой, поводы для недовольства различны и не могут быть отнесены ко всем школам в равной степени. Попробуем разобраться в наиболее характерных жалобах.

Организация занятий

В период карантина многим родителям и самим пришлось радикально изменить свой образ жизни и работать «на удаленке». Возможность выполнять служебные обязанности, не выходя из дома, многих поначалу даже привлекала. Не нужно никуда ехать, можно расположиться у компьютера с максимальным комфортом, не подстраиваясь под офисный распорядок. Казалось бы, и для детей дистанционное обучение могло бы стать вполне приемлемой заменой посещению школы. Однако на практике выявилось множество причин для недовольства.

Во-первых, многие школы решили, что расписание занятий должно сохраниться в том виде, в каком оно было составлено до кризиса. Урок должен следовать за уроком, а все ученики — постоянно следить за происходящим в режиме видеоконференции. Занятия идут по школьному расписанию, а не тогда, когда удобно ребенку и родителям. Посмотреть объяснения учителя в записи — недостаточно, нужно «присутствовать» в *zoom*’е или другой аналогичной среде. Видеокамеры должны быть включены, чтобы учитель убедился, что никто не прогуливает уроков. Ежедневные занятия продолжаются часами, и каждый ученик должен торчать у компьютера. Так что свобода и комфорт оказались весьма относительными.

Но дело не только в жесткости расписания. Чтобы следовать этим правилам, каждый школьник должен иметь собственный компьютер. Далеко не в каждой семье есть возможность предоставить отдельное рабочее место в строго регламентированные школьным расписанием часы. Родители просто не могут позволить ребенку монополизировать стационарный компьютер или ноутбук на добрую половину дня. Если бы школа не требовала «присутствия на уроках», все было бы гораздо проще. Всегда (или почти всегда) в семье можно договориться о том, кто когда сидит за компьютером. А при жестком расписании приходится искать другие варианты. Хорошо если кроме компьютера в семье есть еще планшет. Иначе школьнику приходится рассчитывать только на свой смартфон. Для того чтобы просто «посещать школу», достаточно и такого гаджета, но, представьте себе, насколько сложно воспринимать учебную информацию с маленького экрана. Такая учеба идет, скорее, во вред — и с педагогической, и с медицинской точек зрения.

Требование собственного рабочего места для школьника — очень жесткое в сегодняшних условиях. Даже в таком мегаполисе, как Петербург, оказалось, что для обеспечения планшетами всех учащихся не хватает бюджетных средств, пришлось прибегнуть к призывам о благотворительности. Хорошо, что дело происходило в конце учебного года. Нашелся выход: распустить всех на каникулы — и дело с концом...

Цифровые платформы и дистанционные сервисы

Уже не один год существуют многочисленные библиотеки цифровых ресурсов для поддержки учебного процесса по всем (или почти по всем) предметам. Они доступны в Интернете, бесплатны для школ. Осталось только научиться ими пользоваться. Учителей регулярно направляют на курсы повышения квалификации, где они осваивают новые технологии, знакомятся с цифровыми платформами. Правда, далеко не все изученное находит применение в реальной практике. Но, если верить началству, педагоги к «цифровизации» готовы.

И вот этой весной настало время проверить, как обстоят дела не в отчетах, а в жизни. Цифровым платформам пришлось пройти жесткую проверку на работоспособность, когда в конце учебного года количество пользователей резко возросло. Оказалось, как и можно было предположить, что уровень готовности к использованию цифровых образовательных ресурсов и сервисов не соответствует потребностям регулярного обучения. Пользователи сразу же столкнулись с перегрузкой серверов, на которых размещены учебные ресурсы. Не войти на платформу, страницы долго грузятся, зависают, любое действие отрабатывается с большой задержкой. Такое случается с любыми (и не только сетевыми) сервисами при пиковых нагрузках. Квалифицированным администрированием можно постепенно избавиться от всех этих негативных проявлений массового спроса на услугу, но в нашем случае ситуация усугубилась нервозностью всех причастных к учебному процессу. Учителя стремились поддержать учебную дисциплину и сохранить привычное расписание занятий, многие школьники втайне радовались, что электронные ресурсы недоступны («училка заболела!»), родители нервничали и жаловались на систему образования в социальных сетях.

Эта критика почти не коснулась содержания цифровых материалов, которые предполагается использовать для дистанционных занятий по всем дисциплинам. В таких вопросах родители (пока!) не пытались особенно разбираться. Чаше недовольство было спровоцировано преподавателями, которые должны были дать четкие инструкции, как всем этим пользоваться. Выяснилось, что многие педагоги плохо знакомы с тем, что доступно в Интернете. Им самим приходилось на ходу осваивать цифровые технологии, делая это методом проб и ошибок.

Но, похоже, главные претензии были обращены все же не к конкретным учителям, а к системе образования в целом. Ведь школа не смогла предложить своим ученикам и их родителям какого-то единого подхода к организации занятий. Складывалось впечатление, что каждый преподаватель выбирал ту или иную технологию или сервис на основе собственных, часто случайных, предпочтений.

Любой пользователь Интернета знает, насколько неудобно постоянно переходить с одной платформы на другую, привыкать к новому интерфейсу, правилам навигации, расположению контента. Школьникам приходилось на каждом уроке перестраиваться под выбор конкретного преподавателя во всем, что касалось изложения учебного материала, раздачи и проверки домашних заданий, общения с учителем. Отсутствие «пользовательского стандарта» для дистанционного обучения стало одним из источников мощного негативного следа в общественном сознании. Общая, хотя и слишком эмоциональная оценка: цифровые платформы и электронные библиотеки, в которые были вложены колоссальные средства, не прошли испытания массовой школой, оказались системами с недружественным интерфейсом, технически неустойчивыми и неприспособленными к регулярному использованию в учебном процессе.

Обратная связь

Наша школа привыкла к так называемой классно-урочной системе. В этой логике построены все методические разработки, которым следуют учителя. Быстро перейти к другой педагогической модели учебного процесса массовая школа оказалась не в состоянии. Особенно много претензий вызвала организация контроля, который учитель должен осуществлять в ходе обучения. Современная педагогика подчеркивает значимость «обратной связи» для достижения поставленных целей. Преподаватель должен не просто пройти с классом учебный материал, нужно предложить проверочные и контрольные задания, чтобы оценить, насколько успешно курс усвоен тем или иным учеником.

При очном обучении основную часть информации опытный учитель собирает в ходе занятий. Проверка домашних заданий лишь дополняет его представления, а контрольные работы, проводимые в классе, завершают процесс оценивания результатов каждого школьника. При дистанционном обучении система контроля оказалась разрушенной из-за отсутствия прямого контакта преподавателя с учениками. В ходе видеоконференции контролировать работу класса гораздо сложнее, чем в реальной жизни. Поэтому приходится полагаться в основном на проверочные и контрольные задания, которые учителю удастся собрать через электронные коммуникации.

Если бы школа была лучше готова к переходу на дистанционную форму обучения, существовал бы банк электронных заданий по всем учебным дисциплинам с автоматической проверкой. Но на практике большая часть заданий выполнялась в традиционной форме — в ученических тетрадях. Результаты домашней работы приходилось фотографировать смартфоном и посылать учителю в виде картинки. В идеале учитель, проверив выполнение задания, должен в ответ отправить отсканированное изображение со своими замечаниями и комментариями. Эта тяжеловесная процедура не могла удовлетворить никого: ни учителей, ни учеников, ни родителей.

Наиболее остро отсутствие непосредственного контакта с учителем сказалось на начальной школе. Неудовлетворенность родителей младших школьников звучит особенно отчетливо. В этом возрасте дети еще не научились учиться, поэтому они должны находиться под постоянным контролем взрослых. При дистанционном обучении учитель младших классов фактически лишен возможности полноценно выполнять свои обязанности. Он слишком далек от своих учеников и не может вовремя прийти на помощь: помочь справиться с трудностями, успокоить, дать совет. Тут никак не подходит образование навынос.

Можно перечислять и другие проблемы, проявившиеся нынешней весной, но вывод и так понятен: школа без нашей помощи не справится с вызовами времени.

В меняющемся мире наши дома становятся частью образовательного пространства, а мы сами — игроками на этом поле. Это накладывает на родителей дополнительные обязанности, но тем самым делает их участниками диалога со школой. Этот диалог о своих правах и своей доле ответственности за образование ребенка нельзя вести, не умея говорить на языке партнера. К сожалению, не приходится рассчитывать, что система образования научится переводить свои ведомственные установки на всем понятный язык. Придется сделать шаг навстречу и готовиться к новой роли — участника образовательного процесса. В западном мире это называется стейкхолдер — заинтересованная сторона, которая участвует в принятии решений. Пора начинать разбираться в школьных проблемах, иначе мы не сможем защитить интересы своих детей. Не спрашивай, по ком звонит школьный звонок. Он звонит по тебе...

*Петербург
Июль, 2020*

Анатолий Цирульников

Образование на краю Ойкумены

Беседу ведет Антон Зверев

Академик РАО, доктор педагогических наук, профессор Анатолий Цирульников — личность почти легендарная. Известный ученый и писатель, путешественник, первооткрыватель не(о)познанных педагогических недр страны. Поговаривают, есть у Цирульникова где-то среди заповедных красот Колымы даже собственное озеро...

Антон Зверев: Правду ли говорят, Анатолий Маркович?

Анатолий Цирульников: Только само озеро об этом не знает... Мы тогда в экспедиции проехали две тысячи километров на «уазике» и пятьсот на «буране» по средней Колыме. Там этих озер видимо-невидимо. С интересными названиями, но есть и безымянные. Собрался сход нескольких деревень, взяли да назвали одно из них Озером академика Цирульникова.

В сертификате запись: «Находится в шестидесяти километрах в северном направлении от села Алеко-Кюель с водоемом двадцать и семь десятых гектаров». Как ни странно, я его заметил, когда проезжали. Запоминающееся такое. На фоне заснеженных сопок.

Нанесли на карту, особый знак поставили, избушку для охотника. Честно предупредили: «Фамилия ваша, скорее всего, из местного языка сотрется из-за тяжелой транскрипции». Но и «Озеро академика» тоже неплохо, правда?

Добраться можно только на вертолете или на снегоходе. Но и хорошо: никто озеру не мешает. Оно ведь понятия не имеет, как люди его называли, живет своей жизнью.

Когда вместо дорог — направления

А.З.: Какими ветрами вас занесло в такие экзотические дали? Как тут не вспомнить «Бриллиантовую руку»: «Приезжайте к нам на Колыму!» — «Нет, уж лучше вы к нам».

А.Ц.: В том-то и дело, что лучше бы *нам* устремиться к *ним*. Для советского человека сердце страны — не Колыма, конечно. Но для меня оно именно там. Несмотря на то что население жмет к Москве, окруженной редкими лесами и дымящимися болотами.

Но и сердце, и смысл России — в тех краях. В книжках серии «Неопознанная педагогика» я и пытаюсь понять другие смыслы — нашей страны, нашей жизни, нашего всего. В том числе Колымы, название которой у соотечественника неотвязно ассоциируется с прилепившимися к ней словами: «лагерь», «уголовщина». А еще

«Колымторг» с его показушным коммунизмом на полках — нигде, кроме Москвы, тогда не было, а на Колыме было. Вероятно, чтобы американцы с Аляски нам завидовали.

Но Колыма — это еще и самая жирная рыба чир. И последний форпост России. Брызги этих вот озер под крылом АН-24, когда ты летишь, — первозданный хаос, из которого вышла жизнь.

Здесь мы начали делать удивительный проект. Дорог нет. Когда начальник Управления образованием Среднеколымского района собирает директоров школ, он им говорит: «Встретимся примерно в среду». Потому что вдруг — пурга. В одном месте не заметет, в другом заметет. И тогда вместо дороги будет *направление*. Реки, озера замерзают каждый раз по-своему. И от них будет зависеть траектория следования транспорта.

В этом смысле там невозможно оперативное управление — только стратегическое. Казалось бы, странно: какая-то Колыма, на карте не сразу найдешь. Но едешь по этим замороженным, заснеженным пространствам и диву даешься. В школе села Сватай дети занимаются рыболовством, лошадьми, водят и ремонтируют трактор, готовят десятки блюд из рыбы, шьют теплую одежду на зиму — насчитал сорок видов трудовой деятельности.

А Алеко-Кюельская школа — это вообще фантастика.

Чем школа меньше, тем она ближе к ребенку

А.З.: Правильно ли я понимаю, что в регионе, где можно задать только направление, а дороги каждый раз ложатся по-новому, больше шансов устраивать школы, говоря на вашем языке, по принципу культурно-образовательных гнезд?

А.Ц.: Это, с одной стороны, справедливо. В той же Якутии сама природа обостряет высшие способности. В том числе, к познанию. Приучает к самостоятельности, смекалке.

С другой — меня могут понять так, что я поддерживаю одно (местный колорит) в ущерб другому (рамке федерального стандарта), а это не так. Когда мы работаем с регионами, то из центра на окраины идет методология (да и то она, как правило, совместно создается). А снизу, «с полей», поступает прежде всего анализ ситуации, из которого складывается локальная модель развития. В этом взаимодействии и состоит политика.

Хотя не нравятся мне эти «сверху, снизу». У нас это центристское — в мозгах, оно зудит, от него очень трудно отделаться. В действительности есть центр федеральный. Москва. И есть страна с ее разнообразием ландшафтов и возможностей. Когда региону из центра диктуют, как жить, а он с учетом «местных особенностей» (советский канцеляризм) реализует предписания, то это — сказка, и она прекрасна. Но она не работает.

Мне ближе социокультурный подход. Привязка к времени и месту действия, выращивание оттуда. На уровне высших федеральных органов могут родиться разве что абрисы, общие контуры. И то, если ты понимаешь, что происходит, как люди живут в горном Алтае, Башкирии, на русском севере. Тогда методология худо-бедно вырабатывается.

Подчеркну: с советских времен существует принцип учета местных особенностей, но никто так до конца и не знает, учитывались эти различия на деле или нет.

И друг пустынь калмык...

А.З.: Поясните, пожалуйста, более конкретно: что представляет собой социокультурная концепция школы?

А.Ц.: Это тоже модернизация, но развернутая лицом к жизни. Она связана с иным взглядом на школу, взятую не саму по себе, а вписанную в пространство двора, города, села, извините, мироздания. Школу в культуре и истории, в координатах родины и космополитизма.

При социокультурном подходе казавшееся второстепенным (территориально-географические, культурные, этнорегиональные особенности, местный опыт) становится существенным. Векторы этого подхода — не упрощение и унификация, а ориентация на сложность и разнообразие. Развитие существующего местного опыта вместо утопического проектирования всеобщего нового порядка. Самоорганизация и саморазвитие. И еще один, самый главный для меня признак — использование образования как инструмента решения жизненных проблем.

А.З.: Жизненных? Как так? Вы же педагог. Дела и хвори образования должны волновать вас скорее, чем отвлеченные задачи внешней жизни.

А.Ц.: По-моему, школа начинается там, где она формально заканчивается. Посмотрите на опыт социокультурной модернизации в Якутии. Мы реализовали там много так называемых социокультурных образовательных проектов. В таежном селе Баяга, например, благодаря сотрудничеству общеобразовательной школы и созданных здесь школ народных мастеров постепенно возникли маленькая гостиница, служба такси и грузовых перевозок, центр прикладных ремесел.

Стала вырастать нормальная социальная инфраструктура деревни. И такого рода проектов масса. В Оленекском эвенкийском национальном районе, где расстояние между населенными пунктами от трехсот до шестисот километров, а надо же как-то жить. В Нижнем Бестяхе, куда вдруг пришла железная дорога со своими плюсами и минусами.

Жизнь переворачивается с ног на голову. А люди к этому не готовы, как вот сегодня с коронавирусом. И это модельный случай: люди часто не готовы к «ситуации изменения ситуации».

Но мы успели с учителями, жителями запустить ей навстречу проекты такого образования, которое стало в известном смысле опережать внешние, подчас хаотические социально-экономические перемены. И продвигать «ситуацию изменения ситуации» в культурном направлении. Вы понимаете?

А.З.: Понимаю. По отношению к ученику это довольно старая пластинка: верхи предлагают, а низы подхватывают.

А.Ц.: Нет, почему же? Иногда идеи проектов подсказывают школьники. Как это случилось в Русском Устье на берегу Ледовитого океана. Или в Калмыкии, где исследования ребят были положены в основу программ, замедляющих обмеление Волги, в борьбу с опустыниванием. Ведь калмык уже, к сожалению, не как у Александра Сергеевича «друг степей», а друг пустынь.

И вот в разных местах России мы с коллегами пытаемся с помощью образования по мере сил немножко менять жизнь к лучшему. Чтобы появились новые рабочие места, не умирал родной язык. Чтобы в ответ на неразумное поведение природа не отвечала нам пандемией.

А начинали все это в Якутии. Там признали на уровне правительства, что разработанные нами социокультурные технологии стали в республике нормой инновационной практики. А заместитель генерального секретаря ЮНЕСКО Колин Пауэр назвал увиденное «якутским педагогическим чудом».

«Научный лес» против живого сухостоя

А.З.: В начале нулевых годов вы, тогда редактор газеты «Сельская школа со всех сторон», выступали против оптимизации (по сути, укрупнения) этих огоньков цивилизации. «Вокруг опустевшей школы тут же образуется социокультурная яма. Чем школа меньше, тем она ближе к ребенку. На фоне больших помещений он исчезает, перестает быть слышимым его голос, умирает личностная педагогика», — убеждали вы оппонентов.

А.Ц.: Да, а что сегодня? Ведь десятки тысяч малокомплектных школ, а за ними деревень исчезли с карты страны.

А.З.: Тем не менее, около шестидесяти процентов школ у нас по-прежнему сельские, и слава богу. Но в чем все-таки разница — сельская, городская? Почему категорически не следует реконструировать карликовую школу в формат пускай и городского, зато с гигантской пропускной способностью образовательного центра? Ведь он и в строительстве дешевле.

А.Ц.: Потому что социокультурные издержки такой перекройки невосполнимы. Как показал знаменитый эксперимент немецких дендрологов-лесоводов (случился такой в Пруссии в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого века), даже лес, и тот дорог в его цельном и целостном виде — со всем его подлеском, буреломом, сухостоем — жизненно привлекательным для насекомых, млекопитающих, птиц.

А идеально высаженный правильными рядами «научный лес» с деревьями одного вида и возраста гибнет. Можно сказать, мгновенно! Одна генерация — и нет леса.

Помните, как намучались в шестидесятых-семидесятых годах архитекторы новой, перенесенной из Рио-де-Жанейро, бразильской столицы — Бразилиа? Опирались на идеи Оскара Нимейера. У него был проект с абсолютно прямыми улицами и четко разграниченными зонами: здесь ты работаешь, здесь живешь, в центре — министерства. Всё было отлично. Кроме одной мелочи — жить в таком городе никому не хотелось.

И тогда те, кто жить там все-таки хотел, вокруг этого «правильного» города стали возводить «неправильный». С кривыми улицами. Тут люди живут, катают коляски с детьми. Тут же они едят, тут же у них работа... И началась жизнь!

Управленцы всё норовят упрощать. Я их понимаю, так легче работать. Стихийность, живое разнообразие местного опыта представляются им досадной помехой. Их стараются привести в надлежащий порядок.

Кстати, административное рвение, стремящееся привести в порядок природу и общество, — «государственное упрощение» (как назвал его американский социолог и культуролог Джеймс Скотт) представляется одной из причин, лежащих в основе краха некоторых великих утопических социальных проектов XX века.

«Эй, земледелец, спускайся с гор!»

А.З.: Но и в Бразилии, и в Пруссии все обошлось, увенчавшись счастливым финалом. Почему же в своей аналитической записке по поводу состояния сельской школы в России вы называете его, это состояние, гуманитарной катастрофой?

А.Ц.: А как иначе назовешь? Помните историю с «неперспективной деревней», когда в шестидесятые-семидесятые годы с юга до севера, с запада до востока прошла волна укрупнения деревень? Я даже на Чукотке застал последствия этого мероприятия. Когда эскимосов-морзверобоев из поселка Старое Чаплино, с незапамятных времен стоявшего у открытого моря, переселили в Новое, в мертвую бухту, где не водился ни морской заяц — лахтак, ни морж. Детей в интернат отдавали с ясельного возраста. Были уничтожены учебники родной речи. Бабушки не могли объяснить внукам, как шить теплые торбаса, а дедушки — как пользоваться байдарой и гарпуном,

переговариваться в море понятными морским охотникам короткими фразами и жестами. После окончания школы выпускников отправляли с провожатым в институт в город, а они жить там не могли, сбежали. Но и дома не могли найти себя, бродили с потухшими глазами... Снег заваливал «перспективный» поселок по самые крыши, только трубы торчали. Никто ничего не делал, даже ассенизатора присылали из города.

И это происходило повсеместно. В средней России укрупнение шло по горизонтали, а на Кавказе — «по вертикали». В Дагестане, уже во времена перестройки я рылся в бумагах в местном МВД и обнаружил странную закономерность: количество правонарушений среди подростков и молодежи росло обратно пропорционально высоте над уровнем моря. То есть: чем ниже, тем хуже.

Я не поверил, поехал в один типичный район и спросил, в каком селе у вас наибольшее количество детских правонарушений? Меня привезли в поселок, там колхоз назывался, как ваш журнал, — «Дружба народов». Знаете, кто там жил? Переселенцы с гор. Это было эхо тех процессов, в результате которых оказалось уничтожено не только уникальное террасное земледелие. С людьми что-то произошло, понимаете?

Как и везде в стране, велась борьба с «неперспективной деревней». По радио крутили песни: «Эй, земледелец, спускайся с гор. Тебя ждут дела!» Регулярно в райкомы-обкомы передавали сводки: сколько народу «с горы спустили». Соревновались, кто быстрее, больше. А когда спустили, оказалось, что свободные горцы жить здесь не могут, — другой уклад, другая психология, воздуха не хватает. Отцы стали пить, бродяжничать, бросали семьи... И как реакция на это — всплеск детской беспризорности, правонарушений.

А местная школа ничего не могла с этим поделать. В отличие от той, маленькой, горной, в «неперспективном селе» Наказух (по-аварски «в облаках»), эта, равнинная, большая, была на другое запрограммирована.

Мы не учимся даже у собственной истории. У нас ужасающе короткая память. Тридцати лет не прошло, а в начале двухтысячных состоялся второй «наезд» на школы неперспективной деревни. Только теперь это называлось непроизносимым, русский язык не обманешь, словом «реструктуризация», которое затем заменили на псевдонаучную «оптимизацию» школьного образования.

В результате вот вам цифры — за последние пятнадцать-двадцать лет на селе было ликвидировано около двадцати тысяч малокомплектных школ. Это стало одной из главных причин того, что с карты страны исчезло двадцать тысяч деревень.

Казалось бы, это вот, у нас на глазах произошло. Все поняли? Ничего подобного. Не успела вторая волна стихнуть, грядет третья — на обсуждение госсовета выносятся идея создания в стране так называемых «социокультурных комплексов», которые соединят учреждения образования, культуры, здравоохранения и другие. Какие? Да те немногие выжившие после предшествующего объединения.

К чему это приведет, какие последствия будут для провинции, села, деревни — кто-то просчитывал?

Разукрупнять дорого. А укрупнить вышло еще дороже

А.З.: Опять, значит, отечественная гуманитарная катастрофа?

А.Ц.: Она — отражение мировой проблемы, но решения относительно нее принимают по-разному.

Тенденция укрупнения школы идет против трендов мировой практики: в Норвегии, Дании и других странах мира происходит процесс разукрупнения сельских учебных заведений, и только в России — наоборот. В почти полуторамиллиардном Китае сегодня работают десятки тысяч сельских школ с тремя-пятью учениками, а в

восьми тысячах школ, в особенности на западе, в горных местностях и на островах, сохраняется обучение с одним учеником. И это не случайно: по законодательству Китайской народной республики, при наличии хотя бы одного учащегося сельская школа не может быть закрыта!

И не только из гуманистических соображений. В Китае хорошо помнят, что именно село, маленькие производства, цеха, ремесла, возникавшие в сельской местности в начале восьмидесятых годов в семьях и на базе образовательных учреждений, стали источником процветания страны. И сегодня, при стремительной урбанизации, при росте расхождения между качеством жизни в городе и на селе, правительство Китая вновь усиливает внимание к глубинке, сорок лет назад ставшей двигателем экономических реформ.

А.З.: С другой стороны, некоторые сдвиги намечаются и у нас. В их числе анонсированный в две тысячи девятнадцатом году Президентом России запуск программы «Земский учитель».

А.Ц.: Пока эта программа ограничивается простыми мерами финансовой поддержки учителя, который идет на пять лет работать в сельскую школу (единовременное пособие один-два миллиона рублей), и совершенно упускает комплекс содержательных, социально-психологических, организационно-педагогических и социально-экономических факторов. По данным опросов, проведенных Общественной палатой и Общероссийским Народным фронтом, среди условий, при которых учителя готовы сменить место жительства и работать в селе, указывается в качестве приоритетов *наличие рабочих мест для членов семьи, условия для качественного образования, существование развитой социокультурной среды.*

К сожалению, эти вопросы не учитываются в работе государственных органов, ответственных за выполнение президентской программы. А главное, отсутствует социальный институт по разработке содержания сельского образования, который вел бы подготовку и переподготовку сельских учителей и управленцев, осуществлял координацию и мультиплицирование продуктивных практик, которые сделали бы эффективной реализацию программы «Земский учитель».

А.З.: И что же делать?

Нужен социальный институт

А.Ц.: Я написал об этом в «Учительской газете», и сейчас идет активное обсуждение в регионах, среди сельских и городских учителей, директоров школ, управленцев разного ранга, преподавателей университетов, ученых, хозяйственников. Основная идея — создать на основе государственно-частного партнерства федеральный и региональные образовательные центры «Земский учитель».

Чем они будут заниматься?

Тем, чего требует жизнь.

Вырабатывать такое содержание и такие формы образования на селе, которые позволят изменить существующее у нас до сих пор примитивное представление, что сельская школа — это просто ухудшенный вариант городской, который нужно подтягивать до формальных, подчас упрощенных показателей и шатких, постоянно меняющихся стандартов.

У нас почему-то стесняются сельской школы, игнорируют ее как социокультурный феномен. Но этот феномен хорошо осознают не только в западном мире, но и в Китае, где, например, в Северо-восточном педагогическом университете (Northeast Normal University), почетным приглашенным профессором которого я являюсь, действует *Институт сельского образования.*

В рамках федерального образовательного Центра и его партнерских связей

с разными социальными институтами должны проходить подготовка, переподготовка и развитие педагогического мастерства сельских учителей и управленцев, аналитическое, учебно-методическое и информационно-издательское обеспечение этой деятельности. Для этого должны быть использованы не только мировые, но и современные отечественные продуктивные практики, показавшие свою успешность в российских регионах.

В их числе педагогические технологии, ориентированные на условия малокомплектной школы, разновозрастное обучение и обучение детьми друг друга: «метод погружения», коллективная система обучения КСО, которые используются в сельских школах и частной практике подготовки к ЕГЭ на юге России, в Красноярском крае и других местах; новые формы повышения квалификации, которые основаны на социокультурном анализе и проектировании, такие технологии как образовательная сеть, образовательная экспедиция, образовательная ярмарка; дистанционные формы обучения с использованием информационно-компьютерных технологий. Опыт подготовки и адаптации учителей к работе в сельских школах Новгородской области, накопленный Институтом непрерывного педагогического образования НовГУ им. Ярослава Мудрого. Накапливаемый в рамках поддерживаемой Сбербанком и частными инвесторами программы «Учителя для России» опыт по отбору, сопровождению и поддержке учителей, работающих сегодня в селах и малых городах шести регионов средней полосы России.

Особо важное значение в деятельности такого Центра могло бы иметь и освоение многолетнего опыта реализуемой под нашим научным руководством программы *социокультурной модернизации и развития образования* в Республике Саха (Якутия). Эта программа действует преимущественно в сельской местности, имеет блестящие, признанные в стране и мировом сообществе (ЮНЕСКО, США, Австралия, Китай) результаты. В том числе это успешный опыт использования образования как инструмента решения жизненных проблем местных сообществ, развития сельских территорий. Нужно обучать сельских учителей и управленцев, работников поселковых и муниципальных служб тому, как с помощью социокультурных образовательных проектов создавать новые разнообразные рабочие места, нормальную социальную инфраструктуру деревни, развивать социальную и культурную среду. Это как раз именно те условия, которые, по мнению потенциальных участников программы «Земский учитель», необходимы для их профессионального и жизненного выбора — остаться ли, приехать ли жить и работать в село — или нет.

Не бесполезные выдумки, а продуктивные практики

А.З.: А куда ехать, где создавать эти центры?

А.Ц.: Назову несколько мест. Один из образовательных центров «Земский учитель» может быть создан на учебно-материальной базе села Текос Геленджикского района Краснодарского края, где до недавнего времени — пока его преступно не разрушили, как и деревню — существовал мирового уровня лицей педагога-новатора академика Щетинина. Почему именно там? В Текосе есть ряд объективных факторов для создания образовательного Центра — благоприятные климатические условия (привлекательность теплого края для сельских учителей и детей, приглашаемых профессоров, возможных инвесторов проекта); готовая учебно-материальная, интернатная и гостинично-гостевая база, кадровое ядро педагогов лицея, прекрасно владеющих образовательными технологиями, ориентированными на обучение в разновозрастном коллективе сельской школы.

В том же Краснодарском крае, в Мостовском районе, неподалеку от Кавказского биосферного заповедника, разворачивается уникальный проект «Родина. Мосты в бу-

душее» («ЭкоБиоРегион»). Создается сеть из девяти сельских агропоселений со здоровым образом жизни. Проектируется научно-методический образовательный центр, работающий в разных — очных и дистантных — режимах для детей и взрослых, селение с органическим земледелием, центр ремесел и многое другое, меняющее наши представления о возможности качественной жизни и образования в селе. Центр «Земский учитель» мог бы найти место и здесь.

Я уже упоминал Великий Новгород. Многолетние труды сельского учителя математики, профессора Р. М. Шерайзиной, которую даже в отсутствие в стране земства, прекратившего свое существование после тысяча девятьсот семнадцатого года, по праву можно считать выдающимся земским деятелем. Стараниями ученого, ее коллег и учеников был создан первый в стране Региональный центр развития образования, Институт непрерывного педагогического образования при Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого, Центр образования взрослых. Накоплен уникальный опыт творческого отбора молодых людей в педвузы, адаптации их выпускников к жизни и деятельности в селе.

Наконец, особое значение имеет Якутия, среди детских садов, школ и других образовательных организаций которой около семидесяти процентов — сельские. За двадцать лет действия программы социокультурной модернизации образования республика достигла результатов, которые имеют не только общероссийское, но мировое значение. Здесь уже созданы практически все необходимые условия для того, чтобы открыть центр развития сельских учителей, наращивать продуктивные практики, социокультурные образовательные проекты, имеющие социальную и экономическую эффективность.

Надежда на нас самих

А.З.: Есть ли гарантии, что федеральный центр «Земский учитель» не окажется очередным бюрократическим проектом? Случится ли реальный подъем образования?

А.Ц.: А это от нас самих, людей на местах и в центре, зависит. Список — открытый. В стране есть немало мест, откуда может пойти развитие. Мы получаем десятки и десятки поддерживающих и развивающих идею писем из разных регионов — из республики Карелия, Ярославской, Ульяновской, Тамбовской, Тульской, Орловской областей, из Краснодарского края, Калмыкии, Адыгеи, Чеченской республики, Якутии, районов Арктики... Самые разные люди, не только педагоги, хотят перемен и связывают свои надежды с живым практическим делом.

И это знак того, что нужно уйти от давно устаревшего в образовании «центристского подхода» и создавать не один-единственный центр, а *сеть площадок* «Земский учитель», постепенное развертывание которых может изменить ситуацию в сельском образовании, да и не только в нем.

Организация такой сети образовательных центров-площадок должна быть ориентирована не только на ограниченное число обучаемых в ней будущих или нынешних сельских педагогов, но и на передачу через них этого опыта другим. Известно, что при наборе критической массы возникает цепная реакция «взрыва». Лучше сказать — прорыва. Таким образом запускаются массовые процессы в российском сельском образовании.

Они подобны тем, которые во времена распространения народных школ в Германии по моделям великого Иоганна Песталоцци привели к духовному, а затем и экономическому подъему пребывавшей в кризисе страны. Этот исторический пример, как и явление отечественного дореволюционного земства, образовательный опыт которого являлся триггером развития российской школы, дает надежду: здесь нас ждет успех.

Владимир Смирнов

Воспитание будущего

Каждому по потребности

Прежде чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности составляют благо.

Л.Н.Толстой. Дневник. 29 декабря 1900 г.

Мы привычно отделяем наши способности от потребностей, хотя они частенько сходятся в нашей душе и не желают расходиться.

Например, я обнаружил в себе способности к стихосложению. Написал несколько ловких строк, испытал счастливое волнение, а потом еще и получил поддержку, похвалу специалиста. Много ли надо, чтобы почувствовать себя поэтом, начать изводить бумагу и время, и уже не мыслить себя вне стихотворчества?.. То есть выявленная способность превращается в потребность. Вернее, обзаводится личной потребностью.

Не всякая, заметим. Я знаю, скажем, о своей способности штабелевать в судовом трюме тридцатикилограммовые коробки с мороженой рыбой, мне неоднократно приходилось проявлять эту способность, но потребность к ней так и не пришла. Потребности возникают возле наших *любимых* способностей, творческих. Их перечень необозрим: это и научное, и предпринимательское, и техническое творчество, и воспитательское, этическое, и свободный труд земледельца, приносящий красоту и пользу. Любая деятельность, дающая возможность человеку ощутить себя создателем, родителем имеет свойство наполняться движущей силой потребности.

Можно выразиться так: творческая способность — Она — образует чувственную пару с творческим порывом — с Ним — и далее они развиваются только во взаимодействии, в сюжете, в романе, где хватает и размолвок, и страданий, и ревности, но обязательно появятся и дети, рожденные в любви, и опредмеченный смысл существования. Попробуй, отщепи от художнической способности потребность творить, и, если нам это удастся, мы потеряем художника. Способность — инструмент творца, а потребность — мотор, производящая воля. Что они друг без друга?!

Исключительно важно и то, что образовавшаяся пара «способность — потребность», начав свое чувственное развитие, занимает всё большее место в душе человека, оттесняя на задний план потребности нетворческого порядка. Они не исчезают, разумеется, но постепенно узнают свое не более чем подчиненное место,

разумеется, но постепенно узнают свое не более чем подчиненное место, привыкают к роли обслуживающего персонала и уже не тщатся стать целью человеческой жизни.

Академик П.Л.Капица рассказал о Карле Штейнмеце, идейном руководителе исследовательских и конструкторских работ в лабораториях «Дженерал электрик». Штейнмеца вообще не интересовал заработок, и денег он не получал, умудряясь жить в Соединенных Штатах почти по-коммунистически, то есть брал вещи в магазинах по мере надобности, а компания оплачивала присланные магазинами счета. В выигрыше были обе стороны, всяк по-своему: «Дженерал электрик» сэкономила на содержании талантливого ученого, имевшего скромные привычки, а Штейнмец тратил минимум времени и усилий на удовлетворение материальных потребностей.

Фигура Штейнмеца выглядит курьезно в эпоху товарно-денежных отношений, но безразличие к материальному богатству даже и теперь встречается довольно часто, гораздо чаще, чем нам представляется. Для людей, всерьез захваченных творческой потребностью, деньги и сегодня играют лишь подсобную роль в расчетах с миропорядком. Способность-потребность к созиданию, словно два огромных крыла, крепнущих с каждым взмахом, переносят человека в новую — нормальную, по моим понятиям — систему ценностей, где перед всеми прежними ощущениями начинает выступать властное ощущение крыльев. Творец находит основное жизненное удовлетворение в процессе созидания, а не в денежном выражении результата. Деньги ему, известное дело, нужны и удобства нужны, но не столько *за* работу, сколько *для* работы. Ему жизненно необходима возможность развиваться, тянуться к максимуму своих способностей — такова теперь его ведущая потребность. При счастливо складывающихся отношениях между способностью и потребностью счастлив и творец: здесь копится главное его богатство, и здесь же согласно с евангельской заповедью скорбит и радуется сердце человека.

Конечно, я привожу здесь творца как бы в чистом виде, в идеале. На самом деле между творческой захваченностью и потребительской умеренностью, конечно же, нет жесткой связи. Но ведь в духовной сфере и вообще нет причинно-следственных связей жесткого типа, подобных механическим, где нажимаешь на рычаг, и по этой причине что-то перемещается в заданных пределах. В духовной жизни причина соединяется со следствием посредством влияния, предпочтения; здесь причина, проникая в атмосферу человеческого самочувствия, меняет состав атмосферы и тем влияет на принятие решений. Здесь достаточно степеней свободы, чтобы человек не был рабом обстоятельств, но связь между причиной и следствием всё-таки есть, она неуничтожима, и чем значительнее причина, тем она влиятельнее. И мы несколько не преувеличим, сочтя творческую пару «способность-потребность» причиной более чем влиятельной, способной буквально преобразить атмосферу человеческого существования.

Человек не множество потребностей, которые нужно удовлетворить, а кладезь энергии, которой нужно дать выход, — так или примерно так сказал Джеймс Макферсон, и, по-моему, прекрасно сказал, потому что увидел человека со стороны его высших способностей и потребностей.

А более подробно соотношение способностей и потребностей человека можно представить следующим образом.

В каждом из нас есть целых три уровня способностей. Три этажа. И каждый этаж имеет свои отношения с потребностями.

На первом размещаются те, что выработаны ходом эволюции животного мира, и здесь каждая способность изначально действует в паре с одноименной потребностью. Мы родились и выросли с этой парностью и, когда вдруг чувствуем потребность идти «до ветру», то не задумываемся, есть ли у нас такая способность. Потребности и способности на уровне физиологии — две стороны одной медали, и при условии нормального здоровья все мы — медалисты от природы. А если я родился слепым или

ослеп, оглох от жизни, то есть потерял какую-либо способность из первого этажа, оторвал ее от потребности — мне приходится мучиться и всеми силами и средствами восстанавливать единство.

На втором, промежуточном этаже располагается огромный набор наших способностей к работам разной степени сложности, начиная от нулевой интеллектуальной отметки («бери больше, кидай дальше») и кончая довольно высокой, но всё еще поддающейся механизации. Это наши способности к рутинной, шаблонной деятельности, для которой вообще-то безразлично, кто ею занимается: человек или робот. Последний даже предпочтительней, поскольку меньше устает и ошибается. Но надо сказать, что и мы, как правило, безразлично, без особых симпатий относимся к этому этажу своих способностей. Они вроде как не наши, не родные, потому что «всехние», безличные. Вот они-то и впрямь существуют в нас отдельно от потребностей, не находя себе пары. И, увы, при нынешнем состоянии общества, при сегодняшней воспитательно-образовательной системе, подавляющее большинство из нас вынуждено зарабатывать на пропитание именно этими безличными способностями второго этажа, тягостно влача дни в «царстве необходимости» и вкушая марксистское «отчуждение личности» в полной мере.

Но есть в человеке и третий этаж способностей — творческий уровень, небо наших пристрастий: художественных ли, технических, каких угодно: та область, где наши способности вновь соединяются с потребностями, но уже не на биологической основе, а на сугубо человеческой, духовной. Подчеркиваю: этот этаж есть у всех людей и он не может быть пустым, он может быть только нераскрытым, невостребованным. Не верьте тому, кто скажет, что вы совершенно бездарны, не верьте даже самому себе: у каждого из нас, если хорошо поискать, откроется способность — и не одна! — готовая обняться с потребностью, и вот эти-то потребности и составляют благо, о котором беспокоился Лев Николаевич Толстой.

Разумеется, предложенная схема многое оставляет за кадром. Она умалчивает о том, что и в любой творческой работе есть рутинная составляющая, свисающая на второй этаж, а почти в любом шаблонном труде присутствует толика творческого подъемного элемента, проникающего на третий. Не учитывает схема и исторических превращений: когда-то изготовление простейшего рубила было делом творческим, а теперь тяпки выходят из-под штампа. Но схема и не обязана учитывать всего. Для данной стадии нашего разговора она вполне достаточна. Нам важно понять, что благодаря способностям-потребностям третьего этажа человеческая жизнь из скучной череды дней превращается в их яркое чередование, которое, в конце концов, и признаешь счастливым. И, оказывается, это уже не только составляющая твоего личного счастья, но и частица блага общества, потому что наши творческие потребности не уменьшают, а увеличивают общественное богатство; не присваивают, а производят. Человеку творческому не приходится преодолевать себя, чтобы принести пользу обществу, не приходится метаться между личными и общественными интересами: на третьем этаже наших способностей-потребностей личные и общественные интересы естественным образом совпадают.

Отсюда любопытно взглянуть на печальную пока судьбу коммунистического уравнения «От каждого по способностям, каждому по потребностям». После краха реальных коммунистических систем уравнение это в очередной раз отставлено за неразрешимость: считается, что всем по потребностям все равно никогда не хватит, сколько свои способности ни надрывай. Оно и верно, но верно для наших способностей второго этажа, для бесчеловечных порядков, где на хлеб зарабатывают с отвращением. Если же подставить в уравнение те значения, о которых мы только что говорили, — оно становится практическим тождеством, и не где-то в запредельном коммунистическом далеке, а в обозримом будущем, и даже в нашем греховном, болезненном настоящем. Потому что уравнение это решается не в канцелярии

общесоюзного или общероссийского распределителя, а в душе каждого отдельного человека. Оно может быть верно только в расчете на личность.

Если ребенок за время школьного воспитания, пока в нем еще не изжито детское творческое стремление к освоению мира, пока личность не захламлена, не заколочена крест-накрест досками взрослой рутинной жизни, найдет себе занятие по сердцу, — считай, что он сделал решающий шаг не только к своему счастью, но и к общественному идеалу социальной справедливости. Тогда и общество, если оно инициировало творческие способности школьника и дало ему возможность дальнейшей специализации, дальнейшего самосовершенствования, приблизилось к тому же идеалу на одну человеческую личность, сделало пусть маленький, но верный шаг к своему благополучию. То есть туда, где каждый трудится по своим высшим способностям и таким образом удовлетворяет свои основные, ведущие потребности, совпадающие с потребностями общества. Общественный идеал, сомкнувшийся с личными идеалами, становится достижимым. Цель вернее всего достигается, становясь средством своего достижения. Настойчиво, умело воспитывая в детях их личные способности, мы как раз бы действовали средствами, сделанными из материала цели: закладывая основу благополучия личности, укрепляли бы фундамент общественного блага.

Когда труд объявляют «делом чести, славы, доблести и геройства», — можете быть уверены — это труд подневольного народа, труд через силу. Творческий же труд — дело любви. И только такой (любимый, счастливый) человеческий труд надежно обеспечивает обществу динамизм и процветание.

Подсказки природы

Воспитание — значит питание способностей ребёнка, а не создание тех новых способностей, которых у него нет.

Джузеппе Мадзини

Что такое взросление человеческого общества? Это постепенное изменение его сознания в ходе многовековых трудов по освоению окружающего мира, в ходе общения — увы, часто нелюбезного, а то и кровавого — людей с людьми, народов с народами. Это самый сложный процесс, страшно медленный и болезненный, потому что никаким иным методом взросления, кроме метода проб и ошибок, человечество, похоже, не располагает, никакого учителя, воспитателя сверх себя не имеет. Учение Иисуса Христа, даже если не сомневаться в его Божественной сущности, получено европейцами в несовершенной передаче людской, и далее бесконечно интерпретируется в меру человеческого разума. Все школы и университеты, все руководящие и воспитательные центры всегда рождались и действовали внутри человечества, то есть общество *самовоспитывается*.

Иное дело — взросление особи, духовное возрастание личности. Оно складывается из взаимодействия двух запрограммированных процессов, не зависящих (или почти не зависящих) от воспитываемого. С одной стороны, действует биологическая программа увеличения мозга, усложнения нервной системы, то есть программа созревания, изменения *возможностей* научения растущего ребенка, обусловленная генетически, присущая всему виду «человека разумного» независимо от национальной или расовой принадлежности. Эта программа не подвергается заметным мутациям и не меняется уже десятки тысяч лет: возможно, со времен появления кроманьонца. А с другой стороны, на ребенка действует окружающий мир, и, в частности, наша социально обусловленная программа воспитания и обучения детей, значительно меняющаяся вместе с нашими представлениями о мире и человеке. Метаморфозы этой, зависимой

от исторически меняющегося общества, программы нам довольно хорошо известны. Но что мы знаем о программе созревания, обусловленной генетически?

Оказывается, тоже не так уж мало. Благодаря достижениям науки последнего столетия выяснено, что младенчество, детство, отрочество и юность можно рассматривать как цепочку так называемых «критических периодов», во время которых ребенок наиболее чувствителен, восприимчив к тому или иному виду воспитания, научения. Именно в «свой» критический период определенное научение наиболее эффективно: до этого периода любая тренировка мало что дает, а после него соответствующий орган или функция постепенно утрачивает восприимчивость, пластичность, и чем больше времени прошло после критического периода, тем более затруднительным становится научение.

Наиболее яркий пример — критический период освоения родного языка. Это возраст примерно от полутора до четырех-пяти лет. За это время ребенок без всяких видимых усилий набирает большой словарный запас и достигает довольно высокого семантического уровня (то есть, приобретает способность понимать значения слов, неразличимых по звучанию, но имеющих разный смысл в зависимости от контекста), и уже сам строит фразы согласно синтаксису, «изобретая» при этом порою свежие, забавные словесные фигуры. Но если мы на это время изолируем ребенка, вырвем его из естественной языковой среды, как это бывало с реальными маугли, — поезд, как говорится, уходит. И чем дальше, тем больше малыш теряет свою генетически запрограммированную способность; язык ему уже дается с трудом. Хорошо, что такие выпадения случаются исключительно редко, и поэтому обычно у детей нет проблем с освоением основного обиходного языка, хотя никто их специально не учит. Они и без какой-либо нашей целевой программы научаются разговору (грамотному или безграмотному — это уж полностью зависит от окружения). Здесь критический период совпадает с подачей учебного материала. Ребенок и сам нас поторопит, растормошит своими бесконечными вопросами, а своего не упустит — научится вовремя. Если же он родился в двуязычной семье, то заодно, опять же без особого труда, освоит и второй язык, переняв любое произношение, хотя бы и оксфордское.

О чем это говорит? О том, что если мы хотим быстро и без особых мук научить наших детей разговорному иностранному (а почему бы нам этого не хотеть?), то не нужно делать никакого перерыва между освоением языка родного и неродного. В три года, когда ребенок уже достаточно хорошо говорит по-русски, критический период его лингвистической компетенции еще далеко не закончен. Вот тут и следует без промедления подверстывать новый языковой материал. А мы, в общем-то неплохо зная об этих детских лингвистических способностях (ведь положительных примеров хватает не только в истории), до сих пор не можем приладиться к ним и обрекаем ребенка на многолетние школьные — да только ли школьные! — пожизненные мытарства.

О других же критических периодах воспитания и обучения общественность наша — впрочем, и не наша тоже — имеет довольно туманные представления. Мы и сами не получали, и детям нашим не даем духовной пищи, соответствующей возрасту. Отсюда, из этого педагогического тумана и прорастают неисчислимые наши беды. От семейных до глобальных.

Попробуем хотя бы в самых общих чертах обозначить всю цепочку критических периодов, и мы увидим, насколько созревание соответствует научению, насколько генетически запрограммированный «спрос» на духовное развитие ребенка удовлетворен — или не удовлетворен — нашим современным педагогическим предложением.

Начнем с самого начала.

В материнском лоне зародыш, в ускоренном варианте, движется магистральным путем эволюции животного мира. Здесь он воспитывается, научается биологической

природой: сознание будущего человека растет вместе с изменением форм эмбриона. Если на этом этапе и есть какие-то критические периоды развития (наверное, есть), то с ними разбирается всё та же природа: созревание и научение находятся в одних и тех же руках. Родительские права и обязанности (равно как и возможности) в деле духовного взросления внутриутробной личности минимальны. Родителям достаточно вести приличный образ жизни, памятуя: «в здоровом теле — здоровый дух». К человеческому зародышу этот извращенный перевод латинского стиха вполне применим.

С появлением ребенка на свет диктат биологической природы постепенно ослабевает, и заботы о воспитании сознания переходят к родителям, к обществу. Поначалу, правда, дитя и само неплохо «знает», *что* ему нужно делать для развития. Все эти судорожные подергивания, попытки скрюченными пальчиками ухватить или уцепить что удастся: хоть погремушку, хоть папенькин нос, невзначай оказавшийся над кроватью; эти зигзагами бегающие зрачки младенца, с трудом находящие предмет, — всё это активный рост сознания во взаимодействии с доступным ему миром, самый фундаментальный критический период — период сенсомоторного развития. Но одновременно в ребенке формируется поистине судьбоносное доверие (или недоверие) к окружающему его миру.

Эрик Эриксон (1902—1994) — знаменитый американский психолог и психотерапевт, создатель психосоциальной теории жизни человека — рассматривал чувство глубокого (базисного) доверия в качестве фундаментальной психологической предпосылки всей жизни. Это чувство формируется на основании опыта первого года жизни ребенка и превращается в установку, определяющую его отношение к себе и к миру. Под «доверием» Эриксон подразумевает доверие ребенка к себе самому и чувство неизменной расположенности к нему других людей — это краеугольный камень здоровой личности.

Чувство доверия почти не зависит от проявлений родительской нежности; скорее, оно связано со способностью матери передать своему ребенку чувство узнаваемости, постоянства и тождества переживаний. Оно не рационально. Это еще не отношение к действительности, а отношение в действительности, то есть отношение, реальное, а не воображенное, не вымышленное, не отрефлексированное чувство. Оно возникает при непосредственном контакте с матерью, в ее присутствии. Более или менее достоверно можно судить о его возникновении по «комплексу оживления» у ребенка, когда у него появляется настоящая улыбка. Это происходит после трех недель жизни. До этого, по мнению психологов, связь ребенка с матерью носит «биологический характер», но после первой улыбки, которой дитя встречает уже знакомое лицо матери, эта связь приобретает «моральный» — скажем шире — духовный смысл.

Мая Ивановна Лисина (1929—1983), наш выдающийся детский психолог, называет время с 21-го дня жизни ребенка (появления первой улыбки) и примерно до конца полугодия жизни *золотым веком общения*. Он золотой потому, что за общением еще нет никаких задних мыслей, умыслов. Оно еще не диктуется другими потребностями и мотивами. Оно само есть потребность и мотив. Лисина называет его «чистым общением», которое осуществляется в диапазоне одних только положительных эмоций.

Ненадежность, несостоятельность матери и отвергание ею ребенка являются причиной первого серьезного кризиса детского развития. Его следствием становится уже не просто недоверие, а появление установки страха, подозрительности, опасение за свое благополучие. Данная установка распространяется как на мир в целом, так и на отдельных людей. И она будет проявляться на более поздних стадиях психического развития. Психические травмы, нанесенные ребенку в младенческом возрасте, тормозят развитие личности уже на старте.

Это глубоко понимал и выразил детский доктор, воспитатель и директор «Дома сирот» Януш Корчак, добровольно вошедший в газовую камеру Треблинки, чтобы до последнего вздоха не расставаться со своими воспитанниками. Еще во время Первой мировой войны он написал книгу «Как любить ребенка». Эту небольшую, но удивительно емкую, поэтичную и вместе с тем наполненную уроками повседневной практики общения с младенцем книгу я советую всем родителям, особенно матерям, родившим первенца. И тот же Корчак, наблюдая сирот, высказал наболевшее: убежденность в необходимости общественного контроля над рождаемостью.

Прислушаемся к его словам: «Вот тебе задание: сдать экзамен на право иметь ребенка, получить аттестат зрелости на воспитание потомка... Чтобы открыть ларек с газированной водой, нужны разрешения, справки, квалификация, основной капитал, контроль. Экзамен на парикмахера, сапожника, трубочиста, пряничника, сановника. Пятнадцать лет рабского учения в школе, чтобы под строгим контролем, в соответствии с предписаниями работать по своей профессии; а тут — как ни в чем не бывало, первый попавшийся, последний из последних становится отцом, делает шаг в бессмертие — строит будущее».

Корчак таким образом высказал и наше наболевшее. Позволяя многожды рожать заведомо опустившимся женщинам, мы лишаем ребенка права на родительскую любовь. С другой стороны, мы урезаем еще и его право на любовь к родителям, то есть делаем изначально несчастным. Такой судьбе, пришибленной в самом нежном, зачаточном состоянии, уже обычно не удастся воспрянуть, несмотря на государственную и общественную поддержку. До сих пор страна полнится беглыми детьми и всякого рода детскими домами, от которых тоже веет бесприютностью. И пора хотя бы из чувства самосохранения решиться на жесткие меры, попытаться приостановить поток этих фатально, неисправимо порченных судеб, захлестывающих нашу страну.

Где-то на шестом месяце наш ребенок начинает активно лопотать, «вокализировать». Это созревают основы его лингвистической компетенции. Причем некоторые исследователи утверждают, что дети в возрасте пяти-шести месяцев произносят звуки *всех* человеческих языков, какие только есть на Земном шаре. Во всяком случае, можно не сомневаться: перенеси мы ребенка в этом возрасте из русской избы, скажем, в китайскую фанзу или эскимосское иглу к приемным родителям, и вскоре он, будучи русским по происхождению, запросто начнет изъясняться на китайском или эскимосском, то есть на том языке, который слышит. А если он слышит сразу два, три языка, то и осваивает все сразу. Он, конечно, не лингвист, он — «язычник-профессионал». Расцвели его творческие способности называть мир; его память, его фонетический аппарат устроены в этом возрасте специально для освоения языков, и ребенок чувствует это, знает о своих успехах, и они еще подогревают рвение ребенка, усиливают его творческую потребность. В этом возрасте, если дитя здорово, если окружено любящими родителями, — у него есть все составляющие счастливой жизни, все три основополагающих любви: к семье, к творческой работе освоения мира и к самому миру, который пока еще во многом и состоит из семьи и ничем не успел разочаровать ребенка. Оставим пока в стороне уродливые семьи и беспризорщину — они требуют особого разговора. В нормальной же семье ребенок, подобно библейским перволюдям, помещен в раю.

Но тут же, в этот счастливый для ребенка период лингвистической компетентности, педагогическая практика наносит первый серьезный удар по перспективам растущего человека. Наступает первое крупное несовпадение между созревшими творческими способностями ребенка и общественными воспитательскими установлениями. Они не дают ребенку-«язычнику» нового лингвистического материала для успешного, радостного труда. Это все равно как в момент наивысшего творческого

взлета отобрать у художника кисти, краски, холсты, то есть лишить его любимой работы. Разница лишь в том, что ребенок не знает, чего он лишен, не подозревает о резком сужении перспектив своей будущей судьбы. Он готовно и, по видимости, безбедно переключается на другие игры, на другие занятия, а великолепный языковой аппарат остается почти невостребованным, крутится почти вхолостую. Ребенок не знает, *что* у него отняли, но мы-то знаем, должны знать, что в эпоху глобальных коммуникаций хорошее знание языка международного общения необходимо; знаем и то, что разговорный язык легче всего дается в младенчестве. Знаем, но не даем, и — если называть вещи своими именами — совершаем тем самым первое серьезное преступление против человеческой личности.

Первое, но, как вы, наверное, уже догадываетесь, не последнее.

К шести, семи годам, на фоне постепенно затухающего периода лингвистической компетенции, начинается критический период эстетической компетентности растущей личности. До того рисование, лепка, танцы и прочие артистические упражнения не столько развивают ребенка эстетически, сколько помогают успешному завершению стадии сенсомоторного развития. А начало школьного возраста как раз совпадает с моментом созревания ребенка для артистических штудий, что и подтверждается практикой приема детей в музыкальную школу. Но сегодня музыкальное образование — удел микроскопически незначительного меньшинства, причем удел тяжелый, сверхурочный, излишне специализированный, а потому обычно и нелюбимый ребенком. Урочная же школа вместо того, чтобы воспользоваться созревшими структурами детского восприятия и воспроизведения музыки, живописи, танца, художественного слова, вместо того, чтобы сделать начальное обучение эстетическим в самой основе, где и чтение, и письмо, и необходимые начала математики росли бы из той же эстетической почвы (можно ведь прекрасно освоить арифметику через музыкальный счет), — сегодняшняя школьная педагогическая практика враз отказывается от детсадовской и спешно окунает детей в абстракцию иксов, игреков и прочих холодных прелестей рационалистического тренинга.

Это и есть второй капитальный, еще более тяжелый удар по человеческим способностям и перспективам. Целый спектр их, едва ли не самая крупная и важная область способностей человеческой личности в момент созревания не получает внимательного первоначального развития и постепенно зарастает бурьяном. Даже если когда-нибудь позже человек и обнаружит в себе непогибшие ростки художественных способностей — их весна прошла согласно закону критических периодов, время упущено. И потеря не только в том, что в человеке, возможно, погиб большой художественный талант. Еще большая беда, что в нем остается недоразвитой эмоциональная сфера, без чего дальнейшая жизнь обедняется во всех отношениях.

Василий Васильевич Зеньковский (1881—1952), религиозный философ и выдающийся педагог русского зарубежья, определяя иерархический строй человеческой души, пишет: «Центральное значение в жизни души принадлежит эмоциональной сфере...» «И в жизни интеллекта, и в развитии и росте воли необходимым (*предусловием*) является богатая, яркая и здоровая эмоциональная жизнь. Если этого условия нет налицо, интеллектуальные процессы текут вяло, поверхностно, формально, процессы воли обрываются, оставляя решения не доведенными до конца». «*В конституции души ее здоровье определяется здоровьем эмоциональной сферы, и это означает иерархический примат этой сферы*. Как сердце есть орган, без которого замирает жизнь организма, тогда как устранение или ослабление других органов всё же не грозит жизни, так в конституции души эмоциональная сфера определяет основной тон жизни...»

Но и это неучастие нынешней школы в эстетическом (а значит и в эмоциональном) развитии ребенка еще не последний удар, не последний барьер, который ставит социально формулируемая программа обучения на пути развивающейся личности.

Примерно к десятилетнему возрасту на фоне всё продолжающейся эстетической компетентности в детской психике созревают структуры этической компетентности. Что это значит?

В литературе по психологии публикуются результаты исследований знаменитого американского специалиста Лоуренса Кольберга (1927–1987), планомерно, на протяжении всей своей творческой жизни изучавшего изменения нравственных позиций личности по мере ее взросления. Систематизируя ответы разновозрастных детей на вопрос, чем они руководствуются, что главным образом влияет на их поступки, Кольберг выделяет три основных возрастных уровня нравственности.

Первый уровень — преднравственный (примерно до десятилетнего возраста). На нем дети ведут себя в зависимости от вознаграждения или наказания, следующими за их поступками, и в соответствии с сиюминутной пользой, которую могут извлечь. Точка зрения других людей в расчет еще не принимается. К десяти же годам ребенок переходит на второй, так называемый конвенциональный уровень, когда человек начинает уже придерживаться условной роли, ориентируясь на принципы тех людей, которые заслуживают его уважения, преклонения. И только после 16–17 лет у детей появляется психическая возможность и потребность перейти на третий уровень нравственности, основанный на своих собственных критериях, вырастающих из рассудочной деятельности.

Какой воспитательский вывод следует из исследований Кольберга? Они говорят прежде всего о том, что генетически обусловленная программа психического созревания ребенка требует, чтобы приблизительно к четвертому году школьного обучения эстетическая доминанта образования и воспитания переходила в этическую. Этого ждет природа подросткового детства. Не находя полноценной нравственной воспитательной пищи в школе, подросток начинает питаться отбросами двора, потому что вовсе голодать он не может. Несовпадение генетически созревших этических запросов ребенка со школьной программой наносит третий, часто решающий удар по его будущему, отвращая не только от школы, но подчас и от легального общества вообще.

Вот это уже беда полная. Потери наши на подростковой стадии обучения столь же опасны, сколь и неисчислимы.

К 13–14 годам, когда психические структуры подростка созревают до готовности к абстрактному рационалистическому мышлению, то есть оказываются наконец совпавшими с формой практикуемого ныне школьного преподавания, дети уже в большинстве своем не любят общеобразовательную школу. Они или бросают ее при сколь-нибудь удобном случае, или домучивают по обязанности, зная, что без аттестата карьера их будет корявой, социум их отвергнет.

Отсюда разве можно обвинять наших детей в небрежении школой? Даже если ты родился ангелом во плоти, — всё равно невозможно без существенных потерь выдержать многолетнее измывательство над естеством детства.

Абрис нового просвещения

Реформировать мир — это значит реформировать воспитание.

Януш Корчак

Цель воспитания — человеческая цельность, в этом были уверены все прежние культуры. Но каждая культурно-историческая эпоха понимала и образовывала цельность человека по-своему, в соответствии со своим духовным возрастом. Античность «лепила» растущего ребенка по законам «красоты», и воспроизводила человека «цельноэстетического». Средневековое общество трактовало цельность как тотальное подчинение «добру», и сразу же окунала человека в атмосферу послушничества, воспроизводя всецело «человека верующего», боящегося отпасть от Бога. Идеологи же Нового и Новейшего времени пытались создать целиком рационалистически мыслящего индивида, вызывая к рационализму воспитуемого прямо с младенчества.

Надо сказать, что в каждой из трех типов европейских школ есть частица правды неуязвимой. Так программа античной школы для детей 7—10 лет была близка к тому, что действительно требуется ученику младших классов, а психологический климат средневекового просвещения, не удовлетворяя критическим периодам раннего детства, безошибочно действовал на подростковой стадии взросления. Но понятным становится и то, что ни одна из прошлых стратегий школьного воспитания, включая, конечно, и сегодняшнюю, не совпадала сколько-нибудь близко с цельным природным (или Божественным, как вам привычнее) замыслом о развитии человеческих способностей.

Последовательность критических периодов взросления похожа не столько на цепь, сколько на пирамиду, где основанием служит период сенсомоторного развития, на нем располагается период лингвистической компетентности, а уж из него вырастает, на нем зиждется надстройка из трех друг за другом созревающих компетентностей: эстетической, этической и теоретической. Разумеется, эта пирамида не похожа на детскую игрушку. Она — живая, и каждый новый период зарождается в глубине предыдущего и во взаимодействии с ним. Причем, если последовательность и продолжительность критических периодов от воспитателей не зависит, то насыщение воспитующим материалом зависит напрямую.

Можно сказать так: природа (или Бог) задает *форму* воспитания, а содержание вкладываем мы. Наша воспитательская задача — соответствовать Божественной форме взросления человека. При точном попадании мы сохраним в ребенке человека задуманного, созданного, любящего свои созревающие способности, а значит, любящего и воспитателей и свою школу, и весь постепенно расширяющийся для ребенка окружающий мир.

Не хотел бы повторяться, но нам очень важно понять: каждый критический период — это неповторимая, уникальная историческая эпоха в жизни ребенка, когда рядом с созревающей способностью к эстетическому или этическому развитию есть и *готовность* ее развивать, то есть ребенок готов (пусть он сам и не знает об этом, но он готов) создать ту самую ведущую пару «способность — потребность», которая захватит его до глубины души. Пусть не на всю жизнь, а до появления следующей, более сильной творческой пары. Но это и есть наша стратегическая воспитательская цель: соответствовать очередному критическому периоду развития личности, своевременно инициировать созревающие способности-потребности школьника, поддерживать его постоянный счастливый интерес к своему внутреннему потенциалу. А он у человека поистине неисчерпаем.

И вот что очень важно.

Актуальную стратегию школьного воспитания неустанно подсказывает нам природа. Всякая живая особь в процессе зарождения и развития как бы повторяет в общих чертах — в свернутом виде — всю эволюцию своего рода. И человек, будучи существом биологического происхождения, не исключен из универсального правила. В материнском лоне зародыш, как вы помните, формируется, «воспитывается» биологической природой: он сжато, ускоренно, в несколько месяцев проходит миллиардолетний путь эволюции, становясь последовательно рыбкой, амфибией и т.д., вплоть до появления на свет в образе человеческого детеныша. Здесь диктат биологической природы постепенно ослабевает, но это значит — подчеркиваю! — должен набирать силу диктат нашей социальной природы, истинно человеческой; значит, мы, воспитатели, должны перенять эстафету и провести ребенка теперь уже по пути социальной, культурной эволюции человечества. А ее, нашу социальную эволюцию, нашу социальную природу демонстрирует история человеческой культуры. Ее этапы я более подробно и доказательно описал в статье «Вызревание будущего» (июньский выпуск журнала «Дружба народов» 2019 года). Это три примерно равных по времени периода самовоспитания человечества: эстетический, этический и теперешний, рационалистический. Они соответствуют трем критическим периодам детства, являются

коллективным выражением нашей взрослеющей человеческой сути. И, чтобы стратегия просвещения совпала с Божественным промыслом о ребенке, надо обеспечить, подставить воспитаннику три равновеликих школьных ступени: эстетическую в детстве, этическую в отрочестве и рационалистическую в юности. Это и есть нормальный, естественный порядок развития личности, благодаря которому каждый критический период школьного детства окажется в наиболее благоприятной атмосфере и принесет со временем зрелые культурные плоды. Этот образовательный процесс и окажется практическим выявлением и собиранием в человеке его эстетических, этических и познавательных возможностей, то есть сведением воедино Истины, Добра и Красоты, выражаясь символически.

Ребенок расположен к такому порядку воспитания всем существом своим. Он всегда был расположен именно так — и двадцать, и десять тысяч лет назад — но только по истечении рационалистической эпохи развития человечества становится понятной наша человеческая суть. Теперь мы можем подступиться к подлинно гармоническому воспитанию своего потомства. Рано или поздно к сходному пониманию подойдет всё человечество. Жизнь заставит.

Итак, что конкретно требуется от школы, направленной к новому идеалу культурного воспитания, к Новому Просвещению?

В дошкольном и раннем школьном детстве сознание ребенка еще мифологично, рассудок еще не созрел к выполнению логических операций. Не готово еще к стойкому упрочению и этическое, волевое начало. Зато мы вполне можем рассчитывать на чувствительность детей в этом возрасте. Они еще буквально по-язычески воспринимают мир, готовы сочувствовать и деревцу, и ручью, не говоря уже о зверушках; и мы обязаны утвердить ребенка в столь прекрасном ощущении сопричастности природе, развить и облагородить естественный дичок всеми доступными нам эстетическими методами: музыкальным, художественным, литературным, театральным.

Первые четыре года обучение-воспитание в школе надо сделать эстетическим по преимуществу. Воспитатели этой стадии должны иметь базовое музыкальное или художественное образование, знать английский язык и практическую детскую психологию, владеть компьютером, уметь преподавать письмо и арифметику, любить природу и литературу. Детские группы на эстетической стадии смешанные, не более 10—12 человек в классе, чтобы воспитатель не терял из виду ни одного ребенка. Пол воспитателя на данном этапе школы не имеет значения, лишь бы человек был честен и душевно относился к детям, к своему делу. Расписание занятий свободно, оно составляется самим воспитателем по мере внутренней надобности. Нередко практикуются встречи двух классов, совместные занятия двумя группами (одновозрастными, но разными по специализации — для расширения горизонтальных связей, и разновозрастными — чтобы малыши ощущали перспективу, тянулись к ней). Письмом, чтением, арифметикой, литературой (в основном, сказочной, анимистической на этой стадии) дети овладевают под руководством того же воспитателя, и он же ведает английским, начатки которого уже даны в детском саду. Приходящий преподаватель здесь понадобится разве что по физкультуре, но еще лучше, если сам воспитатель освоит методику физической подготовки детей, которая в школе должна иметь характер игровой, оздоровительный. Вспомним, о чем говорил неповрежденный стих Ювенала: «Надо молить, чтобы ум был здоровым в теле здоровом...»¹

Разумеется, я рисую очень приблизительный облик начальных классов будущей школы. Воспитание — живой всенародный процесс и уже потому плюралистичный. Но он и не разномыслие без берегов, не разброд по типу крыловских лебедя, рака и щуки. Такого безудержного плюрализма в общеобразовательной школе не должно быть.

¹ Перевод Ф.А.Петровского.

Свобода в пределах выбранной стратегии — вот школьная — да и только ли школьная! — норма. А новая стратегия начального обучения — в его эстетической основе. Музыкальный инструмент, мольберт станут столь же привычным в интерьере класса, как и классная доска. Занятия учеников начальной школьной ступени, обобщенно говоря, — симбиоз артистических штудий с чтением, обучением письму, счету, языку (русскому и английскому), природоведению. И, по возможности, взаимопроникновение всех этих предметов, чтобы ребята изначально понимали, чувствовали, что жизнь едина, что и музыка не может обходиться без арифметики, и природа теснейшим образом связана с человеком, с его культурой в самом широком смысле этого слова.

Построенный таким образом курс начального просвещения даст ребенку все необходимые на этом этапе знания, а кроме того, путем многочисленных проб будут прояснены художественные предпочтения и дарования воспитанников, которые в дальнейшем смогут развиваться в студии при школе или вне ее. Но даже если организованное эстетическое воспитание ограничится и четырьмя годами, человек на всю жизнь сохранит заинтересованное отношение к искусству, к художественному творчеству вообще. Не истребится уже вкус ребенка: слух, зрение, чувства, воспитанные красотой, и это ему непременно пригодится в дальнейшем. И ему лично, и обществу. Недаром в Японии говорят: сделай страну рисующей, и она будет самой передовой страной в мире.

Примерно в десятилетнем возрасте, как мы уже узнали, ребенок переживает перемену психического состояния — вступает в критический период этической компетентности. В этом возрасте душа подростка созревает к готовности найти себе идеал для подражания, и задача школы — дать ему на этом этапе истинно авторитетного воспитателя.

Обучение становится раздельным — этого требует фактура взросления, специфика пробуждающегося пола. Класс мальчиков (опять не более 10—12 человек) находится под руководством «рукастого» наставника-мужчины, я бы сказал — рыцарского склада, а девочки оказываются под крылом женственной строгой наставницы. Раздельность воспитания (именно и только на «средневековой», этической стадии школы) способствует постепенному возникновению в мальчиках и девочках платонизированного, возвышенного отношения к противоположному полу. Такое отношение во многом разрушено сексуальной революцией, но ведь романтическая влюбленность — это естественная величественная подъемная сила духа, влекущая на стезю жизненных достижений ради любимого человека. Сублимированный эрос, — как выразились бы специалисты, — есть энергетическая база культуры, — и воспитатель-мужчина призван передать мальчишке, кроме ремесловых основ, нормальное преклонение перед женщиной, а девочка под неусыпным оком классной дамы должна будет освоить бесчисленные женские премудрости, подготовить себя к будущей роли вдохновительницы, невесты, хозяйки и матери.

На этой стадии школы важнейшие черты воспитательского облика — нравственная определенность, умение, не педалируя обстановки, прорабатывать в группе всевозможные поведенческие коллизии, требующие от учеников сознательного этического выбора. Владение английским, компьютерными программами, знание подростковой психологии нужны воспитателю и здесь, но совершенно необходимыми становятся «золотые руки» и «умное сердце» наставника, а также его способность сориентировать детей в литературе и истории. Причем, на передний план теперь выходит литература противостояний, борьбы добра и зла, пласт рыцарско-приключенческой литературы, неизменно находящей отклик в гулкой душе подростка, и, наконец, пласт романтической. История детям этого возраста должна даваться в рассказах, в событиях, беллетризованно, увлекательно, потому как легче всего оттолкнуть ребенка от учебы сухостью изложения. Повествования о былом несут

здесь не столько познавательную функцию, сколько всё ту же нравственную: история наряду с художественной литературой, наряду с личным примером воспитателя способствует становлению в мальчишках рефлексов чести, мужского достоинства, готовности встать на защиту слабого, быть щедрым, милосердным. А девочкам литература и история подросткового цикла поможет привить вкус к добродетелям, издавна присущим прекрасной половине человечества.

Приходящих преподавателей становится на этой стадии все больше, но методика нынешних предметников нуждается в пересмотре. Подростку очень важно проверить полученные знания на практике. Без этого топлива, по себе знаю, познавательный интерес ребенка затухает. Поэтому преподавание, с одной стороны, должно опираться на бытовую жизнь, на лабораторные и внеклассные занятия, а с другой стороны, необходимы обзорные уроки, рисующие разнообразную творческую деятельность современного человека. Не многоэтажные математические дроби, вытасненные из XVI—XVII веков, не псевдосистематическое изложение основ естественных наук следует давать подростку, а развернуть перед ним образную, возможно более полную панораму трудящегося, ищущего человеческого общества, чтобы ко времени окончания этической стадии школы он обязательно влюбился в какое-нибудь дело, нарисовал бы в воображении свою будущую дорогу. Классный наставник и здесь призван сыграть главную роль: протестировать каждого подопечного сердцем своим; понять, расшифровать — с помощью специалистов, разумеется — влечения и способности подростка, принять участие в первых его шагах на пути к выбранному делу.

Этический фазис школы призван решить две основные задачи: во-первых, оформить нравственные требования ученика к самому себе, то есть вырастить «фигуру совести», и, во-вторых, дать обильную, разнообразную пищу для грёз о будущей доле.

Примерно к четырнадцати годам рассудок ребенка, созревая, приближается к взрослому состоянию, способному к логическим умозаключениям и построению гипотез. Пришла пора рационалистическому школьному фазису, и отныне нам следует разворачивать перед учащимися проблематику жизни во всей ее многоцветной неоднозначности.

Обучение с 9-го класса вновь становится совместным, как и на эстетической стадии, но теперь уже мальчики и девочки увидят друг друга новым зрением, преображенным школой отдельного воспитания. Наполняемость класса к этому времени может быть доведена до двадцати человек и более.

Основной обязательный курс, проводящийся в старших классах ежедневно и неукоснительно, — история мировой культуры в ее полном значении, то есть сразу три истории: материальной, духовной и общественной культур человечества в их взаимодействии, в их единстве. Параллельно с основным курсом, в перекличке с ним идет курс российской истории, заканчивающийся в выпускном классе постоянно обновляемым сосредоточением современных проблем региона, республики, федерации и мира в целом.

На протяжении всей рационалистической стадии школы читается также курс мировой и русской литературы. Вводятся и специальные ознакомительные чтения по истории коренных жителей данной территории и по истории сопредельных народов. Остальные занятия факультативны, их набор и содержание уже зависят от воли учащихся, направленной к выбранному делу, и от условий приема в специализированные учебные заведения.

Рационалистический — трех или четырехлетний — фазис школы призван развить в юношах и девушках ощущение масштабности и живой значимости мирового культурного процесса, заразить общечеловеческой тоской по лучшей жизни, проникнуться необходимостью участия в общенародном движении посредством своего любимого дела.

Русский язык самым словом «человек» недвусмысленно говорит нам о главном назначении человека. Ему назначено быть «челом века», интеллектуальным лицом столетия. А в слове «человечество» слышится «чело вечности» — передний край культурной эволюции.

Организованная на предлагаемых стратегических началах школа, где на равных правах с рационалистической будет действовать и этическая, и эстетическая подготовка к жизни, станет настоящей школой Истины, Добра и Красоты, желанным домом ученика. А любовь к школе за 10—12 лет просвещения естественным образом расширится до любви к миру.

В завершение статьи приведу слова академика РАН Зинченко Владимира Петровича (1931—2014), психолога, одного из создателей инженерной психологии в России: «За восемь десятилетий мы перебрали уже все возможные и невозможные "ценности": электрификация, коллективизация, индустриализация, химизация, мир, война, кукуруза, целина, космос, всеобщая компьютеризация и другие виды сизифова труда. Сегодня на наши головы свалился свободный рынок. Не приходит в голову лишь то, что лежит рядом, чему действительно стоит помочь. Не хотим тратить на обучение и воспитание — тратим на перевоспитывание. МВД по расходам давно переплюнуло образование, здравоохранение и науку, вместе взятые. Это тот случай, когда слепой и глупый платит не дважды, не трижды, а многократно. Чем не национальная идея — поддержка становления и развития разнообразных форм образования, поддержка здравоохранения и интеграция всего общества на этой основе? А образованные и здоровые граждане России как-нибудь сами сообразят, в чем состоят их подлинные ценности. Заботясь об индивидуальной свободе, индивидуальных возможностях, индивидуальном успехе (это, между прочим, и национальные, и общечеловеческие ценности) они не забудут взрастившую их страну. Мы все помним, что Родина начинается с картинки в моем (а не в чужом) Букваре, и вовсе не с национальной идеи»¹.

¹ В.П.Зинченко. «Психология доверия». — Самара, 2001.

«В тех местах тогда не было Бога...»

*О романе Леонида Тишкова «Взгляни на дом свой» размышляют
Ольга Бугославская и Наталья Игрунова*

Ольга Бугославская

Умоляю, посмотрите финал...

Роман Леонида Тишкова — еще одно произведение на тему восстановления памяти и осмысления личного опыта, относящегося к советскому времени. Еще одно в очень длинном ряду. Наиболее заметным и резонансным в нем стала семейная история Марии Степановой «Памяти памяти». В текущем году вышли две книги, перекликающиеся с романом Тишкова, — роман Владимира Сотникова «Холочье. Чернобыльская сага» и сборник Анатолия Курчаткина, в который включена повесть «Реквием». У Тишкова главный герой, он же рассказчик, мысленно возвращается в город своего детства на Урале, узнаваемые приметы которого практически исчезли. Тот же мотив исчезновения присутствует в романе Сотникова: автор тоже вспоминает свое детство в селе Холочье, которое в буквальном смысле было уничтожено Чернобыльской катастрофой. Повесть Курчаткина посвящена в том числе воспоминаниям о жизни на Урале в советское время и вспышке онкологических заболеваний, связанных с захоронением под Челябинском радиоактивных отходов. Авария на «Маяке» — один из эпизодов романа Леонида Тишкова.

Роман Тишкова устроен интересно и сложно. Повествование ведется то от первого лица, то от третьего и переключается со стилизованного сказания на сюр и фантастику, с фантастики на мемуары... В романном мире живые люди, будь то целый народ или отдельный ребенок, взаимодействуют прежде всего не с себе подобными, а со стихиями и предметами — горами, снегом, окнами, ковриками, фотографиями... Самое первое такое соприкосновение, в рамках творимого писателем мифа, оказывается болезненным и порождает в людях ужас: «Эти сидящие вокруг меня люди зовутся уральцами, есть такая нация в России, и никак ее не спутаешь с какой-нибудь другой... Когда-то до своего поселения на Урале, они были русскими людьми... но когда притащили тела их на Камень, положили на мох под скалами реки Чусовой или реки Серги, они открыли глаза и вдруг испугались нависших над ними темно-зеленых еловых лап, ощутили жгучий холод серых камней, услышали недовольный ропот

лесных птиц, да так и остались жить здесь тем первым страхом внутри души... Тот древний сермяжный страх Камня и есть главная отличительная черта уральского народа». Переселенцы, выброшенные на камень, напоминают о фантастических рассказах об освоении далеких и чужих планет.

Живые люди трансформируются в предметы — клубочки из полосок ткани, из которой была когда-то сшита их одежда, в фотографии, растения...

Рассказчик начинает говорить от третьего лица, когда описывает себя маленького, свои детские впечатления и игру детского воображения. Это и есть основное пространство фантастики и сюрреализма. Из детских ощущений автор исключил и выраженный страх, и явную радость, что сделало их слегка заторможенными, холодноватыми и отстраненными, как будто все, что фиксирует детское сознание, происходит где-то в царстве теней.

Странные существа водолазы, которые на глазах у мальчика «вынесли белое тело призывника Володи Солохина и положили его на ярко-зеленую травку», — медиаторы между Верхним и Нижним мирами: «У водолазов нет родины... Переходя с места на место, гнездясь где попало, обживаясь на косогорах, строя убежище на краю оврага, водолазы не думают о будущем их поселений... Как ты не маячь перед водолазами, не размахивай на бугре ярким флагом своей страны, не ори «кричалки» своего футбольного клуба — никто не обратит на тебя своего внимания. Только потом, по прошествии нескольких лет, ты поймешь, что тебя видели, о тебе знают, тебя даже полюбили...»

В этой книжке есть картинки, рисунки самого автора, но почти нет разговоров. Практически все действующие лица безмолвны. Ни с кем не разговаривает главный герой — ребенок по имени Леонтий. Молчит его отец, поскольку не хочет рассказывать о пережитых ужасах. Безголосые сюрреалистические водолазы в своих скафандрах... Здесь «пусто и темно», «темно и тихо», господствуют «мрак и холод» — то ли Земля, то ли открытый космос.

Сквозь пробивающиеся через пелену времени воспоминания и фантастику, переходящую иногда в галлюцинаторный морок, проступает действительность, их породившая. Появляются реальные люди из прошлого — дед, отец, одноклассники... — а вместе с ними — истории репрессий и насильственных переселений начала войны, немецкого плена и советских фильтрационных лагерей, засекреченной аварии и радиационного заражения, сломанных и страшных судеб. И здесь возникает впечатление, что между авторским замыслом и воплощением возник некоторый зазор. В романе чрезвычайно важна идея большого времени, вечности, всеобщего незримого единства, памяти, неочевидных связей между всем и всеми. Наиболее зримо эту мысль иллюстрирует один из немногих образов, который автор постарался сделать теплым и по-домашнему нежным, несколько даже с этим пережав: «Но все-таки самый главный подарок от матери — как раз Вязаник. Этот неуклюжий длинный костюм из порванной одежды моей родни стал мне как оберег, оденешься в него, весь скроешься в пестрых лентах, посмотришь на мир сквозь переплетения ткани, и мир станет совсем другим, каким-то нездешним, будто ты — это уж не ты, а существо, рожденное из вечности, из уральских легенд и рассказней созданное». Так что единство и связи вроде бы существуют и что-то созидают: «Все здесь едино: море, мать, материя, maris, matris, materia...» Иной раз в довольно мрачное повествование вдруг вклиниваются отчетливые мажорные ноты, спетые во славу вселенской гармонии: «И земля ответила ему любовью, той самой любовью, которая потом вырастет цветами, деревьями, грибами, мхом, бабочками, кузнечиками, ящерицами и всем живым, что исходило всегда из земли. И еще она одарит Леонтия своей силой, той самой родной силой, из которой он сам произрос, откуда он появился со всеми своими живыми и мертвыми».

Идея единства воплощена и на конструктивном уровне, где аллегории, метафоры, иносказания, погружения в сюрреализм с переходом в воспоминания и прочий нон-фикшн дополняют друг друга. Автор, будучи не только писателем, но и художником, ту же идею реализовал и в иллюстрациях к роману, а также подкрепил высказыванием в интервью, данном по случаю открытия персональной выставки: «Мы уходим из дома, возвращаясь Домой. В этом доме все было как тогда, но все иначе, — все освещено светом вечности, светом всепрощения. В этом мире вечных возвратов в любом явлении настоящее есть прошлое и будущее, есть то самое вечное». Иными словами, замысел состоит именно в том, чтобы примирить всех со всеми в пространстве вечности.

Но здесь возникает большая проблема. Абстракции — вечность, всепрощение, гармония и т.д. — всегда выглядят крайне слабыми и малоубедительными по сравнению с конкретной бедой, страданием, смертью. Истории расстрелянного в 37-м году деда и попавшего в немецкий плен отца, а также связанные с ними образы безымянных могил и уничтоженных кладбищ весят так много, что совсем не оставляют пространства для жизнеутверждающих мотивов. Когда эти мотивы все же возникают, вместе с ними появляются эмоциональный дисбаланс и противоречие: автор декларирует всеобщее всепрощающее единство в вечности, а большая часть текста свидетельствует как раз ровно о противоположном — о полной безвозвратной потере опор и связей, не говоря уже о такой важной составляющей мировой гармонии, как справедливость. Понимаешь, что автор вместе со своим героем очень хочет взлететь, а груз, который он при этом пытается поднять, слишком тяжел и не пускает его. Но писатель, несмотря на это, делает вид, что полет состоялся.

Кроме того, как мне кажется, для сюжетов, связанных с дедом и отцом, не вполне достаточно сугубо личного и абстрактно-философского контекста, в который они помещены. Публицистический ракурс тоже необходим, иначе возникает ощущение некоторой недоговоренности.

И последняя придирка: в самом финале автор окончательно отказывается от конкретики и заводит речь о каких-то совсем уж неопределенных вещах — реке света, которая течет где-то «там»: «Нас там не было, уже не будет, но когда-нибудь придут туда другие люди. Возможно, придет Леонтий, приду я, но мы этого никогда не узнаем, потому что свет — это река, которая течет всегда в одну сторону». О том, чего «мы никогда не узнаем», лучше вообще не упоминать. Это смазывает впечатление от очень хорошей в целом книги.

Леонид Тишков. ВЗГЛЯНИ НА ДОМ СВОЙ



Что так тянет меня сюда, в мой, собственно, дикий малолюдный край, где зима длинная, как Казанская железная дорога, а лето коротко, как жизнь воробья. Сирое место, убогое, втиснутое в узкую долину извилистой реки, перегороженную плотиной, возведённой для нужд чугунолитейного производства. Сам посёлок вырос вокруг завода, как полип вокруг камня, отовсюду видна высокая кирпичная труба, иногда изрыгающая «лисий хвост», иногда чёрный дым. На эту трубу, как на штырь, насажен посёлок, мой родной городок, где я родился и вырос.

Кадр из видео «Снежный ангел». 1998



Нижние Серги, вид с Больничной горы



Моя уральская родня на свадьбе двоюродного брата Бориса. Я в центре, мне шесть лет, надо мной старший брат Валерий, мать в темном платье в верхнем ряду справа, отец уснул на пригорке, выпивши, поэтому в кадр не попал. 1959 г., берег Верхнего пруда, город Полевской, Свердловская область.



Моя мать с ковриком собственной работы в доме в Нижних Сергах.



Вязаник — мифопоэтическое существо, созданное двумя главными составляющими моего искусства: феноменами времени и места. Овеществленная память: старая одежда моей семьи, разорванная на «махорики» — ленты, хранит тепло людей, живших в моих родных местах. Народное ремесло — вязание ковриков — становится ритуалом возвращения духов предков, соединение множества душ в спираль вечности, в «кокон памяти».

Леонид Тишков. Вязаник. 2005. Фотография



«Портрет матери на фоне ковра» и Леонтий, кукла для спектакля «Вязаник». Выставка «Взгляни на дом свой», 2017, Арсенал, Н. Новгород



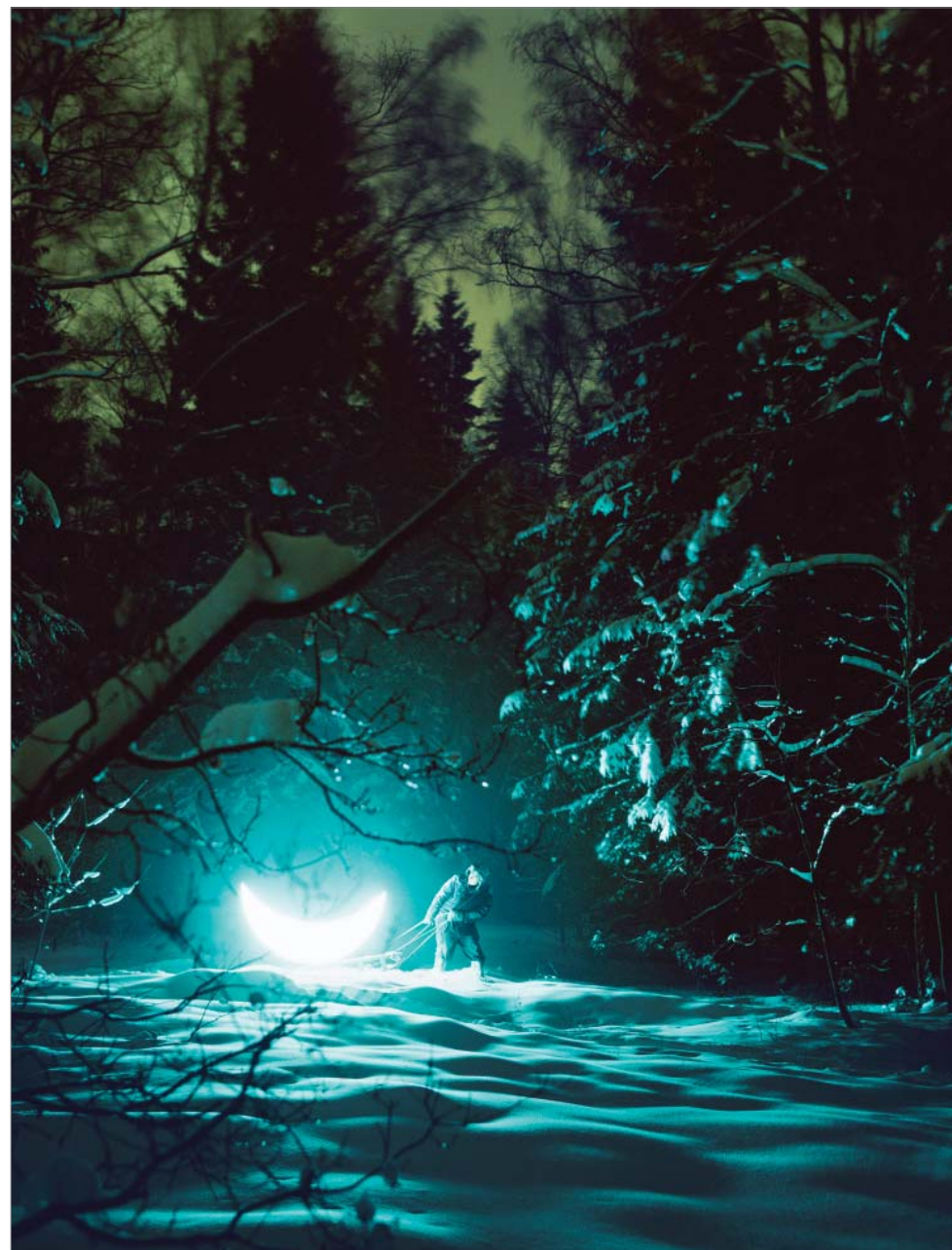
Пруд и гора Кукан, под которой на улице Нудовской стоял мой деревянный дом.



Сквозь паутину линий я увидел карты земель, где обитают Водолазы. Линии горизонтов очерчивали страну водолазов со всех сторон. Каждую секунду она меняла свои очертания. Стоило только водолазу пройти два-три шага — посмотреть в сторону дымчатых сопок, как начинали небесные картографы стирать ластиками прежние границы, наносить новые, потом опять стирать и вымарывать, и так бесконечно, превращая карты в грязные лоскуты, в пыль, оседающую на дороги.

Я увидел Солнце водолазов — оно восходило над морем — черное и, в то же время, светящееся.

Водолазы. 1993-2009. Бронза, лампа, резиновый шланг. Крокин-галерея



«Частная луна» — визуальная поэма, рассказывающая историю человека, который встретился с Луной и остался с ней на всю жизнь. В верхнем мире, на чердаке своего дома, он увидел Луну, упавшую с неба. Когда-то она пряталась от солнца в темном влажном тоннеле, ее пугали проходящие поезда. Теперь она пришла к человеку в его дом. Укутав Луну теплым одеялом, он угощает ее осенними яблоками, пьет с ней чай, а когда она выздоровела, перевозит на лодке через темную реку на высокий берег, где растут лунные сосны. Он спускается в нижний мир, облачившись в одежду своего умершего отца, а отом возвращается оттуда, освещая личной Луной дорогу. Переходя границы миров по узким мосткам, погружаясь в сон, оберегая небесное тело, человек превращается в мифологическое существо, живущее в реальном мире как в волшебной сказке.

Частная луна. 2003. Фотография Л.Тишков и Б.Бендилов



Есть в этом альбоме фотография родителей, сделанная весной 1941 года перед их свадьбой в городке Белая Церковь на Украине, куда отец был призван на военную службу. Отец в форме младшего лейтенанта артиллерийских войск, мать в белой блузке и темном жакете, и вторая фотография, того же времени, мать одна, с той же причёской, но в берете. Фотография матери вся в заломах, один уголок оторван, а на обороте её рукой написано: «Эта фотография прошла всю войну 1941-1945 г».



Время как толща воды, чем больше проходит, тем неразличимей дно, на котором лежат камушки. И я поднял горсть пуговиц, как со дна пруда камушки, поднёс к своим глазам, и они стали близки мне, потому что каждая стала рассказывать историю. Так появилась «Великая Панагия, или Ярославская Оранта», сложенная мной из этих пуговиц, как мозаика. Долго выклеивал, подбирая пуговку к пуговке, чтобы светилось все, переливалась красками. Висит она на стене, как память о наших матерях, а под ним круглый коврик с шерстяным младенцем.

Воссоздание образа из частиц утраченных жизней. 2007. Пуговицы, клей, видео



Пуговица отца. Бронза. Инсталляции «Умань». 2017



Двор был весь чистый и белый от выпавшего снега, дворник собирал его фанерной лопатой, обитой жестью, в холмики у забора. Много холмиков, сотни и тысячи холмиков вокруг, десятки тысяч могилок без имени, без фамилии, без крестов и камней, просто холмики, запорошённые снегом, по всей России окружают меня, под каким из них лежит мой дед Иван Григорьевич, разве возможно понять.

Безымянная. 2019. Ковер, дерево. Музейный комплекс им. Словцова. Тюмень



Фотографии из семейного альбома проявлены мной на батисте, лёгкой ткани, которую очень любила моя мать, в её шкафу когда-то висели два ярких платья из этой материи. Я взял ножницы и приступил к работе: мои родные, я сам, кто-то, кого я не помню или абыл, стали исчезать, разрезанные, разорванные, разделенные на ленты, чтобы потом свернуться в клубки. Вот висят под потолком все мои уральцы, вниз спускаются дорожки, нити, связующие их с землёй, на ней лежат клубки, из которых будут вязаться будущие коврики, вяжутся коврики. Так начинается бесконечная работа, простой домашний труд, чтобы в нашем доме не зябли босые ножки детей.

Инсталляция «Клубки памяти». Выставка «Взгляни на дом свой». Арсенал, Н.Новгород. 2017

Наталья Игрунова

След ушедшего дома

«Я — рассказчик», — говорит о себе Леонид Тишков. Вот и свой роман он начинает не писать, а рассказывать, словно размышляя вслух:

«Что так тянет меня сюда, в мой, собственно, дикий малолюдный край, где зима длинная, как Казанская железная дорога, а лето коротко, как жизнь воробья? Сирое место, убогое, втиснутое в узкую долину извилистой реки, перегороженную плотиной, возведенной для нужд чугунолитейного производства. Сам поселок вырос вокруг завода, как полип вокруг камня, отовсюду видна высокая кирпичная труба, иногда изрыгающая «лисий хвост», иногда черный дым. На эту трубу, как на штырь, насажен поселок, мой родной городок, где я родился и вырос.

Зачем я еду в этом холодном скрипучем поезде? Увидеть родной дом? Но один, первый, уже сгнил и сломан, второй еле виден из-за сугробов, синяя краешком наличника, третий еще стоит, крепкий, как гриб боровик, обляпанный темно-серым цементом, куски которого отваливаются, как старая короста с кожи больного, оголяя кирпичи. В нем давно живут незнакомые мне люди, даже деревья, растущие рядом с ним, не узнают меня...»

Вопросы, на которые он будет пытаться ответить на пространстве двух сотен страниц этой книги.

Поездка — одна из — выпадает на февраль. Сутки на фирменном поезде «Урал» (дорогом, как говорила ему мать, не чета проходящим), купейный вагон, влажное, пахнущее хлоркой белье, светлые шторы с красной рябинкой, убегающий за окном уныло однообразный придорожный пейзаж. Пересадка на местный. Зажатый в руке билет, закомпостированный пахнущей углем и машинным маслом женщиной-контролером. Коричневая картонка с аккуратно пробитыми дырочками — билет до детства, пропуск домой.

История возвращения рождается из тьмы, безмолвия и страха: черный от мазута паровоз, «темные» люди-уральцы — хмурые попутчики-пассажиры на до блеска отполированных задами деревянных лавках, ранние зимние сумерки, низкие горы, жгучий холод серых камней, темно-зеленые лапы елей, неизживаемый страх тайги и обитающих в чаще духов, запорошенный паровозной сажей снег...

В детстве тоже становилось темно и тихо, когда наступала зима и день и ночь, не переставая, падал снег. «Образ снега — самая сильная “вспышка” в памяти». Но снег детства — дружелюбный, он словно бы приподнимал все вокруг — дома, деревья, собак, он пел под ногами восторженно и нежно, «вознося прохожих на небольшую, но все же высоту». Тот «всеобъемлющий» снег и был — детство, «иначе говоря — счастье».

Так будет и дальше — мир отразится в глазах ребенка и взрослого: мальчика Леонтия из заводского уральского городка, живущего вместе с родителями и двумя старшими братьями в доме рядом с опушкой леса, и московского художника, после школы уехавшего из родного дома, отучившегося на врача, сменившего профессию,

уже весьма немолодого, потерявшего родителей и по негласному уговору ставшего семейным летописцем. Юному Леонтию отведена роль мифографа. Конструкция, продуманная до мелочей и тонко рассчитанная: правила игры и расстановка фигур всякий раз зависят от фантазий Леонтия-младшего и жизненных обстоятельств, в которые попадает Леонтий-старший. В глазах у младшего — любопытство, изумление, переполняющий душу и тело восторг от красоты распахнутого перед ним мира, страх перед неизвестным, жажда полета. За плечами взрослого — заземляющая череда будничных забот, попытки воплотить в художественных проектах свои детские фантазии, неизбежность трагических открытий и потерь и опыт благодарной памяти.

Всегда легче объяснить что-то новое, поставив в некий ряд.

Кажется — с этим романом все просто. Первое, что напрашивается — ряд книг о личной памяти и большой истории, роман-воспоминание: один из типичных советских заштатных моногородов 50—60-х годов, жизнь «рядовой» семьи школьных учителей, которую не обошли ни война, ни репрессии тридцатых. Но даже при предельном расширении — до автофикшн — туда не помещаются персонажи и сюжеты, которые помечены Леонидом Тишковым в его авторском жанровом определении как роман-фантазия.

Оказывается — рядов может быть много.

Название напрямую отсылает к автобиографическому роману Томаса Вулфа «Взгляни на дом твой, ангел». Слово «ангел» Тишков опускает. Но на обложке от нас удаляется явно не юный уже человек в ватнике, ушанке и валенках — по колено в снегу и с опустившимися крыльями за спиной. Стеб, конечно, однако ж — крылья... Только выясняется, что за Вулфом стоит Мильтон, из «Люсидаса» которого тот взял образ. Имя Мильтона мгновенно ассоциируется с потерянным раем, а это одна из важных тем романа Тишкова. И вообще, обложка не нарисована специально для книги, проиллюстрированной автором, это кадр из видео, снятого им в 1999 году...

Прозаический текст пронизан стихами. Так задается еще одно измерение, выстраивается вертикаль. А питательный «сор» для стихов может быть сколь угодно случайным.

Скажем — обнаруженные в «сарайке» картонная коробка с елочными игрушками и старая крестовина, куда набились сухие иголки: «Перед Новым годом отец отправлялся в лес за ёлкой./ Выбирал не особенно долго, лес был рядом, и ёлок/ там было видимо-невидимо./...Я надевал валенки на босу ногу и выходил на неё/ любоваться./ Вдыхал запах оттаявшей хвои»... И что это был за год, когда осыпались иголки, если до сих пор на ладони видны черные пятна въевшейся смоляной крови?

Отыскавшийся стальной крючок, которым вязала цветастые коврики покойная мама, вытягивает цепочку рода и судьбы: «...воздушные петли в рядок за рядком/ полустолбик без накида/ и опять столбик за столбиком пока не/ сотрётся/железный крючок пока не загнётся чугунный/ посох/ пока не сносятся свинцовые башмаки на дороге/ жизни/ мы придём к последней дорожке иного мира/ там нас встретят наши матери и отцы/ и примут нас в свои объятия./ Что там, какие новости спросят нас,/ не засохли цветы на подоконнике? Не залили/ дожди огород?/ Крыша не прохудилась? Дети здоровы?/ А вы чо сюда пришли? Пошто здесь оказались?/ Вы умерли, ли чо ли?»

Детское фото из старого альбома запускает подчеркнуто-непафосную рефлексию мироустройства:

...наших лиц не разобрать бумага в пупырышках
но вижу что мы тогда были не то чтобы
счастливы
но живые мы стоим руки в карманах и смотрим
в объектив
кто же нажал на затвор фотоаппарата? Витя
Кривошеев?
Нет, тогда его не было с нами. Бог? Нет,
откуда там Бог
в тех местах тогда не было Бога
по крайней мере я не помню такого.

И эти стихи из романа с неизбежностью пополняют для читателя ряд из «Доктора Живаго» Пастернака, Набоковского «Дара», да хоть бы и «Элементарных частиц» Уэльбека.

Когда же читаешь про то, как однажды зимой заболевший ангиной Леонтий сидит на табуретке у окна, разрисованного ледяными цветами, вспоминается «Вино из одуванчиков» Брэдбери, его волшебный мир, вырастающий на обочине привычной жизни. Вот Леонтий растопил немеющей от холода ладонью маленькую лунку на стекле и смотрит на улицу. Пробежала незнакомая коричневая собака, женщина-почтальон в длинном черном пальто достала из пузатой сумки на плече и просунула в щель почтового ящика газету «Уральский рабочий» и журнал «Работница». Смеркается. И вдруг в окно постучал снеговик, царапает по стеклу веточкой-рукой, подмигивает угольком глаза, зовет на улицу. Во дворе Леонтий не находит ни снеговика, ни собственного дома. Вместо стен дома — вихрящиеся снежные столбы, вместо крыши — черный прямоугольник неба. Окна висят в темноте, освещая пространство теплым желтым светом. За одним из них — мама, хлопчет над плитой, жарит шанежки...

Юный Леонтий — несомненная родня Дуга и Тома. Но между ними так и норовят втиснуться хармсовские персонажи. Леонтий, в лопатки которого зубами вцепились огромные пестрые крылья, наглухо захлопывающий над собой крышку подпола, чтобы спрятаться от грозы, повстречавший помороженного ангела и наткнувшийся в зимнем лесу на огромный снежный человеческий желудок, — такая же близкая родня (и чем старше он становится, тем ближе) и героям рассказов Хармса: тому, кто забирается в сундук, чтобы понять, можно ли жить без притока воздуха, и тому, кто вынимает из головы шар, и тому, кого считают рыжим, хотя у него вовсе нет волос... К Обэриутам отсылают и откровенный опознавательный знак — эпитафия из Введенского к заключительной главе романа, и постоянные переключения мировидческого и эмоционального регистров повествования, и ощущение, что привычная, вечная жизнь превращается в руины...

«Возможно, я не тем в жизни занялся, нужно было быть связанным с литературой...»

Автор романа «Взгляни на дом свой», как и его взрослый герой, — художник.

По образованию — дипломированный врач, работал по специальности.

С 1980 года — получается: сорок лет — свободный художник. Это принципиально, так как не только обозначает основной род занятий и статус, описывает образ жизни, но и — в случае Леонида Тишкова — являет собой точный психологический портрет.

Начинал как карикатурист, много работал как художник-иллюстратор — здесь показателен круг писательских имен и выбор книг: «Мы» Замятина, «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Война с саламандра-

ми» — эти иллюстрации к Чапеку хранятся в Третьяковской галерее, иллюстрации к Сочинениям Козьмы Пруткова — в Музее редкой книги РГБ (бывшей Ленинки).

Персональные выставки в США и Франции, Венесуэле и Швеции, в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде...

Из аннотаций и справок: «Творчество московского художника Леонида Тишкова по своей природе не поддается категоризации» (разброс экспертных меток — от «постмодернист» и «последователь трансавангарда» до «превратил искусство науки в свою метафору» и «главный сказочник современного российского искусства»); «Леонид Тишков — неоромантик постиндустриального общества, использующий в своем творчестве опыт московского концептуализма, но преодолевающий ироническую деконструкцию через новую искренность и поэзию»...

В одном из своих интервью Брэдбери сравнил то, как он пишет, с техникой художников-пуантилистов — наносишь отдельные точки, а потом они складываются в картину: «"Вино из одуванчиков" началось с того, что я написал маленький пассажик о крылечках американских домов. А вторая точка — рецепт, как делать вино из одуванчиков. Его вырезал мой дед из одного журнала, когда мне было три года. Фейерверки, там я не знаю, запуск змея, Хеллоуин, провинциальные похороны — все эти точки мало-помалу населяли полотно, и в один прекрасный день я посмотрел и изумился: "Кажется, я написал картину!"».

То, что Тишков делает как художник, — такой вот «точечный», многосоставный единый медиа-проект, включающий в себя инсталляции, объекты, живопись, серии рисунков, видео, фотографии и театральные перформансы. Собственно, и название книги, и многие темы, сюжеты и персонажи переключались на ее страницы из выставочного пространства. Роман становится частью *мифопоэтического мира*, который всю жизнь создавал Леонид Тишков.

Самые значимые «переселенцы» — Водолазы и Вязаники.

Данные о том, когда он впервые увидел Водолазов, расходятся: то ли в шесть лет, то ли в восемь. Удар наотмашь — они выносили на берег заводского пруда утопленника. Мокрые, золотоголовые, с черной, блестящей от воды резиновой кожей, в медной круглой голове одного «плавала рыба, в голове второго трепетала птица, стуча металлическим клювом в наблюдательное окошко» (недаром, уверяет Тишков, в стародавние времена про сумасшедших водолазов слагали песни). Теперь встречаются не только черные, но и зеленые особи.

У водолазов нет дома — они сами и есть их дом, который всегда в пути, у них нет родины, нет государства, они поднимаются из глубины подсознания, переходят с места на место и «гнездятся где попало», живут самостоятельно. Их уже «мало интересует вода и не заботят поиски человека внутри нее». Шланги связывают их с небом, канаты уходят в вечность. В общем-то все мы — в каком-то смысле водолазы, то есть «живые скафандры»: наше тело — скафандр, нас отпустили на время, размотав пуповину, «иногда только освещается путь впереди, когда Кто-то включает свет». Впрочем, есть водолазы и светоносные, есть и радужные... А когда водолазы умирают, «из шлемов их вылетают яснокрылые птицы и исчезают во мраке ночи». Конечно же — напрашивается: водолаз в скафандре — это человек в футляре. Но как тогда быть с тем, что многие водолазы мечтали стать космонавтами, преодолеть земное притяжение, полететь к звездам?..

По Тишкову Дом — это копия Вселенной. В нем точно так же есть Верхний, Нижний и Срединный мир. В подполе — Нижнем мире — обитают домовые и даже черти. Чердак принадлежит Луне и Звездам, там сушатся простыни света, танцуют в лучах солнца пылинки и воркуют голуби, там обычно поселяются старые игрушки

и рождаются сказки, а ночью оттуда приходят сны. Водолазы — связники между Нижним и Верхним мирами. Срединный мир — это собственно «жилой» дом. Дом людей, цветов в горшках, канареек и кошек. Рядом с ними, в заброшенных сараюшках и баньках обитает и Вязаник — практически домашнее неуклюжее существо с пестрым матерчатым телом, лица не видать, руки и ноги как будто в варежках, но без большого пальца.

Однажды осенью, в лесу недалеко от домов, Леонтий-младший увидит на ветке дерева тряпичную куклу. Усадив ее погреться у костра, он отправился за дровами. Вот тут-то и выскочил из зарослей Вязаник. В обмен на куколку он вложит Леонтию в ладонь маленький, как слезинка, золотой самородок. На следующее лето такие блестящие капельки не раз попадутся Леонтию в лесу, и он будет складывать их в шкатулку, где мать хранила самые красивые пуговицы, срезанные с отслужившей свое или оставшейся от умерших родственников одежды, которую она — по местной традиции — рвала на ленты для вязания ковриков.

Когда матери будет уже за восемьдесят, она по просьбе сына свяжет для него из таких же лент костюм Вязаника: «Этот неуклюжий длинный костюм из порванной одежды моей родни стал мне как оберег, оденешься в него, весь скроешься в пестрых лентах, посмотришь на мир сквозь переплетения ткани, и мир станет совсем другим, каким-то нездешним, будто ты — это уж не ты, а существо, рожденное из вечности, из уральских легенд и россказней созданное».

А когда мать умрет, сын разрежет на ленты-махорики всю ее нехитрую одежду и так же, как делала она, скатает в клубочки, чтобы потом вставить в них фотографии ушедших родных.

После матери останутся два обтянутых зеленым плюшем семейных альбома, почетные грамоты, очки, пронзительный в своей незатейливой лаконичности дневник и банка темно-янтарного рябинового варенья, которая потом будет стоять, так и не открытая, в холодильнике. А еще — отчаянное до слез желание увидеть тех, кого не рассмотрел, не расспросил, оставив частичкой немой вечности, не долюбил — как надо было любить — при жизни...

После отца останутся пальто, темно-синий чехословацкий плащ, галстук в полоску, шляпа из синтетической сеточки и обтянутый черным ледерином картонный чемодан, абсолютно пустой, в углу которого отыщется маленькая, почерневшая от времени, со звездой и серпом и молотом металлическая пуговица от гимнастерки. И сделанная весной сорок первого года, перед свадьбой, фотография матери, вся в заламах и с оторванным уголком — «он вернулся с войны только с этой фотографией, без орденов и медалей, в старой гимнастерке с чужого плеча, без погон и звания: военнопленных не награждали».

Через судьбы родных заходит в роман большая история.

Отец о войне не рассказывал, молчал про окружение, Уманский котел, немецкий плен, несколько концлагерей, фильтрационный лагерь НКВД, куда он попал после их освобождения американцами... Всю историю его войны сын узнал, когда отца уже не стало: «Я нашел фотографию этого лагеря. Несметное количество людей (в докладах немецкого командования фигурировала цифра 103 тысячи советских пленных), скученное, спрессованное в глиняном карьере недалеко от Умани, серая безликая масса, без конца и края, снятая немецким фотографом с немой безразличием, как пейзаж. На ней написано: “Негатив № 1. 13/22. Умань, Украина, страна — Россия. Дата съемки 14 августа 1941 г. 50 тыс. русских собрано в лагере военнослужащих в Умани”».

Главы про отца и деда (про которого выяснится, что репрессирован и расстрелян

был не он, а тезка-односельчанин) вырастают из вещей снов Леонтия-младшего, его путешествия за ковер. Эти страницы, обжигающие беспощадной достоверностью документа, оказавшись встроенными в рамку из сквозного в книге эпоса про Водолазов, в какой-то момент начинают восприниматься как его, этого фантазмагорического эпоса, продолжение. И это очень сильный авторский ход.

Разбросанная по всему роману махориками-воспоминаниями о реальных событиях и людях и о том, что принято называть приметами времени, новейшая история городка, куда везет Леонтия-взрослого поезд, постепенно складывается в реестр утрат.

Улица, где стояли дом Леонтия и — чуть дальше — Дом Приезжих, кузня, Конный двор, где можно было заказать «гужевой транспорт» и взять в аренду лошадь с плугом. Сейчас их нет — Дом Приезжих сгорел, Конный двор превратили в гараж, а от старого, в три обхвата, тополя даже пня не осталось.

Младшие братья матери, приходившие опохмелиться и, сидя на корточках в коридоре, с «беломориной» в зубах, ожидавшие, пока поднесут немного самодельной настойки и на тарелочке еловые грузди, собранные отцом и засоленные матерью в деревянной кадке, со смородиновым листом. Оба дядьки умерли «от сердца», не дожив до шестидесяти. Умер и племянник, которому мать отдала лодку, заказанную когда-то для приезжавших летом в отпуск сыновей. И лодка «закончила свой век, оставив после себя голубое днище, как небесную прореху в земле».

Ветхая «сарайка», где хранились детские валенки Леонтия, колесо от велосипеда его брата Жени, старые журналы и пожелтые газеты, новогодние игрушки... Напрашивалось разобрать ее и вместе со всем содержимым вывезти на выставку. Но однажды в Москву позвонил друг детства и сказал, что там, где она стояла, ничего нет — «ни досочки, ни кусочка шифера, ни тряпочки, ни худого ведерка». Через пару дней на этом месте появился металлический гараж местного начальника МЧС.

Школа, где всю жизнь проработала мать, «дружный коллектив учителей», вместе ходивших по малину и на майские демонстрации, а потом лепивших пельмени. Школу сровняли с землей — и вместе с ней исчезли те учителя, как когда-то Атлантида.

Металлургический завод, давший городу жизнь. Трубы уже не дымят, как раньше, опустели цеха, и металлургом быть уже не почетно, раздувать огненные печи — адова работа. Городок обживают «иноземцы», «смуглое племя пришельцев», им не нужен Завод, и жизнь аборигенов их не интересует. Противостоять пришельцам могли бы разве что Водолазы, но они оставили городок еще до «наступления темных племен», а теперь уже поздно, «процесс необратим».

Полумертвый гигант тащит с собой в могилу все вокруг — город провалился в яму, которую многие годы рыли экскаваторы. Циклопическая красная дыра котлована (вот и еще один отсыл — к роману Андрея Платонова) превратилась во вход в преисподнюю. Немногие спасшиеся собрались на горе Кукан — сером ледниковом камне, и юный Леонтий был среди них и вместе с ними смотрел на страшную картину гибели города. А потом достал из рюкзака свои крылья, закинул за плечи — крылья вцепились в них острыми зубами, расправились и унесли его под самые облака...

...Поезд между тем остановился. Можно сходить, все пассажиры вышли — но уже принято решение: дожидаться, когда свистнет паровоз, пустит пары, — и уехать обратно.

Леонид Тишков складывает свою версию притчи о возвращении блудного сына. Города, где он родился, уже нет, это город-призрак. И того дома, откуда он уходил, —

нет. Как нет и того мальчика-фантазера, который его когда-то покинул. Встреча не состоялась, осталась только память.

Я видел след ушедшего дома в нем зеленее трава
Тени детей мечутся между исчезнувших стен
Где был порог там лежит завернутое в ветошь
Сердце человека.

И все же роман, родившийся из холода и тьмы, завершается потоком света, пусть и нельзя в этот бесконечный поток ступить дважды. И город детства, даже если никто в нем тебя уже не узнает, видится из больницы, куда Леонид Тишков попал нынешней карантинной весной, убежищем. «Для меня это уже рай, — признается он в одном из интервью. — Если бы не было проблем со здоровьем, я бы поехал на Урал. У меня там есть небольшая квартирка в 18 “квадратов”. Я бы замечательно там спрятался. Иногда бы выходил в лес, гулял, рисовал. Я там обычно больше рисую. Для меня сейчас что-то недостижимое оказаться дома. Это спасение. ...Самое лучшее — оказаться дома. Я надеюсь провести карантин в моей московской квартире. Если будет ноутбук с вай-фаем и блокнот, этого достаточно для работы. Я всегда работал на удаленке».

Дом теперь там, где живут вернувшиеся с выставок Водолазы и хранящий мамино тепло Вязаник и где на лоджии затаилась, выжидая момент, чтобы вырваться к себе домой, на небо, Луна, мечтающая залить тревогу и темноту смутного будущего своим волшебным светом.

«Голубое свечение становилось ярче, сильнее, пока не хлынуло, как цунами, сокрушая дамбы, и не затопило Море Спокойствия, заливая синевой каменистую лунную поверхность. А из-за горизонта выкатилась огромная планета и стала подниматься над Луной, как исполинское голубое солнце. ...Солнечный ветер оведал нашу Землю, вспыхивали огни святого Эльма, сквозь разрывы облаков просвечивали лазоревые моря и отчетливо слышались разговоры полужаснувших рыб — такая живая, пульсирующая, наполненная мириадами существ, иллюзорных форм божественного жизнь.»

Тоненький лунный лучик надежды высветит Жену Художника — писателя Марину Москвину (это была цитата из ее «Романа с Луной»). Марина, как обычно, распутывает и вяжет очередной сюжет, героями которого снова будут она сама, ее муж Лёня и сын Серёга (иногда их зовут Кеша и Фима или Крокодил и Птенец, но это неважно) — вместе со всеми Лёниными Водолазами, Даблоидами и Стомаками, с Вязаником и Луной, пуговицами и махориками, воспоминаниями и фантазиями, но теперь еще и с Новой Книгой. И, зная автора, нельзя полностью исключить, что в этом будущем сюжете ее героиня Марина с усмешкой, надежно скрывающей нежность, скажет: «Взгляни уж, наконец, на дом твой, ангел...» Но это уже другая история и другая книга, для которой художник Леонид Тишков обязательно сделает новые рисунки. Ведь возвращаться домой — означает оставаться верным себе.

Ольга Балла

Сны месяца тишрея

Керен КЛИМОВСКИ. Время говорить: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. — 445, [3] с. — (Роман поколения).

Роман русской израильтянки (такое обозначение координат автора условно и неточно чуть ли не до огрубления, но пусть пока, простоты ради, будет так) Керен Климовски, с одной стороны, — хроника общечеловеческого процесса взросления: личностного и социального становления девочки с двенадцати до шестнадцати лет, преодоления очень типичных, узнаваемых трудностей на этом пути. Четыре года — четыре главы, а части притом две, и если три первые главы теснятся в одной части, то последняя — «Время говорить», давшая название всему роману, целиком занимает вторую часть — все двести страниц. Хочется предположить, что это неспроста, потому что главная тема всего повествования — дорастание человека до речи, до позиции полноценного субъекта речи. Автор доводит героиню, начавшую на шестнадцатом году пристально и сложно осмысливать себя в форме писем к безнадежно любимому человеку, до порога юности — и оставляет ее на нем, не разрешившую, в общем-то, ни одного из волнующих ее вопросов (кроме самого главного — о чем ниже), в состоянии сплошной открытой возможности. По существу, это роман, у которого нет финала — а есть остановка на пороге. Но направленное развитие есть точно.

С другой стороны, эта история увидена и осмыслена с позиции довольно нетривиальной в культурном отношении: героиня романа Мишель, она же, по домашнему имени, Мишка, растет в семье «русских» израильтян и таким образом — в постоянном, изначальном взаимоналожении культурных матриц. Надо, правда, признать, что израильские матрицы в случае «сабры» Мишель решительно сильнее; от всего русского тут осталась разве что фамильная память, дальнее эхо, в глазах самой повествовательницы не лишенное странности и чуждости. Мишели еще предстоит во всем этом символическом наследстве разбираться; стремясь лучше понять своего отца, она начнет читать — правда, в ивритском переводе — прежде малоинтересного ей Достоевского и потихоньку до него дорастать, но для нее это будет именно освоением чужого.

«Вот мои родители, например. Казалось бы, уже больше двадцати лет в стране и приехали сюда детьми, а все еще тоскуют по русской осени — с дождями, грибами, опавшими листьями. Причем папа заиклен на грибах. У нас зимой тоже растут грибы — папины друзья собирают. Но папу это не устраивает. Не то, говорит, не те грибы, другие, не такие: где запах детства, запах России, запах русской литературы? Хочется сказать: в твоей университетской библиотеке! Там и сыро, и гнилью пахнет».

Нормальное такое подростковое отталкивание от мира родителей с удивлением его иноустроенности — но здесь перед нами еще и принадлежность подростка и его родителей к разным чувственным реальностям, к разным системам привычек, а отчасти и к разным языкам. Родной язык мамы с папой Мишель как-то знает, но очевидным образом смотрит на него извне, не всегда понимает русские идиомы вроде «после дождичка в четверг», то есть какие-то области родительского опыта остаются для нее непоясненными. Русское душевное устройство тоже вызывает у нее по меньшей мере удивление: «единственное, что я поняла, — говорит она о своих первых опытах чтения Достоевского, — все русские — сумасшедшие, у них полностью крыша поехала». Стоит сразу сказать, что не это станет главным источником движущих роман конфликтов, но свой отпечаток на проживание ситуаций, с этими конфликтами связанных, безусловно, наложит.

Мишель, похоже, в своем преодолении трудностей отрочества окажется более одинокой, чем ее безоговорочно израильские ровесники. Ей придется труднее, чем им.

Кстати, среди них она тоже немного чужая — именно в силу происхождения: «с тех пор, как к нам на голову свалился миллион русских (то есть евреев из России, но в эти детали никто не вдается), русских у нас недолюбливают». Одно только и спасает — то, что имя у нее, странной волею родительских пристрастий, французское. «А когда папа называет меня Мишенькой, у меня все внутри замирает, и никак не могу признаться, что я не только не собираюсь переводить русскую литературу, а даже читать ее не планирую...»

И второе, что стоит сказать сразу: в одном только абзаце о тоске по осени и грибам, почти наугад взятом из самого начала книги для иллюстрации, много достойных внимания наблюдений над, так сказать, сложной психосоматической ситуацией транскультурного человека, над с трудом, если вообще, проявляемой связью между запахами и большими комплексами смыслов — «запах русской литературы»! — над устойчивостью этих связей: они остаются неизменными, даже когда человек провел в иной культурной и природной реальности целых двадцать лет и живет в ней с детства. Вообще, роман хорош еще и тем, что в нем множество таких вот тонких, как бы по краю поля зрения располагающихся наблюдений, способных стать предметом отдельной рефлексии.

Устройство этого мировосприятия, признаюсь, интересно рассматривать само по себе (что, скорее всего, уведет внимание в сторону от основных задач книги). Тут надо помнить, что нетривиальным и экзотичным такой взгляд видится разве что человеку, целиком принадлежащему русской (или какой бы то ни было иной) культуре, — для Израиля с множественностью его культурных истоков и матриц он, надо думать, совершенно в порядке вещей, и героиня романа важна самой Климовски, при всей тонкой нюансировке индивидуальности Мишели, кажется, прежде всего в своей типичности. Но, во всяком случае, для неизраильтян чтение рассказанной в романе истории — в значительной степени открытие и освоение прежде неведомого. Это — во многом иначе, чем у нас, структурированные психологические пространства, иные системы знаков, даже при том, что отсылают эти знаки к совершенно общечеловеческим чувствам, состояниям, смыслам. И это другой чувственный — а вследствие того и эмоциональный, и эстетический — опыт.

«...Все идут в синагогу, и все в белом, — рассказывает Мишель о Судном дне, который, как признается, она любит среди израильских праздников больше всего. — Такая традиция. Представьте: толпы народу — “народ Израиля”, прямо как в Торе, все на улицах, и все в белых одеждах. И эти одежды слегка пузыряются и вздуваются на легком ветру — предвестнике израильской осени, — так же вздуваются и пузыряются белые простыни, вывешенные на просушку в начинающей остывать Иудейской пустыне, где живут папины родители. Вечером, в мягко густеющей темноте на улицах как будто шествие привидений, и белые одежды сияют в полумраке, а когда на них

падает свет фонарей, кажется, что свет струится от самой одежды. А днем... днем плывет караван кораблей — не по морю, а по пустыне: это мы — весь народ Израиля, люди-корабли. И плывем не за угол, не на соседнюю улицу в синагогу, а просто выплываем все вместе в бескрайний и безбрежный мир. И это очень красиво. Правда. Я каждый год этого жду»... «И сны снятся чудесные, сны месяца тишрея, когда жара — отголосок, а дождь — обещание».

Подробности подросткового восприятия мира — именно в израильском их облике, бывшем только там и тогда (а притом сколько узнаваемого!) переданы здесь, насколько можно понять, очень внимательно и точно.

«...Осенью начинается школа, и запах обновления проникает во все предметы: в новые тетрадки и оберточную бумагу для учебников, в пенал, карандаши и гелевые ручки, которыми нам только-только — в шестом классе — разрешили писать. Повезло, конечно, что учебный год начинается осенью, когда уже не так жарко и можно сосредоточиться на чем-то, но все эти запахи сводят с ума, по крайней мере меня. Нам опять, в очередной раз, обещают, что все будет хорошо, что круг завершен: мы вернулись к началу, и так будет всегда — начало года, запах бумаги и учебников, синий маркер на белой доске... Короче, мы все будем жить вечно!»

Керен Климовски, человек нескольких культурных миров одновременно (родилась в Москве, выросла в Израиле, получила высшее образование в Соединенных Штатах, живет в Швеции, пишет на нескольких языках), конечно, отдает себе отчет в острой экзотичности вмещенного в книгу опыта для ее читательской аудитории. Тем более, что роман о жизни, прожитой ею самой на иврите, она написала именно по-русски — на языке своего младенчества и своих родителей. То есть нам с вами в первую очередь она ее и адресовала.

Таким образом, автор заставляет девочку с ивритским языковым сознанием говорить с нами (по идее, с самой собой — текст моделирует ее внутреннюю речь, как бы дневник, только без дат) сразу по-русски, пусть и с ивритскими вкраплениями (*ло нора, хавэр*) — видимо, есть вещи, которые точнее всего оставлять без перевода, в переводе они перестанут быть самими собой. Это интересный опыт, оценить который вполне может, наверное, только тот, кто знает в равной степени оба языка и может их внутри себя соотнести.

Автобиографичность этой истории, конечно, преувеличивать не стоит, хотя некоторые элементы собственной жизненной истории Керен Мишели явно передала. Смысл рассказанного — не в автобиографической рефлексии и уж тем более не в исповеди, но именно в рассмотрении общечеловеческих обстоятельств, антропологических универсалий в их своеобразном преломлении условиями места и времени: Израиля конца 1990-х — начала 2000-х. Здесь важно не столько резко-индивидуальное, сколько именно типичное. Задачей тут явно было осмыслить сразу все: и поколенческие особенности, и израильскую жизнь того времени (которая теперь, на самом деле, уже довольно далекое прошлое), и удел человеческий в его надысторичности и неизменности.

Повествование Климовски выстраивает как цепь травматичных ситуаций, ломающих привычный порядок жизни и тем самым инициирующих растущую девочку во взрослый мир, как последовательность вызовов, на которые Мишели придется искать ответы, да еще такие, чтобы они устраивали не только ее, но и ее окружение. Защищающие границы постоянно рвутся. Жизнь то и дело ломается, прежние представления и привычки обнаруживают свою негодность — надо выстраивать и жизнь и себя заново.

(Кстати, вехи этого пути, наверняка тоже неслучайно, размечены израильскими праздниками, насыщенными символическим значением: от Йом Кипура, Судного дня — дня перелома, границы, дня, в который решается судьба человека по меньшей

мере на предстоящий год, — до Лаг ба-Омера, праздника костров, дня чувства и празднования людьми своей общности и связи.)

Нормальная, опять же, работа взросления. Только, кажется, у Климовски все сгущено с некоторой даже нарочитостью: собраны чуть ли не все кризисные ситуации (каждой — по главе), которые только способны приключиться с растущим человеком. Душевная болезнь матери, ее заведомо неполное присутствие — почти отсутствие в жизни девочки (впрочем, это даже не кризисная ситуация как таковая: это фон жизни вообще и почти всех предстоящих кризисных ситуаций в частности). Мучительное открытие того, что отец матери изменяет. Развод родителей. Уход отца к другой женщине, разрыв с ним и установление отношений заново. Рождение у отца и мачехи младшего братика Мишели. Смерть (да еще самоубийство!) близкой подруги. Новый развод отца — уже с мачехой, с которой вроде бы только-только удалось найти дружеское взаимопонимание. Совсем обухом по голове: едва вернувшаяся к жизни из своей многолетней депрессии мать оказывается лесбиянкой, и это тоже — вместе с новой возлюбленной матери — предстоит понять, принять и вместиť. (У Мишели получилось!) Каждая из таких ситуаций — суть которых в самом общем виде можно определить как открытие других и Другого — означает переход в новый возраст, на новую стадию зрелости. И это еще помимо дружб, соперничеств, очарований и разочарований, влюбленностей, любовей — все более серьезных и все более единственных, вплоть до совсем серьезной любви к очень, очень сложному человеку — с которым до самого конца романа так ничего толком и не устраивается. А ведь есть еще неминуемо проблематичные отношения с собственным взрослеющим телом и понимание сложности человеческих отношений как таковых, и выяснение пределов своих возможностей и источников своей силы и уверенности...

Траектория выстраивается вполне внятная: от совсем еще детской заикленности на себе (роман открывается категоричным заявлением двенадцатилетнего человека: «Может, звучит пафосно, но факт: осенью я отказалась от любви. Думаю, навсегда») — до принятия — не просто любви и ее ценности, хотя речь как будто прежде всего о ней, — но ценности человека и человеческих связей (и это, конечно, и есть тот главный вопрос, до собственных ответов на который Мишели удалось на протяжении романного времени дорасти): «...мы все в чем-то правы, поэтому все заслуживаем любви, даже те, кто не заслуживает, и я уже запуталась, и костер догорает, но я успела, я — Мория Мишель — рассказала костру о главном, безмолвно призналась костру в любви — не к костру, конечно же, а ко всем, кого люблю, и это замечательно, когда у тебя — время говорить и ты говоришь, пусть без слов, когда у тебя “время говорить”, а тебе есть что сказать».

Самое (ладно, одно из самого) интересное и сложное в работе, которую пришлось выполнить автору, следуя за Мишелью в ее взрослении, — это постепенно усложнять внутреннюю речь героини, на которой роман построен целиком, в каждой главе выстраивая ее так, чтобы она соответствовала текущему возрасту девочки, свойственным этому возрасту душевным движениям, речевым обыкновениям. В целом это, кажется, получилось, хотя, опять же кажется, иногда — особенно в первой главе, когда Мишель еще совсем, по существу, маленькая — автор все-таки подменяет ее подростковую угловатую речь своей, взрослой, сложной. Но к последней главе это проходит, и получается совсем аутентичный шестнадцатилетний, еще захлебывающийся и сбивающийся, но уже крепнувший голос.

А Мишель молодец. Мишель справилась.

Борис Минаев

Театр Саши

В «Школе современной пьесы» был когда-то такой спектакль: «По поводу обещанного масла» — стихи о королевском бутерброде с музыкой Сергея Никитина. Небольшая яркая буффонада, актеры пели, гримасничали, паясничали, все было весело и ярко — но главной особенностью спектакля был, конечно, торжественный вынос самих бутербродов с маслом. Они лежали на подносе, аккуратно нарезанные, намазанные и готовые к употреблению. Конечно, в полном зале доставались бутерброды далеко не всем зрителям. Такой материальной возможности, я думаю, у театра и не было. Лишь несколько средних рядов были одарены этой чудесной «материализацией искусства» — дети бросались на них, как подорванные, и пожирали с восторгом. Я, честно говоря, боялся, что в зале возникнет потасовка и что моим Мите и Саше ничего не достанется, увы, — но нам сильно повезло: и сидели мы в правильном ряду, и дети все-таки были интеллигентные, бутерброды не отобрали...

Шли прекрасные и даже местами счастливые 90-е годы.

Еще помню, в Москве стоял нереальный мороз. Под сорок градусов. А у меня как раз были билеты на «Барышню-крестьянку», в театр Ермоловой. В главной роли тогда выступала Кристина Орбакайте (это была ее дипломная работа). Решил взять сына. Ну что делать, надели по две пары штанов, майку под рубашку, рубашку под свитер, и пошли. В зале было, мягко говоря, прохладно, пальцы на руках немного мерзли, на них иногда приходилось дышать. Актеров-то грел внутренний огонь, мы же постепенно надышали тепло все вместе, малый зал, слава богу.

И все получилось хорошо — и у Пушкина, и у Орбакайте, и у нас. Это была очень изящная, органичная работа актрисы, честное слово, жаль, что потом у Кристины с театром как-то не сложилось. Но было в этом морозе что-то русское и классическое, он придавал происходящему какую-то особую реальность, что ли.

Или вот еще воспоминание: «Золотой петушок» в московском ТЮЗе — там дело происходит на лестнице, потом в фойе, детям сидеть надо на подушках, кому-то понравилось, а мои страшно извернулись, потому что им было неудобно. А в целом спектакль Камы Гинкаса был, как всегда, ироничен, ярок, наполнен смыслами...

Текст, режиссура, интонация.

Но, увы, запоминается в детских спектаклях часто совсем другое. Ведь, как правило, зрители здесь — новички. Как воспринимать это искусство, они еще не знают. Театр надвигается на ребенка всегда какой-то неожиданной стороной — запахом, ярким светом, странными криками, неожиданной вещественностью, ощущением опасного и искривленного пространства, страхом и удивлением, неудобством и иногда даже какой-то травмой.

И это нормально, между прочим.

Я очень хотел, чтобы театр моим детям именно запомнился, оцарапал, вошел в сознание с непреложностью факта, а не просто «понравился». И я ждал события, которое могло бы мне в этом помочь.

...Был у меня такой знакомый, Саша Калашников, режиссер народного театра «Бум» из города Кузнецка Пензенской области. Герой моих очерков и мой друг. Это был удивительный человек. Театр «Бум» когда-то был детской студией при доме культуры обувной фабрики, а сам режиссер — типичным для 80-х чудачком, очарованным странником нашей маргинальной, подпольной культуры, мечтателем и настолько искренним идеалистом, что порой просто невозможно было поверить, что все это он говорит всерьез.

Калашников умел очаровывать — на его фестивали уличных театров приезжали и сам Слава Полунин, и коллективы из стран Балтии и Восточной Европы, и разборчивые театральные критики, и кинодокументалисты — чтобы снимать о нем кино. Да и как было не снимать, если Сашин коллектив воплотил безумную триаду — театр на плотках, театр на воздушных шарах, театр на конных повозках, прошедший десятки километров? Правда, последнюю — конную — историю завершить не удалось, помешал путч 1991 года. Поход по деревням и колхозам прервался.

Ну а в начале 2000-х Саша поставил в Кузьминках на пруду городского парка мистерию «Алые паруса». Я не знаю, каким чудом ему удалось выпросить денег на эту постановку у одноименной компании, но это действительно было грандиозно: плоты, фейерверки, команда по синхронному плаванию в виде русалок...

Представление было ночным. Летние ночи в Москве довольно короткие. «Мистерия» начиналась где-то ближе к полуночи и кончалась часа в четыре. Мне, если честно, из всего, что я увидел, больше всего запомнились зрители.

Они пришли из спальных микрорайонов, их были тысячи, они шли и шли, заполняя собой всю окрестность большого пруда, чтобы посмотреть бесплатное шоу.

Эта невероятная масса людей в темноте сама по себе создавала ощущение мистерии. Потом начались взрывы, световые вспышки, все куда-то поплыло и поехало, весь пруд, окруженный людьми, взревел от восторга.

Вообще Саша Калашников был настоящим героем своего времени. Он верил в перестройку как в чудо. Чудо преображения косной, застывшей советской жизни. И считал, что и сам должен совершить чудо. Для того, чтобы воплотить в жизнь свои театральные мечты, он стал депутатом городского совета. Чтобы возить свой театр по стране, купил автобус. И ездил со своими ребятами на этом автобусе по России. Для того, чтобы люди города Кузнецка приобщились к театру, задумал невероятный по размаху эксперимент — не просто театральные фестивали, а целый Театроград, некий парк чудес, с постоянно изменяющейся реальностью. Он сыпал все новыми теориями этой изменяющейся реальности, искал деньги на свой Театроград, сумел даже вырыть котлован и написать смету для строительства, когда окончательно надоел местным воротилам, и они проект закрыли.

«Алые паруса» на пруду в Кузьминках были, наверное, каким-то эпилогом его мечты. Но Калашников продолжал верить, продолжал бороться, и в конце концов сердце его не выдержало.

Он умер очень рано. Трагически рано.

Вообще, конечно, 90-е — это было время мечты. Мечты были главным, может быть, двигателем всего, что тогда происходило, — в экономике, в политике, в культуре. Люди жили мечтами, проектами, несбыточными фантазиями, яркими идеями. Жестокая правда жизни разбивала эти мечты в клочья, в осколки, но люди готовы были ради главного проекта совершать настоящие подвиги. Делать невозможное. Это было время, когда мечты все-таки начали воплощаться. У многих. Калашников был одним из таких людей. Ради своей мечты он попросту отдал жизнь.

...Я помню, как мы с сыном ехали на это представление. Мама провожала нас как героев, выдала бутерброды и теплые кофты про запас, на случай резкого ночного похолодания. Ни кофты, ни бутерброды негодились. Мы взяли такси и мчали

по ночной, затихавшей Рязанке, мимо замиравших домов, мимо дворов, мимо засыпающей Москвы — куда-то к ночному шоу. На край земли.

Мы бродили по берегу пруда, вдыхая прохладу воды, мы ждали, пока плоты наконец поплывут, мы вглядывались в ночное небо и ощущали тайну театра как-то очень конкретно. Она была тут везде. Рядом с нами дышали ожиданием тысячи жителей района Перово.

...Саша заразил нас своей страстью к уличным театрам, и когда в Москве состоялась театральная Олимпиада, мы с удовольствием пошли в сад «Эрмитаж» — смотреть на пожирателей огня, на канатоходцев, на эти страшные маски, на фокусы, на людей, которые встали на огромные ходули, на весь этот язык первоначального театра, который тогда был представлен самыми лучшими своими мировыми образцами.

Собравшись вместе, эти артисты как будто раскачали застывший московский воздух.

Калашников, кстати говоря, входил тогда в команду Полунина — он помогал и отбирать коллективы, и формировать программу мирового фестиваля уличных театров, который тогда назывался почему-то «Олимпиадой». Вообще мне кажется, что эти «клоуны», которых тогда привозил в Москву Полунин — неоднократно, в разные годы, — были каким-то символом времени.

Анонимный, безлюдный, неприглядный, унылый советский город, городское пространство — стало аренной. Аренной для ярмарки, аренной для боев, как в 1993-м, аренной для демонстраций, аренной для нового искусства.

Сдвинулись границы, казавшиеся нерушимыми, расклеились и расплылись формы, казавшиеся незбылемыми.

И Калашников был одним из бойцов этого фронта. Он хотел сделать город театром. И свой маленький город, и огромный город — Москву. Уже работая в Москве, в Союзе театральных деятелей, над программой уличных театров, он продолжал верить в то, что Кузнецк станет театральной столицей, как маленький французский Авиньон, что здесь будет всемирный фестиваль, что его сумасшедший Театроград покорит вселенную.

Но проигрыш Калашникова важнее любой победы. Совершенно не случайно, что он работал именно как режиссер детского театра, что создавал детскую и молодежную студию, что воспитал так много талантливых учеников, что верил в уличный театр как театр новых форм и возможностей.

Придет время, и мечты снова станут основой жизни. Театр снова вернется на улицы. Актеры снова встанут на ходули высоких смыслов.

...Иногда я мучительно думаю, что сделал не так. Ну, понятно — он много раз звал меня приехать на фестиваль, а я не приехал. Все писал какое-то произведение. Он очень хотел, чтобы я снова написал о нем в газете или журнале, я писал — но не тогда и не так, как он хотел. Вот и сейчас пишу невпопад и не вовремя.

Калашников хотел, чтобы я дошел с ним до какого-то самого главного кабинета к какому-то самому главному начальнику и объяснил ему, что это очень важно для страны. Для детей этой страны. Для детского театра этой страны.

Но я не верил ни в кабинет, ни в начальников.

...И мы никуда не пошли.

Я не встретился с ним, когда он снова и снова звонил по ночам и рассказывал о своей идее.

Я очень хотел, чтобы театр запомнился моим детям как событие, как непреложный факт, как ощущение реальности, которое ни с чем не перепутаешь. Которое царапает, ранит и даже травмирует. И это случилось — благодаря ему, Саше Калашникову. Он сам по себе был человек-театр.

И были его «клоуны», летающие, плавающие, парящие над реальностью, как птицы в темноте.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ



И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**12/2020****Читайте:****Андрей Иванов. Роман «Театр ужасов»:**

«Так, вслепую, я шагал навстречу моему убийце, а он палил по мне из ружья. И вдруг я получил удар прямо над головой, и секунду спустя раздался оглушительный хлопок, меня встряхнуло. Упал на колени. Возможно, я даже потерял сознание. Я перестал слышать свои мысли и чувствовать себя. В ушах звенело. Хлопок, встряска, удар, звёзды в глазах — всё было одновременно. В спине что-то рвануло, по позвоночнику пробежала вибрация: это был механизм, выталкивающий из баллончика “кровь”. Я стоял на коленях и задыхался. Мне хотелось наружу. Я слышал вопли. Дружеские руки на моей спине, на плечах. Меня подняли. Меня обняли. Я был чумной, хотелось, чтоб они как можно скорей меня рассупонили...»

Макс Фрай. Рассказ «Испагань не для всех»:

«...Теоретически я понимаю, что на самом деле живу, а не снюсь, просто чувствую себя очень странно спросонок, здесь почему-то темно и зима, и колокольный звон, гудят паровозы, и ветер, такой сильный ветер, как бывает только у моря, он дует: “Пошла игра”, — всё наконец-то сходится, — с облегчением думаю я, просыпаюсь, и падаю, как волна, и спрашиваю, не ожидая ответа, просто так, потому что успеть спросить красиво: “Где твой серп?”»